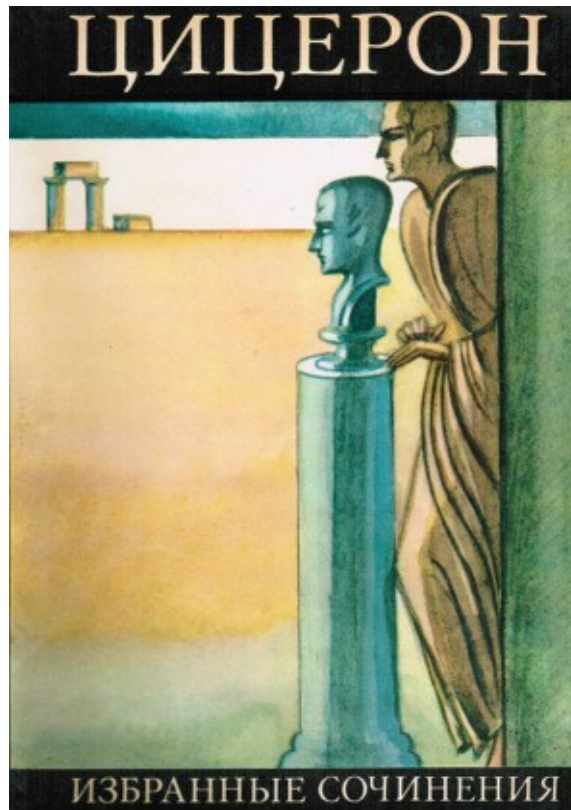


Марк Цицерон
Избранные сочинения



ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

ПЕРЕВОД С ЛАТИНСКОГО

С. Апта, М. Гаспарова, М. Грабарь-Пассек, С. Ошерова, Ф. Петровского, А. Тахо-Годи и С. Шервинского

Издание «Библиотеки античной литературы» осуществляется под общей редакцией

Составление и редакция М. ГАСПАРОВА, С. ОШЕРОВА, В. СМИРИНА

Вступительная статья Г. КНАБЕ

ЦИЦЕРОН, КУЛЬТУРА И СЛОВО

Цицерон — одна из главных, ключевых, фигур римской литературы. Для Древнего Рима он примерно то же, что Пушкин для России, Гете для Германии, Данте для Италии — центр и воплощение художественной культуры народа. Такая роль принадлежит художникам слова, чье творчество вобрало в себя духовный опыт длинного ряда поколений и, отлив его в совершенную пластическую форму, надолго определило идейно-художественное развитие литературы своей страны. Важно, однако, ощутить не только его сходство с корифеями литературы нового времени, но и отличие от них. Они отражали действительность в художественных образах и населяли созданный ими мир теми «изменчивыми тенями», к которым обращался Гете в начале своего «Фауста». Цицерон не создавал образов, он знал лишь один который был для него «измлада и труд, и мука, и отрада», который целиком заполнял его творчество —

образ Республики римского народа. У него нет произведений, где действуют вымышленные герои, и его литературное наследие состоит из речей, трактатов, писем, представляющих собой документы общественной борьбы в Риме конца республики.

1

Республика была для Цицерона не только реальным политическим строем реального государства, но, кроме того, именно образом — идеальным образом человеческого общежития. Объективной жизненной основой этого идеала, однако, было жестокое и несправедливое рабовладельческое государство Древнего Рима. Между образом и прототипом существовало противоречие, и поэтому в истории позднейшей культуры Цицерон нередко воспринимался как наивный утопист, а произведения его — как отвлеченная от жизни напыщенная и сухая риторика. Слова Пушкина о том, что он «читал охотно Апулея, а Цицерона не читал» — не только шутка. И в то же время воспетая им «свободная республика» была римским вариантом античной рабовладельческой демократии — этой, по замечанию Энгельса, предпосылкой «всего нашего экономического, политического и интеллектуального развития». Она обладала чертами, сохранившими свое значение до наших дней, и не случайно так волновала поколения прогрессивных мыслителей и революционеров. Робеспьера в Париже называли Цицероном, и некоторые из самых важных его политических выступлений представляют собой переложения речей римского оратора. Пламенный римский республиканец был едва ли не самым любимым и читаемым древним автором в среде русских декабристов. «Цицерон, — писал один из них, — был у каждого из нас почти настольной книгой».

Чтобы понять и оценить Цицерона, таким образом, надо представить себе объективный характер Римской республики; выяснить, как соотносился ее образ, созданный Цицероном, с исторической действительностью; проследить, как на тех или иных этапах европейской культуры в этом образе обнаруживались все новые стороны — разные и неравноценные.

1

Из старых поэтов Цицерон больше всех любил Квинта Энния — автора стихотворной римской «Летописи». Она сохранилась в отрывках, в одном из которых сказано:

Древним укладом крепка и мужами республика римлян.

В этой строке выражена та главная проблема, которую поставило перед Цицероном предшествующее развитие римской культуры.

Римская республика возникла из маленькой сельской общины и навсегда сохранила с ней связь. Основу обеих составлял особый общественный строй, предполагавший сохранение и постоянное возрождение натурального хозяйства, обильные пережитки родовой организации, старинную простоту труда и быта. Этот «древний уклад» был объективно обусловленной исторической чертой римского общества — сам способ производства порождал застойные формы жизни и делал «заветы предков» нормой общественной нравственности. «Новый путь отыскивать всем опасно. Ты иди дорогою верной предков. Не дерзай священные связи мира рвать самочинно», — учили римские писатели, новые и старые. «Рим и мощь его держатся старинными нравами».

Но оставаться неизменным, просто сохраняться общество не могло. Город жил, а следовательно, развивался, развитие же предполагало усиление обмена, рост денег, разрушение патриархальной замкнутости, укрепление новых порядков и нравов, предполагало сметку и хватку, освобождение от послушного растворения в традиции, предполагало, другими словами, человеческую инициативу и самостоятельность.

Наряду с консервативной ценностью целого жизнь утверждала динамическую ценность личности.

В истории города понятия «древний уклад» и «мужи» оказывались связанными неразрывно. Связь эта, однако, носила глубоко противоречивый характер. Натуральная в своей основе экономика не могла впитать богатства, завоеванные полководцами или добытые предприимчивыми купцами, не могла превратить их в источник обновления и внутренней перестройки хозяйства и общества. По мере увеличения римских владений деньги во все растущем количестве возвращаются на поверхности жизни и, не проникая в глубины общественного организма, усложняют и развивают не производство, а потребление. Быт, одежда, еда, зрелища становятся все более пышными, потребность в деньгах — все более привычной и острой, тщеславие, мотовство, хищнические способы добывания предметов роскоши — все более распространенными. Это разлагало былую простоту и патриархальность, подрывало внутреннюю сплоченность города-государства и консервативные нравственные нормы народной жизни, не внося в то же время никаких коренных изменений в сам способ производства. Энергия, воля, самостоятельность, инициатива «мужей» оказывались не только связанными с «древним укладом», но и несовместимыми с ним.

Во II веке до н. э. это противоречие вступает в свою критическую фазу. Начиная с этого времени политические и военные события в Риме образуют как бы историческое введение в жизнь и творчество Цицерона.

2

С 218 по 201 год до н. э. Рим вел с африканским городом Карфагеном самую тяжелую и ожесточенную войну в своей истории. Ценой огромного напряжения, пройдя на волосок от гибели всего государства, римляне добились победы, обеспечили себе господство над западным Средиземноморьем и тут же обратились против эллинистических держав Востока. Серия войн, шедших с переменным успехом, привела к тому, что к 140 году до н. э. Греция тоже оказалась покоренной римлянами, ставшими отныне хозяевами и в восточном Средиземноморье.

За каких-нибудь 70-80 лет Рим стал величайшей державой древнего мира. Здесь сосредоточились несметные богатства. Первое же поражение македонских греков в 197 году принесло контрибуцию в 1100 талантов золота и серебра (талант — 26,2 кг). Бывали годы, когда из некоторых провинций вывозили до 40 тысяч талантов. В завоеванных землях находились большие золотые, серебряные и медные рудники, переданные после покорения на откуп римским богачам. Нескончаемым потоком шли в Рим рабы — 80 тысяч после захвата Сардинии, 150 тысяч из покоренной греческой области Эпира, 30 тысяч из Македонии.

Войны изменили социальную структуру римского общества и до предела обострили противоречия республиканского строя. Победы обогащали казну, аристократию и дельцов. Крестьян они разоряли. Проведя несколько лет подряд в чужих краях, привыкнув к грабежам и отвыкнув от труда, крестьянин возвращался в родную усадьбу, которая к этому времени либо запустела, либо была захвачена богатеями-соседами. Между тем именно крестьяне, с их примитивным, во многом натуральным, хозяйством, архаической моралью, простотой жизни, и составляли в течение столетий становой хребет республики. На протяжении II века число полноправных (то есть обладавших земельной собственностью) граждан сократилось на одну пятую. Это важная цифра. Она означала, что в большинстве своем крестьянство сохранялось, а вместе с ним сохранялись материальные и моральные предпосылки «древнего уклада». Он был настолько прочен и неизбывен, что и через очень много лет римские писатели говорили о «той нашей Италии, где до сих пор строго хранят и

скромность, и умеренность, и даже старинную деревенскую простоту». Но та же цифра показывала, что каждый пятый крестьянин терял землю, становился люмпеном и, переселившись в город, утрачивал связь со старинным консервативным строем римской жизни.

В конце описываемого периода римляне вынуждены были уступить требованиям италийских городов и даровать право римского гражданства, вместе со многими привилегиями, которые оно обеспечивало, большей части свободнорожденных жителей Италии. Гражданами Рима оказались люди, жившие в разных и ничем не связанных областях, никогда в глаза друг друга не выдавшие, различные по традициям и даже языку. Патриархальное единство римской городской общины становилось юридической и пропагандистской фикцией.

Распад былых порядков не означал возникновения новых, прогрессивных, форм хозяйства и общества и потому не рождал никакого исторического оптимизма. Но и сохранение этих порядков, переживавших углубляющийся кризис, не могло создать чувства стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Развитие республики несло угрозу самому ее существованию.

С середины II века поиски выхода из этого противоречия становятся главной проблемой римской общественной мысли. В этих своих поисках римляне все чаще обращаются к опыту Древней Эллады. Под натиском хлынувших из покоренной Греции людей, идей и обычаев в Риме II-I веков до н. э. изменилось само представление о достойной жизни и духовных ценностях, в число которых отныне вошла и образованность. Она не сводилась больше к постижению науки хозяйствования и законов государства, к запоминанию рассказов о подвигах предков, а предполагала, в первую очередь, владение греческим языком и литературно-философским наследием Эллады. Книги, написанные по-гречески, вроде «Всеобщей истории» Полибия, или по-гречески произнесенные публичные речи, вроде обращения греческих послов к народу и сенату, теперь свободно воспринимаются римской аудиторией. Для завершения образования римские юноши из знатных семей все чаще отправляются в Грецию. То были не только образовательные, но и сентиментальные путешествия. Храмы богов, статуи героев и философов, воспринятые в их естественном окружении, среди пейзажа, не столько обогащали память, сколько будили чувства, делали более богатым и неповторимым внутренний мир. Путешествия заканчивались своеобразной «стажировкой» в прославленных школах Греции, где юные римляне усваивали философские доктрины, утверждавшие независимость человеческого ума от традиций и обычаев.

Последнее обстоятельство делало эллинизм враждебным историческим ценностям римского мира, и ревнители древнего благочестия напрягали все силы, чтобы ослабить его влияние или даже официально запретить все эллинское. Борьба эллинофобов и эллинофилов во II веке зачастую выражала в особой форме все тот же исконный антагонизм «древнего уклада» и «мужей».

Постепенно, однако, духовная независимость начинает восприниматься не только как угроза консервативной традиции, не только как отпадение личности от родовой или общинной целостности, но и как средство более глубокого и самостоятельного постижения этой традиции и этой целостности. Прошедшая греческую школу общественная мысль поставила вопрос о римском патриотизме и римской гражданственности как о внутренних нравственных категориях, поставила вопрос об обогащении духовным опытом Эллады самого римского консерватизма.

Римскую национальную эпопею создал в 80-70-е годы II века Квинт Энний — полугрек по происхождению и эллин по образованию; его «летопись римской славы»

написана греческим стихотворным размером — гексаметром. В Рим Энний попал впервые благодаря Марку Порцию Катону. То был один из самых главных и самых упрямых ревнителей «нравов предков», отдавший много сил на борьбу с ненавистной ему греческой образованностью и с главными ее защитниками в Риме — эллинофильской семьей Корнелиев Сципионов. В 50-е годы, уже глубоким стариком, он принялся за изучение греческого языка и через сына породнился со Сципионами: защита и углубление «римской идеи» становились немыслимы без греческой культуры.

С союзом Катона со Сципионами прямо или косвенно, биографически или идейно связан целый ряд государственных деятелей конца II века — Сципион Младший, Лелий, Рутилий Руф, Сцевола, Луций Лициний Красс и многие другие. Почти все они были римскими аристократами старой складки, но тем яснее выступает в их облике органическое усвоение греческой культуры. Как бы отделившись от своей восточно-средиземноморской почвы, она стала у них синтезом римского консервативного государственного идеала и духовной независимости гражданина нового типа. Цицерон вышел из этой группы: Энния он цитирует постоянно, Сципион, Лелий, Красс, Сцевола — действующие лица его диалогов, книга, содержащая его размышления о старости, названа именем Катона. С этим направлением он связан воспитанием, образованием, складом и содержанием мысли.

Марк Туллий Цицерон родился в 100 году до н. э. неподалеку от Рима в поместье отца, римского всадника. Род был древний — члены его занимали некогда государственные магистратуры, семья — консервативной, земледельческой, усадьба — по-старинному тесной и маленькой. Действительность, однако, с самого начала внесла в эту патриархальную картину свои поправки: отец Цицерона был болезненный и хилый человек, хозяйствовать не мог и, по словам сына, «чуть ли не всю жизнь провел в литературных занятиях». Воспитанный им мальчик отличался необыкновенной любовью к наукам, владел греческим языком ловчее, чем плугом, и знал правила просодии лучше правил рукопашного боя.

В 90 году отец отправляет Цицерона в столицу: в соответствии с обычаем, ему предстояло завершить свое образование под руководством кого-либо из государственных деятелей, связанных с его семьей родством или дружбой. Цицерона отец поручил заботам авгура Квинта Муция Сцеволы, который ввел юношу в круг просвещенных римских аристократов, продолжавших традиции младшего Сципиона и Гая Лелия. Атмосферу, царившую в этом кружке, Цицерон описал в своем диалоге «О дружбе».

Влияние Сцеволы и его друзей соединялось у молодого Цицерона с увлечением Грецией. Я был еще юношей, вспоминал он впоследствии, — «когда в Рим прибыл глава Академии Филон, и я целиком вверился ему, движимый необыкновенной любовью к философии». Вскоре он познакомился и сблизился со стойким Диодотом, который поселился у Цицерона в доме и занимался с ним диалектикой и греческой риторикой на протяжении многих лет. В 80 году он уезжает на два года в Грецию, где слушает лекции гениального мыслителя поздней античности Посидония. В те же годы, живя на острове Родосе, Цицерон выступает по-гречески с речами, вызывавшими удивление и восхищение опытных эллинских ораторов. Когда он впоследствии говорил: «Я всегда и с пользой для себя соединял греческое с латинским», — здесь было заключено не столько признание заимствований, произведенных им из сочинений греческих писателей, сколько характеристика самого его подхода к решению описанной выше коренной проблемы римского общественного развития.

В основе его рассуждений лежал непреложный факт: переживая глубокий внутренний кризис, Рим все же оказался достаточно здоровым и могучим, чтобы за

несколько десятков лет подчинить себе многочисленные племена и государства средиземноморского мира. Почему это смогло произойти? Потому, — отвечал Цицерон, — что в этих племенах и государствах нарушен и извращен главный принцип правильного общественного устройства — равновесие между человеком, его энергией, стремлениями, свободой — и государством, с его традициями, законами, объективной общественной необходимостью. У одних народов самым главным считаются интересы каждого, и там возникает анархическая свобода, подрывающая силы общества как целого; другие знают лишь государство, воплощенное в монархе, перед которым личность стерта и потому полностью бесправна; односторонность общественного устройства делает и тех и других варварами.

культура,

Последовательной противоположностью варварству, считал Цицерон, является только Рим, с его неповторимым общественным устройством, в котором «страсти» и «разум», гражданин и государство, новизна и традиция тоже вступают в конфликт, но конфликт особого рода, разрешающийся в противоречивой и потому живой гармонии республики и ее развития. Сталкивающиеся здесь силы — человек и общество — борются, но сознательно идут в этой борьбе на самоограничение ради единой и высшей цели — процветания и развития республики. Человек, забывший об интересах общества, и руководитель государства, забывший об интересах граждан, — не римляне, а варвары. Противоположностью варварству является и потому самое главное в Римской республике заключено в том, что она является как бы «государством культуры».

Культура для Цицерона не исчерпывается образованностью, развитием наук, искусств, цивилизации, заботу о которых он считает характерной скорее для Греции, чем для Рима. Подлинная культура заключена для него в особом римско-республиканском строе жизни, где духовное развитие человека и конечные, самые общие интересы государства находятся в противоречивом и неразрывном единстве. Созданный им образ республики находился в сложных отношениях с действительностью. Развитие этих отношений определяет эволюцию Цицерона как политика, мыслителя и художника.

3

Литературное наследие Цицерона состоит из речей, философских произведений, сочинений по риторике и писем. Последние — трактаты об ораторском искусстве и письма — не входят в том, введением к которому служат настоящие заметки, и говорить о них нам почти не придется.

За свою жизнь Цицерон произнес сто пять речей, из которых целиком или в отрывках сохранилось семьдесят пять. Первые из них относятся к концу 80-х годов. Завершив к этому времени свое образование, Цицерон начал выступать в качестве судебного защитника, хотя время для красноречия было самое неподходящее. В Риме шла гражданская война, и ожесточение ее достигло последнего накала. Во главе одной из борющихся партий стоял патриций Корнелий Сулла, руководителем другой был выходец из народа Гай Марий. Каковы бы ни были чувства и стремления борющихся, объективно война эта наносила очередной и особенно сильный удар по вековым устоям республики. «Молодость моя, — вспоминал впоследствии Цицерон, — совпала с потрясением прежнего порядка вещей».

В 81 году война кончилась победой Суллы. Начался террор победителей, который, однако, не только не содействовал возвращению к «нравам предков», но означал дальнейшее разложение старинных порядков. Это сказалось особенно ясно в следующем происшествии. Осенью 81 года был убит богатый землевладелец из

италийского городка Америк Секст Росций. Убили его родственники с целью захватить его имущество. Чтобы избежать ответственности, они решили придать убийству политический характер, поделились добычей с вольноотпущенником и приближенным Суллы греком Хрисогоном, объявили Росция марианцем, а в убийстве обвинили его же сына. Преступление было вопиющим и наглым, но Цицерон оказался единственным из адвокатов Рима, кто согласился выступить против столь могущественных обвинителей. Суд состоялся в начале 80 года. В защитительной речи Цицерона на этом процессе уже видны основные положения, которые будут характеризовать его общественно-политическое мышление на протяжении всей жизни.

Республика больна, она живет среди «неприкрытых злодеяний и каждодневных смертоубийств». В данном процессе зло воплощено для Цицерона в обвинителе Росция-сына, некоем Эруции, в обогатившемся за счет убийства Росция-отца родственнике его Капитоне, в прикрывшем все это дело авторитетом власти Хрисогоне. Главное в Эруции — что он «чужой», «ничей сын», он не представляет себе, что такое земля, поместье, как жили и живут старые италийские семьи, какой строй и тон в них царит. Главное в Капитоне — нарушение обязательств гражданина перед общиной. Город Америя послал десять старейших граждан к Сулле с просьбой расследовать дело Росция; Капитону город доверил участвовать в этой миссии, но он за спиной сограждан договорился с Хрисогоном. «Человек, нарушающий доверие, — говорил Цицерон, — посягает на твердыню, защищающую нас всех». Главное в Хрисогоне — алчность, разврат, злоупотребление доверием хозяина, демонстративное пренебрежение традициями чужой ему римской жизни. Для обозначения того общего, что проявлялось во всех троих, Цицерон постоянно пользуется словом «наглость», употребляя его в особом смысле — как обозначение цинического эгоизма, издевательства над гражданской солидарностью, над обществом и его историческими устоями. «Наглость» у Цицерона — результат предельного развития и извращения того принципа, который в римской истории связывался с индивидуализмом и был характерен для деятельности «мужей».

Суть положения состояла, однако, в том, что «наглецы» были сулланцами, то есть, согласно официальному толкованию, защитниками древних порядков и аристократических привилегий сената. Обе силы, всегда угрожавшие республике римлян — хищная алчность «новых людей» и мертвый консерватизм блюстителей старины, — слились теперь в единой стихии «наглости». Цицерон считал, что так обстояло дело лишь в данный момент и лишь на поверхности общественной жизни. Он знал, что, согласно самой природе римского города-государства, гражданская солидарность и уважение к традициям сильны и живы в очень широких слоях населения. В своей речи он постоянно объединяет себя с ними словом «мы». Отдельные стороны их уклада — крестьянский образ жизни Росция-младшего, исконные связи этой семьи со старинными римскими родами, сплоченность америйской общины — он всячески подчеркивал в своей речи и на симпатии к ним судей и присутствующих построил свою защиту. Расчет оказался правильным — суд вынес Росцию-сыну оправдательный приговор.

Расстановка сил в стране и на суде сказала не только в том, что говорил Цицерон, но и в том, как он говорил. Речь в защиту Росция из Америк, пожалуй, единственная, где риторическая форма полностью слита с юридическим, общественно-политическим, человеческим существом дела, как бы растворена в нем. Речь начинается с прямого, исполненного иронии, «с места в карьер», нападения молодого оратора на могущественного Хрисогона, которого все до сих пор старались лучше не упоминать. Что это — тактический ход, продиктованный стремлением спутать расчеты

обвинения, или утверждение в качестве основы и сути речи четкой общественно-нравственной позиции, попытка объединить вокруг нее судей и слушателей — за единство человека и традиции, за закон, против всеобщего развала и разбоя, против «наглости» и «наглецов»? И то и другое одновременно, здесь еще нет противопоставления. Такой же двойственностью отличается вся риторическая фактура речи. Художник здесь еще не стоит чуть в стороне, любясь самоценной красотой слова и могуществом своего мастерства. Темперамент и свобода, с которой он ведет речь, — это еще темперамент юноши, страстно верящего в добро и право, и свобода гражданина, обращающегося к «своим», а потому откровенно радующегося успеху у них.

Сразу после процесса Росция Цицерону пришлось покинуть столицу, — раздражение, которое он вызвал у приближенных Суллы, было слишком сильно и опасно. Он проводит около двух лет в Греции, в 78 году возвращается и целиком отдается ораторской деятельности. В центре ее по-прежнему — борьба против «наглецов». Понятие «наглости» было в эти годы очень широким, одновременно государственным, политическим, бытовым и эмоциональным, и красноречие, направленное на борьбу с ним, тоже было не столько судебным или политическим, сколько историческим и нравственным. Это составляло особую силу Цицерона как оратора. В речах 70-60-х годов он выступает как выразитель общих, подчас смутных, но всегда живых и глубоких упований и верований широких кругов консервативно настроенных граждан-землевладельцев старой складки. Значение этих речей никогда не исчерпывается их чисто юридическим содержанием. Политический конфликт или судебный казус рассматриваются оратором в связи с постоянными и страстными раздумьями его о Риме, народе, истории, о судьбах республики. Пока общественные слои, чьи вкусы и убеждения он считал своими и выражал, оставались в Риме достаточно сильными, у него была крепкая почва под ногами, и он пользовался огромным успехом как магистрат и оратор. В эти годы он неизменно выигрывает судебные дела, за которые берется, популярность его быстро растет, он становится сенатором и последовательно занимает должности — в 76 году квестора, в 66-м претора, в 63-м консула, носителя высшей власти в государстве. К 70 году относится особенно громкий процесс, в котором Цицерон участвовал в качестве обвинителя и который окончательно закрепил за ним славу величайшего оратора своего времени, — дело бывшего наместника провинции Сицилия Гая Верреса.

Процесс этот кое в чем походил на дело Росция. Главный персонаж его был тоже из «наглецов», как Капитон — вымогатель и вор, преступными путями создавший себе в провинции огромное состояние; в обоих процессах Цицерон говорил от лица италийцев или провинциалов, пострадавших от произвола, и он добился осуждения Верреса так же, как сумел добиться оправдания Росция. Однако различия здесь были важнее сходства. Капитон или Эруций были безродными захолустными жуликами, Веррес — магистратом, представлявшим власть сената и римского народа. Ограбил он не своего родственника, а целую провинцию. Капитона поддерживал Хрисогон, вчерашний раб, Верреса — многие сенаторы и могущественная семья Цецилиев Метеллов. Процесс показывал, что времена изменились и что «наглецы» тоже стали другими.

Рим продолжал неудержимо обогащаться — была окончательно покорена едва не отложившаяся Испания, превращены в провинции новые земли на Востоке, рос ввоз рабов. Но диктатура Суллы кончилась еще в 78 году, восстановленные им привилегии знати были исподволь сведены на нет, и добытые сокровища, делая свое дело, продолжая обогащать и разлагать республику, текли мимо рук не только давно уже разоренных крестьян, но теперь и большинства аристократов. Теряя последние связи с

людьми, занятыми производительным трудом, стремясь к роскошной жизни и не имея на нее средств, не веря в заповеди старинной республиканской морали и считая, что любые средства хороши, лишь бы вырваться из долгов, эти отпрыски старинных родов, окончательно слившиеся с «врагами старины», все чаще пытаются вообще покончить с мертвеей республикой, добиться личной диктатуры или поддержать любого, кто мог бы ее установить. Они поносят республику — и заседают в ее высших органах власти, беспрерывно говорят об интересах бедняков — и видят в них лишь орудие для достижения своих целей, издеваются над консервативной моралью — и не знают никакой другой. Число их неуклонно растет. Цицерон сталкивался с ними постоянно, до конца своих дней, но особенно драматичной была его борьба с тремя из них — с Катилиной, с Клодием и с Антонием.

Патриций и сенатор Луций Сергий Катилина организовал в 63 году заговор против республики, Цицерон, который был консулом этого года, раскрыл заговор и ликвидировал его. Руководители были казнены, Катилина бежал к своим сторонникам в Этрурию и погиб в бою с войсками, посланными сенатом. В связи с этими событиями Цицерон произнес четыре речи, вошедшие в историю под именем «катилинарий». Они образуют высшую и переломную точку его деятельности политика и оратора.

Наиболее показательна среди них первая. Исходные позиции оратора — те же, что были раньше: есть «наглецы» — Катилина, его друзья и сторонники, враги республики, и есть «мы» — порядочные люди, ее защитники; между теми и другими открытый, непримиримый конфликт. Смысл и объем понятия «наглость», однако, здесь уже совсем не тот, что был даже и в «верринах». Дело идет не о бесчинствах наместника одной из провинций. Катилина, по словам Цицерона, готовит убийство магистратов и сенаторов, поджог столицы, ограбление граждан. Вопрос состоит в том, быть или не быть республике. И сам Цицерон выступает теперь не как судебный оратор, а как глава государства. Казалось бы, образ действий в таком положении один — уничтожение «наглецов», ставших угрозой самому существованию Рима. Но Цицерон неожиданно выдвигает совсем иное предложение. Главная мысль его состоит в том, что Катилину и его сторонников надо не арестовывать и вообще не преследовать, а заставить выехать из столицы. Почему? Потому, признается он, что лишь после этого станет ясно, кто сторонник Катилины, а кто нет. За протекшие годы «мы» изменились так же сильно, как и «наглецы». Римский народ, к которому Цицерон обращается и которому служит, — это еще «мы», «республика предков», традиция и закон, и это уже «они» — люмпены, отпущенники, чужеземцы, промотавшиеся сынки, хищники-богатеи. В 80-х и даже еще в 70-х годах он мог противопоставить их друг другу; теперь, в 63 году, пока они физически не разведены по разным территориям, разграничить их невозможно. Катилинарии представляют собой переломную точку в идейно-политическом развитии Цицерона потому, что здесь ясно обозначился распад в Риме той общественной группы, которая дотоле была его опорой. Она еще надолго сохранится как общественно-психологическая сила. После разгрома заговора Цицерона еще славят как народного героя, ему рукоплещут на улицах, присваивают звание «отца отечества», но положение его как оратора и политика отныне оказалось подорванным и популярность пошла на убыль.

образ

образы

Столь же важную веху на его жизненном пути представляют собой речи против Катилины и с точки зрения литературной. Они обращены в пору опасности к сенату и народу. Поэтому их громозвучие, высокий строй, предельное сгущение всех ораторских приемов, призванных накалить атмосферу, разжечь чувства ужаса и ненависти к

заговорщикам, оправданы ситуацией, естественны и действуют неотразимо. Первая катилинария на века сохранила значение нормы и образца государственного красноречия. В ней дышит темперамент политического руководителя, говорящего гражданам об угрозе, нависшей над их государством. И в то же время это темперамент художника, создающего священного, древнего и мудрого сената и извергов-заговорщиков, творящего из серых полутонов действительности ослепительный свет и непроглядный мрак. Он уже ощущает, что и республики предков и отдельных от нее, извне на нее нападающих «наглецов», в сущности, нет, что они существуют скорее как логические полюса исторического процесса. Искусно вытканное, блестящее и плотное, отливающее всеми цветами и оттенками, риторическое одеяние речи не только облекает, но и красиво драпирует, скрывает ее плоть.

Катилина и его сообщники выражали и воплощали неизбежное движение республики к своему концу, и жизнь поставляла им растущую и крепнущую смену. В 58 году другой аристократ, Публий Клодий Пульхр, став народным трибуном, провозгласил своей целью продолжение дела Катилины. Перед угрозой судебного преследования и физической расправы Цицерон удаляется в изгнание, которое снова проводит в Греции, возвращается через полтора года и погружается в борьбу против Клодия. В ходе ее он произносит ряд речей, среди которых особое место занимает речь 56 года «В защиту Марка Целия Руфа».

Молодой богач и видный оратор Целий был обвинен в попытке отравить знаменитую красавицу, воспетую Катуллом, — Клодию. Она была родной сестрой Клодия Пульхра, он поддерживал обвинение перед судом, и согласие Цицерона выступить против своего давнего недруга было вполне понятно.

Но, кроме обвинителей, был обвиняемый, и мотивы, по которым Цицерон взял на себя его защиту, значительно менее очевидны. Из речи на суде выясняется, что Целий был связан с Катилиной, жил в доме Клодия, был любовником его сестры, вращался среди золотой молодежи сомнительной репутации, пытался сделать политическую карьеру, выступая как доносчик. Он предстает на этом процессе как один из «наглецов», как человек того же тина и круга, что и сам Клодий. Цицерон, однако, не только взялся за его защиту, но и был, оказывается, некогда его наставником, связан с ним давней близостью. В чем дело?

Цицерон как-то сказал: «Глубоко заблуждается тот, кто считает наши речи слепками с наших убеждений; в них все от данного дела и от времени». Это не значило, что он выступал против Хрисогона, Верреса, Катилины вопреки убеждениям. Но это значило, что он принадлежал своему обществу и своему времени, а время плодило клодиев и им подобных ежедневно и ежечасно, избежать связей с ними было невозможно, и судебные речи, всегда связанные с повседневной практикой жизни, становились все менее пригодной формой для выражения взглядов оратора на коренные проблемы римской истории и культуры. Этим проблемам Цицерон, начиная с середины 50-х годов, посвящает ряд больших теоретических сочинений — «Об ораторе» (55 г.), «О государстве» (54-51 гг.), «О законах» (52 г.). В речах же нравственно-историческая проблематика теперь нередко упрощается и сводится к конкретному случаю, место тяжких и серьезных раздумий о судьбах республики занимают веселая шутка или пустоватая риторика, место истории — изящная словесность. «В защиту Целия Руфа» самая показательная из речей этого рода.

Остроумие образует атмосферу и стихию этой речи. Если Клодия куртизанка, начинает Цицерон, то отношения с ней Целия не могут стать материалом обвинения — всякий волен иметь дело с продажными женщинами; если же она женщина порядочная, то всего, что говорят об отношениях ее с Целием, не могло быть, и обвинение отпадает

само собой. Выбор между этими двумя предположениями он галантно предлагает самой Клодии. Но так как назвать патрицианку уличной любительницей приключений было все-таки неловко, то защитник оговаривается, что все время имеет в виду не Клодию, а некоторую воображаемую развратницу — «совсем на тебя непохожую», — описывает ее привычки и образ жизни (которые, как всем в суде известно, были привычками и образом жизни Клодии) и, наконец, спрашивает, как оценила бы Клодия отношения Целия с подобной женщиной. Весьма вольный образ жизни Клодии и ее сомнительная репутация сообщали остроумию оратора некоторую фривольность, и, чтобы оттенить ее, Цицерон вводит в речь предков Клодии — старинных патрициев Клавдиев, его устами укоряющих и обличающих свою легкомысленную праправнучку. В словах их, однако, нет и тени того подлинного и серьезного осуждения современности, ради которого принято было прибегать к подобным экскурсам. Аппий Клавдий Слепец, один из знаменитейших героев древней республики, цензор и суровый моралист, обращаясь к Клодии, острит не хуже самого Цицерона. Он вообще здесь не исторический деятель, а литературный образ, его задача — не внести вклад в идеологическую борьбу защитников старины с новизной, а сделать более разнообразной и яркой ту атмосферу условности и художественной игры, которая так сильна в этом произведении Цицерона. В нем без конца приводятся стихи, причем не только Энния и Гомера, а больше авторов комедий — Плавта, Теренция, Цецилия Стация, в тексте рассыпаны каламбуры и пикантные намеки, и, глядя на растущую путаницу своего времени, оратор, кажется, спрашивает вместе с цитируемым им поэтом и обвинителем, и самого себя: «Что безделицу ты с криком вещью важною зовешь?»

Но события шли своим чередом и отнюдь не напоминали «безделицу». Юлий Цезарь, сенатор-аристократ, тайно поддерживавший и Катилину и Клодия, вел по поручению сената войну в Галлии. В ходе ее он выковывал сильную, лично ему преданную армию, которая в нужный момент могла бы сделать его диктатором. Сенат не доверял Цезарю и готовил полководца, которого можно было бы ему противопоставить. Единственной подходящей фигурой был популярный военный и политический деятель Гней Помпей; на 52 год он был сделан «консулом без коллеги», то есть, по сути дела, диктатором. В феврале 51 года сенат назначил Цицерона наместником провинции Киликия в Малой Азии. Он отсутствовал почти два года, а через несколько дней после его возвращения Цезарь ввел свои войска в Италию. Помпей и большинство сенаторов выехали в Грецию, где вскоре собрали значительную армию. Гражданская война началась.

Каждая из борющихся группировок стремилась привлечь Цицерона на свою сторону. Он долго колебался, наконец в июне 49 года уехал к Помпею, но вскоре раскаялся в своем решении. Выбор, однако, был сделан. Когда в июне 48 года Цезарь нанес армии Помпея решительное поражение при Фарсале и выиграл войну, Цицерон оказался среди побежденных. Около года он прожил в итальянском городе Брундизии, ожидая решения своей судьбы, пока в сентябре 47 года не получил от Цезаря полное прощение. Он вернулся в Рим и вскоре поселился неподалеку, в своем Тускуланском имении.

В годы, предшествовавшие наместничеству в Киликии, Цицерон особенно часто выступал в судах, но речи этого времени в большинстве не сохранились. Некоторые из нам известных показывают, однако, что нередко он пытался и говорить по-прежнему, и отстаивать прежние взгляды. Когда в январе 52 года в случайной дорожной стычке был убит Клодий, Цицерон взялся защищать убийцу — сенатора и кандидата в консулы Анния Милона. Речь его на суде строилась на тех же исходных положениях, которые лежали в основе росцианы, веррин и катилинарий, но теперь они уже не выражали

ничего, кроме упрямой веры оратора в историческую миссию римской республики и культуры. Милон был осужден, — попытка Цицерона представить его суровым стражем старинных установлений, покаравшим покусившегося на них «наглеца», находилась в кричащем противоречии с действительностью.

Ситуация, отраженная в этой речи, углубляла и расширяла ситуацию суда над Целием, только не в забавно фривольном, а в драматическом варианте. Клодий принадлежал к «наглем» и старался демагогией и подкупами привлечь городскую чернь на свою сторону; Милой считался сторонником консервативных сенатских порядков — и занимался подкупами едва ли не в больших масштабах, чем Клодий. Клодий вызывал особую ненависть Цицерона своими попытками сколотить вооруженные отряды, которые позволили бы ему безнаказанно нарушать законы республики; Милон, которого Цицерон защищал, располагал во время стычки с людьми Клодия тремя сотнями вооруженных гладиаторов и рабов — то есть таким же вооруженным отрядом. Клодий постоянно и намеренно нарушал правила староримской морали, — Милон делал это не менее демонстративно. Принадлежность к той или иной политической группировке не предполагала больше определенный тип личности и убеждений. Верность принципам становилась старомодной, серьезность — лицемерной, публичная защита своих взглядов — условностью и тактической игрой. Тот, кто прежде назывался «наглем», стал просто любым римским сенатором или всадником, ведущим себя в духе времени. Деваться, кроме них, было некуда.

Это положение объясняет многое в жизни и ораторской деятельности Цицерона в годы гражданской войны и ей предшествующие.

Из Киликии он возобновляет переписку с Целием Руфом. Он теперь тесно связан с людьми этого типа — Целий его доверенное лицо, осведомляющее его о положении в Риме, приятель Целия Гай Курион вызывает у Цицерона симпатию, оба близки с Марком Антонием, другом Цезаря. В этом кругу он находит жениха для своей любимой дочери Туллии — классического «наглеца» Корнелия Долабеллу. Все эти люди понимают, что республика гибнет, что ценности ее рассыпаются, и потому не признают важным ничего, кроме собственной выгоды. Долабелла вскоре развелся с Туллией и присвоил ее приданое; Курион за крупную сумму стал цезарианцем; Целий в самые трагические для республики дни осаждает Цицерона просьбами прислать ему из Киликии пантер для потешных боев в амфитеатре — в тот год пантеры были в моде. В пору гражданской войны, объяснял он Цицерону, — «люди должны держаться более сильной стороны и признавать лучшим то, что безопасно».

Цицерон изо всех сил пытался слушаться этих советов — лавировал между Цезарем и Помпеем, произносил речи в защиту тех, кого раньше публично осуждал, непрерывно напоминал о своих былых заслугах, мечтал добиться триумфа за свои ничем не примечательные военные действия в Киликии, писал Целию, что с пантерами плохо, но он постарается.

И тем не менее между ними и Цицероном пролегал невидимый и непреодолимый рубеж.

Со своей старомодной глубиной мышления и стеснявшей людей образованностью, со способностью и умением постоянно видеть за хроникой жизни историю, Цицерон этих лет, несмотря на всю суетливую суетность, всю обходительную податливость и деловую ловкость, оставался для большинства окружающих раздражающим и неприятным, человеком чужой, неудобной формы. В нем было что-то не сводившееся к словам и поступкам, некоторая проявлявшаяся вопреки всем намерениям основа личности, и из стремления быть «как все» ничего не получалось. Наместничество было общепринятым способом обогащения — из подвластной

провинции деньги выжимались в почти неограниченном количестве. Враг Цицерона историк Саллюстий писал книги о прискорбном упадке нравственности и после управления провинцией вернулся в Рим миллионером. Цицерон трусил, приспособливался, жаловался — и не вывез из Киликии ни одного асса. Он выполнял поручения Целия, называл Куриона «нашим», роднился с Долабеллой — и исподволь, неуклонно сближался с будущим тираноубийцей Брутом, который все больше становился для него идеалом и образцом, центральным образом его поздних произведений. Уезжая к Цезарю, Целий пришел к Цицерону, рассчитывая, что тот даст ему полезное рекомендательное письмо, — напомним о расстроенном состоянии молодого человека, посоветует выдвинуть его на выгодную должность. Цицерон письмо дал, но говорил в нем не о долгах Целия, а о судьбах государства.

Это была тема, преследовавшая его постоянно. «Положение государства меня чрезвычайно тревожит. Я расположен к Куриону, Цезарю желаю почестей, за Помпея готов умереть. Но нет для меня ничего дороже государства». Рубеж, отделявший Цицерона от его времени и от его круга, проходил здесь. Все его попытки стать «как люди» были обречены потому, что он внутренне ни на минуту не расставался со своим образом республики и культуры, с образом своего Рима. Образы эти все больше отдалялись от повседневности, от политической практики, становились все более духовными, отвлеченными, философскими. В тускуланские годы Цицерон мало выступает как оратор и посвящает почти все время и силы сочинениям по истории красноречия, теории ораторского искусства и философии.

Задача, которую Цицерон поставил перед собой в философских произведениях этого периода, состояла в том, чтобы изложить на латинском языке содержание и выводы основных направлений греческой философии, а затем, как он выражался, «улучшить и усовершенствовать» их в свете римского исторического опыта. Осуществлению первой ее части посвящены пять сочинений этих лет: «Академические исследования», «О границах добра и зла», «О природе богов» (все написаны в течение весны и лета 45 г.), «О предвидении» и «О судьбе» (весна и лето 44 г.). В них Цицерон не солидаризируется до конца ни с одной из школ, воззрения которых он передает, так как истина, по его мнению, вообще не может быть монополизирована ни одной системой теоретических взглядов и всегда проверяется намерениями, характером и результатом деятельности людей, данную истину защищающих. Истина, другими словами, по природе своей носит моральный характер. Поскольку же для Цицерона мораль всегда общественна и состоит в соответствии римскому гражданскому идеалу, то момент критики и переосмысления эллинских учений содержался уже в самом их изложении. Непосредственно, однако, второй из поставленных им перед собой целей Цицерон посвятил особую группу сочинений — своеобразную тетралогию, созданную в последние годы жизни и как бы венчающую все его философское творчество. В центре ее стоят диалоги «Катон, или О старости» и «Лелий, или О дружбе», оба написанные в 44 году; их предваряют «Тускуланские беседы» (осень 45 г.) и заключает трактат «Об обязанностях» (начало 43 г.).

Все в этих сочинениях примечательно и неповторимо. Это книги ученого интеллигента, всю жизнь читавшего греческих авторов, размышлявшего над ними, и учения стоиков и эпикурейцев, академиков и перипатетиков всегда присутствуют здесь в тексте и в подтексте. И в то же время — это книги римского государственного деятеля, где философия постоянно переходит в политику и греческое умозрение неотделимо от жгучей римской злободневности. Удивительны их темы, вырастающие из философско-исторической проблематики, но связанные с самыми личными, глубоко интимными переживаниями и отношениями, и не менее удивителен их жанр, в котором

слиты воедино трактат, эссе, драма, бытовые зарисовки и воспоминания.

Проблема, которая здесь занимала Цицерона, была все той же коренной проблемой римской истории, над которой он бился всю жизнь. Особый жанр этих сочинений, казалось, позволил ему наконец найти ее решение и обрести искомое живое единство движения и традиции, человека и государства.

Содержание римского общественного развития предстает здесь как содержание жизненного опыта римского гражданина. Опыт этот имеет особую структуру. Он есть совокупность политических и исторических фактов, дел, совершенных описываемыми людьми, и он же есть результат переработки этих реальных фактов памятью и мыслью философски развитого человека. Так в иной форме и на иной основе происходит воссоединение «мужа» и «древнего уклада»: пройдя через личный внутренний опыт, бывшие дела, не переставая быть делами, становятся одновременно заветом и убеждением, силой, воздействующей на людей и поколения, становятся той же «республикой римлян», но духовной и потому нетленной. При таком подходе факт оказывался неотделимым от личных раздумий о нем, история от человека, и философские решения общественных проблем, раскрываясь через индивидуальность обсуждающих их людей, через их беседы, их поведение и жизнь, становились осязаемыми и пластичными. Сам метод мышления Цицерона выводил его за пределы теоретической спекуляции в сферу жизненной и художественной пластики. Образы людей, ведущих беседу, время, место, обстановка, тон не менее важны для раскрытия его мысли, чем ход рассуждений.

Главные особенности философии Цицерона и состоят в ее непринадлежности системе и школе, в ее связи с конкретностью исторической борьбы, соотносительности в ней истины с человеческой индивидуальностью и пластикой жизни. Рассмотренные в общей перспективе многовековой истории мысли, эти черты бесспорно составляли ее силу; философия Цицерона воспринимается сегодня как одна из самых свежих, волнующих и актуальных страниц в истории античной культуры. Однако в конкретных условиях кризиса Римской республики эта сила оборачивалась слабостью. При методе Цицерона философское рассмотрение действительности заменялось участием в ней. Но философия, исходящая из идеала, понятого как идеализованное прошлое, не могла служить основой для участия в сегодняшней жизни общества, все больше удалявшегося от этого идеала и этого прошлого. Участие, другими словами, не могло быть и философским и тем самым практическим, в той мере, в какой оно становилось практическим, оно переставало быть философским. Связь такой философии с повседневностью требовала отказа от философствования и возвращения в эту повседневность. В конце лета 44 года Цицерон выходит из своего тускуланского уединения и возвращается в Рим, где тем временем политическая борьба и страсти ее участников достигли последнего накала.

В марте был убит Цезарь. Его продолжавшаяся четыре года диктатура заложила основы нового строя — принципата. Рим переставал быть городом-республикой, державшим в военном подчинении бескрайние завоеванные земли и хищнически, разрушительно, эксплуатировавшим их ресурсы в интересах сложившейся еще во II веке римской олигархии. Он начинал превращаться в мировое государство, в котором исконно римские общественные формы смешивались с провинциальными, и опиравшийся на армию император обеспечивал постепенное оттеснение сенатской аристократии от власти. Возникавшая мировая империя оставалась римской, и потому традиции, политические формы и духовные ценности республики оставались основой общественной структуры, но она складывалась как мировая римская империя, а потому предполагала и облегчала провинциализацию и разложение этих традиций,

форм и ценностей. В результате при всем прогрессивном характере этого переворота непосредственно, для современников, он выступал как разрушение исторически сложившейся правовой основы государства, как торжество грубой силы и своекорыстия, как моральная деградация. Наряду с людьми, понимавшими историческую перспективу событий, вокруг Цезаря теснились беспринципные политики, перебежчики всех мастей, любители денег и власти — словом, все те же «наглецы». Цезарь хорошо понимал эту сторону своей диктатуры и старался ее ограничивать, но после его смерти именно она выступила на первый план.

Во главе государства оказался душеприказчик Цезаря Марк Антоний, приятель Клодия и Долабеллы, циник, стяжатель и кутила, «наглец» из «наглецов», — и Цицерон не выдержал. Он считал себя обязанным выступить в последний раз на борьбу за свой Рим. Он развивает лихорадочную деятельность — участвует почти во всех заседаниях сената, поддерживает противников диктатуры, противопоставляет Антонию усыновленного Цезарем перед смертью девятнадцатилетнего Октавиана, будущего императора Августа. Со 2 сентября 44 по 21 апреля 43 года он произносит четырнадцать знаменитых «филиппик» — речей, разоблачавших и уничтожавших Антония. Борьба продолжалась пятнадцать месяцев — один убеждал, заклинал, взывал к закону, предкам, римскому народу, другой подсылал убийц. 7 декабря 43 года внесенный в проскрипционные списки Цицерон был убит, и голова его доставлена в Рим. Больше всех глумилась над ней жена Марка Антония — Фульвия. Первым браком она была замужем за Клодием, продолжателем дела Катилины.

4

Закономерно поставить вопрос, чем же был созданный Цицероном образ Римской республики и культуры — беспочвенной утопией или отражением реальности? После всего сказанного вряд ли можно сомневаться, что он находился с римской действительностью в остром и постоянно углубляющемся противоречии. Идеал Цицерона строился на сочетании традиций полиса с его хозяйственным и культурным ростом, между тем как рост этот привел к превращению Рима в мировую державу, и институты, верования и ценности небольшого города-государства явно не могли соответствовать новым условиям. Поэтому-то в идеале Цицерона все более ощущался отрыв от жизни, в защите идеала — какая-то напряженная искусственность, а в поведении защитника — непоследовательность и слабость.

Не менее очевидно, однако, что общественный идеал Цицерона имел в римской действительности глубокие основания и в этом смысле соответствовал ей. Общинно-патриархальная подоснова римской жизни, с которой был неразрывно связан этот идеал, сохранялась на протяжении всей античности, постоянно сообщала новые силы общественным представлениям города-государства, и пока стоял Рим, эти основы бытия народа не могли быть упразднены. Они исчерпали себя на крохотном клочке земли от форума до Марсова поля и от Авентина до Соляной дороги, где несоответствие механизма города ритму мирового государства стало общеочевидным, но они продолжали быть основой существования в Италии и в провинциях, во всем начинавшем вырисовываться многообразном и едином римском мире.

В 60-40-е годы I века до н. э. на фоне уличных убийств, узурпации власти, скандальных подкупов взгляды Цицерона казались даже не наивными, а почти смехотворными. И тем не менее: в 63 году он оказался сильнее Катилины, в 57-50-м — сильнее Клодия; в 49 году он диктует победоносному Цезарю условия их встречи; в 44-м приводит к власти Октавиана. Все это без единого легиона, не опираясь ни на что, кроме силы слова и авторитета идей, которые он защищал. В последние годы жизни Цицерон представляет нашим глазам зрелище, в истории почти не встречавшееся:

пылают гражданские войны, Италия полна грохота оружия, на поле боя от руки сограждан гибнут консулы, все предают всех, и нет, кажется, в мире ничего, кроме насилия, страха, крови. Но странным образом повелители всего этого шабаша — Цезарь, Антоний, Октавиан, императоры, триумфаторы, герои воинских лагерей, диктующие свою волю легионам и странам, — считают долгом искать одобрения своих действий у неуверенного, колеблющегося старика, сидящего без всякой воинской охраны на одинокой вилле и пишущего философские сочинения о старости, о дружбе, о предвидении и о судьбе. То были прожженные политики, и если они так поступали, объясняется это лишь одним — они понимали, что в окружавшем их обществе идеи этого старика еще имели реальные основания, обладали притягательной силой, и без них не могли дать подлинной прочной победы ни массовые казни, ни сожженные флоты, ни разрушенные города.

Римская солидарность, государственная целостность, слияние личности с коллективом в служении республике, культура, все это воплощающая и объединяющая, были химерами, ежедневно разрушаемыми ходом общественного развития. И они же были особыми, духовными, но вполне осязаемыми реальностями, ежедневно возрождаемыми тем же развитием. Культура раскрывалась как явление, принадлежащее окружающей действительности и в то же время противоречащее ей. Ее сферой и формой поэтому становились не просто и не только мечта, не просто и не только эмпирическая повседневность, а то, что их связывает, — слово.

Цицерон ведал государством, управлял провинцией, толковал законы, писал стихи, занимался проблемами воспитания, переводил греческих авторов, но всегда оставался одним — оратором. Все, что им написано, представляет собой прямое, непосредственное обращение — к близкому лицу (письма, трактаты-монологи), к собеседникам (диалоги), к сенату, суду, народу (речи). Соответственно, текст здесь вторичен; он — лишь запись мысли, которая изначально и сама по себе существует в виде звучащей, ритмически организованной языковой материи. Речи Цицерона изобилуют отступлениями, аргументами, сарказмами, направленными прямо здесь же находящемуся противнику; философские и риторические произведения выглядят как беседа; аргументация часто облекается в форму прямого увещания — от своего имени, от имени другого лица, от имени республики, справедливости и т. д. Творчество Цицерона никогда не воспринимается как совокупность страниц, а лишь как совокупность голосов, как явственно звучащая полифония.

Гражданин и государство обретают в слове свое живое, подвижное и внутренне расчлененное единство, и слово становится тем самым необходимой формой идеальной республики. Это выражено в столь частой у Цицерона и столь знаменательной для него метафоре — метафоре судебного разбирательства. Обсуждение понятия общественной справедливости в книгах «О государстве» или выяснение сильных и слабых сторон различных философских школ в «Академических исследованиях» ведется как в судебном процессе — одним поручено обвинение, другим — защита. Красс в диалоге «Об ораторе» рассматривает красноречие и обвинения, против него выдвигаемые, «словно решая тяжбу». От Лелия в диалоге, носящем его имя, требуют, чтобы он выступил адвокатом дружбы, а он шутливо отбивается, говоря, что тут происходит процессуально недопустимое принуждение его к исполнению обязанностей защитника. Такое построение соединяет теоретические работы Цицерона с его судебными речами и делает прения сторон универсальным принципом его восприятия действительности и формой воссоздания этой действительности в литературном произведении. Путем к истине и основой ее существования оказывается диалог — разговор между людьми, спор и разбор. Противоречия тяжущихся выявляются в прениях, снимаются самим

актом судебного разбирательства, и борьба, которую ведут главные силы римской истории, может и должна быть, по мнению Цицерона, решена достойным образом — на основе доводов, по суду, закону и справедливости.

В этой центральной для него идее заключены весь блеск и вся нищета Цицерона как мыслителя и художника. Представление о слове как универсальном средстве решения жизненных противоречий и об основанной на нем культуре как о критерии совершенства общественного устройства находилось в кричащем противоречии с положением огромного большинства населения — разоренных и эксплуатируемых. Они составляли основу общества, и роль их не только в производстве, но и в идеологии, в морали, в представлении о гуманизме с каждым десятилетием становилась важнее и очевиднее. Презрительное невнимание Цицерона ко всему неримскому, к покоренным и побежденным, к нищете и неустроенности, к «затолканным и немощствующим» делало его учение все более архаическим, жестким и безжизненным. Он верил в разум и слово, но лишь в такие, для которых предосудительным был всякий аффект несогласия с существующим, брезгливо презираемым — всякое «нет» несправедливому миропорядку, безобразным — всякое отчаяние, не укладывающееся в размеренные периоды ораторской речи. Культура государства и слова подразумевали искусственную гармонизацию социальных противоречий, защиту устоявшейся несправедливости, безразличие к человеку, который не родился сенатором или всадником, не учился в Греции, не возлежал с друзьями в открытом на море беломраморном зале загородной виллы. В цicerоновской культуре слова чем дальше, тем больше проступала связь ее с обеспеченностью и досугом, которых были лишены растущие массы, с угнетением и насилием, которым эти массы подвергались, и это делало ее неправым и несправедливым, морально уязвимым делом. Эту сторону творчества Цицерона первыми открыли и никогда не могли ему простить ранние христиане, а вслед за ними и многие позднейшие выразители стихийного плебейского протеста против культуры как привилегии обеспеченного меньшинства.

Потомки увидели, однако, в учении Цицерона и другие стороны. Тот факт, что общественный идеал Цицерона был связан с принципом диалога и тем самым со словом, привлекал к нему особое внимание гуманистов Возрождения. По их собственным признаниям, именно из сочинений Цицерона — прежде всего из поздних философских диалогов — вывели они свое представление о том, что истина складывается из столкновения и взаимодействия мнений, что в выработке ее участвуют люди — самостоятельные, разные и многие, что она есть не данность, а процесс и становление и потому всегда противоположна догме. «Какую бы философию ни исследовал и ни защищал Цицерон, он всегда делал ее предметом обсуждения, и это прекрасно», — писал видный итальянский гуманист XV века Лоренцо Валла. «Нет теории, секты или человека, которым я был бы предан так, чтобы не отказаться от них, если я обнаружил истину», — признавался Петрарка и добавлял, что научился этому у Цицерона.

Такое понимание истины делало важным ее критерием убедительность, точность и яркость аргументации, другими словами, ставило ее в связь с совершенством словесного изложения. «Кто не думает о красоте речи, уродует ее суть», — говорил знаменитый у современников немецкий гуманист Меланхтон. Своим наставником и в этой области писатели Возрождения признавали Цицерона, и благодаря такому взгляду на него сумели открыть глубокие и непреходящие стороны его учения.

Речь была для Цицерона воплощением и выражением человеческого начала в его противоположности началу животному. «Какая другая сила могла собрать разбросанных людей в одно место и привести их от дикости и грубости к нынешнему состоянию культуры, одновременно человеческой и гражданской?» По его мнению,

человек связан с согражданами своей способностью убеждать их, то есть делать свое обращение к ним ярким и волнующим, страстным и живым, а общество способно воспользоваться разумом, талантом и энергией своих членов благодаря восприимчивости к такой речи. Слово поэтому играет очеловечивающую роль в силу своей эстетической природы и в меру своего эстетического качества. Быть человеком — значит, владеть словом, общественно действенным и потому художественно совершенным. Свою функцию оратора как гражданина и художника человек может выполнить лишь при том условии, что он пользуется как материалом творчества исторически сложившимся, общенародным языком, внятным всем. Цицерон неодобрительно относился к многочисленным риторическим течениям своего времени, так как улавливал в них нечто общее — гипертрофию личного вкуса, кокетливую игру со словом, неуважение к объективности языка, к отразившемуся в нем бытию и истории народа. Риторическим манерам современного красноречия с их крайностями он предпочитал некоторый «средний стиль» и говорил, что «весь наш язык основан на представлениях народа».

Он, таким образом, снова и снова возвращался к преследовавшей его всю жизнь идее — идее противоречивого и неразрывного единства человека и общества. Гуманисты Возрождения обнаружили, что такое единство было для него не только нравственной нормой государственного и политического развития и не только философским тезисом — оно было также связано с художественной природой языка. В искусстве слова индивидуальность, труд, вдохновение, вся сложность личного сознания и все богатство таланта становились для Цицерона актом общественным, обращением к людям как к современникам, согражданам, единомышленникам и как к людям, способным к разумному общению, восприимчивым к совершенству и красоте речи, чутким к голосу художника и потому противопоставленным хаотическому, дочеловеческому и внечеловеческому началу жизни.

Г. Кнабе

РЕЧИ

В ЗАЩИТУ СЕКСТА РОСЦИЯ АМЕРИЙЦА

2

3

1. (1) Я понимаю, что вы удивляетесь, судьи. Как? Столько славнейших ораторов и знатнейших мужей остаются сидеть, а поднялся с места всего-навсего я, — я, которого ни по летам, ни по способностям, ни по влиянию нельзя и сравнить с сидящими рядом. Все они, кого видите здесь, полагают в нынешнем деле необходимым, чтобы несправедливости, порожденной неслыханным преступлением, противостояла защита, но сами защищать не решаются из-за превратностей времени. Вот и выходит, что они присутствуют, следуя долгу, но молчат, избегая опасности. (2) Что же? Я всех смелее? Ничуть. Или настолько вернее долгу, чем прочие? Да нет, и к этой славе я не так жажду, чтобы мне захотелось урвать ее у других. Так что же меня побудило, всех опережая, принять на себя дело Секста Росция? Вот что. Если бы речь произнес кто-нибудь из самых влиятельных и сановитых мужей, то, коснись он хоть словом положения дел в государстве, — а без этого в нынешнем разбирательстве не обойтись, — было бы услышано гораздо больше, чем сказано. (3) Ну, а если все, что следует высказать, откровенно выскажу я, то я им не ровня, и моя речь не разнесется повсюду, не разойдется из уст в уста. Затем, ничто сказанное другими не может не быть замечено при их знатности и влиятельности, а сказанное опрометчиво не может найти снисхождения при их летах и искушенности. Ну, а если моя откровенность немного превысит меру — это либо останется неизвестным, потому что я еще не вступил на

поприще дел государственных, либо будет извинено, может статься, моею молодостью; хотя, впрочем, не только поводов к извинению, но даже расследований по обвинению не хотят уже знать у нас в государстве. (4) Есть и еще причина: обращенные к прочим просьбы о речи были, видимо, таковы, что те полагали возможным, не нарушая долга, поступить так ли, иначе ли; меня же весьма настоятельно просили такие лица, которых и дружба, и благодеяние, и достоинство имеют наибольшую власть надо мной: чьею благосклонностью не подобало мне гнушаться, чьим весом — небрежь, о чьих желаниях не радесть. II. (5) Вот по каким причинам и стал я защитником в нынешнем деле — не единственный выбранный, но последний оставшийся; кто не с наибольшим блеском, но с наименьшей опасностью мог бы произнести речь; не для того, чтобы был обеспечен Секст Росций достаточно крепкой защитой, но для того, чтобы не оказался он вовсе покинут.

Вы, наверное, спросите, кто это пугало, что за такое страшилище, которое не пускает таких — и стольких — мужей отдался привычному делу: защите жизни и достояния ближнего. То, что вы до сих пор в неведение, неудивительно — ведь обвинители с умыслом не назвали предмета, ради которого и затеян нынешний суд. (6) Какой же это предмет? Имена отца вот этого Секста Росция — цена им шесть миллионов сестерциев, и их-то купил, как он и сам говорит, всего за две тысячи у знаменитого доблестнейшего Луция Суллы, чье имя я произношу с уважением, человек весьма юный, но ныне могущественнейший в нашем городе — Луций Корнелий Хрисогон. И вас, судьи, просит он вот о чем: поскольку уже он вторгся без всякого права в чужое имущество, такое богатое и превосходное, и поскольку теперь уже сама жизнь Секста Росция ему видится препятствием и преградой обладанию этим имуществом, — постольку желает он, чтобы вы истребили в его душе всякое беспокойство, изгнали бы из нее всякое опасение. Он не мыслит возможности владеть отчиной этого невинного, столь обширной и столь обильной, если тот останется невредим, — но если тот будет приговорен и убран, он надеется расточить мотовством, что приобрел преступлением. Вот он и просит о том, чтобы вы извлекли из его души эту маленькую песчинку, которая ночью и днем ее нудит и мучит; чтобы пособничество этой корысти, такой незаконной, вы открыто приняли б на себя.

4

(7) Если и справедливой и честной кажется вам эта просьба, то я, со своей стороны, заявляю другую — краткую и, как я убежден, несколько более справедливую. III. Во-первых, от Хрисогона я бы хотел, чтобы он удовольствовался нашим именем и состоянием, а крови и жизни не домогался; во-вторых, от вас, судьи, хочу, чтобы вы воспротивились наглости лиходеев, облегчили бы бедствия невинных и в деле Секста Росция отразили б опасность, какая нависла над всеми. (8) А если обнаружится повод ли к преступлению, подозрение ли в том, что оно совершилось, да, наконец, любое самое малейшее обстоятельство, какового обстоятельства ради могло б показаться, что противная сторона, возбуждая преследование, строила дело не вовсе из ничего, — словом, если хоть что-то сумеете вы найти в этом деле, помимо названной мною корысти, — не возражаю: пусть жизнь Секста Росция будет выдана прихоти вожделеющих. Но если единственная цель разбирательства — не отказать в чем-нибудь тем, кому всего мало, если сегодня здесь бьются только из одного, чтобы к упомянутой обильной и славной добыче добавить для полноты еще осуждение Секста Росция, то среди стольких низостей разве не худшая низость — увидеть в вас подходящих людей, чьим скрепленным присягою приговором можно добиться того, чего прежде добивались привычно и без всякой помощи оружием и преступленьем? Ведь вы избраны из граждан в сенат за заслуги, из сената в этот совет за строгость! И вот от кого

требуют головорезы и гладиаторы, чтобы им не только избежать той кары, которой за злодеяния они должны от вас ждать со страхом и трепетом, но еще и уйти из суда в красе и под грузом доспехов, содранных с трупа?!

IV. (9) Понимаю, что о подобных вещах, столь значительных и таких страшных, не могу я ни говорить достаточно складно, ни скорбеть достаточно величаво, ни роптать достаточно вольно. Ибо складности речи помеха — слабое дарование, величавости — лета, вольности — время. Добавлю еще, что глубокую робость вселяют в меня и природная совестливость, и сан ваш, и сила противников, и опасности, грозящие Сексту Росцию. Оттого-то я, судьи, молю вас и заклинаю: слушайте речь мою и внимательно, и без недоброй придирчивости. (10) Понимаю также, что, обнадеженный честностью вашей и мудростью, я принял на плечи больше, чем в силах нести. Бремя это, если хоть в чем-нибудь вы мне поможете, я понесу, как сумею, с ревностью и рачением; если же я, хоть того и не жду, буду вами покинут, то духом все-таки не ослабну и взятое на себя пронесу, сколько выдержу. Ну, а если до цели донести не сумею, предпочту изнемочь под тяжестью долга, нежели то, что было мне вверено, предательски бросить или малодушно сложить.

(11) К тебе тоже, Марк Фанний, обращаюсь я с убедительной просьбой: каким ты явил себя римскому народу уже в прежние времена, когда довелось тебе ведать того же рода судами, таким же предстань перед нами и всем государством сегодня. V. Как много людей собрал сюда суд, ты видишь; каковы всеобщие чаянья, тоска по крутым и строгим судам, понимаешь. После долгого перерыва впервые творится вновь этот суд по делам об убийстве, а кровавых дел между тем было много — самых страшных и вопиющих. Все с надеждою ожидают, что этот суд под твоим председательством станет именно тем, к какому взывают неприкрытые злодеяния и каждодневные смертоубийства.

(12) Привычные восклицания, всегда повторяемые в судах обвинителями, повторяем сегодня мы, кто в ответе. От тебя, Марк Фанний, от вас, судьи, домогаемся мы, чтобы вы по возможности круче карали за преступления, чтобы вы по возможности тверже сопротивлялись людям предерзким, чтобы вы помнили: если в сегодняшнем деле не явите ваш образ мыслей, то все захлестнут и алчность людская, и злоба, и наглость — тогда уж не только что тайно, но здесь, на форуме даже, перед судейским креслом твоим, Марк Фанний, прямо меж скамьями будут резать людей. (13) Чего же еще ищут здесь от суда, как не того, чтоб такое было позволено? Обвиняют те, кто вторгся в чужое имущество, — в ответе тот, кому ничего не оставили, кроме бедствий; обвиняют те, к чьей выгоде было убить Секста Росция, — в ответе тот, кому не скорбь одну принесла смерть отца, но и нищету; обвиняют те, кто очень хотел прикончить самого обвиняемого, — в ответе тот, кто даже на нынешний суд явился с охраной, чтобы не быть умерщвленным у вас на виду; короче, обвиняют те, кого требует к ответу народ, — и ответе тот, кто один ускользнул от них, гнусных убийц. (14) И вот, судьи, чтобы легче могли вы понять, насколько само происшедшее сильнее вопиет, чем эти мои слова, мы расскажем вам все по порядку: с чего началось это дело, и как оно шло; так легче нам будет понять и злосчастное положение невиннейшего этого человека, и наглость его противников, и бедственное состояние государства.

5

VI. (15) Секст Росций, отец здесь присутствующего, принадлежал к городской общине Америк; родовитость, высокое положение, богатство предоставляли ему очевидное первенство не в одном своем городке — во всей округе, и со знатнейшими людьми соединяли его связи дружбы и гостеприимства. Да, у Метеллов, Сервилиев, Сципионов (эти дома я называю, как подобает, с уважением и почитанием) он не просто

был принят, но как человек свой и близкий. И вот из всех жизненных благ только это одно и оставил он сыну: отторгнута отчина, захваченная разбойниками из родичей, но доброе имя и жизнь невинного — под защитой отцовских друзей и гостеприимцев. (16) Всегдашний приверженец знати, Секст Росций и в этой последней смуте, когда достоинство и благополучие всех знатных людей оказались в опасности, держит их сторону, ревностнее любого в здешней округе отстаивая их дело трудами, усердием, влиянием. Ведь он находил справедливым сражаться за почет и достоинство тех, кому был обязан почетнейшим местом между своими. После того как победа была решена и мы отложили оружие, когда выставляются списки опальных и по всему краю хватают тех, кого числят в недавних противниках, Росций-отец часто ездит в Рим, постоянно бывая на форуме, находясь на виду у всех, так что любому становится ясно — он радуется победе знатных, а не ждет от нее для себя какой-то беды.

(17) У него были давние нелады с двумя америйскими Росциями, из которых один, вижу, сидит на скамьях обвинителей, другой, слышу, владеет тремя поместьями Секста Росция. Да, умей он так же беречься этой вражды, как привык он ее страшиться, — был бы и посейчас жив. Ибо страшился он, судьи, не без причины — такие уж люди помянутые два Тита Росция (отсутствующему прозвание Капитон, а который здесь — это Магн): того знают как бывалого и преславного гладиатора, нахватавшего много победных наград, а этот недавно лишь поступил к нему в обучение и, оставаясь до последнего боя, насколько я знаю, еще новичком, легко превзошел самого наставника в дерзости и преступности. VII. (18) И впрямь, — когда вот этот Секст Росций находился в Америке, а этот Тит Росций в Риме — ведь первый пребывал безотлучно в имениях, всецело отдавшись по воле отца хозяйству и деревенской жизни, а второй был в Риме своим человеком, — у Паллацинских бань был убит возвращавшийся с пира Секст Росций отец. Надеюсь, и так уже не загадка, на кого может пасть подозрение в злодеянии; но если сами обстоятельства дела не превратят подозрение в очевидность, то можете Росция-сына считать причастным к убийству.

6

7

(19) О гибели Секста Росция первым принес в Америю весть некто Маллий Главций — небогатый вольноотпущенник, зависимый человек и дружок вот этого Тита Росция; и принес он ее не в сыновний дом, но в дом недруга, Капитона, и, хоть убийство произошло во втором часу ночи, уже с рассветом вестник прибыл в Америю. За десять ночных часов пятьдесят шесть миль он пролетел, меняя запряжки, чтобы не просто первым принести Капитону желанную весть, но чтобы показать ему вражью кровь еще свежей и клинок, недавно лишь извлеченный из тела. (20) На четвертый день после этих событий доносят о происшедшем в лагерь Луция Суллы под Волатеррами Хрисогону; ему разъясняют, сколь велико состояние, как прекрасны имения (ведь Росций оставил тринадцать поместий и почти все над самым Тибром); напоминают о незащитности и беспомощности наследника; объясняют, что если отец, Секст Росций, человек такой именитый, такой влиятельный, был без труда уничтожен, то еще легче будет избавиться и от сына, простоватого, деревенски неловкого, неизвестного в Риме; обещают сами о том постараться. Короче, судьи, — товарищество составляется.

8

VIII. (21) Хотя объявлений об опале никаких уже больше не делалось, хотя даже те, кто раньше боялся, теперь возвратились и почитали себя уже вне опасности, имя ревностнейшего приверженца знати — Секста Росция — вставляется в списки опальных; распоряжение всем делом берет на себя Хрисогон; три имения, притом самых лучших, передаются в собственность Капитону, который владеет ими поныне; на

все прочее достояние атаку ведет наш Тит Росций, действуя, как он и сам говорит, от имени Хрисогона. Это имущество, оцениваемое в шесть миллионов сестерциев, покупается за две тысячи. Все это, судьи, было сделано без ведома Луция Суллы — я знаю наверняка. (22) Немудрено, ведь он вместе и врачует упущения прошлого, и распоряжается предстоящим, ведь он один обладает умением учредить мир и властью вести войну, ведь все смотрят на одного и один правит всем, ведь столько дел у него и таких, что некогда перевести дух, — так удивительно ли, если он где-то недоглядит! Тем более что множество глаз высматривает, чем он занят, — многие ловят миг, чтобы он отвернулся, а они бы принялись за свое. К тому же, хоть он и недаром Счастливым, никто ведь не счастлив настолько, чтобы среди множества домочадцев не иметь ни раба нечестного, ни отпущенника.

(23) Между тем наш Тит Росций, благонамереннейший человек, поверенный Хрисогона, прибывает в Америю; он вторгается в имения этого вот горемычного — его самого, убитого скорбью, не успевшего даже отдать положенный долг отцовскому праху, тут же выбрасывает раздетым из дому, отлучая от домашних богов и отеческого очага, а сам делается хозяином несметного состояния. Как водится, кто своего не имел, — в чужом хищник: многое он открыто перетаскивает к себе, еще больше припрятывает потихоньку, немало раздаривает широко и щедро своим подручным, оставшееся продает с торгов.

9

10

[Постановление.]

IX. (24) Это так оскорбило чувства всех америциев, что они не сдерживали ни слез, ни вздохов. Слишком многое сразу проходит перед их взором: жесточайшая смерть Секста Росция в расцвете преуспевания; оскорбительнейшая нищета его сына, которому из всей отчины этот безбожный разбойник не оставил даже тропки к отцовской могиле; грязное дело с покупкой имений, хозяйничанье, раскрадыванье, растаскиванье, раздариванье. Не было человека, который не пошел бы на что угодно, только б не видеть, как Тит Росций, бахвалясь, распоряжается в добре Секста Росция, человека благородного и достойнейшего. (25) Немедленно принимается постановление декурионов, чтобы десять старейшин отправились к Луцию Сулле, рассказали б ему, каков человек был Секст Росций, пожаловались бы на преступления беззаконников, просили б спасти и доброе имя погибшего, и достояние его безвинного сына. Вот оно, это постановление, прошу, ознакомьтесь. Послы являются в лагерь. Тут-то, судьи, становится ясным, что эти постыдные преступления, как я уже говорил, совершались без ведома Луция Суллы. Ведь Хрисогон и сам немедля выходит к послам и подсылает к ним знатных людей с просьбами не обращаться к Сулле и с заверениями, что все желаемое будет сделано им, Хрисогоном. (26) И настолько он был перепуган, что легче бы умер, чем позволил Сулле узнать об этих вещах. Послы, люди старого склада, такими же воображавшие и остальных, не могли не поверить, когда Хрисогон подтвердил им, что сам исключит из списков имя старшего Секста Росция, а имения освобожденными передаст его сыну; когда еще и Тит Росций Капитон, входивший в число десяти послов, со своей стороны, поручился, что все так и будет. Не доложивши о деле, послы вернулись в Америю. А те сперва стали изо дня в день тянуть и откладывать, потом, успокаиваясь понемногу, открыто бездействовать, издеваться и, наконец, понятное дело, готовить гибель сидящему здесь Сексту Росцию, не надеясь и дальше владеть чужим состоянием, куда хозяин еще невредим.

11

X. (27) Как скоро Секст Росций это почувствовал, он по совету друзей и родных

скрылся в Рим, где обратился к доброй знакомой отца, Цецилии, сестре Непота, дочери Балеарского, имя которой я называю здесь с уважением. В этой женщине, судьи, словно бы в образец, жива верность старинному чувству долга. Она Секста Росция, беспомощного, выброшенного из дому и выгнанного из имений, скрывающегося от разбойничьих стрел и ловушек, приняла к себе в дом и, чтя узы гостеприимства, поддержала в беде, когда все от него уже отступились. Ее мужеству, верности и заботливости обязан он тем, что все-таки оказался живой под судом, а не мертвый в списке опальных.

(28) Ибо, после того как преследователи поняли, что жизнь Секста Росция под охраной и убить его невозможно, ими обдуман был замысел, полный злодейства и дерзости: они-де предъявят Сексту Росцию обвинение в отцеубийстве; они подыщут бывалого обвинителя, который сумел бы сказать что-нибудь по такому делу, где даже для подозрения не было б повода; они в конце концов, и при слабости обвинения, найдут оружие в самой нынешней обстановке. Вот что за речи вели эти люди: «Поскольку суды так долго не заседали, тому, с чьего дела начнут, осуждения не миновать; заступников у этого человека не будет — слишком силен Хрисогон; о продаже имений и составившемся товариществе никто не обмолвится словом; само название отцеубийцы, чудовищность обвинения даст возможность легко уничтожить оставшегося без защиты». (29) Побужденные этим замыслом, а лучше сказать — ослеплением, они передали того, кого сами при всем желании убить не смогли, для заклания вам.

12

13

XI. О чем же мне раньше взывать? Или откуда начать свою речь? Какой или чьей просить помощи? Бессмертных богов или римский народ молить о заступничестве? Или вас, от которых сейчас все зависит? (30) Отец злодейски убит, дом в руках у врагов, добро отнято, присвоено, разворовано, жизнь сына в опасности, не раз на нее покушались, нападая или подстерегая. Какого, кажется, преступления нет в этой груде мерзостей? И все ж на нее громоздят венчающее ее злодеяние: сочиняют немислимое обвинение; нанимают на деньги несчастного свидетелей и обвинителей; ставят его перед выбором: склонить ли шею под нож Тита Росция или кончить жизнь зашитым в мешок — позорнейшей казнью. Заступников у него не будет, рассчитывали враги. Их и нет. Но, как видите, судьи, есть человек, готовый все говорить открыто, готовый защиту вести добросовестно, а в нынешнем деле большего и не надо. (31) И, может быть, соглашаясь взять на себя это дело, я по молодости лет поступил опрометчиво; но раз уж взялся я за него, то пусть отовсюду грозят все опасности, пусть все ужасы обступают меня, даю слово, не отступлюсь, не оставлю. Обдуманно и решено: все, что кажется мне относящимся к делу, я скажу; и не просто скажу, но охотно, смело, открыто; нет такой вещи, судьи, чтобы смогла заставить меня повиноваться страху скорее, чем долгу. (32) Ибо кто же настолько бездушен, чтобы, видя такое, смолчать и не возмутиться. Отца моего, который не был опальным, вы умертвили, убитого занесли в списки, меня силой прогнали из моего дома, отчиной моей завладели. Чего вам еще? Не явились ли вы с оружием даже к судейским скамьям, чтобы Секст Росций либо зарезан был здесь, либо приговорен?

14

15

16

XII. (33) Был недавно у нас в государстве такой человек — Гай Фимбрия, из наглейших наглейший и буйнопомешанный, на чем сходятся все, кроме тех, кто

помешан и сам. Его стараниями на похоронах Гая Мария был ранен Квинт Сцевола, совесть и украшение нашего государства, муж, о заслугах которого здесь не место распространяться, да и не скажешь о них больше, чем помнит римский народ. А когда Гаю Фимбрию сообщили, что ранение не смертельно, он вызвал Сцеволу в суд. И спрошенный, в чем же в конце концов намерен обвинить он того, кому даже хвалу воздать в достойных предмета словах никто не сумел бы, этот человек, говорят, как и подобало бешеному, ответил: «В том, что не весь клинок принял телом». Ничего более удручающего и незаслуженного не видел римский народ, кроме разве смерти того же Сцевола, поразившей всех граждан глубокой печалью, — ведь он был убит именно теми людьми, которых хотел спасти замирением. (34) Не слишком ли схож наш сегодняшний случай с этими поступками и разговорами Фимбрии? Вы обвиняете Секста Росция. Но почему? Потому что из ваших рук ускользнул, потому что убить себя не позволил. Да, вчерашнее сильнее возмущает из-за того, что жертвой был Сцевола, но сегодняшнее: неужели терпеть из-за того, что нападающий — Хрисогон? Так — во имя бессмертных богов! — где в этом деле такое, чему потребна защита? Какой раздел вызывает к находчивости защитника или не может обойтись без искусства оратора? Все дело, судьи, мы развернем перед вами и, представив вашему взору, подробно рассмотрим; так легче поймете вы, в чем вся суть настоящего разбирательства, и о чем надлежит говорить мне, и на что следует обратить внимание вам.

XIII. (35) Три вещи сейчас, насколько могу я судить, — против Секста Росция: выставленное противниками обвинение, дерзость, могущество. Обвинение взялся измыслить выступивший здесь перед вами Эруций; дерзость составила долю, истребованную для себя Росциями; ну, а Хрисогон, который больше всех может, бьется могуществом. Об этих-то всех вещах, понимаю, и должно мне говорить. (36) Но как? Не равно обо всех, потому что первая — дело мое, а забота о двух остальных возложена римским народом на вас. Моя задача — разбить обвинение: но восстать против наглости, а главное, подавить и искоренить пагубное и нестерпимое могущество подобного рода людей — это ваш долг.

(37) Убийство отца — вот в чем обвиняют здесь Секста Росция. Преступнейшее, — о боги! — чудовищнейшее беззаконие, злодеяние, совмещающее в себе, кажется, все преступления! Ведь если, как превосходно сказано мудрецами, нередко и выраженьем лица можно нарушить сыновний долг, то какая казнь, достаточно злая, может изыскана быть для того, кто смертельный удар направил в родителя? За которого, если понадобится, умереть обязывают законы божеские и человеческие! (38) Говоря о таком злодеянии, столь черном, столь исключительном, которое и случается-то так редко, что его, если вдруг услышат о нем, почитают почти что за страшное знаменье, какими, Эруций, ты думаешь, доводами должен располагать обвинитель? Не обязан ли он показать и исключительную дерзость того, кому предъявлено обвинение, и дикий нрав, и разрушительные наклонности, и жизнь, отданную всевозможным постыдным порокам, и, наконец, гибельное для него самого разложение и растление всего существа. А ты ничего подобного — даже просто ради попрека — не приписал Сексту Росцию.

XIV. (39) Отца убил он, Секст Росций. — Каков же он человек? Мальчишка развратный и соблазненный негодниками? — Ему уж за сорок. — Видно, старый головорез, лихой человек, убивать ему не впервые? — Нет, и такого вы не слыхали от обвинителя. — Ну так, конечно, роскошная жизнь, непомерность долгов, неукротенные страсти толкнули его к преступлению? — Насчет роскошной жизни Эруций его обелил, сказав, что, пожалуй, ни разу он не был ни на какой пирушке. Долгов не имел никогда никаких. Страсти — откуда им быть у того, кто (чем попрекнул его сам обвинитель) безвыездно жил в деревне, только и делал, что

обрабатывал землю? Такая жизнь дальше всего от страстей и неразлучна с сознанием долга. (40) Так что ж довело Секста Росция до такого отчаянного неистовства? Отец, говорят нам, его не любил. Отец не любил? А причина? Ведь она должна быть справедливой, и важной, и всем очевидной. Ибо, как невозможно поверить тому, что смертельный удар был сыном направлен в отца без многочисленнейших и важнейших причин, точно так же неправдоподобно, чтобы отцу был сын ненавистен опять-таки без причин, многих, важных и непреложных. (41) Что ж, возвратимся к тому, о чем уже говорили, и спросим: каким же пороком был мечен единственный сын, чтобы внушить отцу нелюбовь? Да выходит, что никаким! Так, значит, был сумасбродом отец, ненавидевший без причины свое порождение? Да нет, его ум отличался твердостью и постоянством. Ну вот, мы и видим, что если не был ни сумасбродом отец, ни сын конченным человеком, то не было и причины — ни у отца для ненависти, ни у сына для преступления.

XV. (42) «Не знаю, — заявляет наш обвинитель, — что ненависти было причиной, но вижу, что ненависть существовала — ведь прежде, имея двоих сыновей, Росций-отец хотел, чтобы тот, другой, ныне умерший, всегда находился при нем, а этого он сослал в деревню». С тем, обо что спотыкался Эруций в злонамеренно вздорной своей обвинительной речи, с тем же приходится управляться и мне при защите самого правого дела. Он не находил ничего в подкрепление вымыслу, а я не могу доискаться, как оспаривать и опровергать этакое пустословие. (43) Ну что говоришь ты, Эруций? Это ради ссылки, это в наказание передал сыну отец столько имений, таких прекрасных, таких доходных, чтобы он их возделывал и обрабатывал? Вот как? А разве, имея детей, отцы семейств, тем более такого сословия, из земледельческих городков не почитают самым для себя желанным, чтобы их сыновья как можно усердней занимались хозяйством, как можно больше трудов отдавали бы земледелию? (44) Или Росций-отец отослал сына с тем, чтобы тот, пребывая в деревне, только кормился бы при поместье, а всяческих благ был лишен? Вот как? А если известно, что он не только вел все хозяйство имений, но что при жизни отца иные из них были выделены ему в постоянное пользование, то неужели все-таки ты назовешь подобную жизнь деревенским изгнанием, ссылкой? Видишь, Эруций, как рассужденья твои к делу совсем не идут и сколь далеки от истины. То, что в обычае у отцов, ты превратно толкуешь как нечто особенное; то, в чем сказывается доброжелательство, ты оборачиваешь худым как проявление ненависти; то, чем отец пожаловал сына, ты выставляешь сделанным в наказание. (45) И не то, чтоб ты этого не понимал — просто не на чем строить тебе обвиненье, и не только что против нас ты готов говорить, но против природы вещей, и против людского обычая, и против всеобщего мнения.

17

XVI. Но все же, имея двоих сыновей, он одного ведь не отпускал от себя, а другого оставлял жить в деревне... — Послушай, Эруций, и не прими за обиду: не в укор ведь тебе говорю — в назиданье. (46) Если судьба отказала тебе в достоверном отце, чтобы ты мог ощутить на себе и представить отцовские чувства, то уж природа не отказала, наверное, в том, чтобы ты был таким же, как все, человеком; вдобавок, ты и учен, чтобы не быть чуждым, но крайней мере, изящной словесности. Так давай перейдем к примерам из сочинителей. Разве, по-твоему, тот старик из Цецилия меньше ценит Евтиха, деревенского сына, чем Херестрата, другого (помнится, так их зовут)? Или из них одного в городе держит отец при себе чести ради, а другого в деревню сослал в наказанье? (47) Ты спросишь: «Зачем отвлекаешься, к чему этот вздор?» Как будто мне было бы трудно назвать поименно сколь угодно многих, чтобы не идти далеко, моих земляков или соседей, которые страстно желают видеть любимых детей при земле

домоседами. Но пользоваться именами знакомых людей некрасиво, мы ведь не знаем, хочется им того или нет; да и никто не будет вам лучше знаком, чем помянутый Евтих, а для дела, конечно, вполне безразлично, назову ли я юношу из комедии или какого-нибудь человека из вейской округи. Ведь поэты, я думаю, для того-то и сочиняют такое, чтобы мы в чужих лицах имели перед глазами воспроизведение наших собственных черт, напечатленный образ вседневной жизни. (48) Ну, а теперь, если угодно, оборотись к действительности и посмотри хорошенько, какие занятия — и не в Умбрии только или с ней по соседству, но и в здешних старинных городках, — всего более одобряемы бывают отцами семейств. Тут-то наверняка тебе станет понятно: не имея, о чем говорить, ты в укор Сексту Росцию произнес высочайшую ему похвалу.

XVII. Да и вообще такие занятия — дело не только детей, выполняющих волю отца; я, как, наверное, всякий из вас, знаю многих и многих, кто не только душой прилежит трудам земледельца, но ту самую деревенскую жизнь, какая, по-твоему, должна служить к поношению и обвинению, считает и наиболее честной, и наиболее сладкой. (49) Ну, а что думаешь ты о самом Сексте Росции, сколь пристрастен он к деревенским трудам, как сведущ он в них? От сидящих здесь его близких — этих почтенных людей — я слышу, что не так искушен ты в обвинительском ремесле, как он в своем деле. Впрочем, мне кажется, что по прихоти Хрисогона, который ни одного поместья ему не оставил, Секст Росций будет теперь свободен и умение потерять, и пристрастие позабыть. Хоть такое и горько и незаслуженно, он, судьи, вынесет это спокойно, если благодаря вам сохранит себе жизнь и доброе имя. Другое невыносимо: то, что ему, уже попавшему в эту беду из-за слишком хороших и слишком многих имений, само усердие, с каким он над ними трудился, всего сильнее и повредит; будто мало ему того горя, что трудами его нажились другие — не он, — нет, и сами труды будут ему вменены в преступление!

18

XVIII. (50) А ты, Эруций, оказался б смешным обвинителем, если родился бы в те времена, когда избираемые на консульство призывались прямо от плуга. Полагая зазорным занятие сельским хозяйством, ты самого Ахилия, который посланцами найден был сеющим собственноручно, конечно, почел бы презреннейшим негодяем. Но наши предки, право, вовсе не думали так ни о нем, ни о других таких же мужах, и вот оставили нам государство из малейшего и беднейшего величайшим и процветающим, — оттого что они усердно возделывали собственные поля, а не тянулись жадно к чужим, и потому-то пополнили землями, городами, народами государство и нашу державу, возвеличили имя народа римского. (51) И не затем я веду речь о подобных вещах, чтобы сравнивать их с разбираемым делом, но ради того, чтобы стало понятным, что если у наших предков самые сановитые мужи, самые знаменитые люди, чей долг быть всегда при кормиле правления, уделяли все же довольно времени и трудов земледелию, то этому человеку, который готов признать себя селянином, следует извинить безотлучную жизнь в деревне, тем более что ничем он лучше не мог ни отцу угодить, ни себя усладить, ни впрямь заслужить себе чести.

19

(52) Сильнейшая, стало быть, ненависть отца к сыну, Эруций, обнаруживается, как видим, в том, что отец оставлял его жить в деревне. Или есть еще что-нибудь? «О, конечно же, есть, — говорят нам, — ведь отец собирался оставить его без наследства». Внимаю; наконец, ты добрался до дела, а то, сам согласишься, — одни пустяки да несообразности. — «Он не бывал с отцом на пирушках». — Понятно — он даже в городок-то не наезжал, разве что изредка. — «Он и зван не бывал, почитай, ни к кому». — И неудивительно — в Риме он не жил, в ответ звать не мог. XIX. Нет, все это, ты

понимаешь и сам, смехотворно; рассмотрим же то, с чего начали, — свидетельство ненависти, сильнее которого не найти. (53) «Отец помышлял о том, чтобы лишить сына наследства». — Не спрашиваю о причине, спрашиваю: откуда знаешь? Хотя тебе следовало бы и причины все привести и исчислить; ведь и это — обязанность настоящего обвинителя, когда он обличает столь тяжкое преступление, разъяснить все пороки и прегрешения сына, разъярившись которыми, мог отец довести себя до того, чтобы даже природу — и ту превозмочь, чтобы любовь, глубоко вкорененную в душу, оттуда исторгнуть, чтобы прямо забыть, что он есть отец; нет, не случится такое без тяжких сыновних грехов — подобной возможности не допускаю. (54) Но уступаю тебе: обходя все это молчанием, значит, и ты признаешь, говорить здесь не о чем. Зато свое «собирался лишить наследства» ты, конечно, обязан превратить в очевидность. Так что ж ты приводишь, чтобы мы поверили в это? Правды сказать никакой ты не можешь, — ну, по крайности, выдумай что-нибудь подходящее. Лишь бы не показалось, что ты просто делаешь то, что и делаешь неприкрыто, — глумишься над злосчастьем этого горемычного и над саном этих достойных людей. «Хотел сына лишить наследства». Да по какой же причине? «Не знаю». А лишил? «Нет». Да кто ж воспрепятствовал? «Он помышлял». Помышлял? А кому же сказал? «Никому». Да как же еще можно из корысти и прихоти злоупотреблять и судом, и законами, и вашим саном, если не обвиняя подобным вот образом, если не бросаясь попреками, подтвердить которые ты не только не можешь, но даже и не пытаешься. (55) Нету никого среди нас, кто не знал бы, Эруций, что вражды у тебя с Секстом Росцием нет никакой; все понимают, почему ты приходишь сюда его недругом; знают — его же деньгами ты и приманен. И что же? А вот что: ладно, ты был бы корыстолюбив, но ведь не настолько, чтоб забывать об имеющих некую силу суждении этих мужей и Реммиевом законе.

20

21

22

XX. Обвинителей много требуется в государстве, чтобы держать в страхе наглость; они полезны, но до тех только пор, пока не начнут открыто глумиться над нами. Положим, кто-нибудь невиновен, но, хотя в преступлении не замешан, от подозрения не свободен. Прискорбно, конечно, но человеку, который тут выступил бы с обвинением, я еще мог бы это простить. Ведь покуда он что-то имеет сказать, взводя ли вину, возбуждая ли подозрение, нельзя почитать его издевающимся открыто или заведомым клеветником. (56) И вот мы легко миримся с любым множеством обвинителей, потому что безвинный, если он обвинен, может быть и оправдан, тогда как виновный, если не обвинен, осужден быть не может — пусть же лучше будет оправдан судом невинный, чем виновный уйдет от ответа. Гуси, корм для которых подражается государством, и собаки содержатся на Капитолии, чтобы они поднимали тревогу, если явятся воры. Воров различать они не умеют, но тревогу все-таки поднимают, если кто ночью явится на Капитолий, — такое ведь подозрительно! — и оттого-то выходит, они, хоть животные, погрешают разве избыточной осторожностью? Ну, а если среди бела дня, как придет кто-нибудь поклониться богам, стали б лаять собаки, — им, думаю, перебили бы лапы, за то что ретивы даже тогда, когда нету и повода для подозрения. (57) Очень похожее дело и с обвинителями. Один из вас — гуси, что только кричат, но повредить не умеют, другие — собаки, что умеют и лай поднимать, и кусаться. Корм вам дается — мы знаем, — а ваш первый долг бросаться на тех, кто того заслуживает. Это всего угодней народу. Но если вы поведете обвинение так, что сперва объявите — такой-то отца, мол, родного убил, — а потом не сможете рассказать, почему, каким образом, и лишь будете лаять без повода к подозрению, то

ног вам, конечно, не перебьют, но если достаточно знаю я наших судей, ту самую букву, которую вы до того ненавидите, что вам отвратительны даже любые календы, припечатают ко лбу так крепко, что потом никого нельзя будет вам обвинять, кроме собственной злой судьбы.

XXI. (58) Что мне представил ты для опровержения, прекраснейший обвинитель? Что — судьям для пробуждения подозрений? «Он опасался, как бы ему не лишиться наследства». Это я слышу, но почему должен он был опасаться, никто мне не говорит. «Отец имел такое намерение». Дай в этом убедиться. Ничего нет — ни с кем он советовался, ни кого поставил в известность, ни откуда вообще пришло в голову вам подобное подозрение. Этаким образом обвиняя, не говоришь ли ты прямо, Эруций: «Сколько заплачено мне — я знаю, что сказать мне — не ведаю; положился я только на то, что говорил Хрисогон: никакого защитника, мол, у этого человека не будет, о покупке имений и о составившемся товариществе никто не посмеет, по нынешним временам, обмолвиться словом». Вот оно — обольщение, толкнувшее тебя на бесчестное дело: ты, право, не произнес бы и слова, если б думал, что кто-нибудь станет тебе отвечать.

(59) Занятно было смотреть, если вы обратили на это внимание, судьи, как небрежно держался он в своей должности обвинителя. Увидав, что за люди сидят на этих скамьях, он, уж, конечно, осведомился, не собирается ли защищать тот или этот; меня он, понятно, и не заподозрил, ведь я до сих пор ни разу не говорил по уголовному делу. Не выислав никого из умеющих и привычных, он стал так небрежен, что присаживался, когда хотелось, потом начинал расхаживать, иногда даже подзывал мальчишку, — наверное, распорядиться обедом. Как будто в насмешку и над заседанием вашим, и над всеми собравшимися, он вел себя словно в совершенном уединении. **XXII. (60)** Договорив наконец, он сел. Поднялся я. Мне показалось, он облегченно вздохнул, убедившись, что не другой кто. Я начал речь. Он пошучивал и занимался другими делами до тех самых пор — я обратил на это внимание, судьи, — пока я не назвал имени Хрисогона; как только я его помянул, наш обвинитель вдруг выпрямился, — казалось, он был удивлен. Я догадался, что его кольнуло. И во второй раз назвал это имя, и в третий. После этого так и не кончили бегать какие-то люди — отсюда, сюда, — уж наверное, донося Хрисогону, что нашелся среди граждан осмелившийся говорить вопреки его воле; что все иначе идет, чем он думал; что покупка имений выходит наружу, что всю толкуют об их товариществе; что влиянием его и могуществом пренебрегают; что судьи внимательно слушают, что народ негодует. (61) И так как во всем этом ты обманулся, Эруций, так как видишь, что дело принимает иной оборот — за Секста Росция говорят, если и не искусно, то, по крайней мере, открыто; человека, которого, мнил ты, выдадут головой, уясняешь себе, защищают; люди, которые, ты надеялся, предадут, видишь, судят, — покажи нам опять, что не зря когда-то считали тебя изворотливым и неглупым: признайся — явился сюда ты в надежде найти здесь вертеп разбойников, а не суд.

Отцеубийство — предмет разбирательства, но заключение о причине, по какой сын убил отца, обвинителем не представлено. (62) О чем при разборе малейших провинностей и ничтожнейших прегрешений, куда как более частых, почти каждодневных, — самый важный и первый вопрос: о том, какова была причина проступка, об этом Эруций в деле об отцеубийстве спрашивать не находит нужным. А ведь в делах о таком преступлении, судьи, даже совпадение многих согласных между собою причин не берется так просто на веру; и бездоказательной догадкой не решается дело, и ненадежный свидетель не заслушивается, и дарованием обвинителя не определяется приговор. Не только многочисленные прежние злодеяния человека

необходимо должны быть показаны, не только его погибшая в беззакониях жизнь, но прежде всего — исключительная дерзость, да и не просто дерзость, а отчаянное неистовство и безумие. Но пусть даже все так и будет, — этого еще мало — должны быть налицо отпечатлевшиеся следы преступления: где, каким образом, чьими руками, в какое время злодеяние было совершено. А если не многочисленны, не очевидны такие следы, то в столь преступное, столь беззаконное, столь черное дело, конечно, нельзя и поверить. (63) Ибо велика сила естества человеческого, ибо много значит и общность крови, ибо спорит против таких подозрений громкий голос самой природы. Да, несомненно, — это зловещее, страшное знамение, если нашлось некое существо в человеческом образе и обличье, свирепостью пересилившее животных настолько, чтобы того, кто ему самому дал увидеть сей сладостный свет, подло счесть лишним на свете! тогда как даже диких зверей рождение, вскармливание, природная близость привязывают друг к другу.

XXIII. (64) Тому всего несколько лет, говорят, некий таррацинец Тит Целий, человек не безродный, улегся, отужинав, спать в одной комнате с двоими уже возмужалыми сыновьями и был поутру найден зарезанным. Поскольку не отыскался никто — ни раб, ни свободный, которого задевало бы подозрение, а спавшие подле убитого сыновья утверждали, — при их-то возрасте, — что ничего-де даже не слышали, им предъявлено было обвинение в отцеубийстве. Могло ли быть что-нибудь более подозрительным? Ни тот, ни другой не услышал? И кто-то посмел забраться в ту комнату в такое именно время, когда там же были два взрослых сына, которые легко могли и услышать, и дать отпор? Нет, не было больше ни одного человека, на которого ложилось бы подозрение. (65) И все-таки, когда суд удостоверился в том, что юноши были найдены спящими при открытых дверях, они были оправданы приговором, и все подозрения были с них сняты. Ибо никто не верил, что есть хоть один человек, который, поправ нечестивейшим преступлением все божеские и человеческие законы, смог бы тут же уснуть, ведь совершившие подобное злодеяние не только покоиться без забот, но даже дышать без страха не могут.

23

XXIV. (66) Не встают ли пред вами образы тех, кто, как нам рассказывают поэты, умертвил мать, чтобы отомстить за отца, да еще, согласно повествованию, сделал это, повинуясь веленьям бессмертных богов и оракулам; не видите ли воочию, как, невзирая на все, гонят их фурии, как не позволяют ни на мгновение остановиться, за то что священный их долг не мог быть исполнен без преступления? Таков уж, судьи, порядок вещей: великою силой, великою властью, великою святостью обладает отцовская и материнская кровь — если на ком-то ее пятно, не только не может оно быть отмыто, но проникает в самую душу, пробуждая отчаянное неистовство и безумие. (67) Только не думайте, что совершивших какое-нибудь преступное беззаконие так вот точно и гонят, как вы это видите часто на сцене, страшая огнями факелов, фурии. Собственный грех, собственный страх каждого больше всего терзает, собственное преступление каждого гонит, ввергая в безумие, собственные дурные помыслы и нечистая совесть вселяют страх — вот они, фурии для беззаконников, неотвязные и безотлучные, чтобы денно и нощно карать преступнейших сыновей за родителей. (68) Эта чудовищность злодеяния и делает отцеубийство невероятным, если оно не обличится, чуть ли не с очевидностью; если не обнаружится ни распутная юность, ни жизнь, замаранная всяческим срамом, ни мотовство, зазорное и постыдное, ни крайняя дерзость, ни безрассудство, уже недалекое от помешательства, а вдобавок к тому — отцовская ненависть, боязнь родительского наказания, друзья-негодяи, рабы-сообщники, подходящее время, удобное место, выбранное для этого дела. Словом,

прямо-таки руки, забрызганные отцовскою кровью, должны видеть судьи, если от них ожидают, чтобы они поверили в подобное преступление, столь зверское, столь омерзительное. (69) А потому чем меньшего заслуживает оно, если нету улики, вероятия, тем большего, если они налицо, наказания.

XXV. Так вот, не только военною силой, но и рассудительностью, и государственной мудростью предки наши превосходили другие народы, о чем можем мы заключить из многих примеров и, пожалуй, как раз из того, что они изобрели совсем особую казнь для поправших священный сыновний долг. А насколько в этом они оказались предусмотрительней тех, которые почитались мудрейшими у других, посмотрите и разберитесь. (70) Разумнейшим было, рассказывают, государство афинян, покуда властвовало над прочими, а из граждан его самым мудрым, как повествуют, — Солон, тот, что составил законы, действующие у них и поныне. И спрошенный, почему не установлено им никакой кары для тех, кто убил бы родителя, он ответил, что никто, ему думается, такого не сделает. Мудро, говорят нам, он поступил, ничего не постановив о еще небывалом, чтобы не выглядел запрет скорей наущеньем. Но наши предки — насколько те поступили мудрее! Понимая, что нету такой святости, которую не оскорбила бы когда-нибудь наглость, они придумали для отцеубийц ни с чем не сравнимую казнь, чтобы тех, кого не смогла удержать в повиновении даже сама природа, жестокость кары отвратила от злодеяния. Положено было зашивать их живыми в мешок и так сбрасывать в реку.

24

XXVI. (71) Какая несравненная мудрость, судьи! Смотрите. Не был ли ими такой человек изъят, исторгнут из самой природы вещей, вдруг лишенный и воздуха, и солнца, и воды, и земли, чтобы он, умертвивший того, кем сам порожден, не соприкасался ни с одним из начал, как утверждают, все породивших? Не хотели тело выбрасывать диким зверям, чтобы прикоснувшиеся к такой язве животные тоже не сделались кровожадными; не хотели сбрасывать в реку в его наготу, чтобы оно, унесенное током, не осквернило и море, очищающее, как верят, от любой другой скверны; словом, нет ничего столь обычного, столь простого, в чем отцеубийцам была бы оставлена хоть малая доля. (72) Да есть ли еще что, столь общее всем, как ветер живым, земля мертвым, море плавающим, берег выброшенным? А эти живут, пока в силах, но так, что не могут глотнуть вольного воздуха; умирают, но так, что кости их не коснутся земли; носимы волнами, но так, что не омываются влагой; наконец, выброшены на берег, но так, что и на утесах не могут улечься их трупы.

И в таком злодеянии обвиняя, в злодеянии, за которое столь необыкновенная кара, ужели впрямь ты рассчитываешь, Эруций, на доверие наших судей, если даже причины преступления не представишь? Да хоть бы перед самими скупщиками изъятых имуществ ты обвинял Секста Росция, хоть бы сам Хрисогон возглавлял такой суд, и то надо было б тебе прийти туда более подготовленным. (73) Или не понимаешь, о чем разбирается дело, перед кем разбирается? Разбирательство это — об отцеубийстве, каковое без многих причин содеяно быть не может; и перед людьми здравомыслящими идет это разбирательство, которым понятно, что даже ничтожнейшего проступка никто без причины не совершает.

XXVII. Ладно, причину назвать ты не можешь. Хотя тут же победа должна остаться за мной, все-таки я поступлюсь своим правом и уступлю тебе то, чего в другом деле не уступил бы — порукою мне невиновность этого человека. Я не спрашиваю тебя, почему убил Секст Росций отца, — спрашиваю, каким образом он убил. Вот мой к тебе вопрос, Гай Эруций: каким образом? При чем я готов разрешить тебе и такое: можешь, не дожидаясь конца моей речи, мне возражать, или перебивать меня, или даже, если

угодно, расспрашивать. (74) Каким же образом он убил? Сам ли нанес удар или предоставил совершить убийство другим? Если ты утверждаешь, что сам, то он не был в Риме. Если ты говоришь, что при посредстве других, то — рабов или же свободных? Если свободных, то что это были за люди? Из той же Америи или здешние, римские головорезы? Если из Америи, кто они? Почему их не называют? Если из Рима, откуда знакомство с ними у Росция, который по многу лет в Рим не ездил и дольше трех дней в нем ни разу не пробыл? Где он с ними сошелся? Как столкнулся? Чем склонил? Дал денег? Кому дал? Через кого дал? Откуда и сколько дал? Не по таким ли следам добираются обыкновенно до самого преступления? Вот тут и припомни, пожалуйста, как расписал ты жизнь этого человека — он и дикарь-де, и неотесан, и ни с кем никогда не потолковал, и в городке-то ни разу не задержался. (75) Я уж не говорю — хотя это могло бы мне послужить убедительнейшим доказательством его невинности — о том, что среди деревенских нравов, скромного быта, жизни грубой и неприхотливой обычно подобные преступления не рождаются. Как не всякий злак и не всякое дерево встретишь на всякой почве, так и не всякое злодеяние вырастает из всякой жизни. В городе появляется роскошь, из роскоши с неизбежностью возникает алчность, из алчности возгорается дерзость, от которой рождаются все преступления и злодеяния, а та деревенская жизнь, какую называешь ты грубой, наставляет нас в бережливости, старательности, справедливости.

XXVIII. (76) Но об этом не говорю, вот о чем спрашиваю: при посредстве каких людей человек, по твоим же словам никогда с людьми не встречавшийся, сумел свершить такое злодеяние столь потаенно, да еще сам отсутствуя? Многие обвинения ложны, но их, судьи, все-таки можно представить так, чтобы дело выглядело подозрительным; а здесь, если отыщется что-нибудь подозрительное, я согласен признать всю вину. В Риме убит был Секст Росций, меж тем как его сын пребывал в америйских владениях. Наверно, письмо он послал какому-нибудь головорезу, — он, кто в Риме не знал никого? Он вызвал кого-то. Кого же? И когда? Он отправил нарочного. Опять же кого? И к кому? Деньгами, ласками, обольщениями, посулами он соблазнил кого-то. Ничего подобного даже выдумать невозможно! И все-таки дело об отцеубийстве рассматривается.

25

(77) Остается допустить, что оно было совершено при посредстве рабов. Бессмертные боги! В том-то и горе, в том и беда, что прибегнуть к обычному средству, спасительному для невинных, — предложить рабов для допроса — Сексту Росцию не дозволено. У вас, обвинители Секста Росция, в вашем владении все его рабы; из множества домочадцев ему не оставили даже мальчишки-прислужника для повседневных надобностей. Теперь к тебе обращаюсь, Публий Сципион, к тебе, Марк Метелл. При вашем содействии, при вашем посредничестве не раз предъявлял Секст Росций своим противникам требование выдать двоих отцовских рабов для допроса. Припоминаете ли: Тит Росций отказывал! Ну и как? Где они, эти рабы? В провожатых у Хрисогона, судьи, они у него в чести и ценимы. Чтобы им учинен был допрос, я требую и теперь, а Секст Росций — тот молит и заклинает. (78) Каков же ответ нам? Отказ. Почему? Вот и рассудите теперь, если можете, судьи, кем убит Росций-старший: тем ли, кто из-за его гибели претерпевает нужду, окружен опасностями, кому даже расследование о смерти отца запрещается, или же теми, кто избегает расследования, владеет именьями, живет среди проливаемой крови и проливаемой кровью. Все в этом деле и горестно и возмутительно, судьи, но большей обиды, большей несправедливости назвать невозможно: об отцовой смерти отцовых рабов допросить не дозволено сыну. Неужели не будет властен он над своими людьми, покуда их не допросят о смерти отца?

Но к этому я еще возвращусь, и не так уж нескоро — ведь все это прямо касается Росциев, о чьей дерзости собираюсь я, как обещал, говорить, когда покончу с Эруциевым обвинением.

XXIX. (79) А теперь, Эруций, я возвращаюсь к тебе. Нам с тобою невозможно не согласиться в том, что если Секст Росций причастен пресловутому злодеянию, то либо он сам, своею рукой его совершил, на чем ты не стоишь, либо при посредстве каких-то свободных или рабов. Свободных? Тех самых, о которых не можешь ты показать — ни как сумел он с ними сойтись, ни как ухитрился их соблазнить, ни где, ни через кого, ни чем, ни за сколько. А ведь я-то, напротив, показываю, что ничего подобного не только не сделал Секст Росций, но даже и сделать не мог, ибо много лет не был в Риме и никогда просто так из имений не отлучался. Кажется, остается тебе один сказ — про рабов. Сюда, словно в пристань, ты мог бы бежать, отброшенный от всех прочих предположений; но здесь натыкаешься ты на подводный камень, такой, что не только, сам видишь, отскакивает от него твое обвинение, но, сам понимаешь, все подозрения валятся прямо на вас. (80) Что же теперь? Куда напоследок бежит обвинитель, гонимый отсутствием доводов? «Такое, — он говорит, — тогда было время: людей убивали повсюду и безнаказанно, вот ты и смог без труда это сделать, потому что убийц было множество». Порою, Эруций, чудится мне, что ты за единую мзду хочешь исполнить два дела — нас судом попугать, а обвинить самих тех, с кого получил. Что говоришь ты? Убивали повсюду? Да чьими руками? И кто? Или забыл ты о том, что сюда приведен промышлявшими скупкой изъятых имуществ? А что это значит? Или, может быть, мы не знаем, что в те времена те же самые люди промышляли и скупкою и убийствами? (81) И вот — после всего, — они, что тогда днем и ночью рыскали вооруженные, что прочно засели в Риме, все свои дни проводя среди добычи и крови, будут попрекать Секста Росция бедствиями и превратностями того времени, вообразят, будто пресловутые толпы убийц, где сами они главенствовали и верховодили, обернутся теперь для него обвинением? Для него, кто не только и в Риме-то не был, но вообще о творившемся в Риме не ведал, потому что был деревенщиной, домоседом, — именно так, как ты же и говоришь.

(82) Боюсь, как бы я не прискучил вам, судьи, или как бы не показалось, что уму вашему не доверяю, если буду и дальше распространяться о столь очевидных вещах. Эруциево обвинение, я полагаю, опровергнуто полностью, разве только вы ждете, чтобы опровергал я и то, что он выставил здесь уже нового, мною раньше не слышанного, насчет казнокрадства и таких же новопридуманных дел, и что, показалось мне, он прочитал из какой-то совсем другой речи против другого лица — настолько все это не касается ни обвинения в отцеубийстве, ни того, кто сегодня в ответе. Но для этих его обвинений, содержащих одни лишь слова, одного лишь слова достанет отвергнуть. А если есть у него еще что-нибудь, придерживаемое к допросу свидетелей, то и тут, как теперь при защите, он увидит нас снаряженными лучше, чем думал.

XXX. (83) Устремляюсь теперь туда, куда влечет меня не желание, но долг. В самом деле, будь мне по душе обвинять, я бы лучше обвинял других, чьим унижением мог бы возвыситься. А этого я положил не делать, покуда другая возможность тоже открыта. Ведь велик в глазах моих тот, кто достиг вершин собственной доблестью, а не взобрался туда по бедам и горестям ближнего. Но не без конца же копать в пустом — поищем преступление там, где оно и есть, где может быть обнаружено. Тут ты и увидишь, Эруций, каким обилием подозрительного подкрепляется нелживое обвинение; да и то не все я скажу и каждой подробности только коснусь. Я бы и этого не делал, не будь приневолен, и, в знак нерасположения к такому занятию, не стану заходить дальше, чем того потребуют благополучие здесь сидящего Секста Росция и

мой долг.

(84) Причины преступления никакой ты для Секста Росция не находил — ну, а я для Тита Росция нахожу. А ты мне, Тит Росций, и надобен, потому что сидишь тут, открыто заявляя себя нашим противником. О Капитоне — потом, пусть только выступит здесь, как, по слухам, намерен, свидетелем. Тогда и услышит он о своих прочих художествах, моей осведомленности о которых не подозревает. Луций Кассий — тот самый, кого римский народ почитал справедливейшим и мудрейшим судьей, — всегда в любом деле спрашивал, «кому выгодно» было случившееся. Такова жизнь людская, что на преступление никто не пойдет без выгоды и без корысти. (85) Кассиева следствия и суда бежали и трепетали те, на кого воздвигалось преследование; ведь, оставаясь истине другом, он по природе своей, видно, не столько наклонен был к милосердию, сколь расположен к строгости. А я, хоть сейчас наше дело в руках человека, грозного для негодяев, но доброжелательного к невинным, все-таки не испугался б, если бы следствие вел сам тот суровый судья, если бы перед Кассиевыми судьями, чье имя одно и поныне страшит привлеченных к ответу, предстояло мне защищать Секста Росция.

XXXI. (86) Ведь в нынешнем деле, увидав, что одни обладают обширнейшим достоянием, а другой живет в жесточайшей нужде, они бы не стали и спрашивать, кому была выгода от приключившегося, но по очевидности этого заподозрили бы и обвинили скорее обогащение, чем нищету. Ну, а если, Тит Росций, добавить еще, что ты прежде был небогат? А если — что алчен? А если — что нагл? А если — что ты был убитому злейшим врагом? Искать ли ее, причину, толкнувшую тебя на чудовищное злодеяние? Что из названного может быть опровергнуто? К богатству непривычка твоя такова, что не может быть скрыта и тем больше выходит наружу, чем старательней ее прячут. (87) Алчность твою ты изобличаешь, входя в соглашение об имуществе земляка и сородича с человеком совсем чужим. Какова твоя наглость, всем понятно уже из того (о прочем не говоря), что во всем товариществе, среди стольких, значит, головорезов, один ты отыскался такой, чтобы заседать с обвинителями и бесстыдство, написанное на лице, не только не прятать, но еще выставлять напоказ. И вражду твою с Секстом Росцием, крупные денежные с ним споры не признать ты не можешь.

(88) Остается нам, судьи, размыслить, который же из двоих скорей, можно думать, убил Секста Росция: тот ли, к кому пришло с этой смертью богатство, или тот — к кому скудость? Тот ли, кто прежде был небогат, или тот, кто после стал нищим? Тот ли, кто, распаляемый алчностью, бросается на своих, или тот, кто всю жизнь был стяжательства чужд, зная только доход, приносимый трудом? Тот ли, кто наиболее дерзок из всех в своем промысле, или тот, кто, непривычный к форуму и судам, страшится здесь не только скамей, но самого города? Наконец, судьи, и это, по-моему, особенно важно для настоящего дела — враг или сын?

26

XXXII. (89) Такого да столько, Эруций, найти бы тебе против обвиняемого! Как долго бы ты говорил! Как величался б! Ей-же-ей, тебе времени не достало б скорее, чем слов. И впрямь, любое обстоятельство так значительно, что о каждом мог бы ты говорить целый день. Да и мне это не было б трудно. Ведь я не настолько себя принижаю (хоть и не возвеличиваю нисколько), чтобы полагать, будто твоя речь может быть богаче моей. Только я, наверное из-за обилия защитников, числюсь среди рядовых, тогда как тебя Каннское избиение обвинителей оставило довольно заметным. Много убитых видели мы близ вод — нет, не Тразименских — Сервилиевых.

27

Кто только там не ранен был мечом фригийским!

(90) Ни к чему здесь всех поминать: Курция, Мария, Меммия, который возрастом уже был отставлен от битв, наконец самого старца-Приама, Антистия, кому не годы только, но и законы не позволяли сражаться. А уж тех, чьи имена прочно забыты за малоизвестностью, — их были сотни, обвинявших в судах по делам об убийстве и отравлении. Я-то хотел бы их всех видеть живыми: вовсе неплохо иметь побольше собак там, где многих надо стеречься и многое надо стеречь. (91) Но, как бывает, немало всякого причиняется и без ведома полководцев силой и смутой войны. Пока отвлечен был другими делами распоряжавшийся всем, нашлись люди, занявшиеся тем временем врачеванием собственных ран; они, будто ночь опустилась навеки на государство, шныряли впотьмах, все приводя в беспорядок. Удивляюсь еще, как был ими оставлен хоть след от суда, как не сожжены заодно были скамьи, коль скоро и судьи и обвинители перебиты. Одно утешенье — они вели себя так, что всех свидетелей, пусть хотелось, им было не уничтожить; ведь пока род людской будет жив, обвинители для них будут; пока будем жить государством, будут у нас и суды. Но, как я уже начинал объяснять, и Эруций, располагай он для обвинения тем же, чем я, мог бы говорить без конца; я, судьи, тоже могу, но намерен — о чем уже предупредил — бегло все обозреть и каждой подробности только коснуться, чтобы всякому было понятно, что я здесь не обвиняю из страсти, но защищаю по долгу.

XXXIII. (92) Итак, я вижу, причин было много, чтобы толкнуть Тита Росция на преступление; посмотрим теперь, была ли возможность его совершить. Где убит был Секст Росций? — «В Риме». — Вот как? А ты, Тит Росций, где был тогда? — «В Риме. Но что тут такого? Не я один». Как будто бы здесь разбираются в том, кто из столь многих убийца, а не спрашивают про убитого в Риме, кем, вероятнее, был он убит: тем ли, кто в Риме пребывал тогда безотлучно, или тем, кто годами в Рим вообще не наведывался. (93) Теперь давай рассмотрим и другие возможности. Тогда было много убийц — об этом напомнил Эруций, — и они действовали безнаказанно. Вот как? А кто они были? Думаю, либо те, кого привлекал случай обогатиться, либо те, кого они нанимали для человекоубийства. Если ты разумеешь тех, кто устремлялся к чужому, то ведь ты и сам в их числе, богатый нашими деньгами; если же тех, кого вежливее зовут «подкальывателями», разужнай, чьи они люди, кто их покрывает. Поверь, набредешь на много из собственных сотоварищей. Пусть же всякое твое возражение сопоставляется с нашей защитой — так всего проще увидеть в сравнении дело Секста Росция и твое. (94) Ты скажешь: «Так что ж, если я и был безотлучно в Риме?» Отвечу: «А я-то там не был вообще». — «Положим, я скупщик чужого, но и другие многие тоже». — А я-то, ты сам утверждаешь, земледелец и деревенщина. — «Ну, связался я с шайкой убийц, но это еще не значит, что сам я убийца». — А я-то, который не знался ни с кем из убийц, и совсем в стороне. Очень многое есть, что можно сказать, объясняя, сколь полной располагал ты возможностью совершить преступление, и о чем умолчу, — не потому только, что не охотой тебя обвиняю, но еще более потому, что, пожелаю я напомнить о людях, которые были убиты тогда же и так же, как Росций-отец, боюсь, не показалась бы моя речь метящей и в кого-то еще.

XXXIV. (95) А теперь рассмотрим, опять-таки вкратце, поведение твое, Тит Росций, после гибели Секста Росция; оно столь откровенно, столь самоочевидно, что мне, судьи, честное слово, о нем не хочется говорить. Ведь каков бы ты ни был, Тит Росций, не хочу, чтобы думали, будто я стремлюсь спасти обвиняемого беспощадной расправой с тобой. Но при всех опасениях, при желании как-то щадить тебя в мере, мне оставляемой долгом, я вновь переменяю намерение, как подумаю про твою наглость. Не ты ли, когда остальные твои сотоварищи убежали и попрятались, чтобы нынешнее разбирательство выглядело судом не об их разбое, но о преступлении обвиняемого, не

ты ли выпросил на свою долю присутствие на суде и скамью обвинителей? Но этим добьешься ты разве того, что все разглядят дерзость твою и бесстыдство.

(96) Когда Секст Росций погиб, кто первым принес весть в Америю? Маллий Главция, уже упомянутый мною, — твой дружок и зависимый человек. Почему же именно он? Почему же та новость, которая — если только заранее ты ничего не думал ни об убийстве, ни об имуществе, не сталкивался ни с кем ни о преступлении, ни о вознаграждении — касалась тебя меньше всех? «Сам привез Маллий новость». Но что же ему в том было? Или не этого ради он приехал в Америю, а все получилось случайно: в Риме услышал, вот первый и оповестил? Ну, так ради чего приезжал он в Америю? «Я, говорит, не угадчик». Погоди, приведу и к тому, что угадывать не понадобится. Почему оповестил он сначала Тита Росция Капитона? Ведь в Америке был дом Секста Росция, были жена и дети, многие близкие и родные, с кем он был очень хорош, — почему же так вышло, что твой прихлебатель, вестник твоего преступления, известил именно Тита Росция Капитона? (97) Секст Росций погиб, возвращаясь с обеда, — еще не светало, как о том уже знали в Америке. Такая невероятная гонка, такая скорость, поспешность — что она означает? Нет, я не спрашиваю, кто нанес удар; тебе, Главция, нечего беспокоиться — я тебя не обыскиваю; не было ли случаем при тебе ножа — не допытываюсь; думаю: все это — не мое дело. Я ведь расследую, кто замыслил убийство; чьею рукой нанесен был удар, мне не важно. И в ход идет у меня только то, что предоставлено мне, Тит Росций, откровенностью твоего преступления, самоочевидностью дела. Где и откуда услышал все Главция? Как столь быстро узнал? Допустим, услышал тотчас же. Что заставляет его покрыть такой путь в одну ночь? Что вынуждает его покинуть Рим в такой час и целую ночь проводить без сна?

28

XXXV. (98) Да неужели в столь очевидных делах нужно искать доказательств или строить догадки? Не кажется ли вам, судьи, что все, о чем слышали, проходит теперь перед вашим взором? Не видите ли, как этот несчастный в неведение своей участи возвращается от обеда? Не видите ли засаду? Внезапное нападение? Не различает ваш взгляд в свалке Главцию? Не рядом ли этот Тит Росций? Не собственными ли руками усаживает в повозку он этого Автомедонта, вестника своего гнуснейшего преступления и богомерзкой победы? Не умоляет ли не поспать эту ночь, постараться ради него, оповестить поскорей Капитона? (99) Почему он хотел, чтобы Капитон обо всем узнал первым? Ведать не ведаю — вижу одно: Капитон в доле, из тринадцати имен убитого три наилучших во владении Капитона. (100) А слышу еще, что не в первый раз ложится сейчас на Капитона подобное подозрение; это — заслуженный гладиатор, на счету его много бесславных наград, но из Рима ему впервые доставлена высшая. Нету такого способа человекоубийства, чтобы он к нему несколько раз не прибег: многих убил он ножом, многих ядом, могу рассказать даже о человеке, хотя — вопреки слову древних — и не шестидесятилетнем, которого сбросил он с моста в Тибр. Обо всем он услышит, если здесь выступит, верней, когда выступит (я ведь знаю, что он собирается выступить). (101) Пусть, пусть он войдет, пускай развернет свой свиток (Эруциева, я могу доказать, сочиненья), тот самый, которым он, говорят, грозил Сексту Росцию: вот, мол, все это будет оглашено в показаниях. О, великолепный свидетель, судьи! О, достоинство, не обманывающее надежд! О, жизнь, столь честная, что вы, присягнувши, с радостью подладите к его показаниям ваш приговор! Да, конечно, мы бы не видели с такой ясностью преступления этих людей, если бы сами они не сделались слепы от вождения, жадности, наглости.

XXXVI. (102) Один прямо с места убийства шлет в Америю к сотоварищу — а скорее наставнику! — крылатого вестника, чтобы на случай, если все захотят сделать

вид, что не знают преступников, самому откровенно явить свое злодеяние глазам каждого. Другой, если попускают такое бессмертные боги, даже думает выступить свидетелем обвинения, как будто и впрямь сейчас речь о том, заслуживают ли слова его веры, а не дела его кары. А ведь нашими предками установлено, чтобы и в самых мелких делах даже величайшие люди свидетелями по собственному делу не выступали. (103) Сципион Африканский, покоривший, как явствует из его прозвания, третью часть света, и тот, разбирайся в суде его дело, не выступил бы свидетелем, потому что — хоть страшно такое сказать о великом муже, — выступи он, ему не было б веры. Смотрите теперь, как все извратилось, как переменялось к худшему. В суде речь об имениях и об убийстве, а свидетелем заявляет себя скупщик изъятых и человекоубийца — покупщик и владелец тех самых имений, о которых идет здесь речь, позаботившийся умертвить того самого человека, о чьей смерти здесь ведется расследование.

(104) Что? Ты, почтеннейший, имеешь что-то сказать? Послушайся — побереги для себя, ведь и о тебе тут говорится немало. Много ты сделал преступного, много дерзкого, много бессовестного и одну превеликую глупость (конечно, по собственному безрассудству, а не по совету Эруция): вовсе не следовало тебе тут сидеть. Ведь никому нет пользы ни от безмолвного обвинителя, ни от свидетеля, встающего с обвинительских мест. Да и вожеления ваши были бы чуть незаметней, чуть прикровенней. Ну, а сейчас каких и кому от вас ждать речей, раз дела ваши таковы, что кажется, будто стараетесь ради нас и против себя самих?

XXXVII. (105) Теперь, судьи, рассмотрим дальнейшее. В Волатерры, в лагерь Луция Суллы, с вестью о гибели Секста Росция на четвертый день прибывает гонец к Хрисогону. Нужно ли и сейчас спрашивать, кто отправил его? Не ясно ли — тот же, кто посылал и в Америю? Хрисогон назначает именья к продаже незамедлительно — он, не знакомый ни с личностью, ни с имуществом Секста Росция. Как же пришло ему в голову возжелать поместий какого-то неизвестного, которого он никогда и в глаза-то не видел? Обычно, судьи, услышав о подобном, вы сразу же говорите: «Значит, кто-то что-то сказал из земляков или из соседей; от них всего больше доносов, через них чаще всего и страдают». (106) Ну, а здесь это даже не подозрение. Не стану же я рассуждать в таком роде: «Очень похоже, что об имениях донесли Хрисогону Росции; ведь они с Хрисогоном были дружны и раньше; ведь, имея многих завещанных предками покровителей и гостеприимцев, Росции всех их больше не чтут, передавшись под защиту и покровительство Хрисогона». (107) Все это но правде могу я сказать, но в нынешнем деле нет надобности в догадках: Росции, знаю наверняка, не отрицают и сами, что Хрисогон завладел упомянутым имуществом по их наущению. Видя собственными глазами того, кто за осведомление принят в долю, останетесь ли вы, судьи, в сомнении, кто же осведомитель? Так кто же есть получивший от Хрисогона долю в этих именьях? Двое Росциев. Кто еще? Никого, судьи. Так можно ли сомневаться, что эта добыча была предложена Хрисогону теми людьми, которые от него получили в ней долю?

(108) А теперь, разбираясь в действиях Росциев, поглядим, как рассудил о них сам Хрисогон. Если не показали себя Росции в деле, за которое стоило заплатить, чего ради было бы Хрисогону их так награждать? Если ничего, кроме уведомления, не было сделано ими, разве не достало бы им простой благодарности; ну — для большой щедрости — какого-нибудь поощрения? Почему же три поместья, столь дорогих, передаются вдруг Капитону? Почему остальными вот этот Тит Росций с Хрисогоном владеет на равных? Не очевидно ли, судьи, что Хрисогон, уступая Росциям эту долю в добыче, уже разобрался в деле?

XXXVIII. (109) В числе десяти старейшин в лагерь явился послом Капитон. Со всею жизнью его, обычаем, нравами познакомьтесь по самому посольству. Если, судьи, не убедитесь, что нету такого долга, такого права, священного и нерушимого, которого не погрело, не оскорбило бы его преступное вероломство, — считайте его порядочнейшим человеком! **(110)** Он не дает осведомить Суллу о происшедшем; замыслы и намеренья остальных послов выдает Хрисогону; советует ему не допустить рассмотрения дела в открытую; разъясняет, что, если продажа имений окажется недействительной, Хрисогон потеряет огромные деньги, а его, Капитона, жизнь будет в опасности. Этого — Хрисогона — он подушает; тех — сотоварищей по посольству — обманывает; этого все увещевает беречься, тех морочит пустыми посулами; с этим замышляет он против тех, замыслы тех раскрывает этому; с этим сторговывается о своей доле; тем всяческими задержками не дает добраться до Суллы. В конце концов — его стараниями, советами, ручательствами — послы так до Суллы и не добрались; доверившиеся совести — вернее бессовестности — Капитона, они (о чем вы смогли бы услышать от них самих, если бы обвинитель соизволил вызвать их как свидетелей) возвратились домой не с верным делом — с пустыми посулами. **(111)** В частных делах выполни кто порученье не то чтоб заведомо недобросовестно или своекорыстно, но просто без должных стараний, наши предки считали: позор его несмываем. Того ради и учрежден для дел о поручении суд, чей приговор бесчестит не меньше, чем приговор по делу о воровстве. Потому, разумеется, что там, где мы представлять себя сами не можем, вместо нас выступают друзья, облеченные нашей доверенностью, и кто ее попирает, тот ополчается на всеобщий оплот, расстроивает, насколько он в силах, жизнь общества. Ведь мы не можем все делать сами — иной к иному способнее. Для того и заводим друзей, чтобы службой за службу блюсти общую выгоду. **(112)** Зачем ты берешься за поручение, если думаешь пренебречь им или выворотить к собственной выгоде? Зачем навязываешься мне и притворною службой препятствуешь и противодействуешь? Убирайся — я обращусь к другому. Берешь на себя бремя обязанности — берешься его снести: оно не мыслится тяжким человеку не легкомысленному.

XXXIX. Оттого и позорен подобный поступок, что он попирает две величайшие святыни: дружбу и верность. Ведь никому не дают поручения, кроме как другу, никому не вверяются, не полагая верным. Значит, конченный человек — тот, кто и дружбу рушит, и обманывает платящегося лишь за доверчивость. **(113)** Разве не так? В делах ничтожнейших небрежущего порученьем не минует позорящий приговор, а тут стараниями того, кому вручены и доверены были честь мертвого, достоянье живого, обесславлен мертвый, обездолен живой, — так останется ли за таким имя порядочного, да и вообще человека? В ничтожнейших, да к тому же частных, делах простое небрежение порученным служит поводом к обвиненью, карается бесчестием по суду, потому что, не преступая правил, может небрежен быть доверитель, но не доверенный; ну, а кто в столь значительном деле, которое и велось и вверялось от имени города, не небрежением повредил чьей-то частной выгоде, но вероломством оскорбил святость, замарал самое имя посольства — какой он повинен каре? Какому подлежит осуждению? **(114)** Если бы частным образом поручил ему это дело Секст Росций, поручил бы снести с Хрисогоном и договориться, скрепив мировую, при надобности, своим словом, и если бы поручение было им принято, то, выгадай он на таком поручении хоть толику малую для себя, разве не был бы он осужден третьей судом, не возместил бы ущерб, не потерял бы доброе имя? **(115)** А сейчас не Секст Росций поручил ему это дело, но, что гораздо важнее, сам Секст Росций с его честью, жизнью, всем достояньем был Титу Росцию поручен от имени города декурионами; и на этом

деле он не какую-то там выгадал малость, но ограбил Секста Росция дочиста, для себя выторговал три именья, а волю декурионов и всех сограждан оценил той же ценой, что и собственное свое слово.

XL. (116) Продолжим, судьи, — посмотрите на остальное, и станет ясно, что нельзя и вообразить беззакония, каким бы себя он не запятнал. В менее важных делах обмануть товарища — величайший позор, такой же позор, как и то, о чем только что говорилось. И справедливо — ведь разделивший дело с другим полагает, что заручился поддержкой. На чью же верность ему и рассчитывать, раз приходится расплачиваться за доверие к человеку, с которым связался? Да и вообще всего строже карать нужно за то, чего остережся всего труднее. Мы можем не открываться чужим, но свои неизбежно видят многое более обнаженным. Как же нам стеречься товарища? Опасаясь его, мы уже нарушаем веление долга! Правы поэтому были предки, считая, что обманувшему сотоварища нет места между порядочными людьми. (117) А Тит Росций ведь не какого-то товарища по денежному предприятию обманул (что, хоть и прискорбно, но как-нибудь, думаю, выдержать можно); нет — девять самых почтенных людей, его товарищей и по должности, и по посольству, и по обязанностям, и по поручению он обвел, оплел, бросил, противникам предал, всеми обманами вероломнейше обманул; они же зла никакого не заподозрили, опасаться товарища по обязанностям не посмели, его коварства не разглядели, пустым разговорам поверили. И вот теперь из-за его козней считается, что эти почтенные люди были недостаточно осторожны и осмотрительны, а он, кто был сначала предателем — потом перебежчиком, кто сперва товарищей замыслы выдал противникам — потом в товарищество вступил с самими противниками, он еще и страшит нас, и грозит, красуясь тремя именьями — тремя дарениями за преступление. Среди таких трудов такой жизни, судьи, среди столь многочисленных мерзостей вы найдете и то злодеяние, о котором здесь суд. (118) Ведь рассуждение ваше должно быть таким: где много алчности, много наглости, много бессовестности, много вероломства в поступках, там, почитайте, среди стольких мерзостей таится и преступление. Правда, что на сей раз оно совсем не таится, и не из прочих беззаконий, числящихся за Капитоном, оно выявляется; нет, если вдруг в каком-то из них усомнятся, само преступление и послужит уликой. Что ж, судьи? Разве похоже, что этот гладиатор-наставник уже забросил свой меч? Или что его ученик чуточку уступает учителю в ремесле? Равная алчность, схожая подлость, то же бесстыдство, одинаковая наглость.

XLI. (119) И действительно, с верностью учителя вы уже познакомились, познакомьтесь теперь и со справедливостью ученика. Я уже говорил, что нашим противникам несколько раз предъявлялось требование выдать двоих рабов для допроса. И всякий раз ты, Тит Росций, отказывал. Спрашиваю тебя: «Что же, те, кто требовал, не заслуживали уваженья? Или оставлял тебя равнодушным тот, ради кого они требовали? Или само требование тебе представлялось несправедливым?» Требовали люди самые знатные, самые безупречные в нашем городе, чьи имена я уже назвал, чья жизнь настолько возвысила их в мненье народа римского, что никто не посмеет счесть какое-нибудь их слово несправедливым. Требовали ради несчастнейшего страдальца, который рад бы и сам отдаться на пытку, только бы не оставалась смерть отца нерасследованной. (120) А требование было такого свойства, что уже не было разницы — в нем отказать или признать своим преступление. Но раз это так, то я спрашиваю, по какой причине ты отказал. Когда Секста Росция убивали, эти рабы были тут же. Их самих — не мое это дело — я не обвиняю и не выгораживаю. Сопротивление ваше тому, чтоб они были выданы для допроса, — вот что в моих глазах подозрительно. Ну, а почет, в каком вы их держите, конечно, доказывает: они должны

знать кое-что, для вас — проговорись они только — губительное. — «Требовать от рабов показаний о господах неправильно». — Да не о вас нужны показания — Секст Росций ведь подсудимый. И не о господах — ведь о нем расследование, а господа, по-вашему, вы. — «Рабы эти при Хрисогоне». — Охотно верю: образованность и обходительность их привлекательны для Хрисогона, так что ему захотелось к своим красавчикам, искушенным во всех усяадах, во всех уменьях, присоединить и этих людей, почти что чернорабочих, америйской выучки, от деревенского домохозяина. (121) Нет, судьи, такое, разумеется, невозможно. Невозможно представить себе, чтобы Хрисогону полюбилась их образованность и воспитанность, или чтобы он, хозяйствуя, оценил их усердие и надежность. Что-то тут есть, что утаивается, но, чем старательнее прикрывается и хоронится, тем сильнее выступает и обнаруживается.

XLII. (122) Так что же? Собственное ли злодеяние хочет скрыть Хрисогон, не желая, чтобы этих рабов допросили? Нет, судьи, не о всяком всякое скажешь. Я-то не подозреваю ничего такого за Хрисогоном, и не сейчас только мне об этом вздумалось заговорить. Помните, начиная защиту, я так расчленил свой предмет: сперва — по поводу обвинения, каковое обосновать целиком предоставлено было Эруцию; затем — о дерзости, каковая досталась на долю Росциям. Что мы ни встретим по части злодейств, преступлений, убийств, все должно считаться их делом. А о чрезмерном влиянии и могуществе Хрисогона я говорю, что оно против нас в этом деле, что оно никак не может быть выносимо, что нами, облеченными властью, оно должно быть не поколеблено только — еще и покарано. (123) Но сужу я так: кто хочет, чтобы были допрошены люди, заведомо присутствовавшие при убийстве, тот хочет, чтобы истина обнаружилась; кто в этом отказывает, тот — пусть не решается словом — делом самим сознается в собственном злодеянии. Уже с самого начала я, судьи, сказал, что о преступлении этих людей не хочу говорить больше, чем требует дело, чем вынуждает необходимость. Ибо много подробностей можно добавить, и о каждой из них говорить, приводя много доводов. Но что я делаю без охоты и из необходимости, того не могу делать долго и со старанием. Мимо чего невозможно было пройти, того я, судьи, слегка коснулся, а что до подозрений, о которых, начав говорить, пришлось бы рассуждать очень долго, их я препоручаю вашему уму и догадливости.

31

32

XLIII. (124) А теперь я перехожу к славному золотому имени Хрисогона, к имени, под которым все товарищество скрывалось, к имени, о котором и не придумаю ни как говорить мне, ни как смолчать. Ведь, если я промолчу, то упущу, пожалуй, важнейшее; ну, а если скажу, боюсь, не один он (что мало меня беспокоит), но и другие многие почтут себя уязвленными. Впрочем, дела таковы, что мне, кажется, не очень-то будет нужно говорить против всех промышлявших тогда при торгах. Ведь, конечно же, этот случай — неслыханный и единственный в своем роде. (125) Имущество Секста Росция куплено Хрисогоном. Первым делом рассмотрим вот что: на каком основании было продано имущество названного человека? Каким образом могло быть оно продано? И этим вопросом, судьи, я не хочу сказать, что вот, мол, нехорошо — продано имущество человека безвинного (ведь, если такое станут слушать и говорить открыто, то не Секста же Росция, человека не столь уже видного в государстве, выбирать нам для жалобы); нет, и вправду я спрашиваю вот о чем: как могло по тому самому закону, что об опальных, Валериев ли это закон или Корнелиев (не знаю, не разберусь), — словом, по этому самому закону как могло имущество Секста Росция назначено быть к продаже? (126) Ведь написано в нем, говорят, так: «Подлежит продаже имущество тех, кому объявляется опала», — в их числе Секста Росция нет, — «или тех, кто убит, сражаясь в

рядах противников». Пока можно было быть в чьих-то рядах, Секст Росций был в рядах приверженцев Суллы. Уже после того, как оружие было отложено, среди глубокого мира, в Риме, возвращаясь с обеда, был Секст Росций убит. Ежели по закону, то имущество тоже, готов признать, продано по закону. А если заведомо вопреки всем законам, не только что старым, но даже и новым, был он убит, то по какому праву, каким порядком, по какому закону продано было имущество, спрашиваю я!

33

XLIV. (127) Против кого это все говорится, ты спрашиваешь, Эруций? Не надейся, не против того, о ком думаешь; ведь Сулла навечно оправдан и мною в начале речи, и своей выдающейся доблестью. Я говорю, что все это сделано Хрисогоном: он лгал, он представлял Секста Росция дурным гражданином, он говорил, что тот убит был в числе противников, он не допустил, чтобы Сулла узнал об этих вещах от америйских послов. Наконец, я даже подозреваю, что это имущество вообще не было продано, и если только вы, судьи, позволите, мы еще выясним это. (128) Ведь представляется мне, что назван в законе срок, установленный для опал и продаж, а именно — календы июня. Несколькими месяцами позднее убит был Секст Росций и продано — как утверждают — имущество. Конечно же, либо оно не проведено было вовсе по книгам и этот мошенник глумится над нами остроумнее, чем мы думаем, либо, если по книгам проведено, сами книги как-то подделаны; ибо ясно — по закону имущество продано быть не могло. Понимаю, судьи, что прежде времени углубляюсь в этот предмет и, пожалуй, ухожу в сторону; мне бы заботиться о голове Секста Росция, а я занялся заусеницей. Ведь он не печется о деньгах, никаких счетов ни к кому не имеет, думает, что легко снесет свою бедность, если будет освобожден от позорного подозрения, от взведенной напраслины. (129) Ну, а я, судьи, обращаюсь к вам с просьбой: слушая то небольшое, что мне осталось сказать, разумейте: говорю я частью сам от себя, частью за Секста Росция. Что самому мне представляется недостойным и нестерпимым, что — я считаю — касается всех, вызывая к нашей предусмотрительности, о том говорю я во всеуслышание сам от себя, из собственных чувств и скорби душевной; а что относится к судьбе и к делу этого человека, чего он хотел бы от говорящего за него, каким решением удовольствовался бы, — о том, судьи, вы услышите уже в конце моей речи.

[Часть текста утрачена.]

XLV. (130) Я сам, собственной волей, оставив в стороне Секста Росция, вот о чем спрашиваю Хрисогона: во-первых, почему продано было имущество благонамереннейшего гражданина; далее: почему продано было имущество человека, который ни в списках опальных не числился, ни в рядах противников не был убит, хотя только о таких закон и писан; далее: почему оно продано было позже срока, предусмотренного законом; далее: почему оно продано было за столь ничтожную цену? Если все это он, как то в обычае у дурных и дрянных отпущенников, захочет взвалить на своего патрона, он ничего не добьется; никого ведь нету, кто бы не знал, что из-за громадности дел, занимающих Луция Суллу, многие многое натворили без его ведома, на свой страх и риск. (131) Что ж, это правильно — среди таких дел не замечать кой-чего по неведению? Нет, это неправильно, судьи, но неизбежно. И впрямь, если Юпитер Всеблагий Величайший, чьим манием, чьею волею устроятся небо, суша и море, порою слишком уж буйными ветрами, или разошедшейся бурей, или непомерным зноем, или непереносимою стужей людям вредит, города рушит, урожаи губит, а мы полагаем, что все такое вершится не пагубы ради, не божественным промыслом, но самую силой вещей, громадностью дел, и при том видим, что блага, какими мы пользуемся, свет, коим наслаждаемся, воздух, которым дышим, даны и дарованы нам божеством, — то удивимся ли мы, судьи, тому, что и Луций Сулла, кем одним

устраивается государство, управляется мир, кто величие власти, обретенной оружием, упрочивает законами, может за чем-нибудь не уследить? Неудивительно: что силе божественной недоступно, то уму человеческому неподвластно. (132) И впрямь, чтобы не говорить о прошедшем, разве из того, что происходит сейчас, не ясно любому, что зачинщик всему и распорядитель один — Хрисогон? Это его стараниями предъявлено обвинение Сексту Росцию, это в угоду ему Эруций заявил себя обвинителем...

34

35

36

XLVI. ...считают свои владения подходящими и хорошо расположенными, владея землей где-нибудь у саллентийцев или у бруттиев, откуда едва ли три раза в год могут они получать известия. (133) Ну, а он тебе спускается с Палатина — ведь вот где отстроился; для утех у него есть усадьба в красивом месте и под самым городом, а сверх того еще много имений и ни одного не прекрасного, ни одного не поблизости; дом его полон бронзовой утвари — коринфской, делосской; среди нее и та самовзварка, которую он недавно купил за такую цену, что, слыша глашатая, прохожие мнили — продается имение. А сверх этого, сколько, думаете, у него чеканного серебра, сколько ковров, сколько картин, изваяний, мрамора сколько? Ну, конечно же, столько, сколько из многих и процветавших семейств могло быть в дни смуты и грабежей свалено в один дом. А сколь многочисленна челядь и каких только нет в ней искусников, что мне об этом сказать? (134) Умолчу об искусствах простых — поварах, пекарях да носильщиках, — для услаждения слуха имеет он столько людей, чтобы всякий день оглашать всю окрестность звуками пения, струн и труб, а ночами шумом пиров. При такой жизни, судьи, сколько, вы думаете, тратится в день, сколько проматывается, да и что это за пиры? Наверное, благопристойные — в таком доме, если только дом это? а не развратительное заведение и гнездилище всяческой скверны. (135) А сам-то — вы видите, судьи, как, расчесанный и припомаженный, он порхает по форуму, а за ним целой оравой граждане в тогах; видите, всех презирает он, рядом с собой никого не считает за человека — один он блажен, один он могущ. А что выделяет он, на что посягает, — пожелай я о том напомнить, боюсь, судьи, кто-нибудь мало осведомленный подумает, будто мне захотелось хулить дело знати, ее победу. И все-таки вправе я, если не все мне тут нравится, высказать неодобрение. Ведь я не боюсь, что кто-то подумает, будто я недоброжелательствую делу знати.

XLVII. (136) Ведомо тем, кто со мною знаком, что сам я — пусть неприметен и слаб, — после того как замирение, которого я желал всей душой, оказалось неосуществимым, всею душою стоял за победу теперь победивших. Ибо, кто же не видел, что спор шел между подлостью и достоинством о превосходстве. В этом единоборстве только плохой гражданин мог не присоединиться к тем, которых спасти значило сохранить достоинство наше в отчизне, уважение к нам на чужбине. Это исполнилось — каждому возвращен его сан и место, и я, судьи, рад, я очень доволен. Все это, я понимаю, содеяно волей богов, усердием народа римского, мудростью, властью и счастьем Луция Суллы. (137) Кара постигла тех, кто всячески сопротивлялся — мне нечего возразить; храбрецы, отличившиеся в сражениях, вознаграждены — я полностью одобряю. Чтобы это сбылось, думается мне, и велась война; да и я, признаюсь, боролся на этой же стороне. Но если все делалось, если брались за оружие только ради того, чтобы последние люди обогащались чужими деньгами, совершали бы нападения на имущество любого и всякого, и если нельзя не только что действовать, даже и говорить поперек, тогда, значит, этой войною не возрожден, не поднят с одра народ римский, а сокрушен и раздавлен. (138) Но ведь это не так, судьи, ведь все по-

другому! Дело знати не только не пострадает, если вы заградите путь подобного рода людям, но и украсится.

37

XLVIII. Ведь те, кто хочет порицать нынешние порядки, жалуются: вот сколь велико, мол, могущество Хрисогона; те, кто хочет хвалить их, напоминают: оно никем ему не предоставлено. Да и нету уже ничего, что давало бы повод какому-нибудь глупцу или злонамеренному говорить: «Будь такое дозволено, я бы сказал...» — Скажи, дозволяется. «Я бы сделал». — Делай, дозволено, никто не мешает. «Я предложил бы...» — Предлагай, только по совести: все одобряют. «Я рассудил бы...» — Все похвалят, если рассудишь по совести и по закону. (139) Пока было необходимо и само дело требовало, один властвовал всем; теперь, когда он поставил должностных лиц и уставил законы, каждый возвращен к обязанностям своим и возможностям. И если хотят сохранить свое положение те, кто в нем сейчас восстановлен, то в их власти удерживать его вечно. Ну, а если станут они учинять или одобрять такие убийства и грабежи, такие и столь бесполезные траты, то — не хочу говорить им еще более неприятного, просто, чтобы не напророчить! — скажу лишь одно: если не будут наши знатные бдительны, благомыслящи, решительны, сострадательны, придется им уступить свои преимущества тем, у кого добродетели эти найдутся. (140) А потому пускай наконец перестанут твердить, что такой-то, мол, говорил злонамеренно, если говорил он правдиво и откровенно; пускай научатся различать свое дело и Хрисогоново; пускай перестанут считать, если тот обижен, чем-то задетыми и себя; пусть подумают, не постыдно ли, не унижительно ли для тех, кто не смог потерпеть возвышения всадников, сносить господство негоднейшего раба. Это господство, судьи, до сих пор было хоть обращено на другое, теперь же смотрите, куда оно пробивает дорогу, куда пролагает путь: к вашей совести, к вашей присяге, к вашим судам — к тому, что остается еще в государстве чистого и священного! (141) Неужели и здесь Хрисогону думается, что он что-то может? Неужели и здесь притязает он на могущество? Как это горько! Как унижительно! И негодование мое, ей-же-ей, не из страха, как бы чего он не смог; но ведь посмел он надеяться, ведь поверил, будто и у таких мужей он сможет чего-то добиться безвинному на погибель, и это само мне прискорбно.

XLIX. Да разве затем всеми жданная знать вооруженной рукой вернула себе государство, чтобы всякие отпущенники да рабы могли по своей прихоти растаскивать имущество знатных и наше добро? (142) Если цель была такова, то, признаюсь, я был неправ, предпочтя эту сторону; признаюсь, был безумен, разделивши с ней ее чаянья; правда, что, судьи, разделял я их безоружный. Ну, а если победа знатных должна послужить государству и народу римскому к украшению и улучшению, тогда любому благомыслящему и знатному моя речь, несомненно, придется по нраву. Ведь, если и есть кто, способный подумать, будто дело знати терпит ущерб, когда хулят Хрисогона, то он не понимает ни общего дела, ни, пожалуй, собственной пользы; ибо дело еще ярче сияет, если любой негодящий встречает отпор, и только тот бессовестнейший Хрисогонов приспешник, что мнит себя с ним заодно, остается в накладе, отстраняемый от благородного дела.

(143) Но все это я говорю, как о том предупредил, сам от себя; все эти слова мне подсказывает забота о государстве, моя скорбь и несправедливость противников. А Секст Росций ни на что такое не ропщет, никого он не обвиняет, о своей отчине не печется. Он не знает порядков, он земледелец и деревенщина, и вот думает, будто все, что сделано, по вашим словам, через Суллу, сделано по заведенному, по закону, по нраву народов; он хочет, освободившись от оговора, развязавшись с чудовищным обвинением, от вас уйти. (144) Если не останется на нем нынешнее грязное подозрение,

то пусть не остается у него ничего своего — он обещает спокойно смириться. Он просит и молит тебя, Хрисогон: если ничем из обширнейшего отцовского достояния он не воспользовался, если во всем был с тобою бесхитроsten, если все добросовестно тебе передал, отсчитал и отвесил, если одежду с себя, если перстень свой с пальца он тебе отдал, если из всех вещей он не удержал ничего, разве себя самого в своей нагоде, — то позволь ему, невинновому, вспоможениями друзей провождать в нищете свою жизнь.

L. (145) Именья мои у тебя-я живу чужим милосердием; уступаю, ведь мне все равно, да это и неизбежно. Мой дом для тебя открыт, для меня заперт; терплю. Многочисленная моя прислуга в твоём пользовании, а у меня и единственного раба нет; сношу и знаю, что должен терпеть. Чего еще хочешь? Зачем меня гонишь? Зачем кидаешься на меня? В чем, по-твоему, перечу я твоей воле? Где врежу твоей выгоде? Чем мешаю? Если грабежа ради ты хочешь убить, то уже ведь ограбил; чего еще ищешь? Если из-за вражды, то какая вражда у тебя с человеком, чьими именьями ты завладел раньше, чем с ним познакомился? Если из страха, то чем же страшит тебя тот, кто, как видишь, и сам не в силах оборонить себя от жестокой неправды? Если же просто из-за имений, которые были Росциевы, а стали твои, стараешься ты погубить вот этого его сына, то не показываешь ли, что боишься того, чего тебе всех меньше пристало страшиться: как бы когда-нибудь детям опальных не вернули отцовское достояние.

(146) Нехорошо ты делаешь, Хрисогон, если, заботясь о купленном, больше надежд возлагаешь на гибель вот этого человека, чем на все, что свершено Луцием Суллой. Ну, а если никакой причины желать столь злой участи этому горемычному у тебя нет, если все свое, кроме жизни, он тебе отдал, если ничего отцовского, даже на память, не утаил, то — боги бессмертные! — что за свирепость, что за чудовищное зверство? Какой и когда был на свете разбойник столь нечестивый, пират столь дикий, чтобы он, хоть и мог получить всю добычу в целости и сохранности, предпочел обдирать окровавленный труп? (147) Знаешь сам, Секст Росций ничего не имеет, ничего не смеет, ничего не может, ничего против тебя не задумывает; и все-таки ты кидаешься на того, кого ни бояться не можешь, ни ненавидеть не должен, у кого во владении, наконец, не остается уже ничего, что ты мог бы отнять. Или тем твой взгляд оскорблен, что Секст Росций сидит здесь в суде одетый, — он, кто из отчины, словно с разбитого корабля, тобою выброшен голым. Будто ты, в самом деле, не знаешь, что его и кормит и одевает Цецилия, дочь Балеарского, сестра Непота, досточтимейшая госпожа, которая, имея знаменитейшего отца, высокопоставленнейших дядей, заслуженнейшего брата, сама — женщина — мужеством достигла того, что за почет, доставленный ей их достоинством, подарила им гордость ее заслугами.

LI. (148) Или в том, что его защищают по-настоящему, видишь ты неприличный поступок? Поверь мне, если бы, помня о гостеприимстве и дружбе его отца, все, у кого тот был принят, пожелали присутствовать здесь и отважились защищать без стеснения, — вот тогда защита была бы достаточно полной; ну, а если, сообразуясь с чудовищностью беззакония, сообразуясь с тем, чем чревата для самых основ государства опасность, нависшая над Секстом Росцием, они бы за все это стали карать, то вам, клянусь, не позволили бы и явиться сюда. А сейчас его защищают так, что, конечно, противникам нечего ни роптать, ни думать, что их превосходят могуществом.

38

(149) Что нужно Сексту Росцию дома, — все делается через Цецилию, а ведение его дел на Форуме взял на себя Марк Мессала, который, имея он достаточно лет и сил, говорил бы за Секста Росция сам. Так как его молодость и стыдливость — украшение молодости — не позволяют ему говорить, он передал дело мне (понимая, что услужить

ему — и желание мое, и долг), а сам своею неутомимостью, проницательностью, влиянием и рачительностью добился того, что жизнь Секста Росция была вырвана из рук промышляющих и решение о ней предоставлено судьям. Неудивительно, судьи, что за такую знать воевало огромное большинство граждан! Ведь все совершилось, чтобы восстановлены были в правах те знатные, которые поступали бы так, как сейчас поступает Мессала, которые защищали бы жизнь и права невинного, которые противились бы беззаконию, которые предпочли бы являть свою мощь во спасение ближнему, а не ему на погибель; если бы все столь же высокородные так же и поступали, меньше б терпели — и государство от них, и они от ненависти.

II. (150) Но если, судьи, не удастся нам умолить Хрисогона, чтобы он удовольствовался нашими деньгами, а жизни не домогался; если невозможно его уломать, чтобы он, отобрав у нас все, что принадлежало нам, не порывался лишить нас и общего достояния — света дня; если он не может убогатиться деньгами свою алчность, без того, чтобы не попотчевать кровью свою жестокость, — тогда единственное прибежище, судьи, единственная надежда оставлена Сексту Росцию — та же, что и всему государству, — ваша испытанная сострадательность и доброта. Если она еще существует, мы можем быть спасены и сейчас; если же та жестокость, которая ныне поселилась у нас в государстве, иссушила и очерстила (чего быть, конечно, не может) и ваши души, тогда все кончено, судьи: лучше среди лютых зверей проводить свои дни, чем жить среди всеобщего озверения. (151) Неужели вы сбережены, неужели отобраны для того, чтобы присуждать к смерти тех, кого промышляющие и убийцы не сумели прикончить? Обычай есть у знающих полководцев: затеяв сражение, они там, куда, как им думается, побежит неприятель, ставят солдат, чтобы неожиданно нападать на бежавших из строя. И эти вот скупщики изъятых имуществ тоже, без сомнения, думают, будто бы вы, столь достойные мужи, сидите здесь, чтобы перехватывать тех, кто убежит из их рук. Боги да не попустят, судьи, чтобы о том совете, который предкам нашим было угодно назвать государственным, думали как о сторожевом отряде на службе у скупщиков! (152) Или вы, судьи, не понимаете, что не о чем ином речь, как о том, чтобы истреблялись любым способом дети опальных, и что для почина хотят воспользоваться вашей присягой и судебным преследованием Секста Росция? Или надо еще разбираться, искать причастного преступлению, когда перед вами на одной стороне покупатель изъятых имений, погибшему враг, человекоубийца, он же и обвинитель, а на другой стороне неимущий, любимый близкими, погибшему сын, на ком не только не могло никакой быть вины, но и малейшего подозрения? Да что же еще есть, по-вашему, против Секста Росция, как не то, что имущество отца его продано!

III. (153) Но если вы такие дела принимаете на себя и для них предлагаете ваши услуги, если вы заседаете здесь для того, чтобы к вам приводимы были дети тех, чье имущество продано, тогда, судьи, — во имя бессмертных богов! — берегитесь: не показалось бы, будто вашим именем объявлено новое избиение, куда как жесточайшее прежнего. В прошлый раз избивали способных носить оружие, но и этого сенат не пожелал принять на себя, чтобы ничто суровейшее, чем уставлено предками, не казалось содеянным с соизволения государственного совета. Ну, а теперь опасность уже над детьми погибших, над младенческими свивальниками, и если сегодняшним приговором вы не отвратите угрозу, не отшатнетесь сами с презрением, то — во имя бессмертных богов! — куда, думается вам, пойдет государство?

(154) Людям мудрым, влиятельным и могущественным — таким людям, как вы, надлежит приступить к врачеванию недугов, от каких государство тяжелей всего страждет. Нет среди вас никого, кто не знал бы, что римский народ, некогда почитавшийся наиболее мягкосердым к врагам, ныне терпит от жестокости в

собственном доме. Ее-то, судьи, искореняйте из государства, не позволяйте ей долее жить среди нас! Того еще мало, что она безжалостно истребила множество граждан, она даже кротчайших людей привычною злостью отучила от сострадания. Ведь всякий час видя или слыша, как совершается что-нибудь страшное, мы изнуряемся постоянством гнета, и в наших душах, даже самых незлобных, не остается места никакому чувству, ничему человеческому.

ПРОТИВ ВЕРРЕСА

Второе слушанье дела, книга пятая

О КАЗНЯХ

39

I. (1) Я вижу, почтенные судьи, никто уже не сомневается в том, что Гай Веррес и от своего имени, и от имени государства совершенно беззастенчиво грабил в Сицилии достояние богов и смертных; он преуспевал во всех видах воровства и разбоя, не страшась богов и не таясь перед людьми. Но есть у него защита, выставляемая блистательно и пышно. Мне придется хорошенько обдумать, судьи, каким образом я стану обороняться. Ведь дело представляют так, будто в смутные и страшные времена сицилийская провинция была спасена от беглых рабов и военных опасностей доблестью и редкою бдительностью этого человека.

(2) Что же мне делать, судьи? Как строить мое обвинение? К чему взывать? Ведь любому моему натиску, как стена, противопоставлено будет имя славного полководца. Прием не нов: мне ясно, как готовится восторжествовать Гортензий. Он, конечно, сошлется на угрозы войны, трудные для государства времена, недостаток в полководцах, а потом станет умолять, а потом в сознании своей правоты даже настаивать: неужто вы потерпите, чтобы римский народ из-за показаний сицилийцев лишился такого полководца, неужто захотите, чтобы обвинения в алчности отемнили славу военачальника?

40

(3) Не могу притворствоваться, судьи: я боюсь, как бы из-за этой редкой военной доблести не остались Верресовы дела без наказания. Я вспоминаю речь Марка Антония в суде над Манием Аквилием, — сколько было в ней силы, сколько действенности! Так как был он оратором не только умелым, но и смелым, то, почти уже закончив речь, он вдруг схватил самого Мания Аквилия, выволок его напоказ и разорвал на нем тунику, чтобы видели судьи и римский народ все рубцы от ран, принятых им прямо в грудь; а сам повел рассказ и о той ране в голову, которую Аквиллий получил от вражеского вождя. Так и убедил он тех, кому предстояло вынести приговор, что не для того судьба вырвала у вражеских копий человека, который и сам не щадил себя, чтобы здесь на его долю выпала не народная хвала, а судейская жестокость. (4) Вот и теперь защита ищет того же пути, прибегает к тем же доводам. Пусть Веррес вор, пусть святотатец, пусть он первый в пороке и позоре; но он доблестный полководец, он удачлив и должен быть сохранен государству на черный день.

II. Я не стану вести твое дело со всей строгостью; не стану настаивать, на чем надо бы настаивать, коли суд вершится по твердому закону, — ведь вовсе не о том ты должен бы рассказать, как подвизался на войне, а о том, как удалось тебе не запачкать рук чужим добром; но повторяю, так вести дело я не стану: идя тебе навстречу, я обращаюсь к твоим воинским заслугам.

41

(5) О чем ты толкуешь? О том, что доблесть твоя спасла Сицилию от войны с беглыми рабами? Честь тебе и хвала, и речь твоя достойна. Но что это за война? Нам казалось, что после войны, завершенной Манием Аквилием, никакой войны с беглыми

в Сицилии не было. «Да в Италии-то она была». — Была, и какая еще упорная и жестокая! но неужели же ты пытаешься притязать на свою долю славы в этой войне? Неужели надеешься разделить честь этой победы с Марком Крассом или Гнеем Помпеем? Я думаю, даже твоего бесстыдства неостанет на то, чтобы осмелиться сказать что-нибудь в этом роде. Стало быть, это ты помешал полчищам беглых переправиться из Италии в Сицилию? Где, когда, откуда? Может быть, когда они пытались подступить к твоей Сицилии на плотках или кораблях? Никогда ничего подобного мы не слыхали, зато слыхали о том, как понадобились все мужество и мудрость Марка Красса, храбрейшего из мужей, чтобы беглые рабы не смогли, связав плоты, переправиться в Мессану; а ведь если бы в Сицилии были против них хоть какие-нибудь сторожевые отряды, не пришлось бы тратить столько сил, чтобы воспрепятствовать их попыткам.

42

43

(6) «Но в то время, как в Италии, совсем рядом с Сицилией, шла война, в Сицилии ее не было». III. Что же здесь удивительного? Ведь когда в Сицилии шла война, она тоже не проникла в Италию. Пусть это «совсем рядом», но что это дает? Открытый доступ для врагов или заразительность дурного примера для рабов? Но какой же открытый доступ возможен для тех, у кого нет кораблей? Для них вообще закрыт всякий доступ куда бы то ни было, так что, даже находясь, по твоим словам, рядом с Сицилией, они легче достигли бы Океана, чем Пелорского мыса. (7) Что же касается опасной близости рабских мятежей, то почему у тебя больше права на такие речи, чем у остальных наместников? Может быть, потому, что в Сицилии и раньше случались мятежи беглых рабов? Но как раз поэтому Сицилия оказалась наконец в наибольшей безопасности. Ведь после Мания Аквилія по всем распоряжениям и эдиктам преторов рабам строжайше запрещалось иметь при себе оружие. Я напомним один случай — давний, и из-за суровости расправы, конечно, всем вам известный. К Луцию Домицию, сицилийскому претору, принесли огромного кабана; в восхищении тот спросил, кем же он убит; услышав, что это был чей-то пастух, он приказал привести его; тот примчался к претору в надежде на славу и даже награду; чем он убил такое огромное животное, спросил Домиций; раб ответил — рогатиной; и немедленно по приказу претора был распят на кресте. Быть может, это вам покажется жестоким; я не стану о том рассуждать — мне ясно одно: Домиций предпочел прослыть жестоким в наказании, чем потворствующим безнаказанности. IV. (8) Вот ценою каких средств, когда вся Италия пылала в огне Союзнической войны, Гай Норбан, отнюдь не самый храбрый и решительный из людей, наслаждался в Сицилии полнейшим спокойствием: Сицилия могла оградить себя от мятежа самостоятельно. И коль скоро нет теснее связи, чем отношения между нашими дельцами и сицилийцами — и личные, и деловые, и денежные; коль скоро сами сицилийцы так ведут свои дела, что им выгоднее жить в мире, и так ценят владычество римского народа, что нимало не стремятся подорвать или заменить его; коль скоро распоряжениями преторов и строгостью владельцев предотвращена опасность рабских мятежей, то это значит: нет такого внутреннего зла, которое возникло бы в недрах самой провинции.

(9) «Так что же? Никаких волнений, никаких сговоров среди рабов не было в Сицилии во время претуры Верреса?» — Вот именно: ни один слух не достиг сената и народа, ни одно донесение не пришло от Верреса в Рим. И все-таки я подозреваю, что кое-где в Сицилии было и волнение среди рабов; и сказали мне об этом не события, а собственные Верресовы решения и поступки. Вы видите, судьи, насколько непредубежденно собираюсь я вести дело, — ведь я сам сообщаю вам то, чего так ищет

Веррес, но о чем вы до сих пор еще не слыхивали.

(10) В области Триокалы, где и раньше гнездились беглые рабы, челядь некоего сицилийца Леонида была заподозрена в заговоре. Об этом сообщили Верресу. Немедленно, как и следовало ожидать, он отдает приказ; названные люди схвачены, доставлены в Лилибей, хозяин вызван в суд, дело рассмотрено, заговорщики осуждены. V. «Что же дальше?» — Ну как вы думаете? Снова ждете, что речь пойдет о наживе или каком-нибудь воровстве? Но не ищите всюду одного и того же. Под угрозой войны где уж воровать? Даже если и представлялась в этом деле такая возможность, то она была упущена. Веррес мог разжиться на деньжонках Леонида, когда звал его на суд: тогда можно было бы привычно сторговаться, чтоб не доводить дело до судоговорения; был и другой случай — чтобы оправдать мятежников на самом суде; но когда рабы уже осуждены, где найти поприще для наживы? Только и остается, что вести преступников на казнь. Свидетелей множество, — и те, кто участвовал в суде, и те, кто читал приговор, и все славные граждане Лилибея, и немалое собрание достойнейших римских граждан; ничего не поделаешь — нужно выводить. И вот их выводят, их привязывают к кресту... (11) Даже и теперь, судьи, мне кажется, вы ждете: а что же будет дальше? ведь Веррес никогда ничего не делал без корысти, — а тут чего можно было ждать? Гадайте сколько угодно, ожидайте любого бесчестного поступка, но то, что вы сейчас от меня услышите, превзойдет все наши ожидания. Люди, осужденные за преступный заговор, отданные палачу, уже привязанные к столбу, — вдруг, на глазах у многих тысяч зрителей, были отпущены и возвращены хозяину в Триокалу.

44

Ну что ты теперь скажешь, безумнейший из людей? Только одно ты можешь сказать, но я о том не спрашиваю, ибо в столь преступном деле не следовало бы о том спрашивать, далее будь на этот счет какие-то сомнения: что, сколько, каким образом ты получил? Оставляю это на твоей совести и освобождаю тебя от ответа: я отнюдь не опасаюсь, будто кто-то заподозрит, что ты бесплатно совершил преступление, на которое никто другой бы не отважился ни за какие деньги, — нет, просто речь сейчас не о воровстве и грабежах твоих, а только о воинской твоей славе. VI. (12) Что же скажешь ты, славный страж и защитник провинции? Ты, который знал, что рабы в Сицилии рвутся к оружию и мятежу? Ты, который вынес приговор своим судом? И ты осмелился вырвать из рук смерти осужденных по обычаю предков и даровать избавление?! Видно, крест, предназначенный для осужденных рабов, ты решил приберечь для ни в чем не повинных римских граждан! Обреченные государства, которым уже нечего терять, прибегают обычно к таким отчаянным решениям: осужденных восстанавливают в правах, заключенных выпускают из тюрем, изгнанников возвращают из ссылки, судебные приговоры отменяют. И когда все это происходит, всякому понятно, что государство погибает; когда все это случается, для всякого несомненно, что больше нет уже надежды на спасение. (13) Впрочем, если где и прибегают к таким мерам, чтобы отменить ссылку или казнь вождей народа или знати, то все же отменяют приговор не те, кто его вынес, не тотчас, как он объявлен, не для тех, чьи преступления грозили жизни и имуществу всех граждан. Здесь же что-то новое и невероятное, и причина тому — не дело, а делец: освобождены рабы, освобождены самим судьей, освобождены на самом месте казни, освобождены после такого преступления, которое грозило свободе и жизни всех граждан?!

(14) О доблестный полководец! — не с отважным бы Аквилем тебя сравнивать, а с самим Сципионом, Павлом, Марием! Многое же ты предусмотрел в страшное для провинции время! Когда ты увидел, что сицилийские рабы воодушевлены примером мятежников в Италии, ну и страха же ты нагнал на них, чтобы не вздумали и пикнуть!

Ты приказал явиться в суд: кто же не испугался бы? Господам приказал их обвинять: что может быть страшнее для раба? Огласил им приговор: «Да, виновны». Видно, вспыхнувший пожар погасил ты казнью и смертью немногих? Что же далее? Порка, пытка огнем и, наконец, предел казни для осужденных, предел страха для остальных — крест и распятие! И от всего этого их освободили. Сомневаться ли после этого, что рабы затрепетали, увидав, как покладист этот претор, готовый торговать чуть ли не через палача жизнью рабов, им же осужденных за преступный заговор?!

VII. (15) Вспомни-ка Аристодама из Аполлонии! Леонта из Имахары! Не поступил ли ты с ними точно так же? А к чему побудило тебя волнение среди рабов и внезапно заподозренный мятеж — к усердию в охране провинции или к отысканию новых поводов для бесчестной наживы? У Евменида Галикийского, человека безупречного и знатного, ты подстроил обвинение против управителя усадьбы, за которого хозяин заплатил большие деньги, и на этом получил с Евменида шестьдесят тысяч отступного, как он сам показал под присягою. У римского всадника Гая Матриния, что как раз в ту пору отлучился в Рим, ты объявил подозрительными пастухов и управителей и на этом взял с него шестьсот тысяч: так показал поверенный Матриния, Луций Флавий, отсчитавший тебе эти деньги, так сказал и сам Матриний, так свидетельствует и славнейший цензор Гней Лентул, из уважения к Матринию тотчас написавший тебе письмо и других побудивший к тому же.

(16) А возможно ли промолчать об Аполлонии, сыне Диокла из Панорма, по прозвищу Близнец? Не найдешь во всей Сицилии примера знаменитее, возмутительнее и бесстыднее этого. Едва явился Веррес в Панорм, он велел послать за Аполлонием и вызвать его в суд, при огромном стечении сицилийцев и римских граждан. Тут же пошли разговоры: «То-то я удивлялся, что он так долго не трогает Аполлония, такого богатея», «Видно, что-то он сообразил, что-то затеял», «Ясное дело, неспроста Веррес тянет на суд денежного человека». Все в великом напряжении: что же будет? Наконец, задыхаясь, прибегает Аполлоний с сыном-подростком, — его престарелый отец давно уже не поднимался с постели. (17) Веррес называет ему имя раба, по его словам, старшего пастуха; этот раб, говорит Веррес, затеял заговор и подстрекает челядь. Но такого раба вообще не было среди челяди Аполлония. Веррес приказывает выдать раба немедленно; Аполлоний в ответ утверждает, что нет у него раба с таким именем. Тогда Веррес повелевает тут же схватить Аполлония и бросить в тюрьму. Когда беднягу тащили, он кричал, что ничего дурного не сделал, ни в чем не провинился, а наличных денег при нем нет, так как все они пущены в оборот. И пока он кричал это при всем народе, чтобы каждый мог понять, что он стал жертвой столь вопиющей несправедливости за то лишь, что не дал претору денег, — пока все это, повторяю, он кричал, его заковали и бросили в тюрьму.

VIII. (18) Вот она какова, последовательность Верреса! а его еще не только защищают, как любого претора, но и восхваляют как великого полководца. В страхе пред рабским бунтом этот полководец карал без суда владельцев и освобождал от кары рабов; богача Аполлония, который при рабском мятеже первым бы лишился огромного состояния, он под предлогом этого же мятежа заточил в тюрьму; а рабов, которых сам вместе со своим советом обвинил в мятежном заговоре, он без всякого совета, собственной властью избавил от расправы.

45

(19) Ну, а что, если Аполлоний и в самом деле что-то совершил и поделом понес наказание? Что же, надо ли осуждать и укорять Верреса за чрезмерную строгость приговора? Можно ведь и так повести дело. Нет, я не стану этого делать, не воспользуюсь таким обычным приемом обвинителей: не стану мягкость объявлять

небрежностью, а суровость выставлять на суд за бессердечие. Нет, я буду стоять за твои приговоры, защищать твой авторитет — до тех пор, пока тебе угодно; но как только ты сам начнешь отменять свои же приговоры, — тогда уж не обессудь: я с полным правом буду требовать, чтобы, как ты этим сам себя осудил, так осудили бы тебя и присяжные. (20) Я не стану защищать Аполлония, пусть и друга моего, и гостеприимца, чтобы не показалось, будто я посягаю на твой приговор; не стану ничего говорить о его честности, благородстве, добросовестности; умолчу и о том, что Аполлонию, как я уж говорил, с его челядью, скотом, усадьбами и ссудами хуже всех пришлось бы от волнений или мятежей в Сицилии; не скажу я и того, что если бы и впрямь был Аполлоний бесконечно виноват, даже тогда не следовало бы достойного гражданина достойнейшей общины подвергать столь тяжелой каре, и притом без суда. (21) Я не стану возбуждать против тебя ненависть даже тем, что когда столь достойный муж пребывал в тюрьме, во мраке, в грязи, обросший, то по тираническому распоряжению твоему ни дряхлый отец, ни юный сын ни разу не допущены были к этому несчастному. Я и о том не скажу, что сколько раз ты и являлся в Панорме за эти полтора года (вот как долго пробыл узник твой в темнице!), столько раз к тебе обращался панормский сенат с магистратами и жрецами, умоляя и заклиная освободить наконец от муки несчастного невинного человека. Обо всем об этом я молчу: ибо если бы пошел я по этому пути, то легко бы доказал, что твоя ко всем жестокость давно уже закрыла тебе доступ к милосердию судей. IX. (22) Все прощаю, во всем уступаю: я предвижу ведь, как поведет защиту Гортензий! Он скажет, что старость отца, юность сына, слезы обоих для Верреса ничто по сравнению с благом и пользой провинции; он скажет, что нельзя управлять государством без устрашения и суровости; он спросит, зачем же несут перед претором фаски, зачем в них секиры, зачем тюрьма, зачем утверждены обычаями предков столь многие казни для преступников? И когда он все это скажет сурово и веско, — я позволю себе спросить об одном: почему же тогда этого самого Аполлония этот самый Веррес неожиданно, без каких-либо новых улик, без чьего-либо заступничества приказал вдруг выпустить из тюрьмы?

О, я твердо говорю: столько подозрений возбуждает все это дело, что мне даже и доказывать нечего — судьи и сами догадаются, что означает подобный грабеж, — сколь он гнусен, сколь недостойн, сколь безмерные возможности сулит он для наживы. (23) В самом деле, припомните хотя бы в общих чертах, что этот человек сделал с Аполлонием, сколько и какие обиды он ему нанес, а затем взвесьте и переведите все это на деньги; и вы поймете, что столько зла было обрушено на голову одного из богатей лишь затем, чтоб и другие представили себе ужасы подобных бедствий и оценили грозящие им опасности. Прежде всего — внезапное обвинение в тяжком уголовном преступлении; посудите, скольким людям и за какие деньги приходилось откупаться от этого! Затем — вина без обвинителя, приговор без суда, осуждение без защиты: подсчитайте, сколько стоят эти злодеяния, и заметьте, что подпал под них один лишь Аполлоний, а другие, очень многие, конечно, предпочли от этих несчастий откупиться. Наконец, — мрак, оковы, тюрьма, вся мука заключения вдалеке от милых лиц отца и сына, от вольного воздуха и всем нам общего солнечного света: чтоб от этой откупиться пытки, не страшно заплатить и жизнью, и перевести такое на деньги я уже не берусь. (24) Аполлоний откупился слишком поздно, сломленный горем и бедствиями; но другие на этом научились загодя предупреждать преступления Веррессовой алчности. Ведь не думаете же вы, судьи, будто Веррес без корысти взвел поклев на этого богатейшего человека и без корысти выпустил вдруг его из тюрьмы; или будто такого рода грабеж применен был и испробован на одном лишь Аполлонию, а не с тем, чтоб на его примере внушить ужас всем богатым сицилийцам.

Х. (25) Судьи, я ведь говорю сейчас о воинской доблести Верреса и поэтому молю, пусть он сам подскажет мне все, что я случайно упускаю. Мне-то кажется, что я поведал уже обо всех его подвигах — по крайней мере, в предотвращении невольничьего мятежа; во всяком случае, я ничего не пропустил намеренно. Вам известно все: и распоряжения его, и осмотрительность, и бдительность, и охрана и защита провинции. Это нужно для того, чтобы вы узнали, какого рода полководец наш Веррес, и при нынешнем недостатке храбрецов не пренебрегали бы таким военачальником. Это не Фабий Максим с его рассудительностью, и не старший Сципион с его быстротой, и не младший, столь разумный в решениях, и не Павел, твердый и мыслящий, и не Марий, мощный и доблестный, — нет. Прошу вас, познакомьтесь теперь с полководцем другого склада, которого надо всячески холить и лелеять.

(26) Начнем с трудностей переходов, которые в военном деле всегда весьма значительны, а в Сицилии в особенности. Посмотрите, как он изловчился сделать их приятными и легкими для себя. В зимнее время он отыскал великолепный способ избежать морозов, бурь и опасных переправ через реки: он выбрал для житья себе город Сиракузы, где природа и местность таковы, что там не бывает такого непогожего дня, когда бы ни разу не выглянуло солнце. Там этот доблестный воин и зимовал, да так, что не только из дому не выходил, но и с ложа не сходил: краткий день он проводил в попойках, а долгую ночь в постыдном разврате.

(27) С наступлением весны (он узнавал о ее приходе не по западному ветру или движению светил, а только по первым розам) Веррес пускался во все тяжкие — трудился и разъезжал, да так неутомимо и ревностно, что его никто не видел верхом на коне. **XI.** Нет, его носили ввосьмером, как вифинского царя, на носилках среди подушек, набитых лепестками роз и покрытых прозрачной мальтийскою тканью; сам же он сидел, с венком на голове и венком на шее, понюхивая розы из тончайшего сетчатого мешочка. Преодолев таким образом тяготы пути, он вступал в какой-нибудь город, и на тех же носилках его несли прямо в опочивальню. Туда приходили к нему сицилийские магистраты, приходили римские всадники, как вы слышали под присягою от многих свидетелей; там он тайно обсуждал судебные дела, а потом во всеуслышанье объявлял решения. Так-то наскоро, в спальне, за взятки, не по правде совершив келейный суд, полагал он, что пора все остальное время посвятить Венере и Вакху. **(28)** Вот где невозможно промолчать о редкостной предусмотрительности нашего славнейшего полководца: в каждом городе из тех, куда преторы приезжали вершить суд, из знатнейших семейств отбирались ему на потребу женщины. Иные из них являлись на пирах его открыто, а кто поскромней, те приходили точно в названный им час, избегая людских взоров. На пирушках царили не приличествующая преторам римского народа тишина и благопристойность, а крики и брань, иной раз доходившие и до рукопашной, ибо строгий и рачительный наш претор хоть нисколько не считался с законами римского народа, но усердно соблюдал законы винной чаши. И нередко пиры кончались тем, что одного, как с поля битвы, уносили на руках, другой оставался лежать замертво, многие валялись без чувств, как побитая рать, так что все это походило не на застолье претора, а на Каннское побоище беспутства.

XII. (29) Когда же разгоралась летняя страда — пора, которую все сицилийские преторы привыкли проводить в разъездах, полагая, что всего нужнее объезжать провинцию, когда везде зерно на току, вся челядь в сборе, толпы рабов становятся

большой силой, тяжкий труд особенно гнетет, обилие хлеба подстрекает к бунту, а время года лишь ему благоприятствует, — так вот, повторяю, именно тогда, когда другие преторы не слезают с коней, наш необыкновенный вождь устраивал себе в красивейшем уголке Сиракуз постоянный стан. (30) У самого входа в гавань, где берег образует изгиб в сторону города, он раскидывал свои палатки, крытые тонким испанским полотном; и сюда перебирался он из преторского дома, прежних Гиероновых палат, да так прочно, что все лето нигде, кроме этого места, его невозможно было увидеть. Сюда закрыт был доступ всем, кроме товарищей и прислужников его похоти. Сюда приходили все женщины, с которыми он водился, и количество их было поистине невероятным; сюда приходили и мужчины, удостоенные его дружбы, разделяющие с ним жизнь и утеху. Среди подобных мужчин и женщин жил при нем и сын его, подросток, чтобы если не по родственному сходству, то по воспитанью и привычке стать похожим на отца. (31) Здесь же обреталась и небезызвестная Терция, завлеченная его хитростью и коварством: появление ее, говорят, произвело замешательство в этом лагере, так как знатная жена Клеомена Сиракузского, а с ней почтенная супруга Эсхриона не желали терпеть общество дочери мима Исидора; но сидящий пред вами Ганнибал, ценя своих людей не по знатности, а по отваге в совсем иных сражениях, так полюбил эту Терцию, что потом и в Рим ее с собой увез. XIII. И когда в эти дни в своем пурпурном греческом плаще и тунике до пят красовался он среди своих женщин, сицилийцы ничуть не обижались, что на форуме нет ни должностных лиц, ни судов, ни разбирательств; никто не огорчался, что весь берег звенит женским криком, пением и музыкой, а на форуме царит полная тишина; ведь не право и справедливость исчезали из города, а насилие и жестокость, яростный и наглый грабеж.

50

51

(32) И такого-то полководца защищаешь ты, Гортензий? и его хищенья, грабежи, алчность, жестокость, надменность, преступления ты пытаешься прикрыть хвалой его великим ратным подвигам? Поневоле я боюсь, как бы к концу твоей защиты не пришлось бы прибегнуть к давнему приему и примеру Антония, как бы не пришлось поднимать Верреса и обнажать его грудь, дабы римский народ узрел на ней шрамы — следы женских укусов, следы беспутства и похоти! (33) Хоть бы боги догадались тебя упомянуть о его военной службе! Пусть припомнятся его первые успехи, чтобы вы поняли, каков он был не только наверху, но и в подчиненном положении, вспомнятся и самые первые годы его службы, когда он позволял не только себя увлечь (в чем признается сам), но и с собою лечь; или в стане плацентинского игрока, где он неотлучно служил, но ничего не выслужил; да и мало ли других было потерь на этой службе, окупавшихся лишь его цветущим возрастом! (34) А когда он закалился и его развратная выносливость опостылела всем, кроме него, — сколько крепостей, сколько твердынь добродетели взял он силою и дерзостью! Но меня это не касается, и не стану я из-за распутства Верреса бесчестить кого бы то ни было. Я не буду этого делать, судьи, оставим прошлое; а напомним только два недавних события, никого не задевающих, а по ним вы сможете судить и обо всем остальном. Первое известно всем и каждому: в консульство Луция Лукулла и Марка Котты ни в одном городишке не было такого простака, который бы пустился в Рим судиться и не знал бы, что столичный претор правит всякий суд по указке особы не самых строгих правил, по имени Хелидона. А второе: когда уже Веррес, облачившись в воинский плащ и присягнув служить своею властью на благо государства, покинул Рим, то еще не один раз он по ночам ради блудной нужды на носилках проникал в город к некоей женщине, хоть замужней, но многим доступной, — наперекор священному праву, наперекор знаменьям, наперекор

людским и божеским заветам.

XIV. (35) О, бессмертные боги! Как же велика разница между людьми! Как отличны их помыслы, их стремления! Пусть же воля моя и надежды на грядущее будут вам и римскому народу так угодны, как для меня были священны все обязанности полномочий, доверяемых мне римлянами. Я стал квестором с мыслью, что должность эта не просто дана мне, но вверена. Я назначен был в провинцию Сицилию, — и мне казалось, что на меня устремлены все взоры, что я выполняю свое предназначение на каком-то всемирном театре и что всеми видимыми утехами не только буйных каких-нибудь вожделений, но и общей всем нам природы в этой роли должен я пренебречь. (36) А теперь я избран эдилом — и я сознаю, чего ждет от меня римский народ. Я с величайшим тщанием должен устроить священные игры в честь Цереры, Либеры и Либеры; я должен умиловить в пользу римского народа мать Флору пышностью игр в ее честь; мне доверено отпраздновать с верою и уважением старинные, впервые названные римскими, игры в честь Юпитера, Юноны и Минервы. Забота о священных зданиях, наблюдение за жизнью всего города — все это вменено мне в обязанности. Вот за какие труды и заботы даны мне старшее место в сенате, тога с каймою, курульное кресло, право оставить свое изображение на память потомкам. (37) И хотя почет от римского народа весьма приятен мне, однако не столько в нем услад, сколько трудов и тревог, и поэтому я бы желал, судьи, — и да помогут мне боги! — своими стараниями доказать, что не поневоле первому случайному кандидату, но по справедливости нужному и признанному достойным предоставлено было это звание эдила.

XV. (38) А ты-то, когда выбился неведомо как в преторы (какими средствами — не стоит и говорить), когда тебя провозгласили претором, неужели же голос вестника, перечислявшего, сколько старших и младших центурий оказали тебе честь своим избранием, неужели этот голос не взволновал тебя настолько, чтобы ты призадумался о том, что частица государства — в твоих руках, что хотя бы в течение одного этого года тебе не пристало ходить и дом развратницы? Когда тебе выпал жребий вершить суд, неужели ни разу не подумал, какое в этом бремя, какая забота? Неужели, если бы ты вдруг очнулся, у тебя не достало бы ума сообразить, что должность, где с трудом управлялись мудрость и безупречность, досталась в удел небрежению и глупости? А ты не только не захотел, чтобы на время твоей претуры Хелидона ушла из твоего дома, — нет, ты и претуру перенес в ее дом!

(39) За претурую — наместничество. Но и здесь ни разу тебя не посетила мысль, что фаски, секиры, вся полнота власти, все сопутствующие ей знаки отличия не затем тебе даны, чтобы силой их и властью сокрушать все узы чести и долга, чтобы сделать своей добычей имущество всех и каждого, чтобы не было пред твоею алчностью и лютостью ни охраны для добра, ни замка для жилья, ни ограда для жизни, ни защиты для чести?

52

Ты так себя вел, что за всеми уликами вынужден был прибегнуть к рассказам о рабских мятежах. Ты же понимаешь, конечно, что этим себе не поможешь, — напротив, придашь силу обвинениям. Ты бы мог напомнить о последних вспышках бунта италийских рабов — о беспорядках в Темпсе: их послала тебе благосклонная судьба. Но ты не нашел в себе ни мужества, ни усердия: ты остался таким же, как и прежде. XVI. (40) Когда пришли к тебе из Валенции и Марк Марий, красноречивый и знатный, от имени города просил тебя, чтобы ты стал, с твоим преторским званием и властью, настоящим вождем и усмирил этот маленький отряд мятежников, — что ты сделал? Ты не только уклонился от этого, ты не постыдился и в Италии выставить перед людьми свою Терцию, которую ты вез с собой; более того, принимая по столь важным делам

граждан столь известного и славного города, ты одет был в темную тунику и греческий плащ! Как же, по-вашему, он вел себя по пути в Сицилию и в самой Сицилии, если даже на обратном пути, ожидая не триумфа, а суда, он сумел опозориться без всякого для себя удовольствия? (41) О, вещий ропот сената в храме Беллоны! Вспомните, судьи: уже сгустились сумерки, только что объявили о беспорядках в Темпсе, но некого было найти облеченного властью, чтоб отправиться в эти места; кто-то вспомнил, что недалеко от Темпсы находится Веррес, — но какой поднялся ропот, как открыто все первейшие сенаторы заговорили против него! А теперь, изблеченный столькими обвинениями и свидетельствами, он еще надеется, что за него проголосуют письменно те, кто, еще не зная подробностей, осудили его открыто и вслух?

XVII. (42) «Пусть так; пусть Веррес не покрыл себя славой, умиряя рабские мятежи или покушения на мятежи, поскольку не было в Сицилии ни мятежей, ни угрозы их, и не мог он бороться с тем, чего и не существовало. Зато против набегов морских разбойников он снарядил великолепный флот, не спускал с него ревнивых глаз, и провинция могла быть совершенно спокойна».

Что ж, судьи! И о набегах морских разбойников, и о сицилийском флоте я берусь рассказать такое, что вы сразу увидите, как в одном этом деле явились все величайшие пороки нашего Верреса — алчность, надменность, неистовство, похоть, жестокость. Расскажу я об этом коротко, а вы прислушайтесь ко мне с прежним вниманием.

(43) Раньше всего я утверждаю: снаряжая флот, Веррес не о защите провинции заботился, а только о собственной выгоде.

53

54

55

В то время как, по обычаю прежних преторов, каждая община выставяла столько-то кораблей, моряков и воинов, ты почему-то ничего не потребовал от самой большой и богатой общины — Мамертинской. Сколько мамертинцы за это дали тебе тайком, — это, если нужно, мы еще узнаем из записей и от свидетелей. (44) Но этого мало: открыто, на глазах у всей Сицилии, за счет горожан была построена огромная, размером с трирему, кибя, и мамертинские власти дали и подарили ее тебе. Этот корабль, полный сицилийской добычей, сам — часть этой добычи, к отъезду Верреса прибыл в Велию, нагруженный драгоценнейшими и любимейшими вещами Верреса, которые он не пожелал отправить в Рим вместе с остальным награбленным добром. Этот корабль, судьи, я сам недавно видел в Велии, да и не я один; и хоть был он и красив и наряден, всем казалось, что корабль уже предвидит скорую ссылку и высматривает хозяину пути для бегства.

56

XVIII. (45) Что ты ответишь? Или скажешь, что корабль был построен на твои деньги? В самом деле, что еще и сказать на суде о вымогательстве; только вряд ли кто этому поверит. Что ж, скажи! Не бойся, Гортензий, я не стану спрашивать, по какому праву построил он корабль: правда, законы это запрещают, но они ведь, по твоим словам, давно устарели и отжили, — это лишь в былые времена нашего государства строгость в судах была такова, что обвинитель счел бы такое дело сугубым преступлением: «Зачем тебе корабль? Ради нужд государства тебе бы предоставили суда на казенный счет и для переезда, и для охраны; а ради собственных нужд ты не имеешь права ни разъезжать, ни отправлять добро оттуда, где ты ничего своего иметь не должен. (46) Да и как ты смел вообще приобрести что-то против законов?» Нет: это звучало бы преступлением в те суровые и достойные нашего государства времена; нынче же я не только не обличаю тебя в преступлении, но даже не порицаю за

непорядочность: «Как же ты ни разу не подумал, что позорно, преступно, возмутительно в самом сердце провинции, претором которой ты являешься, открыто строить себе грузовое судно? Что, по-твоему, говорили люди, видя это, что думали они, слыша об этом? Что этот корабль ты собираешься отправить в Италию пустым? Что по прибытии в Рим сделаешься судовладельцем? Что в Италии у тебя есть приморские владения и ты запасаясь грузовым судном для перевозки урожая? Нет, уверяю тебя, никому такое и в голову не пришло! Ты, верно, сам хотел того, чтобы повсюду о тебе пошли толки, будто ты приготовил корабль, который бы вывозил тебе из Сицилии добычу и возвращался бы за тем, что еще осталось».

(47) Нет: и это я все прощаю тебе; докажи только нам, что построил корабль на свои деньги! Но того не понимаешь ты, безумец, что эти самые мамертинцы, заступники твои, при первом же слушании дела лишили уже тебя этого довода. Ведь этот Гей, который привел сюда послов тебя славословить, сам сказал, что корабль тебе построили мамертинцы и что возглавил этот труд, причем в открытую, мамертинский сенатор. А строительный материал — его ты требовал с жителей Регия, так как у мамертинцев своего не было; регийцы это прямо говорят, да ты и сам не сможешь этого отрицать. XIX. Но если и то, из чего сделан корабль, и те, кто его сделали, готовенькими поступили тебе в распоряжение по твоему приказу, где же искать то, за что будто бы ты сам заплатил? (48) «Но у мамертинцев в книгах их расходы не записаны!» Во-первых, ведь могло случиться и так, что из казны они ничего и не тратили: ведь сумели же наши предки воздвигнуть Капитолий даром, призвав мастеров и строителей от имени государства! Во-вторых, я подозреваю — а если вызвать мамертинцев, то и по книгам их доказать смогу — что многие деньги, истраченные на Верреса, расписаны на работы вымышленные и пустые; да и что тут удивительного, если мамертинцы в документах пощадили своего благодетеля, доказавшего, что он гораздо больше предан им, чем римскому народу. Наконец, если отсутствие записей — доказательство, что мамертинцы не давали тебе денег, то и отсутствие записей в твоих собственных книгах о покупках или подрядах пусть послужит доказательством, что корабль тебе был сооружен бесплатно!

57

[Чтение.]

(49) Но, быть может, просто потому не стал ты требовать от мамертинцев их военный корабль, что таковы условия нашего с ними союзнического договора? Боги, на помощь! Оказывается, вот кто перед нами: ученик фециалов, преданный и ревностный блюститель священных договорных прав! Оказывается, всех предыдущих преторов головою надо выдать мамертинцам — ведь они у них требовали корабли вопреки договору! Но как же в таком случае ты, сама непорочность, само благочестие, приказал все же построить корабль в Тавромении, связанном с нами точно таким же договором? Или, может быть, ты скажешь, что не из-за взятки одинаковые права и условия обоих городов стали вдруг несхожими и разными? (50) Ну, а что, если я докажу, судьи, что жители Тавромения как раз не должны были по условиям договора строить корабль, мамертинцам же, напротив, именно это и вменялось в обязанность? Наш же Веррес в Тавромении потребовал корабль, а в Мессане обошелся без него; кто же усомнится после этого, что кибя мамертинцев перевесила договор с Тавромением? Зачитайте оба договора.

58

XX. Итак, ты хвастаешься благодеянием, а на деле оно оборачивается подкупом! Этим ты умалил величие государства, ты умалил вспомогательное войско римского парода, ты умалил средства, приобретенные доблестью и мудростью наших предков, ты

попрал законность власти, права союзников, память о договорах! Те, кого договор обязывал на свой страх и риск снарядить корабль хоть до самого Океана, коли будет так приказано, — даже вдоль своего берега не плавали, даже собственных домов, и стен, и гавани не защищали, — почему? Да потому, что откупились взяткой и от договора, и от принятых обязанностей. (51) Как вы думаете, судьи, сколько сил, стараний, денег согласились бы затратить мамертинцы, чтобы не строить этих кораблей, если б можно было это вымолить у наших предков? Ведь столь тяжкое обязательство, налагаемое на общину, обращает, в некотором роде, союзника в раба! Но вот мы видим: чего мамертинцы за прямые услуги, по свежей памяти, располагая выбором, не обременяя римлян, все же не смогли добиться от наших предков, — то они теперь, без всяких новых одолжений, столько лет спустя, после долгой и неукоснительной покорности, при теперешней нехватке кораблей, вдруг за взятку получили от Гая Верреса! И не только от постройки корабля ты их избавил, но и от многого другого: разве дали мамертинцы хоть одного матроса, хоть одного солдата, который бы воевал на море или на суше за три года твоей претуры?

59

[Чтение.]

60

XXI. (52) Наконец, хотя постановление сената, равно как и закон Теренция и Кассия, гласили, что все общины Сицилии обязаны продавать нам хлеб по мере их возможностей, ты и от этой общей и отнюдь не тягостной повинности освободил мамертинцев. «Мамертинцы и не должны давать хлеб», — скажешь ты. Что значит: «не должны»? Давать или продавать? Давать-то не должны, а продавать — обязаны. Вот как по твоей милости и по твоему толкованию закона мамертинцы оказались вправе далее рыночной продажей не помочь римскому народу. (53) Но если они «не должны», то кто же «должен»? Верно, те, кто сидит на казенных землях? Но повинности их точно определены цензорским постановлением; почему же ты от них потребовал добавочных поставок? Или, может быть, десятинные общины? Но по Гиеронову закону разве должны они давать больше десятой доли? Так с какой же стати ты и им стал назначать объем продажи хлеба? Или, может быть, общины, освобожденные от повинностей? Но с них и вовсе нельзя ничего брать. А ты не только не оставил их в покое, но потребовал еще те 60 000 модиев, которые ты снял с мамертинцев. Я говорю сейчас не о том, как несправедливо обошелся ты с другими общинами, а лишь о том, как незаконно ты освободил мамертинцев. Права у них были такие же, и все прежние преторы по закону и постановлению сената покупали у них хлеба столько же и за столько же, как и у других общин. Ты же пожелал свое благодеяние, как говорится, плотничьим гвоздем прибить: и совет созвал, и мамертинское дело разобрал, и решение совета объявил: «С мамертинцев хлеба не брать». (54) Вот вам подлинные слова из указа продажного претора: что за важный слог, что за самовластное законодательство! Читай. Он, видите ли, сообщает, что «охотно» делает это «на основании решения совета». «Охотно»! А мы-то думали, что ты наживаешься нехотя. «На основании решения совета»! Вы ведь слышали, судьи, имена участников этого совета, — не показалось ли вам, что это не совет при преторе, а шайка при атамане разбойников? (55) Вот они каковы, ревнители договоров, попечители общин, почитатели священных обычаев! Никогда еще, покупая в Сицилии хлеб, мы не обходили должной долею и мамертинцев, пока Веррес не создал свой совет, отменный и отборный, чтобы взять с мамертинцев деньги и остаться во всем верным себе. Веррес продал свой указ тем, у кого должен был покупать хлеб, — такова и цена была этому указу! Разумеется, как только Луций Метелл сменил нашего претора, он вернулся к порядку и уставу Гая Сацердота и Секста Педуция, вновь велел

мамертинцам поставлять свой хлеб. Тут-то и пришлось им понять, что от дурного продавца надолго не разживешься.

[Чтение.]

XXII. (56) Дальше. Желая прослыть ревностным блюстителем договоров, почему же приказал ты поставлять хлеб жителям Тавромения и Нета? Ведь и это — союзные общины. И жители Нета действительно пытались себя защитить: тотчас, как ты объявил, что «охотно» увольняешь от поставок мамертинцев, они пришли к тебе с доказательствами, что и у них ведь договор на тех же условиях. Можно ли решать одинаковое дело по-разному? Ты объявляешь, что жители Нета не должны давать хлеб, — и, однако, требуешь с них этот хлеб! Вот книга преторских указов — и вот роспись затребованного хлеба. Как понять нам, судьи, столь безграничную и позорную двуличность Верреса? Совершенно ясно: или жители Нета не дали ему требуемых денег, или он таким поступком лишний раз показал мамертинцам, как удачно они распорядились своими дарами и взятками, поскольку у других при том же праве ничего не вышло.

(57) И у него еще хватает смелости ссылаться на хвалебный отзыв мамертинцев! Судьи! Найдется ли среди вас хоть один человек, которому не ясно, сколько слабых мест в этом отзыве? Прежде всего: если человек не в состоянии представить суду десять поручителей, то приличней бы и вовсе отказаться от них, чем представить меньше законного числа. Далее: сколько в Сицилии общин! Ты управлял ими в течение целых трех лет — и что же? Одни против тебя, другие, немногие и мелкие, в страхе молчат, и вдруг одна лишь тебя славословит! Видно, ты и сам понимаешь, сколь полезны были бы для тебя настоящие похвалы, — но ты так управлял провинцией, что сам себя лишил их. (58) Да и что это за хвала, если ее посланцы открыто заявляют, как я уже напоминал, что за счет их города тебе был выстроен целый корабль, а за счет горожан ты наживался и хищничал? И наконец; если во всей Сицилии никого, кроме них, не нашлось, чтобы воздать тебе хвалу, — что это значит, как не то, что одарил ты их всецело за счет нашего государства? Где вы сыщете даже в Италии такой благодатный город с такими льготами, поселения с такими преимуществами, чтобы они столько лет благополучно были изъяты из всех повинностей, как община мамертинцев? Они одни при нашем преторе три года не давали того, что требовалось по договору, одни оказались вольны от всех повинностей, одни жили в таких условиях, чтобы римскому народу не отдавать ничего, а претору Верресу — все!

XXIII. (59) Но я отвлекся. Возвратимся к флоту. Ты получил от мамертинцев корабль вопреки закону и избавил их от поставки корабля вопреки договору. Итак, в одной общине ты показал себя бесчестным дважды: не взял положенного и взял недозволенное. Ты был обязан потребовать корабль против разбойников, а не для собственного разбоя, и он должен был охранять провинцию от грабежей, а не увозить из нее награбленное! Мамертинцы тебе предоставили и корабль, чтоб возить добычу, и город, куда ее возить: да, город их стал складом краденого, горожане — свидетелями и укрывателями; они позаботились и о хранилище ворованного, и о средствах его доставки. Потому-то, даже потеряв свой флот из-за небрежности и алчности, ты не требовал пополнения от мамертинцев. В тот трудный час при недостатке судов и при столь бедственном положении провинции нам был нужен с них корабль, даже если бы пришлось его вымаливать; но и нужде и мольбе заградил дорогу тот, другой корабль — не военный, для римского народа, а грузовой, подаренный претору. За него ты продал и власть, и помощь, и право, и обычай, и договор. (60) Вот как, судьи, была потеряна и продана верная поддержка одной из сицилийских общин.

[Свидетельские показания.]

А теперь пора вам познакомиться с новым способом воровства, изобретенным впервые нашим Верресом. XXIV. До сих пор все содержание флота — продовольствие, деньги на жалованье и все прочее — каждая община передавала своему наварху. Наварху этому приходилось и матросов не гневить, и перед согражданами отчитываться, так что он участвовал в делах не только трудом, но и риском. Так делалось всегда, и не только в Сицилии, но и в других провинциях; а в былые времена так брали помощь даже от латинян и италиков. Веррес первым в римской державе потребовал, чтобы все эти деньги поступили к нему, а уж он им назначал распорядителя. (61) Да, ты первым нарушил старый общий обычай; ты не захотел распоряжение деньгами переложить на других; ты взвалил на себя тяжкое бремя, на любого навлекающее подозрения и обвинения, — и не всякому ли ясно, почему? И затем являются и другие способы наживаться, — посмотрите, сколько их дает одно лишь морское дело! Брать взятки с общин, не выставивших матросов; отпускать выставленных — тоже не бесплатно; присваивать все жалованье отпущенных; остальным, кому оно причитается, не выдавать. Обо всем этом вы узнаете от свидетелей из общин. Читай.

XXV. (62) Каков негодяй, каково бесстыдство, какова наглость! Взимать с общин содержание на каждого нанятого, назначать по шестьсот сестерциев за каждого уволенного; кто заплатит, увольняется на все лето, а прокорм его и жалованье идет Верресу: вот как можно дважды нажиться на одном человеке! Обезумевши вконец, он не думал о набегах разбойников, он не думал об угрозе для провинции: все вершилось настолько открыто, что провинция все видела, а разбойники все знали.

61

(63) И вот когда из-за алчности этого человека от сицилийского флота оставалось одно название и корабли ходили без людей, неся не страх врагам, а добычу претору, случилось однажды так, что Публий Цесетий и Публий Тадий на десяти своих полупустых судах даже не захватили, а скорее, увели какой-то пиратский корабль, нагруженный добычей: тяжесть собственного груза его и погубила. На нем было полным-полно красивых молодцов, серебра в монетах и изделиях, ковров и покрывал. Наши суда наткнулись на него у Мегариды, неподалеку от Сиракуз. Когда Верресу об этом донесли, он хоть и валялся в это время пьяный со своими девками, однако же вскочил и тотчас послал своим квестору и легату многочисленную стражу, чтобы вся добыча как можно скорее была доставлена ему в неприкосновенности. (64) Корабль приводят в Сиракузы. Все ждут казни. А наместник, словно не добытчиков поймали, а добычу ему привезли, принимает за врагов только старых и уродливых, молодых же, красивых и умелых, уводит к себе: кого раздает писцам, кого сыну, кого свите, а шестерых музыкантов посылает в подарок приятелю в Рим. Всю ночь шла такая разборка корабля. Одного только никто не увидел: самого главаря, которому предстояла казнь. Потому-то и поныне все уверены (да и вы уже догадываетесь), что Веррес получил за него деньги от пиратов!

62

XXVI. (65) «Это только лишь предположение», — скажут мне. По не может быть настоящим судьей, кто не принимает во внимание очевидных предположений. Верреса вы уже знаете насквозь. Обычаи тех, кому доводится захватывать разбойничьих или вражеских главарей, вам тоже хорошо известны: с величайшею охотой выставляют они пленников предо всеми напоказ. Но в целых Сиракузах я не встретил никого, кто бы мог похвастаться, что видел воочию захваченного пиратского главаря, — а ведь люди, как водится, бегали, искали, рвались посмотреть на него. Что же случилось? Почему пирата скрывали настолько тщательно, что даже случайно никому не довелось

его увидеть? Сиракузские моряки часто слышали его имя, часто дрожали перед ним, они мечтали теперь насытить взгляд и сердце видом его мучений, — почему же в этом им было отказано? (66) Вспомним Публия Сервилия: он один захватил больше разбойничьих главарей, чем все его предки. Но разве он хоть раз лишил людей удовольствия посмотреть на захваченного пирата? Напротив, куда бы он ни направлялся, всем давал он вволю полюбоваться схваченными и скрученными врагами; и люди сбегались отовсюду из попутных и окрестных городов, чтобы только поглядеть на них. Потому-то из всех триумфов самым радостным и праздничным для римского народа был триумф Сервилия: ибо ничего нет слаще победы, а вернейшее свидетельство победы — вид грозного врага, в цепях идущего на казнь.

(67) Почему же ты не поступил так же? Почему скрывал разбойника, словно грех и поглядеть на него? Почему не казнил его? Почему сохранил ему жизнь? Слыхивал ли ты, чтобы в Сицилии хоть раз не обезглавили пойманного главара? Назови хоть один такой случай! Ты оставил предводителя живым. Зачем? Разве что в предвидении своего триумфа, чтоб погнать его перед твоею колесницею? Да, лишь этого одного не доставало: потерявши лучший римский флот, разоривши целую провинцию, удостоиться еще и морского триумфа!

XXVII. (68) Дальше. Положим, ему вздумалось действовать по-особенному: не казнить главного пирата, а держать его под стражей. Что же это за стража? Кто и каким образом его охранял?

63

Все вы слышали о сиракузских каменоломнях, многие даже видели их. Это огромное величественное создание царей и тиранов, трудом множества людей вырубленное в скале на небывалую глубину. Все пути наружу закрыты, все замкнуто со всех сторон, все надежно охраняется. Лучше тюрьмы ни построить, ни выдумать. В эти каменоломни приводят под стражу даже узников из других городов. (69) Но у Верреса там сидело много пленных римских граждан, а потом он туда бросил остальных пиратов и отлично понимал, что если там окажется подставное лицо, то в каменоломнях тотчас задумаются, где же настоящий главарь. Поэтому он не решается поместить разбойника в эту лучшую и надежнейшую тюрьму, боится вообще оставить его в Сиракузах, хочет сплавить его куда-нибудь подальше, — но куда? Может быть, в Лилибей? Нет, судьи: слишком опасается он жителей побережья. Тогда в Панорм? Понимаю; но схватили-то его в Сиракузах, стало быть, в Сиракузах должны его и сторожить, если не казнить. Нет, и не в Панорм. (70) Куда же, спрашивается? А как повашему? К тем, кто не знает ни пиратов, ни страха перед ними, кто не знаком ни с мореплаванием, ни с морем, — в Центурипы, в самую середину Сицилии, где славные тамошние пахари и понаслышке-то не боялись пиратов: довольно с них было и твоего Апрония, сухопутного разбойника страшней морских. А чтобы совсем не оставалось сомнений, что главное тут — дать подставному пирату возможность легче играть свою роль, Веррес отдает приказ, чтобы в Центурипах содержали его щедро и гостеприимно, не жалея ни угощений, ни удобств.

64

XXVIII. (71) Между тем жители Сиракуз, люди многоопытные и догадливые, умеющие видеть не только показное, но и скрытое, день за днем вели счет выводимым на казнь пиратам: по размерам захваченного судна, по числу его весел им нетрудно было догадаться, сколько их должно было быть. Наш же претор, отобравший для себя самых красивых и умелых, опасался, что народ поднимет шум, поскольку взял он больше, чем оставил; и поэтому велел он выводить на казнь разбойников не всех сразу, как принято, а порознь в разное время. Но и это не помогло: в Сиракузах все вели

точнейший счет пиратам и не только хотели, но и громко требовали представить им недостающих. (72) А недостающих было много. И тогда-то этот негодяй взамен присвоенных им пленников начал выводить на казнь римских граждан, заточенных у него в тюрьме: одних — как мнимых воинов Сертория, бежавших из Испании и занесенных в Сицилию, других — захваченных пиратами моряков и торговцев — как якобы вступивших в преступный заговор с разбойниками. И римских граждан, закутав им головы, чтобы их не узнали, тащили из тюрьмы к столбам и плахам; некоторых даже узнавали римские их сограждане, все заступались за них, и все-таки их казнили. Но о страшных этих пытках, об ужасной их гибели я еще расскажу в положенном месте; и расскажу об этом так, что ежели среди этих жалоб на зверства Верреса и низкую казнь римских граждан меня покинут не только силы, но и жизнь, то я сочту такой конец славнейшим и прекраснейшим.

(73) Таков его подвиг, такова его великая победа: захвачен корабль, главарь освобожден, музыканты отосланы в Рим, молодые красавцы и умельцы взяты претором, а вместо них как злейшие враги пытаны и казнены римские граждане, все ткани похищены, все золото и серебро присвоено.

XXIX. И как же он себя сам выдал при первом слушании дела! Когда достойнейший Марк Линий показал, что римский гражданин был обезглавлен, а пират остался жив, — вдруг Веррес, который столько дней молчал, тут вскочил и, возбужденный сознанием своих преступлений и яростью собственных злодеяний, объявил, что он предвидел обвинение, будто он за взятку не казнил настоящего пиратского главаря: потому-то он и не послал его на плаху, и теперь у него в доме оба пиратских главаря!

(74) О, снисходительность или, вернее, неслыханное долготерпение римского народа! Марк Анний, римский всадник, говорит, что обезглавлен римский гражданин, — ты не споришь; говорит, что разбойничий главарь цел и невредим — ты не отрицаешь! Поднимается всеобщий ропот и негодование, но по-прежнему римский народ сдерживается и не казнит тебя на месте, а доверяет заботу о своем благополучии суровости судей!

Как? Ты предвидел обвинение в подобном преступлении? Да как же мог ты его предвидеть, как мог даже подозревать? У тебя ведь не было врагов; а если бы и были, то не так ты жил, чтобы испытывать страх перед судом. Или, может быть, тебя, как это бывает, сделала трусливым и подозрительным нечистая совесть? О, тогда уж, если ты и в полном власти своем боялся суда и обвинения, то как же теперь, когда столько свидетельств говорят против тебя, еще ты можешь сомневаться в приговоре?

(75) Но ежели и впрямь тебя страшило обвинение, что вместо главаря разбойников ты казнил подставное лицо, то в чем была верней твоя защита — сейчас ли, столько времени спустя, по моему требованию и принуждению, привести на суд неведомого человека и твердить, будто он главарь пиратов, — или тотчас по свежим следам казнить всем известного пирата в Сиракузах, на виду у всей Сицилии? Смотри же, как велика здесь разница: там тебе нет никакого порицания, здесь тебе нет никакого оправдания; так, как там, поступали всегда и все, а так, как ты, поступал ли когда-нибудь и кто-нибудь?

65

Ты оставил пирата в живых. До какой поры? Пока ты был облечен властью. С какой стати, по чьему примеру, почему так долго? Почему, я спрашиваю, схваченных пиратами римских граждан ты тотчас казнил, а самим пиратам дал так долго наслаждаться солнечным светом? (76) Впрочем, пусть: делай что хочешь, пока ты в звание претора. Но теперь-то ты уже частное лицо, даже подсудимый, даже почти

осужденный, — почему же еще и теперь держишь ты в частном доме вражеского вождя? Месяц, два, почти целый год в доме твоём было полно пиратов; и конец этому положил лишь я, вернее, Маний Глабрион, который по моему требованию приказал вывезти их из твоего дома и бросить в тюрьму. XXX. Какое право ты имел на это? Какого обычая придерживался? Каким примером руководствовался? Кто, кроме тебя, решился бы держать в стенах частного дома злейшего и опаснейшего врага римского народа — а вернее сказать, общего врага всех народов и племен? (77) Ну, а если бы накануне того дня, как ты признался предо мной, что римских граждан ты казнил, а пиратского вождя оставил жить, — если бы накануне этого дня бандит сбежал? Если бы ему удалось собрать отряд и повести его против нашего государства, что бы ты тогда сказал? «Он жил у меня, он был при мне, я сберег его, чтобы на этом суде опровергнуть обвинения моих врагов». Так, наверное? Ты от собственной беды ищешь спасения во всеобщей беде; ты казнишь побежденного врага, когда это удобно для тебя, а не для отечества; и врага римского народа сторожит частное лицо? Нет, даже те, кто празднуют триумф, позволяют вражеским вождям пожить недолго, чтоб, увидев их в праздничном шествии, римский народ насладился сладким зрелищем победы; но едва повернут колесницы от форума к Капитолию, как врагов приказывают бросить в тюрьму, и один и тот же день становится концом войны для победителей и жизни для побежденных.

(78) Сомневаюсь я и в том, что ты не предвидел риска, укрывая разбойника от казни и себя же подвергая очевидной опасности; сомневаюсь особенно теперь, когда из твоих же слов следует, что ты знал о предстоящем суде. А если бы он умер? Кому и как бы ты, испытывая такой страх перед обвинением, взялся бы доказывать это? Когда было известно, что в Сиракузах его все хотели видеть, а никто не мог; когда все были уверены, что ты освободил его за деньги; когда кругом только и говорили, что ты заменил его подставным лицом; когда, наконец, ты сам сознался, что заранее боялся этого обвинения; после всего этого, если бы ты заявил, что он умер, кто бы тебе поверил? (79) Вот теперь выводил ты кого-то сюда живым, — и что же, все только смеются над тобой! Ну, а если бы он убежал, если бы разбил оковы, как когда-то знаменитый пират Никон? Публию Сервилию повезло с Никоном дважды: он захватил его и снова сумел поймать; а что бы ты тогда сказал?

Нет, на самом деле все гораздо проще. Если бы ты вовремя казнил настоящего пирата, то не получил бы денег; если же умер бы или удрал поддельный пират, то на его место было бы легко подставить нового.

66

Больше, чем хотелось, говорил я об этом главаре пиратов и, однако, самых главных доказательств преступления не стал приводить. Пусть останется это обвинение неисчерпанным: для него есть другое место, другой закон, другой трибунал. Я предоставляю им разобраться во всем.

XXXI. (80) Но, разбогатев на своей добыче и умножив свое состояние и рабами, и серебром, и драгоценными коврами, Веррес и не подумал о том, чтобы лучше снарядить свой флот или созывать и кормить матросов, хотя это и могло бы дать провинции покой, а ему поживу. Вовсе нет — в разгар лета, когда другие преторы обычно разъезжали по провинции или даже сами выходили в море против пиратской угрозы, — в это самое время Веррес даже царским домом не довольствовался для своей распутной жизни (это был дворец царя Гиерона, где обычно жили преторы): он велел по летнему своему обычаю, как я о том говорил, расположить свои палатки, крытые тонким полотном, на берегу сиракузского Острова, у входа в гавань, близ источника Аретузы, в прелестном и укрытом от взоров уголке. (81) Здесь претор римского народа,

охранитель и блюститель провинции, проводил свое лето в попойках с женщинами — из мужчин там были только он да сын-подросток, то есть, можно сказать, и вовсе никого не было; допускался иногда лишь вольноотпущенник Тимархид. Женщины же все были замужние и знатные, кроме одной, дочери мима Исидора, которую отбил он у родосского флейтиста. Жила здесь некая Пипа, жена сиракузянина Эсхриона, — как пылал к ней Веррес, о том по всей Сицилии ходили стишки. (82) Необыкновенная, как говорили, красавица Ника, жена сиракузянина Клеомена, тоже находилась здесь. Муж любил ее, однако и не мог и не смел противиться похоти нашего претора, связанный по рукам и ногам его дарами и благодеяниями. Все же Веррес, при всем своем заведомом бесстыдстве, не решался в присутствии мужа столько времени с легким сердцем держать при себе его жену. Поэтому он выдумал нечто неслыханное: передал под начало Клеомена корабли, которыми раньше командовал легат, приказал, чтобы флотом римского народа руководил и начальствовал сиракузянин Клеомен! И все это лишь затем, чтобы Клеомен со своими кораблями не просто отсутствовал, но отсутствовал охотно, благодарный за честь и милость, сам же Веррес, отославши мужа, мог бы если не свободней (разве прежде что стесняло свободу его похоти?), то спокойней проводить время с женою своего незлобного соперника.

67

XXXII. (83) Итак, сиракузянин Клеомен принимает под начало корабли наших союзников и друзей. Что мне делать, обвинять или печаловаться? Сицилийцу предоставить власть, почет, могущество легата, квестора, наконец — претора! Пусть ты сам был занят лишь попойками и девками — но где же были твои квесторы, где легаты? Где был хлеб по три денария за меру, где палатки, мулы, где весь скарб, положенный наместнику с легатами сенатом и народом? Где префекты, где трибуны? Если не нашлось ни одного римского гражданина, достойного возглавить флот, то где же те общины, которые всегда являли дружбу и преданность римскому народу? Где Сегеста; где Центурипы, и заслугами, и верностью, и давностью, и родством даже связанные с римлянами? (84) О, бессмертные боги! Если войны, суда, судона начальники этих городов подчинены сиракузянину Клеомену, то не попораны ли этим всякое достоинство, справедливость и заслуги? Разве не во всякой сицилийской войне Центурипы были за нас, а Сиракузы — против нас? (Этим я не хочу их обидеть, а хочу лишь напомнить о прошлом.) Разве не по этой причине великий и славный полководец Марк Марцелл, чьей отвагой Сиракузы были взяты и чьим милосердием спасены, строго запретил сиракузянам селиться в той части города, которая называется Островом, и запрет его в силе и поныне? Этот Остров можно защитить самыми малыми силами; потому-то Марк Марцелл не захотел доверить это место и смежный выход в море людям, не вполне надежным, не вручил ключи от Сиракуз тем, кто столько раз преграждал путь нашим войскам.

(85) Вот она, разница между твоею прихотью и ответственностью предков, между твоим похотливым буйством и их мудрою дальновидностью! Они не подпускали сиракузян к морскому берегу, а ты отдал им власть на море; они запретили сиракузянам селиться там, куда причаливают корабли, — а ты захотел, чтобы сиракузянин возглавлял флот! Тем, кому не была доверена часть собственного города, ты доверил часть римского владычества! Тех, кто помог нам подчинить Сиракузы, ты велел отдать в подчинение сиракузянину!

XXXIII. (86) И вот на центурипской квадриреме выходит из гавани Клеомен; за нею следуют корабли из Сегесты, Тиндарида, Гербиты, Гераклия, Аполлонии, Галунтия, — казалось бы, прекрасный флот, на деле же беспомощный и слабый: ведь и гребцы и бойцы были в отпуске. Полновластный претор не спускал с него бдительных

глаз все время, пока шли корабли мимо его притона: много дней он не показывался никому, но на этот раз позволил матросам хоть немного полюбоваться на себя. Полководец римского народа стоял на берегу, обутый в сандалии, в пурпурном греческом плаще и тунике до пят, и какая-то бабенка его поддерживала. Впрочем, в этом виде он не раз уже являлся и сицилийцам, и многим римским гражданам.

68

(87) Проплыв самую малость, наш флот лишь на пятый день достиг наконец мыса Пахина. Здесь голодные моряки стали собирать корни диких пальм, которых много там растет, как и по всей Сицилии. Вот что приходилось есть этим несчастным! Клеомен же, решив сравняться с Верресом не только властью, но и непотребством и распутством, проводил все дни на берегу, подобно претору, пьянствуя в палатке.

XXXIV. И вдруг к пьяному Клеомену и голодающим матросам приходит внезапная весть: в Одиссейской гавани — пиратские корабли! Есть такое место в Сицилии; наш же флот стоял у Пахина. Там при крепости числился — но только числился — воинский отряд; силами его Клеомен надеялся пополнить число моряков и гребцов. Но оказалось, что Веррес в алчности своей обращался с сухопутными войсками точно так же, как с морскими: в крепости оставались считанные солдаты, прочие же были отпущены. (88) Тогда Клеомен первый приказал на своей центурипской квадрилиме поставить мачту, поднять паруса, обрубить якоря и дать сигнал остальным судам следовать за ним. С поднятыми парусами корабль его развивал бешеную скорость, а вот как ходят корабли на веслах, об этом при Верресе все давно уже успели забыть. Да к тому же, ради чести и милости к Клеомену, с квадрилимы его было уволено меньше гребцов и бойцов. Оттого-то летящая квадрилима исчезала уже из виду, тогда как прочие корабли никак не могли сдвинуться с места.

(89) Но моряки, пусть и отстав, не падали духом: их было мало, им было трудно, но они кричали, что хотят сражаться, и сколько оставил им голод сил и жизни, они рады отдать их в сражении. И они могли бы еще сопротивляться, не умчись Клеомен на такое расстояние: ведь корабль его, большой и палубный, мог бы стать оплотом для других и по сравнению с маленькими пиратскими ладьями показался бы целым городом, если бы только принял участие в битве. Но покинутые вождем и флотоводцем, они в бессилии вынуждены были следовать за ним. (90) Вслед за ним они плыли к Гелору, не столько убегая от пиратов, сколько поспевая за предводителем. И кто был последним в бегстве, тот оказывался первым в опасности: на него раньше всех набрасывались пираты. Первым взят был галунтийский корабль под начальством знатного галунтянина Филарха, — впоследствии жители Локр сумели выкупить его за счет города; именно от него вы и узнали под присягой обо всем этом во время первого слушания дела. Вслед за тем берут аполлонийский корабль, а его начальника Антропина убивают. XXXV. (91) А Клеомен меж тем достиг уже Гелора и, едва приставши к берегу, сошел на сушу и бросил квадрилиму на волю волн. Остальные корабельщики, увидев своего вождя на берегу, последовали его примеру, — все равно ведь у них не было средств ни к битве, ни к бегству. И Гераклеон, предводитель пиратов, не по доблести своей, а лишь по алчности и непотребству Верреса неожиданно оказавшись победителем, приказал под наступающими сумерками поджечь и спалить дотла вытасенный и выброшенный на песок прекраснейший флот римского народа.

(92) О, горькие и злые для Сицилии времена! О, бедствие, пагубное и губительное для стольких невинных! О, неслыханное беспутство и бесстыдство претора! В одну и ту же ночь пылал в пламени позорнейшей страсти Веррес и пылал подожженный разбойниками флот римского народа.

Глубокой ночью тяжкая весть о несчастье пришла в Сиракузы. Все бросились к дому претора, куда только что с песнями и музыкой его препроводили женщины после разудалой пирушки. Клеомен, и в темноте боясь попасться на глаза людям, заперся дома; и даже не было с ним жены, чтобы утешить мужа в горе. (93) А у самого наместника в доме была заведена такая военная строгость, что даже столь тяжелой и страшной вестью никто не смел его беспокоить. Никто не решался разбудить его спящего или потревожить бодрствующего. А известие разносилось, по городу собирались толпы, и о случившемся несчастье и грозящей от пиратов опасности возвещали не сигнальные огни на холмах или сторожевых вышках, как когда-то, а пламя пожара, в котором горели корабли.

69

70

XXXVI. Пока шли розыски претора и становилось очевидным, что он ничего не знает, к его дому с криками подступила толпа. (94) С трудом проснувшись, Веррес выслушивает Тимархида, надевает военный плащ и уже почти на рассвете появляется перед народом, еще томный от сна, вина и разврата. При его появлении толпа взревела, и в глазах у претора встали мрачные видения Лампсака. Но сейчас опасность казалась еще ближе, потому что ненависть была не меньше, а толпа гораздо больше, чем в те памятные дни. Ему припомнили его блудный стан, его попойки, из толпы ему выкрикивали имена женщин, спрашивали в открытую, где он пропадал, что столько дней его не видели, и чем он занимался; потом стали требовать Клеомена, его ставленника; и едва не повторилась в Сиракузах с Верресом та расправа, что когда-то выпала Адриану в Утике, — так что в двух провинциях чуть не оказались две могилы двух бесчестных преторов.

Но народ помнит, что время ночное, положение тревожное, помнит о достоинстве сиракузского собрания римских граждан, столь почтенного, что оно могло бы украсить не одну эту провинцию, но все наше государство. (95) И пока наш полководец, все еще сонный, оцепенело взирает на все происходящее, люди, подбадривая друг друга, берутся за оружие, заполняют форум, занимают Остров — важнейшую опору города.

71

А разбойники, переночевавшие при Гелоре, бросив наши еще дымящиеся корабли, двинулись на Сиракузы. Они, конечно, слышали не раз, как прекрасны в Сиракузах город и гавань, и справедливо рассудили, что коли при Верресе они не полюбуются ими, то потом уж, верно, никогда. XXXVII. (96) Первым делом подступили они к летнему пристанищу претора, где в те дни на берегу в палатках он раскинул свой блудный стан. Обнаружив, что стан сей пуст и претор оттуда уже снялся, пираты, не колеблясь, устремились в самый порт.

Когда говорю я «порт», судьи, я хочу сказать, что разбойники вторглись в город, в самую его сердцевину, — это необходимо объяснить тем, кто незнаком с тою местностью. В Сиракузах не город замыкается портом, но сам порт опоясывается и ограничивается городом, так что море не у дальних плещется стен, а вливается в глубокое лоно города. (97) И вот там-то в твое наместничество своевольно разъезжал на утлых четырех суденышках пират Гераклеон! Бессмертные боги! Жалкие пиратские ладьи бороздили воду перед форумом и набережными Сиракуз, осененных именем и властью римского народа. Сюда за столько войн, не раз пытавшись, не сумел проникнуть властвовавший морем знаменитый карфагенский флот; сюда не прорывались ни в Пунийских, ни в Сицилийских войнах непобедимые до твоего преторства славные римские корабли, ибо сама природа создала это место таким, что сиракузяне раньше видели вражеское войско в стенах своих, в городе, на форуме, чем

вражеское судно в водах своего порта. (98) Веррес! Стоило тебе стать претором, как в этих водах стали почем зря разгуливать пиратские суденышки. Сколько помнят люди, только раз сюда ворвался силою и множеством трехсот кораблей афинский флот, но и он, подавленный самой природою, нашел здесь свою гибель: здесь впервые было сломлено могущество Афин, в этих водах потерпели крушение и слава их, и власть, и достоинство.

XXXVIII. А теперь в эти воды пробрался пират, не боясь, что город окружал его и сбоку и с тылу! Он объехал сиракузский Остров, — целый город, с особым именем, за особой стеной, тот самый, где наши предки, как сказал я, запрещали селиться сиракузянам, потому что понимали: кто владеет Островом, тот будет владеть и гаванью. (99) О, как шествовали здесь пиратские корабли! За собой они разбрасывали корни диких пальм, найденные на наших кораблях, чтобы все увидели позор претора и беду Сицилии. Сицилийские воины, дети пахарей, чьи отцы трудом своим взрастили столько хлеба, что могли снабжать им римский народ и всю Италию, рожденные на острове Цереры, родине хлебных злаков, вновь питались тою пищею, от которой предки их навеки избавили человечество. В твоё преторство, Веррес, сицилийские воины кормились пальмовыми корнями, а гнусные пираты — сицилийским хлебом!

(100) О, горе! О, непереносимое зрелище! Слава города, имя римского народа, сила стольких собравшихся людей преданы на посмешище пиратскому суденышку! В сиракузском порту пират справляет триумф над флотом римского народа, и беспомощнейшему и бессовестнейшему претору летят в глаза брызги от пиратских весел.

Не от страха, нет, а единственно от пресыщения победою, пираты наконец покинули гавань. И тогда-то народ стал искать причину столь великого бедствия. Говорят сразу все, заявляют открыто, что нечего и удивляться столь бесславному поражению, если воины и гребцы распушены, а оставшиеся погибают от нужды и голода, претор же денно и ночью пьянствует с девками.

(101) Брань и оскорбления сыпались отовсюду, а подкрепляли их рассказы навархов общинных кораблей. Из их числа некоторым удалось после гибели флота бежать в Сиракузы, и уж они-то в точности знали, сколько с каждого корабля было отпущено воинов и гребцов. Все было яснее ясного: обнаглевший претор обличался не словами, а свидетелями. XXXIX. На форуме и повсюду люди только и делают что без конца спрашивают навархов, из-за чего же был потерян флот; а навархи в один голос отвечают: из-за множества уволенных, из-за голода оставленных, из-за трусости и бегства Клеомена. Обо всем этом доносят претору.

От таких вестей Веррес задумался. Ведь он и раньше не сомневался, что против него будет возбуждено дело, — вы уж слышали, он сам заявил это при первом слушании. Он отлично понимал, что если навархи выступят свидетелями, он никак не сумеет оправдаться. И тогда он принимает решение — нелепое, но поначалу еще безобидное. Он приказывает вызвать навархов. Те являются. (102) Веррес укоряет их за то, что они ведут о нем такие речи. Он их просит, чтобы каждый говорил, будто на корабле его было столько матросов, сколько положено, и ни одного уволенного. Навархи обещают так и сделать. Веррес не откладывает дела в долгий ящик и тут же зовет своих друзей, — в их присутствии он спрашивает навархов, у кого сколько было матросов, и, конечно, каждый отвечает, как условлено. Их ответы записывают, и наш предусмотрительнейший муж скрепляет эти записи печатями своих друзей, — на случай, если против обвинения понадобятся письменные свидетельства.

(103) Разумеется, советчики посмеялись над безумцем, объясняя, что записи эти нисколько ему не помогут и его чрезмерное усердие только вызовет лишние

подозрения. Веррес уж не раз совершал подобного рода глупости, когда приказывал заносить в счетные книги города все, что ему заблагорассудится. Но теперь он понял, что подобные уловки ни к чему не Приведут, — подлинные книги и неопороченные показания полностью изобличают его.

XL. Веррес видит, что не помогут ему ни признания навархов, ни подстроенные свидетельства, ни записи и подписи; и тогда он принимает решение, достойное не бесчестного претора (даже с этим можно было бы еще примириться), но жестокого и безумного тирана. Чтобы брошенное ему обвинение хотя бы смягчить (опровергнуть его он и не мечтал), он задумал лишить жизни всех навархов — свидетелей его преступления.

(104) Закрадывались в его голову, правда, и такие мысли: «А как быть с Клеоменом? Разве можно покарать тех, кому велел я подчиняться, и оставить безнаказанным поставленного над ними? Разве можно казнить тех, кто в бегстве следовал за Клеоменом, и простить Клеомена, приказавшего следовать за ним? Разве можно так обрушиться на тех, кто плыл на пустых и даже беспалубных кораблях, и не задеть того, у кого был единственный палубный корабль и больше всего народу на борту? Пусть же и Клеомен погибнет вместе с ними! А мое слово? а клятвы? а рукопожатия, объятия, а боевое товарищество в ратных подвигах любви на милом взморье?..» Нет, никак нельзя было не пощадить Клеомена.

(105) Веррес вызывает Клеомена к себе. Он сообщает ему, что принял решение казнить всех навархов: того требуют соображения его безопасности. «Я пощажу одного тебя: пусть бранят меня за мягкость и непоследовательность, но ни тебя я не могу обидеть, ни оставить в живых столько опасных свидетелей». Клеомен премного благодарен, — он одобряет решение претора, говорит, что только так и надо поступить, лишь одно он замечает упущение: Фалакра, центурипского наварха, никак нельзя казнить, так как он был с ним, с Клеоменом, на своей центурипской квадриреме. «Что ж, ты хочешь, чтоб такой знатный человек из такого видного города остался против меня свидетелем?» «Пока да, — отвечает Клеомен, — потому что иначе нельзя; а потом мы что-нибудь придумаем, чтобы обезвредить его».

XLI. (106) Посоветовавшись с Клеоменом и порешив на этом, Веррес вдруг выходит из дворца, опьяняемый преступным буйством, яростью, жестокостью. Он является на форум, он вызывает к себе навархов; те немедленно приходят, ничего не боясь, ни о чем не подозревая. Их, невинных, несчастных, претор тут же повелевает заковать в цепи. Они взывают к его чести и совести, они спрашивают: за что? За то, отвечает он, что они предали римский флот разбойникам! В народе крик и недоумение: все потрясены бесстыдством человека, который в своей наглости обвиняет невинных в поражении, хоть виной тому его же собственная алчность, обвиняет честных в предательстве, хоть и сам слывет союзником разбойников; да к тому же со времени гибели флота миновало уже пятнадцать дней! (107) И тогда-то со всех сторон посыпались вопросы: где же Клеомен? Конечно, не потому, что кто-нибудь хотел его, каким бы он ни был, привлечь к ответу за случившееся бедствие: что мог сделать Клеомен? Я не могу бросаться ложными обвинениями: что при всем желании мог бы сделать Клеомен, когда алчность Верреса опустошила его корабли? И вдруг люди видят: Клеомен сидит рядышком с претором и по-свойски, как обычно, что-то шепчет ему на ушко. Все в великом негодовании: как, честнейшие люди, избранники общин, закованы в железа, а Клеомен за свои позорные услуги остается при Верресе первым лицом? (108) Но уже выставлен и обвинитель: это некий Невий Турином, еще в преторство Сацердота осужденный судом за оскорбления. Этот был самый подходящий человек для Верресовой наглости и давно ему служил подручным и лазутчиком и в

хлебных поборах, и в клевете, и в уголовщине.

XLII. В Сиракузы стекаются родители и близкие несчастных, потрясенные вестью о неожиданном горе. Они видят своих детей закованными, головой своей платящими за алчность претора. Они толпятся, заступаются, вызывают к совести твоей, которой у тебя не было и нет.

Вот приходит Дексон из Тиндариды, знатный человек, твой бывший гостеприимец: в его доме ты бывал, его называл своим другом. Он — отец одного из твоих пленников; на глазах твоих он потерял от горя все свое достоинство; неужели же ни слезы его, ни старость, ни узы гостеприимства не всколыхнули в твоём преступном сердце хоть какого-то человеколюбия? (109) Но что значат узы гостеприимства для лютого чудовища? Не он ли когда-то, будучи гостем Стения из Ферм, сам ограбил и обчистил дом гостеприимца, а затем заочно обвинил и без суда осудил его? И ему-то помнить о священном долге гостеприимства?! Кто ты: жестокий человек или лютое чудовище? Тебя не тронули слезы отца в испуге о невинном сыне; но ведь и ты оставил дома отца, и ты взял с собою сына, — так неужели же ни далекий отец, ни стоящий рядом сын не напомнили тебе о жалости к детям и о сыновней привязанности? (110) Сын Дексона Аристей, твой гостеприимец, — у тебя в цепях! За что? — «Он — предатель». — Где же его награда за предательство? — «Он — беглец». — А Клеомен не беглец? — «Он — трус». — Но ведь ты когда-то сам наградил его венком за доблесть. — «Он распустил матросов». — Но ведь плата за их роспуск досталась тебе!

Вот с другой стороны стоит другой отец, Евбулид из Гербиты, человек знатный и известный на родине. Защищая своего сына, он задел Клеомена — его тотчас чуть не раздели для бичевания. Что же тогда можно говорить в свою защиту? — «Клеомена не называть!» — Но как же без этого? — «Назовешь — умрешь!» (Кроме смерти у претора нет других угроз.) — Но ведь гребцов-то на судне не было! — «Ты что, претора обвиняешь? Свернуть ему шею!» — Но если нельзя упоминать ни претора, ни его пособника, когда вся суть дела в них двоих, — что же тогда делать?

XLIII. (111) Вот защищается Гераклий из Сегесты, знатнейший у себя на родине человек. Выслушайте об этом, судьи, того требует ваше человеколюбие! Речь идет о великих бедах и обидах наших союзников. Этот Гераклий тут и вовсе был ни при чем: из-за тяжелой болезни глаз он не участвовал в плаванье и по приказу законного начальника оставался в отпуске в Сиракузах. Уж его-то не касалось обвинение, будто он сдал флот, трусливо бежал, покинул строй. Значит, если уж нужно было его наказывать, то еще тогда, когда флот в Сиракузах снаряжался в плавание! Все равно его судили наравне с другими за преступление, которого он и не мог совершить, даже не будь оно вымыслено.

(112) Был среди навархов некий Фурий из Гераклеи (иногда и сицилийцы носят латинские имена), — человек этот и при жизни был известен не только на родине, а уж после смерти имя его прогремело по всей Сицилии.

В нем достало мужества не только на то, чтобы в глаза обличить Верреса (здесь бояться было нечего, все равно его ждала казнь), но даже на пороге смерти, рядом с матерью, день и ночь рыдавшей в тюрьме его, он нашел в себе силы писать защитительную речь, — и нет теперь в Сицилии ни одного человека, который бы эту речь не держал, не читал, не познавал по ней всю меру твоей преступной жестокости. Здесь он точно говорит, сколько моряков получил он от своей общины, скольких и за сколько уволил, сколько осталось; то же самое сообщает он и о других кораблях. За такие пред тобою речи его били розгами по глазам. Но на пороге смерти ему не страшна была телесная боль; он кричал (и это им записано): «Позор и преступление, что поцелуй бесстыднейшей бабы во спасенье Клеомена стоили для Верреса дороже, чем слезы

матери, молившей за сына!» (113) И еще сказал он перед смертью вещие слова едва ли не о вас, судьи, если только римский народ в вас не ошибся: «Не сможет Веррес, убивая свидетеля, истребить правосудие: для мудрых судей свидетельство из преисподней будет много весомей, чем из моих уст на суде: ведь, живой, я обличал бы только алчность, а ныне — погибший такою смертью — и преступность, и наглость, и жестокость Верреса». И еще того прекраснее: «Когда будет вершиться над тобою суд, явятся на него не только толпы свидетелей, но и богини мести и казни, взсланные душами безвинно умерших! Мне же участь моя не страшна, потому что я уж видел перед собой секиру, руку и лицо палача Секстия, когда по приказу твоему казнили римских граждан перед римскими гражданами». (114) Короче, судьи, лишь во время казни, достойной самого жалкого раба, Фурий полностью воспользовался свободой римского союзника.

XLIV. Всех навархов приговором суда Веррес обрекает на казнь. Любопытно, что к столь важному суду над столькими людьми он не допустил ни Тита Веттия, своего квестора и советника, ни достойного Публия Цервия, своего легата, — собственного легата претор первым отвел как судью! Так что лучше сказать — не суд, а шайка разбойников, то есть Верресова свита, выносила этот смертный приговор. (115) Дрогнули сицилийцы, старейшие и вернейшие союзники, неоднократно облагодетельствованные нашими предками, и немало встревожились за свою жизнь и состояние. Тяжко им было, что мудрость и мягкость нашего правления обернулись ныне жестокостью и бесчеловечностью, что разом столько людей были осуждены безвинно, что злобный претор собственную хищность покрывает подлой казнью невиновных.

Казалось бы, судьи, больше нечего добавить к этой низости, безумию, жестокости. И вправду нечего. Если бы и взялся кто-нибудь тягаться с Верресом в бесчестности, Веррес всякого опередил бы легко и намного. (116) Но ему пришлось тягаться с самим собой, и поэтому он каждым новым преступлением затмевал все прежние.

Я уже говорил, что Клеомен попросил не трогать центурипского Фалакра, потому что плыл у него на квадиреме. Молодой наварх, однако, опасался, что его не минует участь остальных невинно осужденных. Вот к Фалакру приходит Тимархид и предупреждает, что топор палача ему не грозит, а вот розгами засечь его могут. И вы сами слышали от Фалакра, что ему пришлось отсчитать Тимархиду денег. (117) Но ведь все это еще пустяки! Корабельщик, знатнейший человек в своем городе, откупился от смерти под розгами: дело житейское! А другой от приговора отделался взяткою: тоже не новость! Не в таких пошлых проступках ждет обвинений Верресу римский народ: он жаждет новых, вожделеет неслыханных! Люди знают: не над сицилийским претором вершится здесь суд, а над нечестивым тираном.

XLV. Осужденных заключают в тюрьму. Их ждет казнь; а для их несчастных родителей она уже наступила. Им запрещают приходиться к сыновьям, запрещают приносить пищу и одежду. (118) Эти отцы, которые перед вами, лежали у порога тюрьмы, эти несчастные матери ночевали у входа, лишённые права в последний раз увидеть родных детей. А они ведь умоляли лишь о том, чтобы из уст в уста принять последний вздох сыновей! Являлся тюремщик, преторский палач, смерть и ужас для союзников и римских граждан, ликтор Секстий. Из каждого стоны и трепета умел он извлекать прибыль: «Столько-то за вход, столько-то за пронос одежды и пищи». Все платили. «А сколько дашь за то, чтоб я твоему сыну снес голову одним взмахом, чтоб не мучил, не рубил еще и еще, чтобы умер он, не чувствуя боли?» Даже это стоило денег. (119) О, великая и непереносимая скорбь! О, злая и жестокая судьба! Не жизнь детей, а

скорую их смерть должны были покупать родители. Молодые люди сами договаривались с Секстием, чтоб удар его был единственным, и последняя просьба детей к родителям была о взятке ликтору за облегчение смертной их муки.

Бесчисленные и мучительные страдания придуманы были для родителей и близких. И пусть хотя бы смерть была для них концом, — но нет. Куда же дальше может завести зверство?! Найдется куда! Обезглавленные тела бросят на съедение зверям — и если это больно для родителей, то пусть заплатят и за право похоронить детей. (120) Вы уж слышали, как Онас из Сегесты, благородный человек, рассказывал, что он сам отсчитал Тимархиду деньги за погребение наварха Гераклия. Тут ты даже и не скажешь: отцов, мол, озлобляет гибель сыновей, — это говорит человек видный, знатный и вовсе не о сыне. Да и кто в Сиракузах не слышал и не знал, что сделки о погребении заключались с Тимархидом еще при жизни осужденных? Разве не открыто шли переговоры, разве не все сходились к ним родственники, разве не заживо шел торг о похоронах?

XLVI. Но вот все окончено, все решено: заключенных выводят из темницы и привязывают к столбам. (121) Поистине ты один остался тогда железным в своей бесчеловечности, одного тебя могли не тронуть их возраст, их знатность, их горе. Кто, кроме тебя, не оплакивал в их участи нависшую над всеми опасность? Взмахи секиры, всеобщий стон; и только ты радуешься и торжествуешь! Ты доволен, что уничтожены свидетели твоей алчности. Но ошибся ты, Веррес, и сильно ошибся, думая, что кровь невинных союзников смоет пятна твоих грабежей и бесчинств; безумие толкало тебя в пропасть, когда надеялся ты следы твоей алчности залечить лекарством жестокостей. И хотя свидетели твоих злодейств умерщвлены, их родственники восстали теперь за них на тебя. Даже средь навархов уцелели те, кого сама судьба, мне кажется, уберегла для этого суда, для этой мести за невинных жертв. Они здесь! (122) Вот Филарх из Галунта, отказавшийся бежать с Клеоменом, а потому настигнутый и захваченный разбойниками (его беда стала его спасением: не достанься он пиратам, он попал бы в руки худшего разбойника!), — он свидетельствует и о роспуске матросов, и о голоде, и о бегстве Клеомена. Вот Фалакр из Центурии, виднейший гражданин виднейшего города, — ни одним словом он не противоречит Филарху.

(123) Ради бессмертных богов! Что творится у вас в душе, судьи, когда вы сидите здесь и слушаете меня? Я ли обезумел и больше, чем надо, горюю о бедствиях союзников, или страшные эти муки невинных и вас пронизывают такой же болью? Когда я говорю, что наварх из Гербиты, наварх из Гераклеи погибли под секирой палача, то перед глазами моими встает вся несправедливость постигшей их беды. XLVII. Разве это не граждане тех народов, не питомцы тех полей, с которых ежегодно их трудом и стараниями собирают тучные хлеба для римского люда? Разве для того их воспитали и взрастили родители в надежде на справедливость нашего правления, чтобы ныне были они преданы безбожной свирепости и безжалостной секире Гая Верреса? (124) А когда я думаю об участии наварха из Тиндариды, наварха из Сегесты, мне приходят на память права и заслуги этих общин. Сципион когда-то их украсил вражескими доспехами, а Гай Веррес преступно отнял не только эти украшения, но и лучших в городе людей. Жители Тиндариды могли бы сказать так: «Мы принадлежим к семнадцати избранным общинам Сицилии, мы всегда в Пунических, Сицилийских войнах были верными союзниками римского народа, от нас римский народ всегда получал и военную помощь и мирную радость». Велика ль была им польза от этих преимуществ под властью Верреса? (125) Когда-то ваши корабли вел против Карфагена Сципион, а теперь полупустыми их ведет против разбойников Клеомен; с вами Сципион забирал добычу у врагов, а при Верресе вы сами стали для него — врагами,

для разбойников — морской добычею. Что еще сказать? Кровное родство наше с сегестянами доказано не только книгами, не только памятью, но и подтверждено на деле их обильными услугами, — но какие плоды принесла Сегесте эта близость теперь, под властью нечестивца? Не за эти ли услуги, судьи, из объятий родины был вырван и выдан палачу Секстию благороднейший юноша? Общине, которой наши предки уступили тучные и изобильные поля, которую освободили от повинностей, этой общине ты за всю ее к нам близость, за давнюю верность, за важность не позволил даже вымолить спасенье от кровавой гибели достойнейшему гражданину.

XLVIII. (126) У кого же искать союзникам защиты? к кому взывать? За какую надежду держаться в жизни, если и вы их покинете? Идти в сенат? Но зачем? Чтобы сенат приговорил Верреса к казни? Это не принято, не сенатское это дело. Искать прибежища у римского народа? У народа готов ответ: есть закон, оберегающий права союзников, а блюстители и стражи этого закона — вы, судьи! Вот единственное пристанище для них, единственная гавань, оплот и алтарь, и бегут они к вам, судьи, не за тем, за чем, бывало, шли раньше, — не за имуществом своим! Они требуют не золото, не серебро, не ковры, не рабов, не украшения, похищенные из городов и святилищ, — в простоте своей они боятся, что с этим всем римский парод уже примирился, что уж так тому и быть. В самом деле, сколько лет мы терпим и молчим, видя, как богатства целых народов переходят к нескольким людям. И тем равнодушнее и спокойнее взираем мы на это, что никто из грабителей даже и не притворяется, даже и не старается скрывать свою жадность. (127) В нашем пышном и прекрасном городе есть ли хоть одна картина или статуя, которая бы нам досталась не от побежденных врагов? А усадьбы этих воров украшены и переполнены такой добычею, которая отобрана у вернейших наших союзников. Как вы думаете, куда исчезли богатства чужеземных народов, ныне прозябающих в нищете, когда в нескольких виллах вы разом видите Афины, Пергам, Кизик, Милет, Хиос, Самос, всю Азию, Ахайю, Грецию, Сицилию?

Но на все это, судьи, говорю я, ваши союзники уже не обращают внимания. От казенных конфискаций они ограждены заслугами и верностью; алчность немногих хищников можно было если не побороть, то хоть как-нибудь утолить: лишь теперь у них не стало не только сил бороться, но и средств откупиться. О добре своем они уже не думают, на вымогательства, которые судит этот суд, не жалуются. Не в таком они виде предстают перед вами. Смотрите, судьи, смотрите на убогий их и нищенский облик!

XLIX. (128) Вот Стений из Ферм, нестриженный, оборванный. Весь его дом обчищен до нитки, но он и не упоминает о грабеже. От тебя он требует лишь самого себя, не более: ведь своим преступным произволом ты изгнал его из отечества, где он был первым по заслугам и доблести. Вот Дексон: он не требует того, что ты награбил в Тиндариде, что украл у него самого, он вопиет, несчастный, о своем единственном сыне, прекрасном и невинном юноше, — не взысканные с тебя деньги хочет он увезти домой, но лишь весть о настигшей тебя каре, в утешение праху и костям своего сына.

72

Вот Евбулид: старец, он на склоне лет своих не для того проделал столь многотрудное путешествие, чтобы вернуть себе что-нибудь из своего добра, но чтоб очи его, видевшие окровавленную шею его сына, увидали и казнь над тобой. (129) Если бы не Луций Метелл, судьи, то пришли бы сюда и матери и сестры несчастных. Когда я ночью подъезжал к Гераклею, то одна из них, в сопровождение всех матрон этой общины, несущих факелы, вышла ко мне навстречу и, вызывая ко мне как к спасителю, называя тебя палачом, в слезах призывая сына, бросилась, несчастная, мне в ноги, словно мог я возвратить ей сына из царства мертвых. То же самое было и в других общинах, — престарелые матери и малые дети безвинно погибших шли ко мне, и годы

их взывали к моему труду и настойчивости, а к вашему, судьи, состраданию. (130) Эту их жалобу прежде всех других доверяет мне, судьи, Сицилия: я пришел сюда, ведомый не жаждой славы, а слезами, пришел затем, чтобы ни клевета, ни тюрьма, ни цепи, ни розги, ни секиры, ни муки союзников, ни кровь невинных, ни тела казненных, ни горе родителей и близких не были больше предметом наживы наших наместников. Если благодаря вашей честности и справедливости я смогу стряхнуть с сицилийцев этот страх приговором Верресу, я буду считать, что мой долг, что воля их исполнена.

73

L. (131) А ты, Веррес, ежели найдешь защитника своему морскому преступлению, то пусть он защищает тебя так: пусть отбросит все общие места, не идущие к делу, пусть не говорит, будто я случайность вменяю в вину, а беду в преступление, будто я виню тебя в потере флота, между тем как и храбрейшие полководцы и на суше и на море тоже ведь не раз испытывали превратности войны. Не случайность я тебе вменяю в вину, и не нужно вспоминать чужие неудачи и перебирать крушения в чужой судьбе. Говорю я о другом: что корабли твои были пусты, гребцы и матросы уволены, оставшиеся кормились пальмовыми корнями, римский флот возглавлял сицилиец, а флот верных наших друзей и союзников — сиракузянин, ты же в эти дни, как и прежде, пьянствовал на берегу с девками, — всему этому есть свидетели и очевидцы. (132) Неужто тебе может показаться, что я издеваюсь над твоей бедой, запрещаю ссылаться на судьбу и проклинать военные превратности? Впрочем, слышать упреки за неудачи, посланные судьбою, обычно не любят именно те, кто слишком ей доверился, кто пытал ее опасную неверность, — но твоих-то бедствий это не касается, боевое счастье пытаются люди не в пирах, а в битвах; в этом же крушение не Марс был общим, а Венера. Если же ты сам не хочешь платить за изменчивость судьбы, то почему же ты заставил расплачиваться за нее тех невинных, которых ты казнил?

(133) Не придется тебе говорить и о том, будто я тебе вменяю в преступление и грех эту казнь под секирой по обычаю предков. Не за казнь я тебя обвиняю: я и сам знаю, что без секиры порою нельзя, что для военной службы нужен страх, для власти — суровость, для преступления — кара; я признаю, что и союзников, и даже римских воинов и граждан нам случалось сурово наказывать. LI. Так что и на это тебе не придется кивать. Я доказываю иное: что вся вина лежит не на навархах, а на тебе; я обвиняю в ином: что за взятки ты уволил гребцов и воинов. Это говорят уцелевшие навархи, это говорит союзный город Нет, это говорят представители Аместрата, Гербиты, Энны, Агирия, Тиндариды. Даже твой свидетель, твой воитель, твой приспешник, твой гостеприимец Клеомен признает, что ему пришлось высадиться на сушу, чтобы воинов из пахинской крепости посадить на свои корабли, — а разве мог бы он это сделать, если бы все у него были на местах? Ведь военные суда так снаряжены и устроены, что не только многих, а и одного бойца там не посадишь лишнего. (134) Я утверждаю также, что матросы на твоих судах страдали и гибли от голода и лишений. Я утверждаю, что или нет вины ни на ком, или же она на том одном, у кого лучше всех корабль, больше всех гребцов, выше всех власть, или же равно виновны все, и не с чего Клеомену со стороны наблюдать пытки и смерть сотоварищей. Я утверждаю наконец: и в казни наживаться на слезах, наживаться на ранах и ударах, наживаться на похоронах и погребении — это безбожное нечестие. (135) Возрази же мне на это, если хочешь, и скажи: флот был снаряжен и оснащен; ни один боец не отсутствовал; ни одно гребное место не пустовало; продовольствия было предостаточно; лгут навархи, лгут все достойные общины, лжет вся Сицилия; Клеомен — предатель, если говорит, будто высадился на берег, чтобы взять воинов в Пахине: мужества не достало навархам, а не воинов; Клеомен отчаянно сражался, а его они бросили; и за погребение никто никогда

не получил ни одной монеты. Если ты это скажешь — будешь уличен; если станешь говорить другое, — то помочь себе не сумеешь.

74

LI. (136) Может быть, ты попробуешь сказать: «Между судьями есть мой близкий друг, есть и друг моего отца»? Но чем больше ты с кем-то дружишь, тем стыдней тебе пред ним! «Друг отца»? Да если бы судил тебя даже сам отец, — о боги бессмертные, что бы сделал он с тобой! Он сказал бы тебе: «Будучи претором в провинции римского народа, обязанный провести морское сражение, ты три года не спрашивал с мамертинцев полагающийся с них корабль, между тем на глазах у всех они всем городом построили для тебя самого большой грузовой корабль; ты обогатился деньгами общин под предлогом снаряжения флота; ты за взятки распустил гребцов; когда квестор и легат привели к тебе захваченный пиратский корабль, ты укрыл от всех главаря; тех, кто звал себя римскими гражданами, кого многие опознавали, ты посмел отправить на плаху; ты отборных пиратов увел в свой дом, а главаря их из дома привел в суд; (137) в знаменитой провинции, среди вернейших союзников и достойнейших римских граждан, в грозное время, ты целыми днями напролет пьянствовал на берегу; никто не мог в эти дни прийти к тебе в дом, никто не мог застать тебя на форуме; на попойки свои зазывал ты честных жен наших друзей и союзников; своего сына, а моего внука, еще не сбросившего претексту, ты в самом податливом и опасном возрасте держал среди своих женщин, так что с отца он мог брать лишь дурной пример; претор провинции, ты являлся пред людьми в тунике и пурпурном плаще; из-за похоти своей ты отнял власть над флотом у римского легата, ты доверил ее сиракузянину; твои воины в Сицилии сидели без продовольствия; из-за разгула твоего и алчности флот римского народа был захвачен и сожжен пиратами; (138) в сиракузский порт, куда от основания города не мог пробраться враг, впервые при тебе вошли пиратские корабли; все столь тяжкие твои преступления ты не пожелал прикрыть ни собственным смущеньем, ни людским забвеньем, но без всяких оснований вырвал навархов из объятий родителей, твоих гостеприимцев, и швырнул их на пытку и смерть; ты не вспомнил обо мне, глядя на горе и слезы отцов; кровь невинных людей доставляла тебе не только радость, но даже доход!» LII. Услышав все это из отцовских уст, неужели ты посмел бы у него просить пощады, неужели мог бы требовать прощения?

(139) Но довольно о сицилийцах. Мой долг перед ними, моя обязанность, мои обещания выполнены.

То, о чем осталось мне рассказать вам, судьи, не поручено мне, а рождено со мной, не сторонними людьми доверено, а в душе и чувстве укоренено и незыблемо: речь пойдет уже не о союзниках, а о римских гражданах, о спасенье, о жизни и крови каждого из нас. И не ждите, судьи, что я буду приводить доказательства, будто что-то может вызвать сомнения: все, о чем скажу я, настолько общеизвестно, что в свидетели я мог призвать бы всю Сицилию.

75

Ярость — спутник преступного неистовства — так безумно обуяла дикий нрав и разнузданную душу Верреса, что ни разу он не дрогнул на виду у всех применять для римских граждан казнь, назначенную лишь преступникам-рабам. (140) Исчислять ли мне, скольких он до смерти засек розгами? Нет, я коротко скажу: для такого претора не было разницы меж гражданами и негражданами. И поэтому привычно, не дожидаясь даже преторского кивка, налагал перед ним ликтор руку на римского гражданина.

76

LIV. Неужто, Веррес, ты станешь отрицать, что в Лилибее, на форуме, при

огромном стеченье народа, римский гражданин из жителей Панорма, Гай Сервилий, много лет занимавшийся торговлей, под побоями и розгами рухнул к твоим ногам? Посмей возразить, если можешь! Не было человека в Лилибее, кто бы этого не видел, не было человека в Сицилии, кто об этом бы не слышал. Повторяю: на глазах твоих, под ударами твоих ликторов пал на землю римский гражданин! (141) И за что же, о боги бессмертные?.. Впрочем, нет, таким вопросом оскорбляю я общее дело и гражданское право: я спрашиваю о причинах, словно могут быть законные причины для такой расправы над римским гражданином! Простите же меня, судьи: больше я уже не стану доискиваться причин. Просто Гай Сервилий сказал вольное слово о бесчестности и непотребстве Верреса. Узнав об этом, Веррес велел, чтобы Сервилий дал рабу Венеры обещание явиться на суд в Лилибее. Тот обещает и является в Лилибей. Никто ничего не требовал, никто ни на что не жаловался, однако Веррес начал принуждать Сервилия заключить с его ликтором спонсию на две тысячи по условию: «Если нажито не кражею»; а рекуператоров предлагал выделить из своей когорты. Сервилий отказывается, ссылаясь на отсутствие противника, на несправедливых судей, он не хочет терять свои гражданские права. (142) Но пока он все это говорит, его обступают со всех сторон шесть великанов ликторов, многоопытных по части битья; вот они уже нещадно секут его розгами; наконец ближний ликтор, тот самый Секстин, о котором я уж говорил, повернув свою ликторскую палицу толстым концом вверх, начал с силой бить несчастного по глазам! Кровь заливала Сервилию лицо и глаза, он упал, но его продолжали бить в бок и лежащего, понуждая его произнести спонсию. Он был вынесен оттуда лишь замертво и вскоре скончался. А достойнейший ревнитель Венеры, сияя приятностью и прелестью, поставил за его счет в храме Венеры серебряного Купидона. Так-то даже из чужого добра он умел оплачивать свои ночные обеты.

LV. (143) Но возможно ль говорить о каждом римском гражданине в отдельности? Лучше говорить обо всех вместе.

Есть тюрьма в Сиракузах, построенная грозным тираном Дионисием, прозванная каменоломнями. Она сделалась при Верресе родным домом римских граждан: кто не угоден был его сердцу или взгляду, тот немедленно попадал в каменоломни. Понимаю, судьи, ваше возмущение, — я его заметил уже при первом слушании дела, когда выступали свидетели. Вы, конечно, полагаете, что права свободных граждан надо соблюдать не только здесь, где есть народные трибуны, есть должностные лица, где на форуме заседают судьи, тверд сенат, многолюден и властен народ, — нет, везде, где бы ни страдали права римских граждан, это неизменно касается общей нам свободы и достоинства. (144) Как же ты посмел столько римских граждан заключить в тюрьму для чужеземцев, для злодеев, для преступников, разбойников, врагов? Неужели ты не подумал о суде, о народной сходке, обо всем этом людном собрании, которое теперь взирает на тебя с отвращением и ненавистью? Неужели вдалеке ты забыл о достоинстве римского народа, неужели не вообразил даже вида этой разгневанной толпы? Неужели ни разу не помыслил, что тебе придется предстать перед ней, явиться на форум римского народа, оказаться во власти законности и правосудия?

77

78

79

LVI. (145) Но что же за прихоть заставляла его изощряться в жестокости? Какая причина была для столько преступлений? Никакой, судьи, кроме ненасытности в новом и неслыханном грабеже! Как у поэтов читаем мы про хищников, которые с утесов и мысов засадами грозили подплывавшим мореплавателям, так беспощадный Веррес грозил морям со всех сторон Сицилии. Откуда бы ни шли корабли, из Азии или

Сирии, из Тира или Александрии, — их немедленно задерживали доносчики и стражи, всех пливших бросали в каменоломни, а груз и товары доставляли к претору на дом. Так через многие века вновь появился в Сицилии, испытавшей в свое время власть многих жестоких тиранов, — нет, даже не новый Дионисий или Фаларид, а совсем неслыханное чудище, вроде тех, которые, говорят, водились здесь встарь, (146) и даже еще того страшнее: ибо псов при нем было больше и куда свирепей, чем при Сцилле, и владел он целым островом, а не только Этною с окрестностями, как Киклоп.

80

Чем же сам он оправдывал, судьи, столь безбожную свирепость? Тем, о чем не преминет сказать теперь защита. Каждого приезжего побогаче Веррес тотчас объявлял соратником Сертория, бегущим из Диания. Несчастные, чтобы отвести от себя подозрения, тотчас начинали показывать, кто чем богат: одни — тирский пурпур, другие — ладан, благовония и полотно, третьи — драгоценные камни и жемчуг, четвертые — греческие вина и рабов из Азии; этими товарами они хотели показать, откуда плывут. Но им и в голову не приходило, что вместо спасения эти самые доказательства оборачивались для них причиной гибели. Веррес заявлял в ответ, что это всё они приобрели при помощи пиратов; их самих за это он приказывал отправить в каменоломни, а корабль и грузы брал под самый тщательный надзор.

LVII. (147) А когда от таких распоряжений все застенки оказались переполнены купцами, начали твориться дела, о которых вы знаете со слов Луция Светия, достойного мужа и римского всадника, о которых вы услышите и от других. Римских граждан душили в тюрьмах, предавая позорнейшей из казней, и тот возглас, та мольба: «Я римский гражданин!», которая не раз спасала стольких римлян в чужих землях, среди варваров, здесь влекла за собой лишь страшнейшую смерть и скорейшую казнь.

[Чтение.]

Что же, Веррес, что ты можешь мне ответить? Может быть, я лгу, выдумываю, преувеличиваю? Подскажи попробуй этот довод своим защитникам! Я прошу огласить сиракузские списки, припрятанные Верресом и составленные, как он полагал, для него: в них тюремщиками тщательно записано, кто и когда был взят под стражу, когда умер, когда казнен.

(148) Вы видите, что римских граждан скопом бросали в каменоломни, вы видите, что в гнуснейшем месте томились толпы ваших соотечественников. Теперь вы ищите записей, куда вышли они из этих мест? Не трудитесь: их нет. Неужели все умерли своей смертью? Если б Веррес стал выгораживать себя подобным образом, никто бы ему не поверил. Ибо в этих списках есть помета, которой наш беспутный невежда никогда бы не сумел понять: edikalothesan! а у сицилийцев это означает: казнены, убиты.

81

LVIII. (149) Если бы какой-нибудь царь, иноземное государство, народ поступили бы так с римскими гражданами, неужто мы не отомстили бы всенародно, неужто не пошли бы на них войной? Могли бы мы оставить неотмщенным и безнаказанным оскорбление и обиду имени римлянина? Вы ведь знаете, сколько войн и какие войны предпринимали наши предки, если были обижены римские граждане, задержаны судовладельцы, ограблены купцы. Я готов не роптать на задержание, не жаловаться на грабеж; но забрав и суда, и рабов, и товары, ты бросил купцов в тюрьму, ты убил в тюрьме римских граждан — вот в чем я тебя уличаю! (150) Если бы о стольких жестоких казнях римских граждан я говорил не здесь, среди множества римлян, не перед сенаторами, избраннейшими в государстве, не на форуме римского народа, а среди отдаленных скифов, я и в них растрогал бы варварские сердца, — потому что

величие римской власти, достоинство римского имени таковы, что нет на свете племени, чтоб показалась ему дозволенной такая жестокость над нашими соотечественниками. Так могу ли я подумать, будто есть еще тебе спасенье и прибежище, когда вижу я тебя в руках сурового суда, в кольце нахлынувшего римского народа? (151) Нет, не может этого быть, но если ты и исхитришься выпутаться, и уйдешь из сетей, то, клянусь богами, попадешь в тенета еще крепче, и опять не кто иной, как я, только с еще более высокой трибуны, обрушусь на тебя и уничтожу.

82

83

Если даже я и согласился бы принять его оправдания, то как бы эти лживые оправдания не погубили его вернее, чем мое правое обвинение. Чем оправдывается Веррес? Он говорит, что хватал и казнил беглецов из Испании. Но по чьему поручению? по какому праву? по чьему примеру? и как ты смел? (152) Разве мало таких людей и здесь, на форуме, в базиликах, — но никто из нас об этом не тревожится. Исход любых гражданских смут, безумств, напастей или бедствий для нас не тяжел, если удастся сохранить жизнь для уцелевших. Только Веррес, этот предатель своего консула, перебежчик в свое квесторство, расхититель казенного имущества, так увлекся своею властью, что казнил жестокой и мучительной смертью, стоило им попасть в Сицилию, тех людей, которых и сенат, и народ, и магистраты допустили и на форум, и на выборы, и в столицу, и во все концы отечества. (153) Разве мало бывших воинов Сертория после гибели Перперны приходило к Гнею Помпею, полководцу прославленному и доблестному? И как старался он сохранить их жизнь! как готов он был всем гражданам-просителям протянуть в залог верности свою непобедимую руку и явить надежду на спасение! И что же? На кого они подняли оружие, у того нашли прибежище; а у тебя, кто никогда ничего не сделал для отечества, ожидали их лишь пытки и смерть! Нечего сказать, хорошее ты себе придумал оправдание! LIX. Право, я был бы только рад, если бы суд и народ больше поверили твоему оправданию, чем моему обвинению, — если бы сочли тебя врагом испанских беглецов, а не купцов и корабельщиков. Ведь мое обличение говорит лишь о твоей безмерной алчности, а твоя защита свидетельствует поистине о каком-то бешенстве, лютости, неслыханных жестокостях и чуть ли не новых проскрипциях!

(154) Но нельзя мне, судьи, нельзя воспользоваться этим преимуществом. Ведь сюда пришли все ПUTEОЛЫ, на этот суд во множестве стеклись купцы, богатые и уважаемые люди, и все они заявляют: это их товарищи, их отпущенники, их соотпущенники были ограблены, были закованы, были частью удушены в тюрьме, частью обезглавлены на плахе. Убедись же, как я справедлив к тебе! Когда я выведу свидетеля Публия Грания, когда он скажет, что его отпущенники были у тебя обезглавлены, когда он потребует свой корабль и груз, попробуй опровергнуть его: я не стану его поддерживать, я примкну к тебе, помогу тебе; докажи лишь нам, что это люди Сертория бегут из Диания и занесены в Сицилию. Только этого мне и надо, — ибо не найти и не выдумать поступка, который заслуживал бы более суровой кары! (155) Если захочешь, я вновь призову римского всадника Луция Флавия, — ведь при первом слушании дела ты ни одному свидетелю не задал ни одного вопроса: то ли по своей новообретенной мудрости, как говорят твои защитники, то ли от сознания вины и неопровержимости моих свидетелей, как это ясно для всех. Если хочешь, пусть этого Флавия спросят: кто такой был Луций Геренний? По словам Флавия, у Геренния была в Лептисе меняльная лавка; в Сиракузах больше ста римских граждан знали его, ручались за него, со слезами заступались за него, — ты же на глазах целых Сиракуз отрубил ему голову. Я хочу, чтобы ты опроверг и этого моего свидетеля: покажи и

докажи, что и Геренний воевал у Сертория!

LX. (156) В самом деле, что сказать о тех, кого с закутанными головами выводил ты вместе с пиратами на казнь? Что это за подозрительная предосторожность? Чего ради ты ее выдумал? Или это крики Луция Флавия и других о Луции Гереннии смутили тебя? Или достоинство Марка Анния, всеми уважаемого человека, внушило тебе страх и осмотрительность? Это он ведь заявил здесь, что тобою был казнен не безвестный чужеземец, но римский гражданин, уроженец Сиракуз, знакомый всем римским гражданам в городе. (157) Эти крики, жалобы, общие толки сделали расправы Верреса не мягче, но хотя бы осторожней: он велел перед казнью закутывать римским гражданам голову, хотя казнил их открыто, потому что, как сказал я, народ требовал на казнь пиратов по самому точному счету. Вот каково было римскому люду в твое преторство, вот как им торговалось, вот как охранялись их права и жизнь! Разве мало грозят купцам превратности судьбы, чтобы еще давили их страхом в наших же провинциях наши же наместники? Для того ли близкая нам и верная Сицилия населена лучшими людьми и преданнейшими союзниками, истари радушными к римским гражданам, чтобы люди, плывшие из Египта или дальней Сирии и всюду встречавшие меж варваров почет и уважение к римским тогам, спасшись от коварства пиратов, избежав в пути бурь и непогод, на пороге желанного возвращения погибали бы в Сицилии на плахе?

LXI. (158) После этого всего как мне, судьи, повести теперь рассказ о Публии Гавии из Консы? Где взять мощь голосу, силу словам, скорбь душе? Скорбь моя со мной, но немалый нужен труд, чтобы слова были достойны этой скорби и ее предмета. Преступление на этот раз таково, что, впервые услышав о нем, я думал было обойти его в своей речи: я знал, что это правда, но не думал, что ей можно поверить. Но слезы римских граждан, занимавшихся торговлею в Сицилии, но свидетельства достойных жителей Валенции и целого Регия, но показанья стольких римских всадников, случившихся в Мессане, дали мне уже при первом слушании стольких свидетелей, что никто уже не может сомневаться в сделанном. (159) Как же быть мне теперь? Столько долгих часов говорю я об одном и том же — о бесчеловечной жестокости Верреса; столько сил положил я на то, чтобы достойными преступника словами описать иные его дела, не пытаясь даже удержать ваше внимание разнообразием обвинений, — где же мне найти теперь слова, чтобы сказать об участии Публия Гавия? Видно, мне осталось лишь одно: предоставить делу самому говорить за себя. Ибо дело таково, что ни мое бессильное красноречие, ни чье угодно иное не понадобится для того, чтобы зажечь ненавистью ваши души.

(160) Публий Гавий, житель Консы, о котором я говорю, был один из римских граждан, брошенных Верресом в тюрьму, но сумел бежать из каменоломен и достичь Мессаны. Видя перед собой Италию и стены Регия с его римскими гражданами, словно возрожденный из предсмертного мрака светом свободы и дыханием законности, он с обидой стал рассказывать в Мессане, как его, римского гражданина, бросили в тюрьму; но теперь-то путь его ведет прямо в Рим, и они там с Верресом еще встретятся, когда тот вернется из Сицилии.

LXII. Несчастному было невдомек, что рассказывать об этом в Мессане было все равно, что в преторском доме, ибо я уже сказал, что Веррес выбрал этот город пособником своих преступлений, укрывателем краденого, соучастником всех своих мерзостей. Разумеется, Гавия тотчас препровождают к мамертинским властям!

Случилось так, что в тот же день в Мессану прибыл и Веррес. Ему докладывают: некий римский гражданин жаловался, что побывал в сиракузских каменоломнях; он уже сажался на корабль, осыпая Верреса угрозами, но был схвачен и задержан, чтобы

претор сам поступил с ним по усмотрению. (161) Веррес рассыпается в благодарностях, хвалит власти за верность и бдительность; и, пылая преступной яростью, бросается на форум, — глаза сверкают, лицо дышит жестокостью. Все замерли: куда он направится, что предпримет? Вдруг он отдает приказ: виноватого схватить, раздеть, привязать к столбу и сечь розгами на форуме! Несчастный кричал, что он римский гражданин, он из Консы, он нес военную службу вместе с римским всадником, именитым Луцием Рецием, который ведет дела в Панорме и может все подтвердить. В ответ Веррес заявляет, что ему достоверно известно: Публий подослан в Сицилию лазутчиком от вождей мятежных рабов! Ни доноса, ни улики, ни подозрений не было и в помине; тем не менее Веррес велит сечь его розгами по всему телу нещадно.

(162) Посреди мессанского форума, судьи, секли розгами римского гражданина; и ни стоны, ни звука не доносилось сквозь боль и свист розог, кроме слов: «Я римский гражданин!» «Гражданин!» Напоминая об этом, думал он отвратить побои и пытки. Но его продолжали сечь; мало того: пока он вновь и вновь взывал о правах гражданина, несчастному страдальцу уже ставили крест, да, крест! — эту пагубу, никогда им дотоле не виданную.

LXIII. (163) О, сладостное имя свободы! О, высокое право нашего гражданина! О, законы Порция и Гракха! О, вожденная и наконец возвращенная римскому народу власть трибунов! Неужели вы пали так низко, что в римской провинции, в союзном городе, под розгами умер римский гражданин — по приказу того, кому римский народ доверил секиры и фаски? Быть не может! Разжигали огонь, калили железо, все готовилось к пытке, — а тебя не останавливал не только скорбный вопль казнимого, но даже громкий плач рыдавших римских граждан со всех сторон? Ты посмел послать на крест человека, заявлявшего, что он — римский гражданин?

Не хотел я, судьи, не хотел на этом останавливаться с должной силой при первом слушании дела; вы ведь помните, как поднялась тогда на Верреса толпа с ненавистью, болью и ужасом перед всеобщей опасностью. Я сдержал тогда и себя, и своего свидетеля Гая Нумитория, именитого римского всадника; я был очень рад, что так разумно Маний Глабрион прервал заседание на середине его показаний. Ведь не зря он боялся, как бы не сочли, будто римский народ самочинно разделался с преступником из страха, что по закону и по вашему приговору избежит он заслуженной кары. (164) А теперь, когда всем ясно, каковы твои дела и что тебя ждет, я поведу себя иначе.

Я сначала докажу, что этот Гавий, этот будто бы внезапно появившийся лазутчик, уже давно томился у тебя в сиракузских каменоломнях, — и докажу это не только по сиракузским спискам, чтобы ты не мог сказать, будто я случайно выхватил из списков это имя, чтобы приписать его Верресовой жертве: нет, я представлю сколько угодно свидетелей, и они скажут, что в каменоломнях у тебя сидел именно тот самый Гавий. А потом я приведу его земляков и друзей из Консы, и они (для тебя уже поздно, для суда еще не поздно) подтвердят, что тот Публий Гавий, которого ты казнил на кресте, был римским гражданином из Консы, а не лазутчиком беглых рабов. LXIV.

(165) И когда все это будет с несомненностью доказано, я вернусь к тем данным, которые ты сам предоставляешь в мое распоряжение: мне и этого хватит. Вспомни, что ты сам вскричал, вскочивши со скамьи перед бушующим римским народом? Публий Гавий, ты сказал, был лазутчиком, и лишь затем, чтобы отсрочить свою казнь, он закричал, будто он римский гражданин. Но ведь это самое говорят и мои свидетели: Гай Нумиторий, Марк и Публий Коттий, знатные граждане из округа Тавромения, и Квинт Лукцей, владелец меняльной лавки в Регию. Я ведь их привел не потому, что они знали Гавия, а потому, что они видели, как был распят на кресте человек, называвший себя римским гражданином. А теперь, Веррес, ты и сам согласно подтверждаешь, что он звал

себя римским гражданином. Вот и получается, что звание римского гражданина так мало значит для тебя, что ни сомнением, ни промедлением не помешало оно страшной и гнусной казни. (166) Вот на чем я стою, вот что у меня в руках, и этого довольно, судьи: остальное я могу опустить, Веррес сам себя запутает и доконает таким признанием.

Итак, ты не знал, кто перед тобой, ты подозревал в нем лазутчика, почему — не спрашиваю, но обвиняю тебя собственным твоим показанием: человек кричал, что он римский гражданин! А если бы тебя самого, Веррес, в Персии или в дальней Индии захватили и вели на казнь, что бы ты кричал, как не то, что ты — римский гражданин! И, неведомый, в неведомой земле, среди варваров на самом краю света, ты бы спасся этим всюду славным званием. А Гавий, кем бы он ни был, но обреченный тобою на крест, кого ты не знал, но кто называл себя римским гражданином, не смог у тебя — претора! — добиться ни отмены, ни даже отсрочки смертной казни, хоть все время притязал перед тобою на свои гражданские права! LXV. (167) Люди маленькие и незнатные посуху и по морю попадают в небывалые места, где никто их не знает и не знает даже их поручителей. Но они не сомневаются в своей безопасности, так как знают: звание римского гражданина будет им защитой, — и не только перед нашими начальниками, покорными закону и общественному мнению, и не только среди римских граждан, связанных с ними языком, нравами и другими многими узами, но и всюду, где они ни оказались бы. (168) Уничтожь эту уверенность, отними у римских граждан эту защиту, объяви, что слова «Я — римский гражданин» ничего не стоят, допусти, чтоб претор или кто угодно безнаказанно мог подвергать любой расправе человека, называющего себя римским гражданином, потому-де, что казнимый незнаком ему, — и тогда ты закроешь для нас все провинции, все царства, все свободные общины, весь мир, который всегда был гостеприимно распахнут для римских граждан. Вот что значит она, твоя защита!

Ты подумай: если Гавий назвал Луция Реция, римского всадника из той же Сицилии, неужели так трудно было послать письмо в Панорм? Пленника ты мог бы продержать в тюрьме, в оковах, под надзором твоих мамертинцев, пока не явится Реций из Панорма; узнает он пленника — хоть смягчи наказание; не узнает — что ж, издавай, коли уж очень хочется, такое постановление, по которому любой, кто тебе неизвестен и богатых поручителей не имеет, пусть он даже римский гражданин, приговаривается на крест.

LXVI. (169) Но к чему так много говорить о Гавии, будто Гавию ты враг, а не всему римскому имени, народу, праву и гражданству? Не ему показал себя ты недругом, а всеобщей нашей свободе. В самом деле, когда мамертинцы, по своим обычаям, воздвигали за городом, на Помпеевой дороге крест, не ты ли приказал им водрузить его в том месте, с которого виден пролив, и не добавил ли при этом перед всеми, — попробуй отрицать! — что выбрал это место для того, чтоб Гавий, утверждавший, что он римский гражданин, смотрел бы с этого креста на Италию и видел бы свой родной дом? С самого основания Мессаны, судьи, крест впервые был воздвигнут в этом месте! Для того палач открыл казнимому вид на Италию, чтобы тот, кончаясь в муках и страдании, уразумел, что рабство и свободу разделяет только узкий пролив, и чтобы Италия смотрела, как вскормленник ее подвергнут злейшей казни, установленной для рабов.

(170) Заковать римского гражданина — преступление; сечь его розгами — злодейство; убить его — почти братоубийство; а распять его — для такого черного нечестия и слов нельзя найти. Но и этого мало было Верресу: «Пусть он смотрит на отечество, пусть умрет на виду у законов и свободы!» Нет, не Гавия, не случайного человека, — общую свободу и римское гражданство предал ты на муки и на крест! Вот

она, мера Верресовой наглости! Ах, как горевал он, вероятно, что не мог вбить крест для римских граждан на форуме, на комиции, на рострах! Ведь недаром в своей провинции он выбрал место самое многолюдное, самое близкое к Риму; он желал, чтобы памятник его преступной наглости стоял в виду Италии, в преддверии Сицилии, на пути всех, кто здесь проплывает.

LXVII. (171) Если бы я захотел обратить свои стенания и жалобы не к римским гражданам, не к друзьям нашего народа, не к тем, кому хоть знакомо имя римлянина, и не к людям даже, а к диким зверям, и не к зверям даже, а к скалам или утесам безлюдной пустыни, то и эти немые, неживые слушатели содрогнулись бы пред столь невероятною жестокостью. Но сейчас, когда я говорю перед сенаторами римского народа, блюстителями законов, суда и права, я не сомневаюсь, что достойным того смертного креста будет признан лишь вот этот римский гражданин, — все же прочие римские граждане навеки избавятся от этого страха. (172) Только что мы все не сдерживали слез о незаслуженной и горькой гибели навархов и по праву скорбели о бедствиях невинных союзников, — что же делать нам теперь, когда льется наша собственная кровь? Ведь и общее благо, и истина гласят, что кровь всех римских граждан — общая; и сейчас все римские граждане, здесь и повсюду, жаждут вашей суровости, взывают к вашей справедливости, полагаются на вашу помощь: их права, благополучие, защита, вся свобода их заключена в вашем приговоре.

(173) И хоть я немало сделал для римских граждан, я еще и больше сделаю, чем ждут они, если дело вдруг повернется к худшему. Ибо если какая-то сила вырвет Верреса из ваших беспощадных рук, — этого я не боюсь и считаю это невозможным, но все же если ошибусь я в таком расчете, то пусть сицилийцы оплачут их проигранное дело, и я сам разделю их скорбь, но народ римский, почтивший меня правом обращаться к его суду, еще до февральских календ восстановит свою честь голосованием. А что до моей славы и известности, то мне даже не безвыгодно, судьи, чтобы Веррес ускользнул от этого судилища и достался на суд римскому народу. Дело это — блестящее, для меня — доступное и нетрудное, для народа — угодное и отрадное; наконец если кто-то может думать, будто я желаю выдвинуться за счет одного Верреса, то в случае его оправдания смогу я выдвинуться уже за счет многих подкупленных им судей.

LXVIII. Но, клянусь, судьи, ради вас самих, ради нашего государства я бы вовсе не хотел, чтобы такой позор покрыл ваш избранный совет, чтобы те судьи, которых сам я выбрал и одобрил, в случае оправдания Верреса ходили бы по городу запятнанными грязью, а не воском.

(174) Поэтому и тебе, Гортензий, я напоминаю, если дозволено напоминать о чем-либо с этого места: подумай еще и еще над тем, что ты делаешь, к чему идешь, какого человека и какими средствами защищаешь. Я ничуть не препятствую тебе состязаться со мной в таланте и красноречии; но если думаешь ты помимо суда тайно воздействовать на суд, если уловками, кознями, силой, богатством, влиянием Верреса ты попытаешься чего-то достичь, — я убедительно прошу тебя, воздержись, и те его попытки, которые он предпринял, а я проследил и раскрыл, пресеки у самого их начала! Ошибка в этом суде дорого тебе обойдется, — дороже, чем ты думаешь. (175) Если же ты мнишь, что, отслуживши положенные должности, избранный консулом на будущий год, ты избавлен уже от страха перед общественным мнением, — то поверь мне, что почести и благоволение римского народа так же трудно удержать, как и приобрести. Пока это было возможно и необходимо, государство терпело ваше самовластье в судах и во всех делах, — да, терпело; но в тот день, когда римскому народу возвратили народных трибунов, вы навсегда, если сами этого еще не поняли,

лишились возможности властвовать безраздельно. Все глаза сейчас прикованы к каждому из нас: справедливо ли я обвиняю, добросовестно ли судят судьи, основательна ли твоя защита. (176) И если кто-нибудь из нас хоть малость собьется с прямого пути, то постигнет нас не молчаливое осуждение, которое вы привыкли презирать, но свободный и беспощадный суд римского народа. Ты, мой Квинт, не связан с Верресом ни родственными, ни деловыми узами; здесь не сможешь ты этим оправдать избыток рвения, как случилось в некоем другом судебном деле. Веррес хвастался по всей своей провинции, будто все, что он ни сделает, ты сумеешь-де оправдать; так остерегись же, чтобы это не показалось правдою.

84

LXIX. (177) Я уверен: даже злейшие враги мои видят, что я выполнил свой долг; ведь при первом слушании дела я всего лишь за несколько часов убедил народ в виновности Верреса. Осталось подвергнуть суду не мою верность долгу, всем очевидную, не жизнь этого человека, всеми осужденную, но самих судей, и, правду говоря, тебя, Гортензий. Когда же это произойдет? (Об этом надо как следует задуматься: ведь во всех делах, а тем паче государственных, очень важно понимать, куда клонятся события.) Не сейчас ли, когда римский народ призывает к участию в суде других людей, другое сословие, когда уже предложен новый закон о суде и судьях, и предложил его не тот, под чьим именем он известен, а наш подсудимый; это он имел о вас такое мнение и так на вас надеялся, что способствовал провозглашению этого закона. (178) Ведь когда началось слушание дела, то закон еще не был предложен; и пока, встревоженный вашею суровостью, Веррес часто намекал, что не намерен появляться в суд, о законе этом не было и помину. Но едва лишь показалось, что дела его пошли на лад, — и вот он, этот закон. И хотя ваше достоинство — сильнейший довод против предложенного закона, ложные надежды и редкое бесстыдство этого человека подают голос в его пользу. Потому-то если кто из вас допустит нынче ложный шаг, то или сам римский народ вынесет свой приговор такому человеку, которого уже раньше считал недостойным зваться судьей, или сделают это те, кто по новому закону станут новыми судьями над старыми, вершившими неправый суд.

LXX. (179) И не всякому ли ясно, даже если я смолчу: я ведь тоже неминуемо обязан довести это дело до конца. Смогу ли я молчать, Гортензий, достанет ли сил притвориться равнодушным, когда безнаказанно нанесены государству такие раны, когда обобраны провинции, замучены союзники, ограблены бессмертные боги, распяты и убиты римские граждане? Если мне доверено это дело, могу ли я сбросить с плеч столь тяжкое бремя, могу ли под ним молчать? Разве не обязан я довести это дело до конца, предать его гласности, молить римский народ о правосудии, обличать и влечь на суд всех, кто впутан в эти преступления, кто продал голос или купил суд?

85

(180) Иной может спросить: «Зачем тебе такое бремя, такой раздор со столькими людьми?» Клянусь Геркулесом, не по доброй это воле и не ради удовольствия. Не дана мне участь знатных отпрысков, к которым и во сне приходит милость римского народа: иной мне закон, иной мне удел в нашем отечестве. Предо мною пример Марка Катона, мудрого и прозорливого, — задумав привлечь к себе римский народ не знатностью, а доблестью, желая стать основателем собственного будущего рода, он не побоялся ненависти сильнейших граждан, но великими трудами достиг высочайшей славы, не покинувшей его и в поздней старости. (181) А Квинт Помпей? Разве он из низкого своего звания сквозь вражду от многих недругов, опасности, труды не достиг высочайших римских почестей? А Гай Фимбрия? Гай Марий? Гай Целий? Не на наших ли глазах они преодолели немалую ненависть и приняли немалые труды, чтоб

достигнуть почестей, которые вам достаются играючи. Вот наше поприще; вот по чьему пути мы следуем. LXXI. От нас не скрыто, сколь безмерна ненависть и зависть многих знатных к доблести и рвению новых людей. Отвернешься — и ты в засаде; дашь себя хоть малость заподозрить или обвинить — и ты под ударом; вечно мы начеку, вечно мы в труде. (182) Неприязнь? Ее надо испытать; труд? Его надо одолеть: молчаливая и скрытая вражда страшнее явной и открытой. Почти никто из знатных людей не благосклонен к нашим усилиям, никакими заслугами не снискать нам их расположение: словно сама природа раз и навсегда разъединила нас, настолько в нас различны мысли и желания. Так опасна ль нам вражда людей, в чьих душах были ненависть и зависть раньше, чем мы заслужили их?

(183) Оттого-то, судьи, хоть и хочется мне, выполнив долг римлянина и поручение друзей моих сицилийцев, на этом подсудимом и закончить свои труды обвинителя, — тем не менее решил я твердо: если обманусь я в вас, то буду продолжать преследовать не только тех, кто сам виновен в подкупе суда, но и тех даже, кто запятнан лишь соучастием. Пусть же те, кто властью, дерзостью или коварством мыслят отвортить ваш приговор, знают, что когда они предстанут пред судом римского народа, то опять они встретятся со мной; и если они убедились, что к сегодняшнему подсудимому, доверенному мне от сицилийцев, был я и крут, и беспощаден, и бдителен, то пусть не сомневаются: пред теми, чью вражду навлек я на себя во имя блага римского народа, я буду еще суровее и непримиримее.

LXXII. (184) К тебе обращаюсь я ныне, Юпитер благой и величайший: царственный дар, достойный твоего великолепнейшего храма, достойный Капитолия — твердыни всех народов, достойный царей, поднесших и посвятивших его тебе, вырвал этот нечестивый святотатец из царских рук; твою священнейшую и прекраснейшую статую похитил он из Сиракуз! Твои, царица Юнона, два священнейших и древнейших храма, что на двух союзных нам островах, Самосе и Мелите, тот же нечестивец дочиста обобрал, захватив все дары и украшения! Тебя, Минерва, он ограбил тоже в двух твоих святейших и славнейших храмах — и в Афинах, где забрал он столько золота, и в Сиракузах, где оставил только кров и стены! (185) Вас, Латона, Аполлон, Диана, чей на Делосе стоит не храм, а, по общей вере, обитель древняя и священное жилье, он ограбил ночным своим набегом; твоего, Аполлон, изваяния лишился по его милости Хиос; а тебя, Диана, он и в Пергах ограбил, и в Сегесте велел снять и увезти статую твою, дважды освященную верой сегестинцев и победой Сципиона Африканского! Тебя, Меркурий, поставленного Сципионом сторожить и охранять молодежь в гимнасии в союзной Тиндариде, Веррес заточил в палестру в дом какого-то своего дружка! (186) Тебя, Геркулес, в Агригенте поздней ночью, с целой шайкою вооруженных рабов, этот вор пытался сдвинуть с места и унести! Ты, священнейшая Матерь Идейская, в самом чтимом и священном твоём храме в Эггии так была ограблена им, что остались только имя Сципиона да следы святотатства, победные же дары и святые украшения больше не существуют! Ваш, о Кастор и Поллукс, вершителю общественных дел, высоких советов, суда и закона, ваш храм на многолюднейшей площади римского народа тоже сделал он источником бесчестнейшей наживы! Вам, о боги, которых каждый год везут к священным играм, вымостил он путь не по достоинству вашему, а по выгоде своей! (187) Вы, о Церера и Либер! Вас мы чтим по вере людской священнейшими таинствами; вы нам дали жизнь и пищу, обычаи, законы, кротость и человечность, украшающие людей и государства; ваши святые обряды наш народ узнал от греков и усвоил их с такою верой и в домашних и в общественных делах, что уже кажется, будто не от них перешли к нам эти обряды, но что от нас к другим народам; только Веррес не убоился оскорбить и осквернить их — он из храма в Катине осмелился снять и увезти

такую статую Цереры, которая не только для рук, но и для взгляда людского была запретна, а из Энны, из божественного дома, он унес такую статую, которая казалась видевшим самой Церерой или же нерукотворным, павшим с неба ее изображением; (188) к вам, святейшие богини, обитающие рощи и озера Энны, берегущие доверенную мне Сицилию, чтимые всеми племенами и народами, благодарными за созданные и розданные злаки, — к вам моя мольба! Вы, все прочие боги и богини! с вашими храмами, с вашими святынями обуянный нечестивой яростью, наглый Веррес вечно вел кошунственную и святотатственную войну, — так услышите же мое молитвенное взывание: если все мои заботы об этом деле и его виновнике были отданы спасению союзников, достоинству отечества, выполнению обязанности, если все мои труды, раздумия и бдения служили только долгу и добру, — пусть, как я это дело честно начал и добросовестно вел, так и вы покажете себя при вынесении приговора! (189) Пусть по вашему суду Гая Верреса за неслыханные и страшные деяния его преступной наглости, коварства, похоти, алчности, жестокости постигнет конец, достойный такой жизни и таких злодейств! Пусть отечеству и долгу моему довольно будет одного моего этого обвинения, чтобы впредь я был волен защищать достойных, а не вынужден обвинять негодяев.

ПРОТИВ КАТИЛИНЫ

Первая речь, произнесенная в сенате

86

87

1.(1) До каких пор, скажи мне, Катилина, будешь злоупотреблять ты нашим терпением? Сколько может продолжаться эта опасная игра с человеком, потерявшим рассудок? Будет ли когда-нибудь предел разнузданной твоей заносчивости? Тебе ничто, как видно, и ночная охрана Палатина, и сторожевые посты, — где? в городе! — и опасенья народа, и озабоченность всех добрых граждан, и то, что заседание сената на этот раз проходит в укрепленном месте, — наконец, эти лица, эти глаза? Или ты не чувствуешь, что замыслы твои раскрыты, не видишь, что все здесь знают о твоём заговоре и тем ты связан по рукам и ногам? Что прошлой, что позапрошлой ночью ты делал, где был, кого собирал, какое принял решение, — думаешь, хоть кому-нибудь из нас это неизвестно?

(2) Таковы времена! Таковы наши нравы! Все понимает сенат, все видит консул, а этот человек еще живет и здравствует! Живет? Да если бы только это! Нет, он является в сенат, становится участником общегосударственных советов и при этом глазами своими намечает, назначает каждого из нас к закланию. А что же мы? Что делаем мы, опора государства? Неужели свой долг перед республикой мы видим в том, чтобы вовремя уклониться от его бешеных выпадов? Нет, Катилина, на смерть уже давно следует отправить тебя консульским приказом, против тебя одного обратить ту пагубу, что до сих пор ты готовил всем нам.

88

89

(3) В самом деле, достойнейший Публиций Сципион, великий понтифик, убил ведь Тиберия Гракха, лишь слегка поколебавшего устой республики, — а меж тем Сципион был тогда всего лишь частным лицом. Тут же Катилина весь круг земель жаждет разорить резней и пожарами, а мы, располагая консульской властью, должны смиренно его переносить! Я не говорю уже о примерах более древних, когда Гай Сервилий Агала собственной рукой убил Спурия Мелия, возжаждавшего новых порядков. Было, да, было когда-то в этой республике мужество, позволявшее человеку твердому расправляться с опасным гражданином не менее жестоко, чем с отъявленным

врагом. Есть и у нас, Катилина, сенатское постановление, своей силой и тяжестью направленное против тебя; нельзя сказать, что сословию сенаторов недостает решительности или могущества, — я не скрываю, что дело в нас, в консулах, в том, что мы оказываемся как бы не на высоте своей власти.

90

91

II. (4) Некогда сенат постановил: пусть консул Луций Опимий позаботится, чтобы республика не потерпела никакого ущерба, — и ночи не прошло, как убит был (по одному лишь подозрению в мятежных замыслах!) Гай Гракх, чьи отец, дед, предки снискали блестящую известность, погиб вместе с сыновьями Марк Фульвий, бывший консул. Таким же постановлением сената государство было вверено консулам Гаю Марию и Луцию Валерию, так пришлось ли после этого Луцию Сатурнину, народному трибуну, и Гаю Сервилию, претору, хоть один день ждать смерти, а государству — отмищения? Мы же допускаем, чтобы вот уже двадцать дней вотще тупилось острие оружия, которое сенат полномочно вручил нам. Ведь и у нас есть точно такое же сенатское постановление, но мы держим его заключенным в таблички, как бы скрытым в ножнах, тогда как по этому постановлению тебя, Катилина, следовало бы немедленно умертвить. А ты жив. Жив, и дерзость не покидает тебя, но лишь усугубляется! И все же, отцы сенаторы, мое глубочайшее желание — не поддаваться гневу и раздражению. Мое глубочайшее желание — в этот опасный для республики час сохранить самообладание и выдержку. Но, к сожалению, я вижу и сам, как это оборачивается недопустимой беспечностью.

(5) На италийской земле, подле теснин Этрурии разбит лагерь против римского народа, день ото дня растет число врагов, а главу этого лагеря, предводителя врагов, мы видим у себя в городе, мало того, — в сенате, всякий день готов он поразить республику изнутри. Если теперь, Катилина, я прикажу тебя схватить, прикажу тебя казнить, то, я уверен, скорее общий приговор всех честных людей будет: «Слишком поздно», чем кто-нибудь скажет: «Слишком жестоко»!

Однако до сих пор я не тороплюсь сделать то, чему давно пора уже быть исполненным. И тому есть своя причина. Короче говоря, ты будешь казнен тогда, когда не останется такого негодяя, такого проходимца, такого двойника твоего, который не признал бы мой поступок справедливым и законным. (6) А пока найдется хоть один, кто осмелится защищать тебя, ты останешься в живых, но жизнь твоя будет, как и теперь, жизнью в тесном кольце мощной охраны, и чтобы ты не мог причинить республике вреда, множество ушей, множество глаз будет следить и стеречь каждый твой шаг, как это и было до сих пор.

III. Так чего же еще ты ждешь, Катилина, если даже ночная тень не может скрыть нечестивого сборища, если стены частного дома не в силах сдержать голоса заговорщиков, если все разоблачается, все прорывается наружу. Опомнись! — заклиная тебя. — Довольно резни и пожаров. Остановись! Ты заперт со всех сторон. Дня яснее нам все твои козни. Если угодно, давай проверим вместе с тобой.

(7) Ты не забыл, вероятно, как за одиннадцать дней до ноябрьских календ я сообщил в сенате, что поднимет вооруженный мятеж Гай Манлий, в дерзком заговоре сообщник твой и приспешник, и точно указал день — шестой до ноябрьских календ. Разве я ошибся, Катилина? Не только событие такое — столь ужасающее! — произошло, во что трудно было поверить, но и в тот именно день — поистине, этому можно лишь удивляться! Опять-таки я заявил в сенате, что в пятый день до ноябрьских календ ты собираешься учинить резню самых достойных граждан. Тогда многие из первых лиц государства искали убежища вне римских стен, не столько

спасая себя, сколько пресекая твои происки. Я остался. И когда ты утверждал: пусть все прочие удалятся, тебе довольно будет моей гибели, — можешь ли ты отрицать, что в тот злополучный день только выставленная мною стража, только моя предусмотрительность сковали тебя и не дали сделать шаг во вред республике?

92

(8) А дальше? Наступили ноябрьские календы. Когда в ту ночь ты с уверенностью рассчитывал приступом захватить Пренесте, — я полагаю, ты понял, что город этот был заблаговременно укреплен по моему приказу, моими отрядами, сторожившими его днем и ночью. Ни один твой шаг, ни одна хитрость, ни одна мысль не ускользает от моего слуха, взора, порою просто чутья.

IV. Наконец, давай припомним с тобою ту самую позапрошлую ночь. Мы оба бодрствовали, но, согласись, я вернее действовал на благо республике, чем ты на ее гибель. А именно: в эту ночь ты явился в дом — не буду ничего скрывать, — в дом Марка Леки на улице Серповщиков. Туда же собралось большинство твоих товарищей в преступном безумии. Полагаю, ты не посмеешь этого отрицать. Молчишь? Улики изобличат тебя, если вздумаешь отпираться. Ведь здесь, в сенате, я вижу кое-кого из тех, что были там вместе с тобой.

(9) Боги бессмертные! Есть ли где народ, есть ли город такой, как наш? Что за государство у нас? Здесь, среди нас, отцы сенаторы, в этом священнейшем и могущественнейшем совете, равного которому не знает круг земель, здесь пребывают те, кто помышляет о нашей общей гибели, о крушении этого города и чуть ли не всего мира. А я, консул, смотрю на них, прошу высказать мнение о положении государства и тех, кого следовало бы поразить железом, не смею беспокоить даже звуком своего голоса!

Итак, в ту ночь, Катилина, ты был у Леки. Вы поделили Италию на части, установили, куда кто намерен отправиться, выбрали тех, кто останется в Риме, и тех, кто последует за тобой, разбили город на участки для поджога; ты подтвердил свое решение покинуть город, а задерживает тебя, как ты сказал, лишь та малость, что я еще жив. Тут же два римских всадника вызвались избавить тебя от этой заботы. Они обещали в ту же ночь еще до рассвета убить меня в моей постели.

(10) Едва только ваше сборище было распущено, как мне все уже стало известно. Я увеличил и усилил стражу вокруг своего дома и отказался принять тех, кого ты послал ко мне с приветствиями: я заранее говорил об этом многим достойнейшим людям, — так вот, пришли именно те, кого я называл, и как раз в предсказанное мной время.

V. В чем же дело, Катилина? Продолжай начатое, — выбери день и покинь наконец этот город, — ворота открыты, ступай! Так называемый Манлиев лагерь — твой лагерь! — заждался тебя, своего предводителя. Да уведи с собой всех, а если не всех, то, по крайней мере, как можно больше твоих сообщников, очисти город! Ты избавишь мою душу от страха, если между мной и тобой встанет городская стена. А пребывать долее среди нас ты больше не сможешь. Я этого не позволю, не потерплю, не допущу.

(11) И правда, если столько раз под угрозой этой гнусной, ужасной, отвратительной чумы республику нашу все-таки удавалось спасти, то за это мы должны неустанно благодарить бессмертных богов и прежде всего здесь воздать благодарность Юпитеру Становителю, древнейшему стражу нашего города. Однако впредь испытывать судьбу нашего отечества по милости одного человека мы уже больше не вправе.

93

Твои происки, Катилина, преследовали меня, когда я только еще был назначен в консулы, и тогда защитой мне служила не государственная охрана, но собственная моя бдительность. Затем, когда во время последних консульских выборов ты хотел убить меня, теперь уже консула, а вместе со мной и твоих соперников в предвыборной борьбе, то тогда, на Марсовом поле, дабы пресечь твои преступные замыслы, я прибег к помощи многочисленных моих друзей, не возбуждая всеобщей тревоги. Короче говоря, всякий раз, когда ты посягал на мою жизнь, противостоял тебе только я сам, хотя и предвидел, что моя гибель была бы сопряжена с огромными бедствиями для республики.

(12) Теперь ты уже открыто посягаешь на целую республику, на святилища бессмертных богов, на городские кровли и на жизнь каждого из граждан, наконец, ты призываешь сокрушить и разорить всю Италию. Осуществить то, что с самого начала предписывают мне консульская власть и заветы предков, я не дерзаю. Поэтому я поступлю не так сурово, и, думаю, в такой мягкости сейчас будет больше пользы для общего благополучия. Ведь если я прикажу казнить тебя, в государстве все же осядет остатком заговора горстка твоих сообщников. Если же ты удалишься, к чему я тебя не раз побуждал, то зловещее скопление нечистот, пагубное для республики, будет вычерпано из города.

(13) Так что же, Катилина? Неужели мой приказ заставляет тебя сомневаться в том, что так отвечало твоему собственному желанию? «Ты враг. Уйди из города!» — такова воля консула. Ты спросишь: означает ли это изгнание? Я не даю такого распоряжения, но, если хочешь знать, таков мой настоятельный совет.

VI. Только подумай, Катилина, какая тебе радость в городе, где нет никого, кто бы тебя не страшился? Никого, кто бы не испытывал к тебе ненависти, кроме, может быть, тех несчастных, что вступили в этот ваш заговор вместе с тобой? Каким позорным клеймом еще не отмечена твоя семейная жизнь? А твои частные дела? Какого безобразного поступка не разнесла еще твоя слава? Упустил ли ты когда случай потешить свой похотливый взор? Удержал ли руки от какого злодеяния? В каком разврате не погряз ты всем телом? Не ты ли расставлял юношам сети порочных соблазнов? А совратив кого-то, не ты ли вкладывал ему в руки дерзостный меч? Не ты ли поощрял в нем самые низкие страсти? И во всяких его похождениях не ты ли шел впереди, освещая дорогу?

94

95

(14) Да и в самом деле, я уж не говорю о том, как еще недавно смертью прежней жены ты открыл свой дом для нового брака, чтобы затем на это преступление взгромоздить другое, еще более невероятное. Я с готовностью обхожу это молчанием, а не то обнаружится, что в нашем государстве столь чудовищные злодеяния могут происходить и оставаться неотомщенными. Не говорю я и о полном упадке твоего состояния, — во всей силе ты ощутишь эту угрозу в ближайшие иды, — перехожу к иному — к тому, что касается не частных твоих дел и твоего имени, опозоренного пороками, не дома твоего с его бедами и мерзостями, но всего нашего государства, наших жизней, нашего спасения.

96

(15) И какое удовольствие, Катилина, может доставить тебе этот свет, это небо, этот воздух, если ты знаешь: каждому здесь известно, что накануне январских календ консульство Лепида и Тулла ты стоял на Площади сходов с оружием в руках? Что ты подготовил отряд, чтобы перебить консулов и первых граждан республики, и что твоему иступлению воспрепятствовало не благоразумие твое и не робость, но одно

только счастье римского народа? Все же опустим и это, ибо здесь нет нужды в разъяснениях, да и впоследствии было совершено немало. Сколько раз ты пытался убить меня, сначала еще только назначенного в консулы, а затем и консула! Сколько было нападений, рассчитанных и, казалось, неотразимых, когда только неуловимое какое-то движение позволяло мне уклониться или, как говорится, уйти от удара! Напрасны твои старания, напрасны стремления, напрасны усилия, — и все же ты не оставляешь попыток, не отказываешься от желаний. (16) Сколько раз твой кинжал был исторгнут у тебя из рук! Сколько раз каким-то случаем он падал или выскальзывал сам! Но разлучиться с ним надолго ты просто не в состоянии. Не знаю, каким богам, по какому обету и с какими заклятиями посвятил ты этот кинжал, если тебе непременно нужно поразить им тело консула.

VII. Да и правда, что за жизнь — эта твоя жизнь? Я пытаюсь говорить с тобой так, чтобы в моих словах не сквозила заслуженная тобой ненависть; говорю так, как подсказывает милосердие, которого ты никак не заслуживаешь. Только что ты вошел в сенат, это многочисленное собрание, где все тебя давно и хорошо знают, — и кто здесь, кто из них тебя приветствовал? На памяти людской такого не случалось здесь ни с кем. А ты еще ждешь оскорбительных речей, когда на тебя обрушился этот тяжелейший приговор — их молчание? Что же еще? А когда с твоим приходом эти скамейки вдруг оказались незанятыми, потому что все прежние консулы, не раз обреченные тобой на гибель, все они, лишь только сел ты рядом, эту часть скамеек оставили пустой, обнаженной, — что ты об этом думаешь и как к этому полагаешь отнестись?

(17) Рабы, клянусь, если б рабы мои разбегались от меня в таком страхе, какой внушаешь ты всем твоим согражданам, я почел бы долгом оставить свой дом, — а ты не полагаешь, что твой долг — покинуть город? Если бы я увидел, что мои сограждане подвергают меня столь тяжкому подозрению, причем несправедливо, я предпочел бы лишиться возможности видеть их, нежели читать в их взглядах всеобщую неприязнь. А на твоей совести столько преступлений, и ты знаешь, что всеобщая ненависть к тебе справедлива и уже давно тобою заслужена, — так какие же у тебя сомнения? Почему ты не бежишь общества тех, чьи убеждения и чувства ты оскорбляешь своим видом, своим присутствием? Ведь если бы родителям своим ты внушал такой непреодолимый страх и ненависть, то тогда, я думаю, ты удалился бы куда-нибудь долой с глаз родительских. А тут отчизна, общая наша мать, давно уже страшится и ненавидит тебя, сознавая, что все до единого твои помыслы устремлены против нее, устремлены на матереубийство! Так неужели ее священные права не вселяют в тебя почтительной робости и ты не последуешь ее приговору, не убоишься ее силы? (18) Вот она обращается к тебе, Катилина, вот какова ее безмолвная речь:

«Сколько лет уже, Катилина, ни одно злодеяние, ни одно преступление не обходится без тебя, не совершается помимо тебя; и казни многих граждан, и притеснения союзников, а подчас прямой грабеж, — тебе одному, кажется, все это сошло безнаказанно и чуть ли не как должное. Ты пренебрег законами и судами и, однако, благоденствуешь, чтобы тем самым и вовсе поправить их и ниспровергнуть. Что же! Я вынесла, как могла, все прежнее, невыносимое, но теперь вся я охвачена страхом, и виной тому ты один: чуть где какой шорох — и я уже боюсь, не Катилина ли; где бы ни возник какой преступный сговор — и тут не обошлось без тебя. Нет, этого вынести уже нельзя! Вот почему — уйди, избавь меня от страха, справедлив этот страх или несправедлив, — я не хочу больше терпеть унижения, я просто устала бояться».

97

VIII. (19) Если бы отчизна говорила с тобою так, как я это представил, — неужели ты не внял бы этой речи, пусть даже она не подкреплена силой? Ведь что-то же

заставило тебя самого добровольно отдаться под стражу, заявить, что, желая с себя снять подозрение, ты готов поселиться у Мания Лепида! А когда тот не принял тебя, ты даже ко мне осмелился прийти с просьбою о приюте. Но и я ответил, что ни в коем случае не могу пребывать под одной крышей с тобою, ибо довольно с меня уже опасности жить с тобой в одном городе. Получив такой ответ, ты отправился к претору Квинту Метеллу, где тоже был отвергнут. И тогда ты перебрался к своему товарищу, достойнейшему Марку Метеллу, полагая, очевидно, что и в охране он будет всех усерднее, и в надзоре всех бдительнее, и в воздаянии всех тверже.

Так скажите, долго ли может уклоняться от заточения тот, кто сам — и по достоинству — назначил себе участь узника? (20) Что же тогда ты медлишь, Катилина, почему не удаляешься в иные края, — если встретить смерть как должно у тебя не хватает духа! — почему не вручишь бегству и уединению свою жизнь, исторгнутую из рук великого, справедливого, заслуженного возмездия?

«Доложи сенату», — говоришь ты. Итак, ты требуешь обсуждения в сенате и утверждаешь, что если все сословие примет решение о твоём изгнании, то ему ты готов повиноваться. Нет, докладывать я не стану, — не в моих это правилах. И все же я доставлю тебе возможность понять, что думают о тебе отцы сенаторы. Вот я говорю:

— Уйди из города, Катилина, освободи республику от страха, отправляйся в изгнание, да, в изгнание, если ты ждешь непременно этого слова, ступай!

98

Ну, что? Ты слышишь? Ты замечаешь, что они молчат? Постигаешь ли смысл этого молчания? Они стерпели мои слова, они молчат. Так зачем же ты ждешь их законного приговора, — ведь молчаливую их волю ты уже угадал! (21) В самом деле, если бы я то же самое сказал Публию Сестию, этому благородному юноше, или Марку Марцеллу, — вот этот доблестный муж, — то здесь же, немедленно, сенат наложил бы на меня, на консула, свою мощную десницу и был бы прав. Но вот речь идет о тебе, Катилина, и они остаются невозмутимы, а это значит, — они одобряют! Сенат не возражает — вот тебе его постановление. Они молчат, — и это их вопль. И они, чей приговор, по-видимому, для тебя так много значит, как ни мало значит для тебя их жизнь, — они, повторяю, не одиноки. Немногим раньше ты мог слышать голоса римских всадников, честнейших, благороднейших мужей, да и прочих доблестнейших граждан, что столпились вокруг сената. Ты видел, сколько их, понял, чего они добиваются? Мне стоит большого труда удерживать их руки, их мечи, и мне ничего бы не стоило попросить их сопровождать тебя до самых ворот, когда ты решишься покинуть то, что уже давным-давно стремишься превратить в пустыню.

99

IX. (22) Да полно, к чему эти разговоры? Разве может что-нибудь тебя усмирить? Да чтобы ты когда-нибудь исправился? Чтобы ты решился так или иначе бежать? Чтобы ты обдумал возможный путь на чужбину? Боги бессмертные, внушите ему эту мысль! Правда, если ты, уstraшенный моими словами, решишь удалиться в изгнание, — о, какая буря ненависти, предвижу я, надо мной разразится! Нет, не сейчас, когда память о твоих злодеяниях еще слишком свежа, а впоследствии. Но пусть будет так — лишь бы это бедствие осталось моим частным делом, не сопряженным с опасностью для республики.

Однако не приходится требовать, чтобы ты смутился при виде своих пороков, убоился законного возмездия, отступился перед невзгодами республики. Ибо не таков Катилина, чтобы стыд мог отвратить его от низости, страх — от опасности или здравый ум — от наваждения.

(23) Вот почему я еще и еще раз повторяю: ступай! — и если я и вправду твой

враг (а прежде ты так и говорил), если ты не прочь раздуть бурю ненависти против меня, то направляйся прямо в изгнание! Ведь если ты сделаешь это, если ты по приказу консула удалишься в изгнание, то я не знаю, удастся ли мне выстоять под тяжестью людских толков, под тяжестью этой ненависти. Ну, а если ты жаждешь послужить моей чести и славе, то захвати с собой свою шайку отвратительных негодяев и перебирайся к Манлию! Подними мятежом самых пропащих граждан, отдели себя от граждан добропорядочных, объяви войну отчизне, потешься нечестивым разбоем, и тогда станет видно, что я не гнал тебя на чужбину: тебя ждали в твоём кругу — я лишь передал тебе приглашение.

100

101

(24) Да полно! Я приглашаю тебя, а между тем известно, что ты уже выслал вперед вооруженный отряд, который должен ждать тебя у Аврелиева Форума. Мне известно также, что вы с Манлием уже назначили день. Известно мне и то, что ты даже выслал вперед своего серебряного орла, знаменитого тем, что в своем доме ты учредил ему святилище преступлений; будем надеяться, что теперь он поведет тебя и всех твоих сообщников к гибели. Ты, пожалуй, не вынесешь долгой разлуки с ним, ибо уже привык возносить ему молитвы, отправляясь на резню, — ведь сколько раз переносил ты нечестивую свою десницу от его алтаря прямо к убийству!

Х. (25) Наконец-то ты отправишься туда, куда и прежде увлекала тебя разнузданная и буйная твоя страсть, где ждет тебя не огорчение, но некое неизъяснимое наслаждение. Да, для такого умопомрачения произвела тебя природа, изощрило вожделье, сохранила судьба. Ты никогда не мечтал о покое, но об одной войне, да и то лишь о нечестивой. Ты набрал шайку отчаянных, распаленных негодяев, которых давно покинуло не только счастье и благосостояние, но и всякая надежда. (26) Сколь бурная радость ждет тебя там! Как запрыгаешь ты от восторга, каким упьешься ликованием, когда в таком многочисленном собрании твоих приспешников не увидишь и не услышишь ни одного добропорядочного человека! Разве не к этой жизни готовил ты себя и закалял, перенося столько трудов: когда лежал на сырой земле в угоду похоти, а подчас и злодейству; когда бодрствовал по ночам, покушаясь на мирный сон супругов, а подчас и на добро беспечных граждан. У тебя будет случай показать свою пресловутую выносливость, претерпевая и голод, и холод, и всяческие лишения, причем в самое ближайшее время.

(27) Отчасти я уже способствовал этому, когда отстранил тебя от консульских выборов, чтобы уж лучше как изгнанник ты мог лишь посягать на республику, нежели как консул измываться над ней, и чтобы твое преступное предприятие по праву именовалось разбоем, а не войной.

XI. Но и на меня, отцы сенаторы, разве не вправе сетовать отчизна? Мне хотелось бы, однако, замолвить слово за себя, оправдаться, поэтому я прошу вас со всем вниманием выслушать, что я скажу. Вверяюсь всецело сердцам вашим и умам. Представьте, что и со мной заговорила бы отчизна — отчизна, которая мне гораздо дороже жизни, вся Италия, целая наша республика.

«Что с тобою, Марк Туллий? Ты ли это позволяешь уйти тому, кто тобою же изобличен как враг, в ком ты видишь вождя грядущей войны, в ком чувствуешь виновника преступлений, кого как предводителя поджидают в лагере врагов, главарю заговора, подстрекателю рабов и негодных граждан? Да точно ли ты его выпускаешь? Не больше ли похоже, что ты впускаешь его в город?! Ты не приказываешь заковать его в цепи, отправить на смерть, подвергнуть высшему наказанию? (28) Но почему? Что мешает тебе? Обычай предков? Но ведь граждан, пагубных для нашей республики,

часто карали смертью даже те, кто не располагал предоставленной тебе властью. Законы, определяющие возмездие для римских граждан? Но ведь никогда в этом городе гражданских прав не удерживал тот, кто сам от республики откалывался. Или ты боишься навлечь на себя ненависть впоследствии? Хороша, однако, твоя благодарность римскому народу! Вспомни: ты быстро достиг известности, а кто из знатных предков ручался за тебя? Только ты сам! И вот такого человека римский народ вознес через все ступени почестей к высшей власти. А ты в страхе перед ненавистью или какой-то другой опасностью готов пренебречь благополучьем своих сограждан? (29) Но если уж и вправду стоит опасаться ненависти, то не так страшна ненависть, вызванная строгостью или твердостью, как та, что вызвана недопустимой беспечностью. А когда война станет опустошать Италию и терзать города, когда загорятся крыши — вот когда запылает ненависть! Или ты рассчитываешь спастись от этого пожара?»

ХII. На эти священные для меня слова республики, а равно и на невысказанные мысли тех, кто с нею согласен, я отвечу коротко. Если я почту за лучшее, отцы сенаторы, предать Катилину казни, то гладиатор этот от меня не получит и часа лишнего жизни. Скажу так: если знаменитые мужи и превосходные граждане не запятнали своих имен кровью Сатурнина, Гракхов и Флакка, но приумножили свою славу — чтобы не говорить уже о примерах более древних, — то и мне, разумеется, не нужно бояться, что смерть этого братоубийцы поднимет впоследствии волну ненависти, способную меня поглотить. Пусть даже она и нависнет грозно надо мною, пусть! Я всегда держался того убеждения, что ненависть, вызванная доблестью, не есть ненависть, скорее это заслуга. (30) Я понимаю: среди сенаторов некоторые не видят нависшей угрозы или притворяются, что не видят, — они-то и питают надежды Катилины своим мягкосердечием, это они, не веря в существование заговора, дают ему укрепиться. Причем их вес и влияние столь велики, что если я призову Катилину к порядку, то не только негодьяи, но подчас просто люди неискушенные скажут, что я проявил жестокость, под стать царской, но когда он прибудет в лагерь Манлия, куда, собственно, и стремится, то даже самый последний глупец увидит, что составлен заговор, и самый последний мерзавец не посмеет этого отрицать.

Понимаю я также и то, что с казнью этого одного болезнь республики лишь затаится ненадолго, но не искоренится навечно. Если же он уберется сам и уведет всех своих приспешников, прихватив с собою и весь прочий потрепанный сброд, то истреблены и уничтожены будут как эта разросшаяся язва нашей республики, так и корень и семя всех ее бед.

ХIII. (31) Ведь опасные козни этого заговора, отцы сенаторы, окружают нас уже давно. Право, не знаю, чему я обязан тем, что все мерзости, все бешенство, вся наглость достигли высшего предела и выплеснулись именно в год нашего консульства. А поэтому если и вырвать одного Катилину из этого разбойничьего гнезда, то на короткое время, возможно, покажется, что мы избавились от забот и страха, однако опасность останется и лишь тем глубже проникнет в жилы республики, в ее нутро. Ведь зачастую случается видеть, как тяжело больные люди мечутся в жару и в лихорадке, требуют холодной воды. А стоит им выпить глоток, как, испытав поначалу небольшое облегчение, они станут еще тяжелее и сильнее страдать. Вот так и эту болезнь — болезнь республики — наказание Катилины может облегчить, но лишь с тем, чтобы еще сильнее отягчить ее впоследствии, если прочие останутся живы. (32) Вот почему говорю я в который раз: пусть удалятся негодьяи, пусть они отделят себя от добрых граждан, пусть соберутся в одном месте, пусть, наконец, между ними и нами встанет городская стена, пусть никто не подстерегает консула в его собственном доме, не бродит вокруг трибунала городского претора, не осаждают с мечом в руках курию, не готовят

стрел и факелов, чтобы поджечь город; пусть, наконец, на лбу у каждого будет написано, что может ожидать от него республика. Я обещаю вам, отцы сенаторы: усердие консулов, и вся полнота вашего могущества, и доблесть римских всадников, и единый порыв всех добрых граждан приведут к тому, что с уходом Катилины все раскроется, прояснится, будет подавлено, отмщено — вы увидите!

(33) Вот тебе, Катилина, мое напутствие. С ним и отправляйся на нечестивую безбожную войну, и пусть она послужит вящему благополучию республики, пусть принесет чуму и гибель тебе, уничтожит всех тех, кто связан с тобой узами самых кощунственных преступлений.

К тебе взываю, Юпитер! Тебя воздвиг здесь Ромул при тех же знамениях, что и весь этот город, тебя мы по праву называем Становителем нашего государства и нашей державы, — не допусти же Катилину и сообщников его до твоих алтарей и городских храмов, до римских крыш и стен, до жизни и благосостояния всех граждан! Накажи врагов каждого честного человека, недругов отчизны, разорителей Италии, людей, связанных союзом преступлений, нечестивой общностью, — живых и мертвых, — накажи их, Юпитер, вечными муками.

В ЗАЩИТУ МАРКА ЦЕЛИЯ РУФА

102

103

I. (1) Случись здесь присутствовать, судьи, человеку, не сведущему в законах наших, судах и обычаях, он спросил бы, конечно, что за страшное преступление вынудило нас в дни праздника, когда устроены общественные игры, а судебные дела приостановлены, заседать в одном этом судилище; он был бы уверен: судят такого преступника, что, если не заняться им немедленно, погибнет само государство; а узнавши, что есть и закон, чтобы во всякий день привлекать к суду преступных мятежников, вставших с оружием на сенат, с насилием на сановников и посягательством на государство, он бы, конечно, одобрил такой закон и спросил, что же за преступление разбирает теперь суд? И вот когда он услышит, что не злодеяние, не дерзость, не насилие собрали судей, но что обвиняют здесь юношу, даровитого, деловитого, всем известного, что обвиняет сын человека, кого сам подсудимый привлекает и привлекал к ответу, и что платит за обвиненье распутница, то он не осудит Атратина за верность сыновнему долгу, женскую разнузданность сочтет нужным смирить, а усердию вашему только подивится, раз и праздничные дни не для вас.

(2) Право же, если тщательно рассмотреть и оценить все это дело, то вы сами увидите, судьи: ни один человек, вольный выбирать, не взял бы на себя такое обвинение и ни один человек, взявши его на себя, не имел бы надежд на успех, если бы чья-то невыносимая страсть и нестерпимая ненависть не питали его. Я могу еще простить это Атратину, воспитанному и честному юноше, да и мне не чужому. Его извиняет либо преданность отцу, либо безвыходность положения, либо молодость: если своей волей он взялся за обвинение — то по долгу сына; если ему велено — то по принуждению; если надеясь на успех — то по молодости лет. Остальные же прощения не заслуживают — с ними можно только бороться. II. (3) И мне кажется, судьи, что при молодых еще летах Марка Целия мне верней всего начать с ответа на те обвинения, которые должны его обесславить и доспех его достоинства совлечь и похитить.

Попрекают здесь его отца: то ли сам он был недостаточно блистателен, то ли сын к нему был недостаточно почтителен. Но Марк Целий-старший не нуждается в моей речи, да и самому ему не надо тратить слов, чтобы защитить свое достоинство перед сверстниками и знакомыми; а кто мало с ним знаком, оттого что в свои годы он уже не частый гость меж нами на форуме, те пусть помнят, что достоинство римского

всадника — а достоинство это немалое — всегда признавали за ним, признают и поныне; и не только его близкие, но и все когда-нибудь его знававшие. (4) Ну, а ставить в вину Марку Целию, что он сын римского всадника, неуместно ни перед этими судьями, ни передо мной, его защитником. Что до верности Целия сыновнему долгу, то мы можем думать разное, но судить об этом, конечно, отцу. Что мы думаем, вы услышите от присяжных свидетелей, а что чувствуют родители, — о том говорят материнские слезы и глубокая скорбь, отцовское влечение и зримая печаль его и сетования.

104

(5) Попрекают Марка Целия и тем, что в молодые годы его-де не жаловали в родном городке. А меж тем иретуттинцы никому не оказывали больших почестей, чем Марку Целию, заочно приняв его в именитейшее сословие, без просьбы дав ему то, в чем отказано было многим просителям; да и к нынешнему суду прислали они избранных мужей из нашего и всаднического сословия с лестным отзывом о Марке Целии, убедительным и красноречивым. Вот и основание для моей защиты, и оно тем прочней, что опирается на суждение сограждан и близких; как бы смог я представить вам молодого человека, если бы не одобряли его ни столь почтенный родитель, ни, тем более, такой достойный и прославленный город.

III. (6) Скажу о себе, ведь из тех же истоков берет начало и моя известность; если и получили людское признание мои труды на судебном поприще и вся моя жизнь, то лишь благодаря моим близким, их мнению обо мне, их оценке.

Попрекают Марка Целия и безнравственностью, но это уж не столько обвинение, сколько сплетня во всеуслышанье, и никогда от этого Марк Целий не станет сетовать на свою наружность: ведь такие сплетни о красивых и привлекательных юношах — дело самое обычное. Но одно дело сплетни, другое — обвинение. Для обвинения необходимо какое-то преступление, — тогда уже можно определить вину, назвать виновного, убеждать доказательствами, ссылаться на свидетелей. А у сплетни нет иной цели, кроме поношения; если оно поглубже, его называют злословием, если потоньше — то острословием. (7) Потому-то удивило меня и огорчило, что эту часть обвинения возложили как раз на Атратина; ведь такое ему не к лицу и не по возрасту — вы сами могли заметить, как стыд мешал славному юноше говорить подобные речи. Лучше бы уж кто-нибудь из вас, более зрелых, взял на себя дело злословия, тогда легче было бы опровергнуть хулу и свободно и прямо, как то мне больше по нраву. Но с тобой, Атратин, я не буду строг: меня сдерживает и твоя стыдливость, и моя память об услуге, оказанной тебе и твоему отцу. (8) Но вот тебе мой совет: не кажись иным, чем ты есть, и сколько чуждаешься ты позорных дел, столько сторонись и распущенных слов, а еще: не говори о другом такого, чтобы краснеть, услыша в ответ то же самое, хотя б это была и ложь. В самом деле, кому такой путь заказан? Трудно ли оклеветать молодого человека, даже достойного, когда для этого не нужно оснований, а что сказать, всегда найдется? Но винить за твою речь должны мы тех, кто принудил тебя выступить с нею, а хвалить должны стыдливость твою, ибо явно ты говорил против воли, и твои дарования, ибо говорил ты изящно и умно.

IV. (9) Что ж, на всю эту речь можно ответить кратко. А именно: пока возраст Марка Целия мог дать повод таким подозрениям, он был огражден прежде всего собственным целомудрием, а затем и строгим воспитанием, полученным от отца. А когда Целий надел мужскую тогу, то отец немедленно привел его ко мне: это, верно, тоже что-то значит, а много или мало — не мне судить. И никто не видел Марка Целия в ранней его юности, кроме как с отцом или со мною, а когда он обучался благородным наукам, то и в безупречном доме Марка Красса.

(10) Попрекают Целия и тем, будто водил он дружбу с Катилиною; но такие подозрения надо от него отвести. Вы ведь знаете, что он еще был очень юн, когда я и Катилина добивались консульства; вот если бы меня он покинул и перекинулся к Катилине, — хотя многие достойные юноши держали сторону этого беспутного нечестивца, — пусть тогда бы и считали его не в меру близким Катилине. Но потом-то, возразят мне, мы видели и знаем, что он был среди его друзей! Не спорю. Тут я вступаю только за ту раннюю пору, когда неокрепшая еще юность уступает чужому натиску. В год моего преторства он неизменно был со мною и не знал Катилины (тогда претора в Африке). Годом позже Катилина обвинялся в вымогательстве, — Целий оставался при мне, а к Катилине не пришел даже как заступник. На другой год я добивался консульства, и со мною — Катилина; но Целий ему не предался, меня не предал. V. (11) Вот сколько лет, не навлекая на себя ни подозрения, ни хулы, он посещал форум; и лишь когда Катилина вторично домогался консульства, Целий принял его сторону. Но до каких же пор, по-твоему, нужно опекать юношество? Мы-то всего год в свое время должны были прятать руку под тогой, а для упражнений на поле оставаться в туниках; тот же порядок соблюдался и в лагере и в походе, если мы тотчас шли служить. Так вот, кого в этом возрасте не защитит его собственная порядочность и чистота, домашнее воспитание и природные достоинства, тому, как бы ни оберегали его родные, не избежать заслуженного позора. Но кто в первую пору юности обнаружил чистоту и беспорочность нрава, тот, окрепнув, ставши мужем среди мужей, не вызывал уже сомнений в добром своем имени и скромности.

(12) Да, Целий, уже несколько лет посещавший форум, взял сторону Катилины. Но и многие другие, разных лет и из разных сословий, поступили так же! Ибо все вы, я думаю, помните: в Катилине было множество если не очевидных, то все же заметных черт величайших достоинств. Он был окружен негодями, но делал вид, что предан лучшим из граждан. Он не мог противостоять соблазну и вожделению, но его привлекали упорство и труд. В нем горели низменные страсти, но в нем жило рвение к военным подвигам. Никогда, я думаю, не бывало на земле такого чудовища, в котором природа так сплавила бы противоположные, разнородные, друг с другом не согласные страсти и стремления. VI. (13) Кто милей был славнейшим мужам — и кто был ближе отребью? Кто подчас брал сторону лучших граждан — и кто всем гражданам был злейший враг? Кто непристойней в наслаждениях — и кто выносливей в лишениях? Чья хищность неукротимей — и чья щедрость расточительней? Но более всего, судьи, поражало в нем умение заводить столько друзей, осыпать услугами, делиться со всеми своим добром, помогать в нужде всем своим сторонникам и деньгами, и влиянием, и трудом, не останавливаясь ни перед риском, ни даже пред преступлением; поражала и способность изменять поведению, применяться к обстоятельствам, принимать то одно, то другое обличие: с угрюмыми держаться сурово, с общительными — приветливо, со стариками — степенно, с молодежью — радушно, дивить удалью разбойников и ненасытностью — развратников. (14) Благодаря такой многосложности и переменчивости своего нрава он сумел отовсюду собрать всех отчаянных и преступных, но каким-то притворным подобием доблести удержать при себе многих храбрых и достойных. И удар его, пагубный отечеству, потому-то и был так грозен, что громада его пороков опиралась на умение обращаться с людьми и переносить лишения.

Так отклоним же, судьи, эту часть обвинения, и пусть не считается преступлением знакомство с Катилиной, — или же пусть Целий разделит вину со

многими, в том числе и честными людьми. Меня самого, меня, говорю я вам, Катилина едва не обманул когда-то, ведь он показался мне добрым гражданином, приверженцем лучших людей, стойким и верным другом. Само преступление его я раньше увидел, чем угадал, раньше застиг, чем заподозрил. Поэтому хоть Целий и был в многочисленной свите друзей Катилины, тем не менее он должен скорее сожалеть о своем промахе (как и сам я порою стыжусь, что ошибся в том же человеке), нежели бояться обвинений в дружбе с ним.

108

109

VII. (15) Итак, начав с поношения развратника, вы перевели речь на обличение заговорщика: вы заявляете (хотя неуверенно и как бы между прочим), что дружба с Катилиной привела его в стан заговорщиков. Но, конечно же, как наш Целий не был связан с заговором, так нет связи и в доводах вашего речистого юноши. Откуда бы у Целия такая ярость, такая язва в душе, такая неурядица в делах? Да и кто называл имя Целия в числе заподозренных? Может быть, слишком долго толкую я о деле совершенно ясном; скажу, однако, вот что: будь Целий в заговоре или даже будь он хотя бы не столь враждебен этому преступлению, — никогда не стал бы он в молодые годы искать себе славы, обвиняя другого в заговоре! (16) А насчет обвинения в подкупе и участия в этом сотоварищей и посредников Целия, раз уж зашла о том речь, не ответить ли точно так же? Ведь не мог быть Целий столь безрассуден, чтобы, запятнав себя наглым подкупом, обвинить в таком же подкупе другого; и не стал бы подозревать его в том, чем сам и был бы не прочь при случае заняться; еле избежав однажды обвинения в подкупе, он не стал бы дважды преследовать другого за ту же вину. И без того уж неразумно было это преследование и против моей воли, — однако такое рвение скорее может навлечь гнев Целия на невиновного, чем подозрения на него самого.

110

111

(17) Попрекают Целия и за долги, бранят за мотовство, требуют представить счетные книги. Но смотрите же, как просто мне вам ответить! Счетных книг у того не бывает, кто еще не вышел из-под отеческой власти; на покрытие долгов Целий денег не занимал никогда, расход чрезмерный назван один — тридцать тысяч на жилье. Только сейчас я понял, что доходный дом Публия Клодия, где Целий снимает пристройку, по-моему, за десять тысяч, теперь продается. А вы, желая угодить Клодию, приноравливаете вашу ложь к его нуждам.

112

113

(18) Сверх всего, вы порицаете Целия за то, что он оставил дом отца, но он уже в возрасте, когда нечего этим корить. Он уже возбудил и выиграл одно уголовное дело (мне на огорчение, а себе на славу), он уже по возрасту мог добиваться государственных должностей, и вот, так как дом отца был далеко от форума, он оттуда съехал с ведома и по совету отца, а себе недорого снял жилье на Палатине, чтобы удобнее и самому бывать у нас, и от близких принимать знаки внимания. VIII. Тут-то и я могу воскликнуть, как недавно воскликнул прославленный Марк Красс, сетуя на приезд царя Птолемея: «О если бы в дубраве Пелиона...» — и даже мог бы продолжить: «Как ни мечись Медея, никогда б она...» не доставила нам столько неприятностей, «больна душой, любовью дикой мучаясь». В этом, судьи, вы убедитесь, когда я покажу вам в своем месте, как этот самый переезд и эта палатинская Медея как раз и стали для молодого человека источником всех бед или, вернее, всех сплетен.

114

(19) Вот почему, судьи, положась на вашу проницательность, ничуть не страшусь я всего того, что успели нагородить и насочинить обвинители. Ведь они, например, говорили: есть у них свидетель сенаторского звания, который покажет, что на выборах понтификов Целий его избил. Что ж, если он и вправду явится, я спрошу его прежде всего: почему же он тотчас ничего не предпринял? А затем: если он предпочел жалобы иску, то почему выступил по вашему почину, а не по собственному, отчего предпочел выжидать? Отчего не подал жалобу сразу? Если он ответит мне умно и находчиво, то спрошу я наконец, из какого притек он источника? Ибо, если сам по себе он возник и объявился, то это, может быть, на меня и подействует, как водится; ну, а если этот ручеек лишь отведен от общего источника вашего обвинения, то я буду только рад, что при ваших средствах и влиянии нашелся лишь один сенатор, готовый вам угождать.

(20) Не страшат меня и другие ваши свидетели — ночные: ведь обещано, что будут люди, которые расскажут, как Целий приставал к их женам, возвращавшимся с пира. Да, нешуточные это будут показания: ведь не всякий решится под присягою признать, что за такую обиду он до сих пор ни разу не пытался привлечь Целия даже к третейскому суду!

IX. Нет, судьи, вы уже научились разбираться в подобных военных хитростях, а с ними вам и придется всякий раз сталкиваться. Дело ведь в том, что Марка Целия обвиняют вовсе не главные его враги: те, кто мечет в него копья, — на виду, а те, кто их подносит, — в тени. (21) Не затем я это говорю, чтобы навлечь ненависть на тех, кто, может быть, достоин даже чести: они выполняют долг, они защищают близких, они ведут себя храбро: страдают от оскорбления, выходят из себя от гнева, лезут в драку от обиды. Пусть же эти храбрецы по праву нападают на Марка Целия, — вы, судьи, при вашей мудрости, конечно, понимаете, что ваше право больше думать о вашей присяге, чем о чужой обиде. Вы ведь знаете: народу на форуме много, и обычаи, и помыслы, и нравы у всех различны. Разве мало здесь, по-вашему, и таких, что ловят желания людей сильных, влиятельных и речистых, сами предлагая им свои услуги, помощь, показания? (22) Так вот, если кто-нибудь из них, чего доброго, появится на этом суде, то пусть ваша мудрость, судьи, не даст веры их лицеприятным свидетельствам, дабы ясно стало, что вы не забываете ни о Целии, ни о своем долге и охраняете благо всех граждан от опасного могущества немногих. Я же уведу вас подальше от свидетелей, чтобы справедливое и окончательное решение этого суда не зависело от показаний, которые так просто придумать и не труднее исказить и переиначить. А у нас против этих обвинений есть доказательства и доводы, ясные, как день: есть улика на улику, объяснение на объяснение, вывод против вывода.

X. (23) Вот почему я легко оставляю в стороне все, о чем так обоснованно и красочно говорил здесь Марк Красс, — о беспорядках в Неаполе, об избиении александрийцев в Путеолах, об имуществе Паллы. Жаль только — он ничего не сказал о Дионе. Но что же об этом можно сказать? Кто убил Диона, тот обвинений не боится и даже сам готов все признать, ибо он — царь, а кто будто бы при нем был пособником и сообщником, Публий Асций, оправдан по суду. Вот так обвинение! Преступник ничего не отрицает, отрицающий во всем оправдан, а страшиться почему-то должен, кто не только в деле не заподозрен, но и сам о нем не подозревал! И если даже Асцию больше было пользы от суда, чем вреда от вражды, то повредят ли твои наговоры тому, кого не только подозрение, но и сплетня не коснулась. (24) «Но Асций освобожден несправедливо!» Что ж, я бы мог легко ответить и на это, коли сам я там был защитником; но вот Целий считает, что дело Асция безупречно, а если даже и нет, то к собственному его делу отношения не имеет. И не один Целий так думает, но и оба юноши, образованные и ученые, преданные самым достойным занятиям и лучшим наукам, —

Тит и Гай Колонии: а ведь это они больше всех скорбели о смерти Диона, ибо их связывали с ним не только приверженность к наукам и учености, но и узы гостеприимства. Тит, как вы слышали, принимал у себя Диона, знакомого с ним по Александрии; что он думает о Марке Целии и что думает его достойнейший брат, это вы услышите от них самих, если они здесь выступят. (25) А мы оставим этот предмет, чтобы перейти наконец к самому основанию нашего дела.

XI. Я ведь заметил, судьи, как внимательно вы слушали моего друга Луция Геренния. И хотя своей притягательностью речь его обязана была скорее дарованию и особому слогу оратора, все же я боялся, как бы эта речь, так искусно подводящая к обвинению, незаметно и мало-помалу не запала бы вам в душу. В самом деле, как пространно говорил он о распущенности, о разврате, о пороках юности, о нравах! Не странно ли: кто всю свою жизнь был так мягок, кто всем на радость находил столько удовольствия в изысканной учтивости, тот в нашем деле оказался вдруг старым брюзгой, цензором, школьным наставником! Ни один отец не пенял так своему сыну, как он Марку Целию: столько им говорено о неводержанности и неумеренности. Как же, судьи, не понять мне ваше внимание, — от такой горечи и силы его слов у меня самого волосы встали дыбом! (26) Правда, первая часть меня не очень смутила — что, мол, Целий дружил с близким мне Бестией и бывал у него, и обедал у него, и претурь помогал ему добиваться. Не смутила потому, что это слишком уж явная выдумка: ведь сотрапезниками были названы только те, кого здесь нет, и те, кто вынужден подтверждать это. Не смутило меня и то, что назвал он Целия своим товарищем луперком. Дикое это товарищество братьев луперков, каких-то пастухов и мужланов; их лесной союз заключен был еще до того, как явилось просвещение и законы, раз они действительно не только подают друг на друга жалобы, но и в обвиненье поминают о своем товариществе, словно опасаясь, как бы кто не позабыл! (27) Но и это я оставляю, а отвечу на то, что меня больше заботит.

Когда Геренний пенял Целию за страсть к наслаждениям, он это делал долго, но не так уж круто, скорее обсуждая, чем осуждая, потому-то его и слушали. А вот когда друг мой Публий Клодий выступал здесь так страстно, так грозно, пылая таким гневом, когда страшные слова его гремели на площади, то красноречие это показалось мне прекрасным, но ничуть не опасным: ведь не раз уже его речи в судах оказывались тщетными. Что ж, а тебе, Геренний Бальб, готов я ответить, — если только не грех мне защищать человека, который и на пирах кутил, и в садах прохлаждался, и на благовонья тратился, и в Байях бывал. XII. (28) Но и сам я знаю немало примеров и от людей слышал о тех, что не только пригубили этой жизни, не только, как говорится, кончиками пальцев к ней прикоснулись, но и всю свою молодость потопили в наслаждениях, а все-таки рано или поздно выплыли из этой пучины, и, как говорится, стали на путь истинный, и достигли славы и почета? Так уж принято меж людей спускать молодежи известные шалости, таково уж наше естество, что в юности нас обуревают страсти; но если здоровья они не расстроят и дома не разорят, то обычно с ними легко мирятся. (29) А ты, Геренний, хотел, должно быть, чтоб дурная слава всякой молодежи возбудила ненависть только к Целию? Оттого-то и молчали мы на твои слова, что глядели на одного обвиняемого, а думали о пороках многих юношей. Не велик труд порицать распущенность! Мне не хватило бы дня, начни я высказывать все, что только можно по этому поводу: о развращении и блуде, о бесстыдстве и мотовстве можно говорить без конца. Когда перед тобою не один обвиняемый, но многие пороки, то для такого обвинения ты можешь не жалеть ни слов, ни доводов. Но вам, судьи, для того дана ваша мудрость, чтоб не забывать об обвиняемом, и разящий меч вашей суровости, вашей строгости, когда опускает его обвинитель на преступления и на

пороки, на нравы и времена, пусть минует этого обвиняемого: ведь не вина Целия, а порочность всего поколения навлекла на него этот напрасный гнев. (30) Вот почему не решаюсь я ответить, как подобает, на твои обличенья. Мне следовало бы просить о снисхождении к молодости и добиваться прощенья, но, повторяю, я не смею. Не нужны мне ссылки на возраст, не хочу я прав, данных любому и каждому; я добиваюсь одного: как ни возмущают нынче всех нас мотовство, и наглость, и распутство молодежи, — а они нас возмущают, и как нельзя более, — пусть чужие погрешения не ставятся Целию в вину, пусть пороки его возраста и нашего времени не станут ему во вред. Ну, а что до обвинений, относящихся и вправду только к Целию, то на них я готов отвечать.

XIII. В двух преступлениях обвиняют его: одно связано с золотом, другое — с ядом, и оба — с одним и тем же лицом. Будто бы и золото брали у Клодии, и яд добывали против Клодии. Все прочее — не обвинения, а ругательства, уместные скорее в перебранке, а не в суждении. «Блудник, бесстыдник, мошенник» — это поношения, а не обвинения: ведь им не на что опереться, не на чем держаться, это только бранные слова, брошенные ни с того ни с сего взбешенным обвинителем. (31) Ну, а главные те два обвинения, — откуда они, знаю; кто состряпал их, знаю — и в лицо знаю и по имени. Была нужда в золоте — взял у Клодии, взял без свидетелей и держал сколько хотел, — не знак ли это на редкость коротких отношений? Убить хотел опять-таки Клодию — яд раздобыл, привлек, кого сумел, все приготовил, назначил место, принес отраву, — не знак ли это жестокого разрыва и лютой вражды? Все здесь дело, судьи, в этой самой Клодии, а она — особа не только знатная, но и небезызвестная. Я уж ничего не стану говорить о ней, кроме того, что нужно для защиты Целия. (32) Но ты сам понимаешь, Гней Домиций, по недюжинной твоей прозорливости, что дело нам придется иметь с нею одной. Не скажи она, что давала золото Целию, не тверди она, что он готовил ей отраву, — с нашей стороны было бы дерзко называть мать семейства иначе, чем требует почтение. Но если без этой женщины нет ни причины, ни средств ополчаться на Марка Целия, то что же делать нам, защитникам, как не противостоять его гонительнице? Я бы говорил куда резче, если б не моя вражда с ее мужем, — виноват, братом (всякий раз тут собою!), — но теперь буду сдержан и не зайду дальше, чем велют мне верность долгу и нужды дела. Да и не в моих обычаях враждовать с женщинами, — тем более с той, что всегда слыла скорее всеобщей подругой, нежели чьим-то недругом.

115

116

117

XIV. (33) Только пусть сперва она сама мне скажет, как мне с нею говорить: по-старинному сурово и важно или мягко, спокойно и вежливо? Если по-старинному строго, то не мешало бы мне вызвать из преисподней кого-нибудь из бывших бородачей — не с такой бородкой, что так нравится этой женщине, а с косматою бородою, как на древних картинах и статуях; пусть бы он за меня ее вразумил, чтоб она, чего доброго, на меня не обиделась! Итак, пусть предстанет перед нею кто-нибудь из ее же рода, а лучше всего — знаменитый Слепой: будет он страдать меньше других, ибо не сможет ее увидеть. А явившись, верно, вот как заговорит он и вот что скажет: «Что тебе в Целии, женщина, в недоростке, в чужом мужчине? Зачем такая у вас близость, что дала ему золото, и отчего такая вражда, что страшишься яда? Или ты не видела перед собой отца твоего? Или не слыхала ты, что дядя твой, твой дед, и прадед, и прапрапрадед были консулы? (34) Или не помнишь наконец, что совсем недавно ты была за Квинтом Метеллом, мужем славнейшим и храбрейшим, верным сыном отечества? Разве не затмевал он, почитай, всех граждан и доблестью, и славой, и достоинством, едва

выходил за свой порог? Так почему же ты, сама из именитейшего рода, вошел в прославленную семью супруга, оказалась так коротка с Целием? Родич он? свояк? приятель мужу? Ни то, ни другое, ни третье. Так что же это, как не сумасбродство и любострастие? Если ничто для тебя мужские наши древние образы, — то отчего ни потомца моя, знаменитая Квинта Клавдия, не вызвала в тебе ревности и желания приумножить женскою добродетелью славу дома, ни та дева-весталка Клавдия, что, обняв родителя, не позволила отцову недругу — народному трибуну — совлечь его с триумфальной колесницы? Зачем братнины пороки милей тебе отчих и дедовских добродетелей, от моего века неизменных и в мужах и в женах? Для того ли помешал я заключить мир с послами Пирра, чтобы ты что ни день заключала союзы непотребной любви? Для твоих ли грязных нужд провел я в Рим воду? Для того ли построил дорогу, чтобы ты раскатывала по ней с чужими мужчинами?»

XV. (35) Ах, зачем я, судьи, вызвал тень столь суровую, что уж сам, боюсь, не обратился бы вдруг тот же Аппий к нашему Целию и не стал бы его обвинять с достопамятной своею цензорской суровостью! Но я к этому еще вернусь и надеюсь, судьи, оправдать образ жизни Марка Целия даже перед самым неумолимым порицателем. А ты, женщина, — это сам я с тобой говорю, а не от чужого лица! — если хочешь ты доверия к делам твоим, словам твоим, угрозам, наговорам, доводам, то изволь нам вразумительно объяснить вашу близость, вашу связь, ваш союз. Обвинители без конца поминают блуд, любовь, измены, Байи, взморье, кутежи, разгул, певцов, музыкантов, катанье на лодках и дают понять, что все это говорится с твоего согласия. Я уж не знаю, о чем ты думала, но раз уж ты, не владея собой, так опрометчиво вынесла все это на форум и на суд, то либо ты должна все это опровергнуть как наговор, либо признать, что ни обвинениям твоим, ни свидетельствам не может быть никакой веры. (36) Ну, а если ты предпочитаешь более учтливое обращение, то поведу я себя иначе: уберу этого сурового и даже грубого старца, а выберу из твоих сородичей кого-нибудь еще, лучше всего — твоего младшего брата, ведь у вас в роду он самый воспитанный, а тебя он так уж любит, что еще малюткою спал с тобою, старшею сестрой — не иначе как из робости да детских ночных страхов. Так вот представь, что он тебе говорит: «Что за неистовство, сестра, что за безумие? Отчего из пустяка ты делаешь событие? Ты заприметила молодого соседа, тебя ослепила белая его кожа, стройность, лицо и глаза, тебе захотелось встречать его почаще, ты, знатная женщина, зачастила в сады, где он гулял; но хоть отец у него и скряга, сына ты богатствами не прельстила: он и отбрыкивается, и отплеывается, и дары твои ни во что не ставит. Ну так займись кем другим! Есть же у тебя сады над Тибром — ты нарочно выбрала место, куда вся молодежь приходит купаться; тут и выбирай себе по вкусу, хоть каждый день. А если кто на тебя смотреть не хочет — зачем навязываться?»

XVI. (37) Теперь твоя очередь, Целий, — к тебе обращаюсь я в облиии строгого отца. Я только не могу решить, какого именно отца изобразить? Крутого и грозного, как у Цецилия:

Нынче зол я не на шутку, вот теперь я разозлен...

Или такого:

О, несчастный, о, негодник!..

Впрямь, эти люди — железные:

Ну что сказать, чего мне пожелать? Ведь ты

Охоту мне отбил своею мерзостью!..

Кто их вынесет? Возьмет такой отец да скажет: «Зачем поселился рядом с развратницей? Зачем не брезгуешь дурными знакомствами?»

И для чего связался ты с женой чужою, хищницей?

Что ж, разоряйся! Сам потом нужду еще почувствуешь.

Мне дела нет: пока я жив, мне хватит своего добра.

(38) Этому угрюмому и непреклонному старцу мог бы Целий ответить, что если он и оступился, то не страсть сбила его с пути. В самом деле, где доказательства? Никаких трат, швыряний деньгами, никаких долговых пут. «Но слухи-то!» Да в этом злоязычном обществе кто от них уберется? Диво ли, что о соседе этой женщины ходят сплетни, когда и родной брат ее не уберется от кривотолков. Ну, а для ласкового и мягкого отца, как тот, что говорил:

...Двери выломал?

118

Поправят! Платье изорвал? Починится!

в деле Целия нет никаких затруднений. Ну, что тут такого, в чем трудно оправдаться? Про эту женщину я ничего не буду говорить; но, допустим, была другая, несколько с этой не схожая, и это она была всем доступна, это при ней всегда открыто был кто-нибудь постоянный; это к ней в сады, и в дом, и в Байи не понапрасну устремлялись все распутники, это она прикармливала юношей, сберегая денежки скардным отцам. Если, вдовствуя, она вела себя свободно, дерзкая — держалась вызывающе, богатая — сорила деньгами, развратная — путалась с кем попало, то назову ли блудодеем того, кто при встрече приветствовал ее без лишней скромности?

XVII. (39) Кто-нибудь скажет, пожалуй: «Так вот каковы твои уроки! Этому ли учишь юношей? Разве для того родитель поручал и доверял тебе этого мальчика, чтобы он смолodu предавался наслаждениям и любовным утехам, а ты бы еще защищал такую жизнь и такие наклонности?!» Верно, судьи, и если есть человек такой силы духа, такой врожденной добродетели и воздержности, что отвергает любые наслаждения, всю жизнь свою проводит в трудах тела и усилиях ума, не знает ни покоя, ни отдыха, чуждается увлечений сверстников, сторонится игр и пиров, ищет в жизни лишь того, что достойно и славно, то я первый преклонюсь перед силой и красотой таких божественных добродетелей. Таковы, наверное, были те Камиллы, Фабриции, Курии, которые возвели нас от ничтожества к величию. (40) Только в наши-то дни этих доблестей не сыскать уже ни в душах, ни даже в книгах. Да и свитки, что хранили дух старинной строгости, преданы забвению — и не только у нас, которые блюли ее больше на деле, чем на словах, но даже у греков, самого ученого народа, которые могли если не действовать, то хоть говорить и писать достойно и велеречиво; но когда настали для их отечества иные времена, иные появились и учения. (41) Так, одни стали говорить, что мудрец все делает ради наслаждения, и образованные люди не отвращали слух от таких постыдных речей. Другие нашли нужным сочетать достоинство с наслаждением, чтобы силою своего красноречия сопрягать эти две противоположности. А кто признает только один путь к славе — прямой и трудный, — те уже остались в школах почти без учеников. Ибо многие соблазны породила для нас сама природа, они усыпляют добродетель, и она смежает веки; много скользких дорог тогда маячит перед юношами, и трудно на них с первых же шагов не оступиться и не упасть. Столько разнообразных искушений предлагает нам природа, что не только юношество, но и зрелые люди им поддаются. (42) И поэтому, если вы встретите кого-то, чей взор не радуется красота, чье обоняние не улаживают ароматы, чья кожа нечувствительна к ласке, вкус безразличен к яствам, а слух к гармонии, то я с немногими другими скажу, что он любим богами, а все люди скажут, что презираем.

XVIII. Покинем же этот путь, заброшенный людьми, заглохший и заросший дикой порослью; уступим молодости, дадим ей немного воли. Пусть не вовсе будут

изгнаны наслаждения, пусть не всюду верх берет прямой и правый рассудок, пусть его иной раз одолеет страсть к наслаждению. Надобно лишь держаться вот каких правил: пусть юноша хранит свою стыдливость и не покушается на чужую, пусть не расточает отцовского добра, не разоряется от лихвы, не посягает на чужой дом и честь, не позорит невинных, не пятнает непорочных, не бесславит добрых людей, не грозит насильем, не вредит коварством, сторонится темных дел. Отдав дань наслаждениям, растратив толику времени в праздных юношеских забавах и увлечениях, пусть он обратится к делам семейным, судебным и государственным, и тогда станет ясно: чем пленялся поначалу неопытный ум, то, пресытившись, он отверг и, изведав, презрел. (43) Память наша, память отцов наших и дедов хранит многие примеры человеческой добродетели и гражданской доблести тех людей, которые, когда перебрадили в них молодые страсти, в зрелом возрасте явили миру редкие достоинства. Нет нужды называть имена, ведь и сами вы их помните, а я не стану к великой хвале славному мужу добавлять хотя бы малое порицание. А пожелай я того, я мог бы назвать многих видных и прославленных мужей, чье известно было в молодости своеволие, распущенность, долги, траты, блуд; но теперь, когда все это затмили их доблести, пусть кто хочет оправдывает молодостью их былые прегрешения.

XIX. (44) Но за Марком Целием — мне тем легче будет теперь говорить о его благородных занятиях, что кое-какие его слабости я уже признал, — за Марком-то Целием не замечали ни распущенности, ни трат, ни долгов, ни склонности к пирам и разгулу. А ведь именно обжорство и пьянство с годами не умяются, но растут. Что же до любовных, как говорится, утех, то обычно недолго занимают они стойких людей и быстро в свой срок отцветают; но и они никогда не держали в плену Марка Целия. (45) Вы ведь слышали, как он защищал себя, вы ведь слышали прежде, как он выступал обвинителем (говорю как защитник — не как гордый учитель), и вы при вашей опытности не могли не оценить его красноречие, способности, богатство слов и мыслей. И вы видели: не один только природный дар блистал в его речи (а ведь так бывает часто, ибо дарование, и не питаясь трудом, само по себе может покорять слушателей), нет, если только не обольщаюсь я в моей привязанности к Целию, было в его речи мастерство, добытое ученьем и отточенное усердием, не ведавшим ни сна, ни отдыха. А надо знать, судьи, что не могут в одной душе ужиться и те страсти, какие вменяют в вину Целию, и то рвенье, о котором я толкую. Ибо не способен дух, предавшийся сладострастью, отягощенный любовью, желаньем, страстями, то чрезмерным богатством, то крайней нуждой, переносить все телесные и умственные усилия, какие выпадают нам, ораторам. (46) В самом деле, почему, как не поэтому, не взирая на все выгоды красноречия, всю усладу его, славу, влияние и почет, так мало людей и теперь и прежде избирало для себя этот путь? Ведь на нем приходится отвергнуть удовольствия, забыть охоту к развлечениям, игры, шутки, пиры, чуть ли не беседы с друзьями: это и отвращает людей от трудов и занятий оратора, а отнюдь не скудные способности или недостаток образования. (47) Так неужто Марк Целий, предаваясь привольной жизни, сумел бы еще юношей привлечь к суду бывшего консула? Убегая трудов, опутанный сетями наслаждений, разве мог бы он жить в повседневном бою, наживать врагов, привлекать к суду, рисковать головой и на глазах всего римского народа столько месяцев драться, чтобы либо погибнуть, либо прославиться?

XX. Так, значит, ничем не пахнет это соседство? Ни о чем не говорит ни людская молва, ни сами Байи? Нет, они говорят, они шумят, но лишь о том, что есть такая женщина, которая дошла до того в своей похоти, что для грязных дел не ищет даже укромных мест и покрова темноты, но рада выставить свой позор среди бела дня и всем напоказ. (48) А неужто любовь блудниц запретна для юношей? Если кто так

думает, то, что уж говорить, он очень строгих правил и чурается не только нашего распущенного века, но и того, что дозволено обычаем предков. В самом деле, когда же было иначе, когда это порицалось, когда запрещалось, когда нельзя было того, что можно? Я готов и определить, что именно, — но не назову никакой женщины, пусть об этом думает кто как хочет. (49) Если какая-нибудь безмужняя особа откроет дом свой всем вожделеющим, если будет жить не таясь как продажная женщина, если будет пировать с чужими мужчинами, и все это в городе, в садах, в многолюдных Байях; если, наконец, и ее походка, и наряд, и свита, и блестящие взгляды, и вольные речи, и объятия, поцелуи, купанья, катанье по морю, пиры заставляют видеть в ней не просто распутницу, а бесстыдную шлюху, — то скажи, Луций Геренний, когда некий юноша окажется при ней, разве будет он совратителем, а не просто любовником? Разве он посягает на целомудрие, а не просто удовлетворяет желание?

119

(50) Я прощаю тебе обиды, Клодия, не бужу воспоминаний о моих печалях, не мщу за твою жестокость к родным моим в мое отсутствие: пусть то, что я сказал, сказано не о тебе! Но к тебе самой я обращаюсь: ведь, если верить обвинителям, это ты заявила о преступлении, ты была его свидетелем; так вот, я спрашиваю, если бы с женщиной, какую я описал, ничуть с тобою не схожею, но блудницей по всему укладу жизни и привычкам, был бы связан молодой человек, разве ты назвала бы это великим стыдом и позором? Если ты, как хотел бы я думать, не такова, то в чем же упрек Целию? Если же ты такова, как хотят тебя представить, то с какой стати нам страшиться обвинения, которым сама ты пренебрегаешь? Отвечай же, чтобы мы знали, как нам защищаться: если есть в тебе стыд, он и защитит Марка Целия от порочащих слухов, если нет его, тем легче защищаться и ему и другим.

XXI. (51) Но вот речь моя как будто обошла мели и миновала скалы, так что оставшийся путь видится мне очень легким. Перед нами два обвинения, и в обоих речь о той же преступнейшей женщине; золото он будто бы взял у Клодии, а отраву будто бы готовил против той же Клодии.

Золото, говорите вы, было взято для рабов Луция Лукцея, которые должны были убить александрийца Диона, жившего в доме Лукцея. Страшное это преступление — покушаться на посла и подстрекать рабов к убийству гостя их хозяина. Сколько злодейства, сколько дерзости в этом замысле! (52) Но об этом обвинении позвольте мне снова спросить: говорил он Клодии, для чего ему золото, или не говорил? Если не сказал, зачем дала? Если сказал, то, зная о преступлении, она стала его соучастницей. Разве не ты решилась достать золото из ларца, обобрать украшения своей Венеры, столько обиравшей всех кругом? Если только знала ты, для какого преступления нужно было это золото — для убийства посла, для вечного клейма злодейства на чести Луция Лукцея, безупречнейшего, честнейшего человека, — тогда не следовало твоей щедрой душе быть соумышленницей, твоему общедоступному дому сообщником и гостеприимной твоей Венере пособницей! (53) Бальб этого не упустил, он сказал, что Клодия ничего не знала, что Целий представил дело так, будто ему нужно золото для украшения общественных игр. Но если он был так близок с Клодией, как ты уверяешь нас, твердя о его сладострастии, то не мог он не сказать, зачем ему золото. А не будь он ей так близок, вовсе не дала бы. Так что знай, необузданная женщина: если Целий сказал тебе правду, то дала ты ему золото злоумышленно, если же не посмел он этого сказать, то и ты не давала ему золота.

[Чтение свидетельства Лукцея.]

XXII. После этого нужны ли мне доказательства против этого обвинения? Им нет числа. Я могу сказать, что такое страшное злодеяние совершенно чуждо нраву Марка

Целия; что вряд ли человеку столь предусмотрительному и умному не пришло в голову, что нельзя доверять такое дело незнакомым чужим рабам. Я могу, как это любят другие защитники, да и сам я тоже, приступить к обвинителям с расспросами, где встречался Целий с рабами Лукция да как добрался он до них; если сам, то откуда такое безрассудство? если через другого, то через кого? Я могу пройти в своей речи по всем закоулкам ваших наговоров, — и что же? Ни причины, ни места, ни возможности, ни соучастников, ни упований на удачу, ни надежд на безнаказанность, никакого расчета, никаких следов столь великого преступления! (54) Но все то, что мог бы я разукрасить не без пользы и не хуже всякого оратора, — не потому, что я так уж даровит, а потому, что научился чему-то, выступая на форуме, — все это краткости ради я целиком опускаю. Ведь со мною, судьи, тот, кого вы охотно признаете своим товарищем по долгу и присяге, — это Луций Лукцей, безупречный человек и важнейший свидетель; он не мог не знать, что Целий так коварно посягал на его доброе имя и благополучие, он не мог этого ни стерпеть, ни оставить без внимания. Разве мог муж столь просвещенный, преданный наукам и искусствам быть беспечным пред лицом опасности, грозившей человеку, в котором он чтит те же самые свойства? Разве тот, кто строго осудил бы покушение на постороннего, допустил бы убийство гостя? Кто негодовал бы и на неизвестных убийц, спустил бы такое своим рабам? Кто порицал бы такое дело и в деревне и на улице, стерпел бы его в Риме, в собственном доме? Кто не пожелал бы помочь в опасности и неучу, тот неужели захотел бы скрыть преступный замысел против ученейшего мужа? (55) Но для чего мне, судьи, злоупотреблять вашим вниманием? Вот вам добросовестные свидетельские показания под присягою, — вслушайтесь в каждое слово! Читай. Чего же больше? Само дело, сама истина разве могут лучше выступить в свою защиту? Вот она, защита невинности, вот она, речь самого дела, вот он, голос самой истины! Обвинение не обосновано, дело не доказано: говорят, что задумано преступление, но ничто не указывает на сговор, на место и время, не названы ни свидетели, ни сообщники. Все обвинение выношено в доме враждебном, бесчестном, жестоком, преступном, развратном, а тот дом, на который будто бы посягало злодеяние, безупречен, благочестив, добропорядочен. Скрепленные присягой показания из этого дома вы слышали, и теперь, уж наверное, всякому ясно: с одной стороны — взбалмошная, бесстыдная, взбешенная женщина измышляет ложное обвинение, с другой — достойный, мудрый и воздержный муж добросовестно дает надежное свидетельство.

XXIII. (56) Что ж, теперь осталось дело об отравлении. Только ни до начала его я никак не дойду, ни конец не могу распутать. Почему, с какой стати нужно было Целию отравить эту женщину? Чтобы золото не вернуть? Разве она требовала? Чтобы избежать обвинений? Но кто его винил? Кто вообще упомянул бы о нем, не начини он совсем другого судебного дела? Ведь Геренний и сам признал, что не сказал бы худого слова о Целии, если бы тот не привлек вторично к суду человека, ему, Гереннию, близкого и уже однажды по тому же делу оправданного. Ну можно ли поверить, что такое злодеяние совершается безо всякой причины? Не очевидно разве, что тут одно преступление вымышлено, чтобы выдать его за причину для другого преступления?

(57) Так кому же Целий это поручил, кто его помощник, кто сообщник, кто соумышленник, кому доверил он такое дело, себя самого и свою жизнь? Уж не рабам ли этой женщины? Таково, по крайней мере, обвинение. Но ужели этот Целий так глуп — ведь в чем другом, а в уме даже немилость ваша ему не отказывает, — неужели так глуп, чтобы вверять судьбу свою чужим рабам? И каким? Это крайне важно. Уж не тем ли, о которых знал он, что живут они при госпоже не так, как все рабы, а вольнее и свободней, как свои люди? Кто же не знает, судьи, кто же не примечал, что в таком

доме, где хозяйка живет как блудница, где все совершается тайком, где гнездятся распутство, похоть, роскошь с несказанными пороками и мерзостями, там и рабы не рабы? Кому все поручается? Через кого совершается? Кто предается тем же утехам? Кто хранит все тайны? Кому всякий день что-нибудь да перепадает от общего разгула? (58) Как же Целий не видел этого? Если он был так близок с этой женщиной, как вы уверяете, то не мог не знать, что и рабы близки со своею хозяйкою. Если же той связи, на какую намекаете вы, не было, как он мог быть так знаком с ее рабами?

120

121

122

XXIV. А как описывают нам само отравление? Где добыт яд? Как приготовлен? С кем условились, кому и где передали? Говорят, Целий, дескать, долго хранил яд у себя и дал его для пробы какому-то рабу, нарочно купленному; раб тут же умер, и его смерть доказала силу яда. (59) О, бессмертные боги! Отчего вы то спускаете людям страшные злодеяния, то откладываете на завтра кару за сегодняшнее коварство? Вспоминаю я мое горе, горчайшее горе в моей жизни, когда Квинт Метелл был оторван от груди, от лона отчизны, когда этот муж, почитавший себя рожденным для служения нашей державе, еще позавчера блиставший в сенате, в собрание, в отечестве, молодой, в цвете дней, полный сил, был коварно отторгнут от всех лучших людей, от всех граждан. На смертном одре, когда сознание его покидало, последние мысли свои обращал он к делам государственным: видя слезы мои, прерывающимся, слабым голосом остерегал он меня, говорил о буре, что надвигается на меня, о грозе, что нависла над отечеством. То и дело он стучал по стене, за которой был дом Квинта Катула, то и дело поминал меня, часто Катула, чаще всего — государство, ибо не столько мучила его мысль о близком конце, сколько о том, что и отечество и я лишатся его защиты. (60) Не сгуби его внезапно преступная сила, как бы он укротил безумство своего двоюродного брата, если когда-то, консулом, при всем сенате обратясь к тому, лишь начинавшему безумствовать, обещал умертвить его своей рукой? Эта женщина по-прежнему живет в доме Квинта Метелла, — и она еще смеет говорить о мгновенном яде? И не страшно ей, что сам дом может заговорить, что стены все видели? И не вздрогнет она, вспоминая о той скорбной и гибельной ночи? Но вернусь к обвинению, хотя, конечно, воспоминания эти о храбром и славном муже не прошли мне даром: мой голос дрожит от слез, ум затуманен горем.

123

124

XXV. (61) Так или иначе, но откуда яд и как был приготовлен, нам не сообщают. Дали его будто бы разумному и порядочному юноше, другу Целия, Публию Лицинию; уговорено было встретиться с рабами у Сениевых бань; Лициний, придя туда, должен был передать им склянку с ядом. Тут мне хочется спросить: для чего было нести туда яд? Отчего эти рабы не пришли к самому Целию? Что было бы подозрительного в том, что раб Клодии явился к Целию, если прежняя близкая связь Целия с этой женщиной еще не порвалась? А если уже вспыхнула ревность, если уже угасла привязанность, если произошел разрыв, то «вот откуда эти слезы», вот где причина всех злодейств и всех обвинений! (62) «Больше того, — говорит обвинитель, — когда обо всем этом и о черном замысле Целия рабы донесли госпоже, то находчивая женщина подучила их пообещать Целию все, что тому надо, а чтобы яд, когда Лициний станет его передавать, можно было захватить при свидетелях, назначить встречу в Сениевых банях, куда она пошлет друзей; они там спрячутся, и когда Лициний придет, чтобы передать отраву, выскочат и схватят преступника».

125

126

127

XXVI. Нет ничего легче, судьи, как опровергнуть все это. На что дались ей эти общественные бани? И где там укрыться человеку в тоге? Ведь в прихожей не спрячешься, а внутрь войти обутыми и одетыми тоже неудобно, да, пожалуй, их и не впустили бы, если только всевластная женщина за кровный свой медный грош не свела там дружбы и с банщиком. (63) Я, конечно, с нетерпением ждал, когда объявят, кто эти достойные мужи, свидетели поимки отравителя на глазах у всех. Однако по сю пору ни один не был назван. Впрочем, не сомневаюсь, это куда как важные лица: во-первых, они близки к такой женщине, во-вторых, для нее они притаились в банях, а такой услуги, как она там ни всеильна, можно было добиться лишь от достойнейших и почтеннейших мужей. Но к чему мне исчислять достоинства свидетелей? Посмотрите сами, до чего они доблестны, как прытки! «Попрятались в банях», — поискать таких очевидцев! «А потом опрометью выскочили», — воистину сама степенность! Ведь по-вашему выходит, Лициний так и пришел со склянкой в руке и как раз хотел ее передать, как тут и выскочили вдруг эти славные безымянные свидетели. А Лициний, уже протянувши было отраву, отдернул руку и бросился бежать, спасаясь от внезапного нападения. О, великая сила истины! От умыслов людских, от хитрости, от плутовства, от притворства и коварства легко и просто она сама защитит себя. XXVII. (64) Право же, на этот раз многоопытная сочинительница предложила нам такую завязку, что ни смысла в ней нет, ни конца к ней не придумаешь! Скажите на милость, отчего все эти мужи, — а было их, конечно, немало, чтоб и Лициния верней схватить, и число свидетелей умножить, — отчего они выпустили из рук Лициния? Почему Лициния можно было схватить после передачи склянки и нельзя было — когда он с ней отскочил? Они на то и были поставлены, чтобы при свидетелях схватить его или с ядом в руках, или тотчас после передачи. Так задумала эта женщина, такое поручение она им дала; и напрасно ты говоришь, будто они выскочили «опротью» и не ко времени. Их о том и просили, они для того и попрятались, чтобы у всех на глазах обнаружить отраву, заговор, преступление. (65) Чем же «не ко времени» выскочили они, когда вошел Лициний со склянкой в руке? Если бы эти дружки нашей женщины выскочили вдруг из бань, когда склянка была уже у рабов, и схватили Лициния, он стал бы звать на помощь, а об отраве сказал бы, что знать ничего не знает. Как бы тогда они это опровергли? Сказали бы, что сами видели? Во-первых, этим они сами подпали бы под немалое обвинение, а во-вторых, им пришлось бы сказать, будто они видели то, чего из их засады и видно-то не было. Нет, право же, они явились как раз вовремя — когда вошел Лициний, достал склянку, протянул руку, подал яд... Ну, а развязка вышла для мима — не для трагедии: ведь это в миме, когда не знают, чем кончить, кто-нибудь внезапно вырывается из рук, и тут же, возвестив стуком конец, дают занавес. XXVIII. (66) Потому-то я и спрашиваю: отчего, когда Лициний колебался, трепетал, отступал, убегал, эти бабьи ратники его упустили, не поймали, не изобличили, не добились признанья, не созвали очевидцев, не воспользовались тем, что преступление говорило само за себя? Или, может быть, боялись они не справиться — многие с одним, сильные с тщедушным, проворные с растерянным?

128

Нет, не сыщешь тут ни прямых улик, ни поводов к подозрению, ни выводов в обвинении. В этом деле обвинители не приводят доказательств, не сопоставляют событий, не указывают на приметы, как обычно при выяснении истины, а только выставляют свидетелей. Этих-то свидетелей, судьи, я жду не только безо всякого

страха, но еще и не без надежды поразвлечься. (67) Я уже предвкушаю удовольствие созерцать прежде всего этих щеголей, приятелей богатой и знатной особы, а затем и храбрецов, эту банную стражу, расставленную в засаде нашей военачальницей, у них-то я и спрошу, как им удалось спрятаться и где: была ли это купальня или, может, троянский конь, который тайно нес в себе столько непобедимых воинов, сражавшихся во имя женщины? И еще я заставлю их ответить: почему столько крепких мужчин одного вот такого слабосильного Лициния ни на месте не схватили, ни в бегстве не догнали? И я знаю, начав говорить здесь, никогда они не сумеют выпутаться. За пиршественным столом они могут сколько угодно острить и балагурить, а во хмелю так и ораторствовать, но одно дело суд, другое — застолье, одно дело заседать, другое — возлежать, не одно и то же — судьи и бражники, не схожи сияние дня и мерцанье светильников. Пусть они только выйдут, я повытрясу из них все эти шуточки, весь этот вздор! Право, лучше им послушаться меня, иными заняться делами, иных искать милостей, в ином себя показывать; пусть красуются они в доме этой женщины, пусть сорят ее деньгами, льнут к ней, рабствуют ей, прислуживают, по пусть не посягают на жизнь и достоянье невинного. XXIX. (69) «Так ведь те рабы отпущены с согласия родичей, людей достойных и славных!» Наконец хоть что-то нашлось, что эта особа исполнила с согласия, а не наперекор достойным и отважным родичам! Но хотел бы я знать, что доказывает это отпущение? Либо это способ обвинить Целия, либо — предотвратить допрос, либо — наградить соучастников многих дел. «Но родственники это одобрили!» Как же им не одобрить, когда ты им сказала, что сама раскрыла это дело, а не от других о нем дозналась! (69) И удивляться ли тому, что даже с этою воображаемою склянкою уже связаны непристойнейшие толки? Нет, кажется, такого непотребства, какое нельзя связать с именем этой женщины! Сколько было слухов, сколько разговоров! Вы, судьи, уже давно догадались, о чем я хочу сказать, верней, умолчать. Если что-то здесь и было, то, разумеется, замешан тут не Целий, — он уж явно ни при чем! — а, должно быть, другой какой-то юноша, без стыда, но не без остроумия. Если же это вымысел, то он хоть и нескромен, а сочинен неплохо. Так или иначе, никогда бы людская молва с такой легкостью не подхватила бы эту сплетню, не будь любой срам к лицу Клодии.

129

(70) Все, что относится к делу, я сказал, судьи, и заканчиваю речь. Вы уже знаете, сколь важен ваш приговор, сколь важно порученное вам дело! Вы блюстители закона о насилии, а ведь с законом этим связана власть, величие, участь и благо отечества; закон этот проведен был Квинтом Катулом, когда в кровопролитной гражданской распре, казалось, государство переживает последние дни; закон этот в мое консульство, когда сбито было пламя заговора, развеял последние струйки его дыма; и вот по этому-то закону требуют молодого Марка Целия не к ответу перед государством, но женщине на потеху! XXX. (71) И упоминают при этом осуждение Камурция и Цесерния! Что это? Глупость или беспримерное бесстыдство?! Вам ли, приспешникам этой женщины, упоминать их имена? Вам ли ворошить память об этом черном деле, еще не угасшую, но за давностью уже потухающую? И какая провинность, какое злодейство погубило их? Погубило то, что, мстя Веттию за досаду и обиду этой женщины, они неслыханно над ним надругались. Так это ради того, чтобы прозвучало здесь имя Веттия, чтобы воскресить старую комедию о медяках, вновь вспомнили вы о деле Камурция и Цесерния? Хотя закон о насилии их не касался, но такое за ними было преступление, что, пожалуй, ни по одному закону их нельзя было отпустить.

130

131

(72) Но Марк Целий, он-то зачем призван к этому суду? Дело его и прямо вам не подсудно, и нету за ним ничего такого, к чему бы закон касательства не имел, но зато имеет касательство ваша строгость. В ранней юности Марк Целий посвятил себя тем наукам, которые ведут нас к трудам на судебном поприще, к управлению государством, к почету, к славе, к достоинству. Он был дружен с теми из старших возрастом, чьему рвению и воздержности желал подражать, он тянулся к таким своим сверстникам, что становилось ясно: он идет дорогою славы вслед знатнейшим и достойнейшим мужам. (73) Когда же он повзрослел, то отправился в Африку при проконсуле Квинте Помпее, безупречном человеке, неукоснительном в исполнении долга. В этой провинции находились поместье и владения отца Целия, нашлись там и все те дела, которые со времен наших предков недаром поручают в провинции молодым людям. Оттуда Целий уехал с похвальным отзывом Квинта Помпея, который сам это вам подтвердит. И возвратившись, по старинному обычаю, по примеру тех юношей, что после стали превосходными людьми и знаменитыми гражданами, Целий вознамерился каким-нибудь громким судебным делом показать римскому народу свое усердие. XXXI. (74) Я бы предпочел, чтобы жажду славы он утолил как-нибудь иначе, но прошло уже время сокрушаться об этом. Он обвинил моего сотоварища Гая Антония, и, хотя жива была память о славной услуге, оказанной тем государству, она, увы, не поборола тяготевших над ним темных подозрений. А затем уже Марк Целий не уступал никому из сверстников, ибо и на форуме он бывал больше всех, и брал на себя дела и тяжбы друзей, и все влиятельней становился в своем кругу. Всего, чего достигают только люди дельные, трезвые и упорные, он достиг своим трудом и старанием. (75) И вот тут как бы на повороте его жизни (я не скрою от вас ничего, ибо верю в ваше человеколюбие и мудрость) слава юноши слегка задела поворотный столб: сказалось тут и знакомство с этой женщиной, и злосчастное с нею соседство, и новизна наслаждений и страстей, в ранней юности долго подавляемых и сдерживаемых, а теперь, как это бывает, вдруг вырвавшихся на волю. От этой жизни, а верней от этой молвы (ведь не так все было страшно, как о том судачили), словом, от всего, что было, Целий теперь давно уж отошел, освободился, избавился; он настолько чужд теперь постыдной близости с этой женщиной, что вынужден защищаться от ее вражды и ненависти. (76) А чтобы пресечь молву об изнеженной своей праздности, вот что он сделал (я был против, я сопротивлялся, но он поставил на своем) — обвинил моего друга в подкупе избирателей, а когда того оправдали, обвиняет опять, привлекает к суду, никого не слушает, он ретивей, чем надо. Я не говорю о благоразумии — его и не бывает в этом возрасте; но я говорю о порыве, о жажде победы, о пылком стремлении к славе, — это в наши годы такие чувства должны быть сдержанней, ну, а в юношах, как в молодых побегах, они предвещают созрелую доблесть и грядущие плоды юного рвения: одаренных юношей приходится скорее сдерживать, чем подгонять в их стремлении к славе, и, чем прививать что бы то ни было, эти молодые деревца лучше обрезать, если от похвал их дарованиям они до срока вздумают расцвести. (77) Поэтому если, на чей-нибудь взгляд, Целий был слишком яростен, принимая и нанося удары, слишком резок, слишком упорен, если задевают в нем кого-нибудь и такие мелочи, как редкий пурпур, свита друзей, весь этот блеск и лоск, — то, право же, это все перебродит, а возраст, время и опыт укротят его.

132

XXXII. И вот поэтому, судьи, сохраните государству гражданина, преданного лучшим стремлениям, лучшему делу, лучшим людям. Обещаю вам и ручаюсь государству, если только сам я достоин доверия: никогда Целий не изменит моему образу мыслей! Обещая это, я надеюсь как на нашу с ним дружбу, так и на суровое его

самообуздание. (78) Не способен человек, обвинивший бывшего консула в беззаконии, сам явиться смутьяном, не способен человек, который счел неоправданным оправдание гражданина в незаконном домогательстве, сам бесстыдно заниматься подкупом. Эти два обвинения — залог его благонадежности, ручательство в его доброй воле. Вот поэтому прошу и заклинаю вас, судьи: в государстве, где на днях оправдан был Секст Клодий, который на ваших глазах два года кряду был то пособником, то вожаком мятежей, человек, который своими руками поджег священные храмы, цензорские списки, государственные грамоты римского народа, человек без поприща, вероломный, отчаянный, бездомный, нищий, запятнавший скверною уста, язык, и руки, и всю свою жизнь; тот, кто разрушил портик Катула, мой дом срыл, поджег дом моего брата и на Палатии, на виду у всего города, подстрекал рабов к резне и поджогам, — так вот, не допустите, чтобы в этом государстве Секст был отпущен по милости женщины, а Марк Целий по ее же прихоти осужден, чтобы одна и та же, вместе со своим супругом-братом, спасла бы мерзопакостного разбойника и сгубила достойнейшего юношу.

(79) Видя здесь перед собою молодость Марка Целия, вы представьте пред вашим мысленным взором и того несчастного старца, у которого одна опора — единственный сын, все надежды — на его удачу, все опасенья — за его судьбу. Он прибегает к вашему милосердию, он покорствуется вашей власти, он не только у ваших ног, он взывает к душам и сердцам вашим, — и вы, памятуя о ваших родителях или о милых детях, не откажете ему в помощи и, сострадая, явите почтение к старикам и снисхождение к молодым. Ведь вы не хотите, судьи, чтобы одна жизнь, уже сама собой клонящаяся к закату, угасла до времени от нанесенной вами раны, и чтобы другая, только теперь расцветшая, когда уже окреп ствол доблести, была сломлена как бы внезапным вихрем или бурей. (80) Сохраните же сына отцу и отца сыну, чтобы не казалось, будто вы пренебрегли отчаяньем старца, а юношу, полного великих чаяний, не только не ободрили, но сразили и погубили. Сохраните его для самих себя, для его близких, для всего отечества, и он будет признателен, обязан, предан вам и вашим детям, а от его усердия и трудов будете вы, судьи, год за годом собирать богатую жатву.

В ЗАЩИТУ ТИТА АННИЯ МИЛОНА

133

1.(1) Хотя и стыдно должно быть мне, судьи, начинать с такой робостью речь о столь доблестном муже, о Тите Милоне, которому благо отчизны дороже, чем жизнь, — хоть и надо бы мне, за него заступаясь, сравниться с ним силою духа, но нет: новый суд, новый вид устрашает мой взор, и глаза мои тщетно повсюду на форуме ищут привычного вида и прежних порядков. (2) Не в обычном кругу заседает ваш сбор, не обычной толпой окружил его люд; и хотя для того лишь стоит здесь охрана у каждого храма, чтоб нас же самих оберечь от насилий, — все же трудно при взгляде из мирного судного места на этих солдат, столь полезных, столь нужных, безбоязненно их не бояться.

Если бы все это я и почел предпринятым против Милона, я бы смолк перед грозой, полагая, что там, где вся сила в оружье, для речи не место. Но меня утешает, меня ободряет, что сделал это Гней Помпей, справедливейший муж и разумнейший, ибо справедливость его не дала бы ему предать во власть солдатского оружия того, кто был вверен решеньям суда, а рассудительность его не дала бы ему освятить государственной волею произвол возбужденной толпы. (3) Вот почему эти отряды с их начальниками и при оружии не опасность нам сулят, а защиту, сверх спокойствия нас зовут к душевной твердости, а для речи моей и подмогу обещают и тишину.

А вся остальная толпа (я, конечно, имею в виду толпу граждан), да, вся остальная толпа здесь — за нас: вы видите, люди смотрят отовсюду, откуда только

можно что-то высмотреть, и все они ждут решения суда, — и не только из сочувствия к отважному Милону, а из-за того, что каждый знает: речь сейчас идет о нем самом, о его детях, о его отечестве, обо всем его благополучии. II. Одна лишь есть порода людей, чуждая и враждебная нам, — те, которых вскормило бешенство Публия Клодия на грабежах, на поджогах, на общих погромах. Не их ли вчера подстрекали на сходке, чтоб заранее вам предписать сегодняшний ваш приговор? И сегодня, коли грянет их крик, пусть напомним он вам побережь того гражданина, который всегда ради вашего блага умел не ставить ни в грош и породу подобных людей и их крики.

(4) Так не падайте духом, почтенные судьи: стряхните с себя этот страх, коли он в вас проник. Если вы полномочны судить о достойных и добрых мужах и ценить заслуженных граждан, если дан наконец вам удобнейший случай, избранникам лучших сословий, чтоб вашу заботу о тех, кто достоин и добр, теперь изъяснить уж не видом и словом, как прежде, а волей и делом, — то вот и настала пора вам решить: то ли нам, покорясь, как всегда, вашей воле, удалиться отсюда в тоске и печали, то ли, напротив, столь много страдав от подлейших из граждан, найти возрождение в вас, в вашей твердости, доблести, мудрости? (5) В самом деле, возможно ль назвать или представить такие труды, и заботы, и муки, какие не пали на нас — на меня и Милона? Мы явились служить государству в надежде славнейших наград, а доселе не можем избыть страха самых жестоких мучений! Впрочем, я и всегда понимал, что в волнениях народных сходов ни вихри, ни бури не минут Милона за то, что он всегда здесь стоит за лучших людей против худших; но здесь, но в суде и совете, где судьи — краса всех сословий, не мыслю я встретить таких, кто подал бы недругам Милона надежду не то что подсесть безопасность его, но даже чуть-чуть подточить его доброе имя.

(6) Впрочем, судьи, сейчас для защиты Милона от нынешних обвинений я не стану распространяться о его трибунате и обо всем остальном, что он сделал для блага отечества. Если сами воочию вы не увидите ковы, которые Клодий ковал на Милона, — я не стану просить вас простить нам вину за былые заслуги, не стану взывать к вам, чтоб Клодиеву смерть, спасительную для вас же самих, приписали вы чести Милона, а не счастью народа; но ежели все эти Клодиевы козни встанут пред вами яснее этого дня, вот тогда я вас, граждане судьи, буду просить и молить, чтобы ныне, когда ничего уже более нам не осталось, хоть одно бы нам было позволено: не боясь наказания, защищать свою жизнь от вражды и оружия недругов.

III. (7) Но прежде, чем я перейду к той речи, которая ближе относится к вашему делу, мне нужно, как я полагаю, сперва опровергнуть одно суждение, которое часто звучало и в сенате от наших врагов, и на сходках меж худших людей, и недавно вот в этом суде из уст обвинителей. Только тогда, избавясь от всех разнотолков, сумеете вы увидеть всю суть дела, которое здесь вам подсудно.

134

135

136

137

138

Говорят: кто сам признается, что он умертвил человека, тому уж не должно глядеть на свет. Но какие глупцы и в каком государстве решаются так рассуждать? Не в том ли, где первым судом об убийстве был суд над доблестным Марком Горацием, тоже признавшимся в том, что своею рукою убил родную сестру? И хоть Рим еще не был свободен, но Марк был объявлен свободным, представ перед народным собранием. (8) Кто же не знает: когда дело идет об убийстве, то ответчик может или отрицать само убийство, или утверждать, что оно свершено по закону и праву. Не безумцем же был

Сципион, когда, отражая в собрание коварный вопрос трибуна Карбона, что думает он об убийстве Тиберия Гракха, ответил: «Убит по закону!» Ведь если бы было запретно умерщвлять злоумышленных граждан, то это легло бы клеймом и на Агалу, и на Назику, и на Опимия и на Гая Мария, и — в мое консульство — даже на целый сенат! Не без причины ведь, судьи, сочинили нам древние мудрецы рассказы о том, кто, мстя за отца, убил свою мать, а когда голоса на суде разделились, то был он оправдан божественной волею — голосом самой премудрой богини. (9) Наконец, если наши Двенадцать таблиц дают право убить безнаказанно вора — ночного всегда, а дневного в том случае, если он первым прибегнет к оружию, — то кто же посмеет сказать, что любое убийство всегда наказуемо, если мы видим, что сами законы порою влагают нам в руки убийственный меч?

139

IV. А уж если бывает возможно иногда — и нередко — по закону убить человека, то заведомо это не только законно, но больше того — неизбежно, когда отражаешь насилие насилием. Однажды в войсках Гая Мария войсковой трибун, родня самому полководцу, хотел изнасиловать воина и пал от его руки: честный юноша предпочел свершить опасное, чем стерпеть постыдное, — но достойнейший вождь объявил, что он чист от вины и свободен от опасности. (10) А убийцу из-за угла, а разбойника с большой дороги может ли смерть настичь незаконно? Зачем нам стража, зачем мечи? Нам не дано было бы их иметь, если бы не дано было их употреблять. Стало быть, судьи, есть такой закон: не нами писанный, а с нами рожденный; его мы не слыхали, не читали, не учили, а от самой природы получили, почерпнули, усвоили; он в нас не от учения, а от рождения, им мы не воспитаны, а пропитаны; и закон этот гласит: если жизнь наша в опасности от козней, от насилий, от мечей разбойников или недругов, то всякий способ себя оборонить законен и честен. Когда говорит оружие, законы молчат: они не велят себя ждать, если ждущему грозит неправа казнь раньше, чем он вытребует правую. (11) Впрочем, ведь и писанный закон молчаливо и разумно позволяет человеку защищаться: не «убивать человека» запрещает закон, а «носить при себе оружие для убийства человека». Это сказано, чтобы суд, обсуждая дело о вооруженной самозащите, не на то смотрел, был ли у человека меч, а на то, что этот меч не был назначен для убийства. Не забудьте же этого при разбирательстве, почтенные судьи, — я уверен, что речь моя будет для вас убедительна, если вы будете помнить, о чем не должны забывать: убить злокозненного — всегда законно.

140

V. (12) Далее: недруги Милона часто ссылаются на то, что резня, где нашел свой конец Публий Клодий, была сочтена и в сенате опасностью для государства. На самом же деле сенат ее лишь одобрил как решением своим, так и мнением: сколько раз мы уже говорили об этом в сенате при полном и общем согласье — согласье открытом, не тихом и тайном! Ведь при полном собрании сената едва отыскались пять-шесть человек, недовольных поступком Милона! Доказательство этому — еле живые те сходки, на которых вон тот обгорелый трибун, каждый день обвиняя меня в самовластьи, твердил, что сенат голосует не так, как он хочет, а так, как желательно мне. Что ж, если звать самовластьем то скромное влияние в добрых делах, которое я приобрел немалыми услугами отечеству, или же то небольшое внимание, с которым ко мне за поддержку в суде относятся добрые люди, — пускай он зовет это, как пожелает, лишь бы это служило на благо достойнейших граждан и против безумцев-губителей.

141

(13) Даже и это судебное дело — конечно, вполне справедливое, — постановил завести не сенат. Ведь и прежде были у нас и законы и суд о насилиях и убийствах; и не

столь уж великое горе и скорбь причинила сенату смерть Публия Клодия, чтобы для этого дела заводить особое судилище. Уж если о памятном его святотатстве сенат был не властен устроить обыкновенный суд, кто поверит, что ныне о смерти его учреждает он суд чрезвычайный? Почему же тогда объявляет сенат угрозой для государства пожар этот в здании курии, эту осаду жилья Марка Лепида и, наконец, самую эту резню? Лишь потому, что в свободном государстве всякое насилие над гражданином есть угроза для общества. (14) И защита от такого насилия никогда не желательна, хоть порой неизбежна. Так и гибель Тиберия Гракха, и Гая, и день, когда был подавлен мятеж Сатурнина, хоть все это и совершалось во имя республики, все же оставило в теле республики горькие раны. VI. Так и сам я, узнав об убийстве на Аппиевой дороге, не счел, что Милон, защищавший себя, угрожал этим обществу, но лишь осудил этот случай коварного насилия, а само преступление оставил судить суду. И не помешай этот бешеный трибун сенату довершить желаемое, не быть бы здесь чрезвычайному судилищу: ведь сенат утвердил, чтобы дело Милона судилось обычным порядком и только вне очереди. Но кто-то потребовал голосовать тот указ по частям — не скажу даже кто, чтоб не ворошить все наши срамы, — и вот подкупное вмешательство ничего не оставило от воли сената.

(15) Мне скажут: но сам Гней Помпей не сказал ли своим предложением и о том, что случилось, и о том, кто виновен! Да, и говорилось там о схватке на Аппиевой дороге, той схватке, где пал Публий Клодий. Но что же было предложено? Расследовать дело — и только. Но что же расследовать? Было ли убийство? Ясно, что было. Кто был убийцей? Тоже известно. Стало быть, он рассудил, что даже признавшись во всем, Милон может себя защитить, доказавши законность свершенного. А если бы он не считал, что Милон, несмотря на его и на наше признание вины, может быть и оправдан, — никогда бы он не распорядился о следствии, никогда не вручил бы вам, судьи, дощечек, сулящих Милону равно и беду и спасенье. И больше того: я скажу, что Помпей не только не выказал сам суровости к Милону, но даже и вам указал, о чем следует думать, вынося приговор. Ибо если признанию вины он назначил не казнь, а защиту, — значит, следствию дал он предметом не столько убийство, сколько причины убийства.

142

143

144

VII. (16) Сам Помпей объяснил бы, конечно, что он, пожелав учредить этот суд, предложил это сделать не ради Публия Клодия, а ради нынешнего горького времени. Когда-то Марк Друз, народный трибун, достойнейший муж, поборник и чуть ли не главный правозаступник сената (племянник его, мощный духом Катон сидит между вами же, судьи), — когда-то Марк Друз был убит в своем собственном доме, но разве о смерти его обращались к народу, и разве сенат назначал о ней суд? И мы знаем от наших отцов, как оплакивал Рим Сципиона, погибшего в своем доме, среди ночи, во сне: кто тогда не скорбел, не рыдал, что этот герой, в общем мнении достойный бессмертья, погиб, не дожив и до общей для смертных поры! Но разве назначено было о том особое следствие? Известно, что нет. (17) Почему? Потому что убийство известного или неизвестного мужа — все равно есть убийство. Пусть жизнь у достойных и низких несхожа — но смерть и для тех и для этих да будет подвластна единым законам и карам. Или, может быть, тот, кто убил отца-консуляра, — в большей степени отцеубийца, чем тот, кто зарезал отца из незнатных? Или, может быть, Публию Клодию горше пришлось умирать оттого, что кругом все напоминало о Клодиевых предках (так твердят его люди), — как будто бы Аппий Слепой мостил в свое время дорогу не с тем, чтобы люди ходили по ней, а затем, чтоб на ней занимались привольным разбоем его же потомки?

(18) И неужто, когда тот же Клодий на той же Аппиевой дороге убил почтенного римского всадника Марка Папирия, это не было преступление, достойное казни, — это просто вельможа среди родовых своих памятников прикончил какого-то всадника? А теперь вдруг сколько трагедий вокруг имени Аппиевой дороги! Когда она была в крови невинного и честного мужа — о ней молчали; когда на ней пролилась кровь разбойника и душегуба — она вдруг у всех на устах. Но что говорить об этом? Разве не был в самом храме Кастора схвачен раб Публия Клодия — тот, что должен был убить самого Помпея? У него вырвали нож, у него добились признания, и Помпей с той поры не являлся ни в суд, ни в сенат, ни в собрание — стены и двери казались ему защитой надежней, чем законы и суд. (19) Но было ли о том распоряжение, но было ли особое следствие? А уж, кажется, все тут сошлось для этого — и время, и вина, и жертва. Злодей стоял среди Рима, у самого входа в сенат; жертвой избран был человек, в чьей жизни — спасенье отечества; а время было такое, что если бы он погиб, то не только отечество пало бы, но и рухнул бы мир! Преступление не было доведено до конца — но не быть же за это ему ненаказанным: ведь не исход дела, а умысел карается законом. Преступление не было доведено до конца — от этого меньше горе, но не меньше кара. (20) Ну, а сам-то я, судьи, сколько раз спасался бегством от кровавых Клодиевых рук и мечей? Хотя счастьем моим или счастьем отечества был я спасен, — но погибни я, разве об этом назначил бы кто-нибудь следствие?

VIII. Но зачем я, глупец, и себя, и Помпея, и Сципиона, и Друза равняю с Публием Клодием? Безо всех нас легко обойтись — лишь о гибели Клодия страдает всякое сердце. Скорбен сенат, всадники в горе, всей отчизны подточены силы: города в трауре, поселения в отчаянии, деревни — и те тоскуют без благодетеля, без спасителя, без милостивца! (21) Нет, судьи, нет, не поэтому наш Гней Помпей учредил этот суд. Он разумен, мудрость его высока и почти что божественна; он не может не видеть, что тот, кто убит, ему враг, а Милон ему друг; и вот он боится, что если бы он разделил ликованье со всеми, то стала видна бы вся слабость его чуть налаженной с Клодием связи. Все это приняв во внимание, он и решил, что какие бы строгие меры ни принял он, ваш суд останется нелицеприятен. Вот и собрал он сюда цвет всех наилучших сословий и, конечно, меж ними не мог миновать и друзей моих. Об этом неладно толкуют; но он, справедливейший муж, не хотел отводить их нарочно, да если бы даже хотел, то не смог бы, собирая свой суд из достойных людей. Ведь со мною близки не только друзья, которых не может быть много, потому что в житейских делах круг знакомств наших узок; нет, если я что-нибудь значу, то лишь потому, что сами дела государства свели меня с достойными людьми. Потому-то Помпей, избирая из них самых лучших (а этим хотел он по чести воздать за доверье к нему), не мог миновать и моих там приверженцев. (22) А ставя над этим судом тебя, Луций Домиций, хотел он достичь одного: чтоб блюлась справедливость, достоинство, человечность, верность; и для этого нужен был муж консульского сана, — ибо, считал он, лишь первые люди меж гражданами способны ответить отпором и вздорности черни, и наглости низких мерзавцев. А из всех консуляров был избран им ты — потому что не смолоду ль ты показал, как умеешь ты презирать народное буйство?

IX. (23) Но пора нам, однако, уже перейти к рассмотренью и спора и дела. Что ж! Так как такие признания в содеянном бывали и раньше; а сенат о нашем деле высказался так, как нам самим хотелось бы; а Помпей пожелал, чтобы, хоть и нету спора о деле, был бы все же разбор о праве; и для этого-то разбора, справедливого и разумного, избраны судьи и назначен председатель, — стало быть, остается вам, судьи, один лишь предмет для рассмотрения: выяснить, кто же кому же устроил засаду? И чтобы это яснее явилось из доводов, я сейчас вкратце расскажу все, что случилось, вы

же будьте, прошу вас, внимательны.

145

146

147

148

149

(24) Публий Клодий, затеяв стать претором, чтобы терзать государство всеми своими злодействами, и увидав, что в минувшем году запоздание с выборами оставляет ему слишком малый срок для претуры, — ведь в претуре его привлекала не честь, как других, но ему лишь не хотелось иметь товарищем Луция Павла, достойнейшего гражданина, и хотелось иметь полный год, чтобы мучить отечество, — увидав это, он вдруг решил пропустить законный свой год и искать претуры на следующий. Не страх каких-нибудь знамений двигал им, — он просто хотел, как и сам говорил, иметь полный и неукороченный год для претуры — иными словами, для полного сокрушения государства. (25) Но он понимал, что претура его будет нетверда и сомнительна, если консулом станет Милон; а Милон на глазах у него шел к консульству, крепкий всеобщим согласием римского народа. Тогда Клодий встал за его соперников, сам повел их борьбу, даже не считаясь с их волею, сам (как он говорил) на плечах своих вынес все голосованья: созывал собрания, выступал посредником, из последних граждан составлял себе новую Коллинскую трибу. Но чем больше усердствовал Клодий, тем сильнее становился Милон. И когда удалец, готовый к любым злодеяниям, увидал, что заведомо консулом станет достойнейший муж и непримиримейший его враг, — а об этом ему говорили не только слова, но и первые голосования римлян, — тогда он решил идти напролом и открыто стал говорить об убийстве Милона. (26) Он привел с Апеннин тех лютых рабов-дикарей, которыми он вырубал казенные рощи и в страхе держал всю Этрурию, — вы сами их видели, судьи! Он не делал из этого тайны, он при всех говорил, что сумеет лишить Милона не сана, так жизни. Намекал он на это в сенате, говорил открыто на сходках, — и когда Марк Фавоний, достойнейший муж, спросил у него, что за польза длить это буйство при жизни Милона, то Клодий ответил, что жить Милону осталось три или четыре дня; слова эти Фавоний тогда же и передал здесь сидящему Марку Катону.

150

Х. (27) Между тем Публий Клодий узнал — это было нетрудно, — что в тринадцатый день до февральских календ по закону и обычаю Милон непременно должен был ехать в Ланувий, где был он диктатором, чтоб совершить назначение жреца. И вот за день до этого он вдруг покинул Рим — покинул Рим, пожертвовав даже мятежною сходкой в тот день, где так ждали его неистовства! — для чего? Для того, разумеется, чтобы успеть в поместье своем засесть на Милона засадой: никогда он не бросил бы сходку, как не с тем, чтоб наметить своему преступлению время и место! (28) А Милон в этот день был в сенате до самого конца заседания; потом пошел домой, переоделся, переобулся, подождал, как обычно, пока соберется жена, и тогда лишь отправился в путь, — если б Клодий и вправду хотел в этот день воротиться в Рим, то давно бы успел воротиться. Клодий встретил его на полпути — налегке, на коне, без повозки, без поклажи, без спутников-греков, с которыми бывал он обычно, без жены, с которой бывал он всегда, — между тем как наш злоумышленник, изготовясь к заведомому убийству, ехал с женою, в повозке, в тяжелом плаще, с обременительной свитой из множества женщин-рабынь и мальчиков-рабов. (29) Клодию встретился он на полпути, у самой его усадьбы, часов в пять пополудни или около того. В этот миг на него нападает с холма толпа вооруженных; перед ним убивают возницу; скинув плащ,

он бросается вон из повозки, отважно защищаясь; а те, что при Клодии, частью с мечами бегут к колеснице, чтоб сзади напасть на Милона, а частью, решив, что Милон уж убит, избивают его шедших сзади рабов. А рабы, что остались верны господину и не разбежались, те частью погибли, а частью, услышав резню у повозки и не в силах помочь господину, слышали Клодиев крик, что Милон уж убит, и поверили; и вот тут-то они, без приказа, без ведома, без участия господина, — не для отвода вины говорю: говорю, не тая, все, как было! — они сделали то, что и каждый из нас бы хотел, чтобы сделали наши рабы на их месте.

XI. (30) Вот, судьи, как было дело: злоумышленник был побежден, его сила сломилась о силу, а лучше сказать, его дерзость — о доблесть. Что это значило для отечества, что для вас, что для всех добрых граждан — об этом молчу: все равно Милону это не поможет, раз такая уж ему судьба, что не мог он спасти себя, не спасши отечество и вас. Если это противозаконно — защищать его мне не под силу; если же охранять от насилия любой ценой свою голову, тело и жизнь указывает образованным людям их разум, варварам — необходимость, иноземцам — обычай, а диким зверям — сама природа, — о, в таком случае вам не признать случившегося преступлением, если вы не хотите любого, кто встретит злодеев, обречь на гибель — от их ли мечей, от вашего ли приговора? (31) Будь это так, — тогда, уж конечно бы, лучше Милону подставить шею под Клодиев нож, не впервые уж рвавшийся к ней, чем от вас принять смерть лишь за то, что он спасся от смерти. Если же это не так, и мнение ваше — иное, то суд здесь сейчас не о том, был ли Клодий убит (это мы признаем!), а о том, по закону убит он или против закона, — обычный судебный предмет разбирательств. Нам известно: случилось нападение из засады; и сенат порешил: это было во вред государству; но кто на кого нападал, неизвестно, и этот вопрос предоставлено нам рассмотреть. Не человека сенат заклеил, но деянье, и не о поступке Помпей поставил вопрос, а о праве. Так о чем же и суд, как не о том, кто кому подстроил засаду? Лишь об этом — если Клодию Милон — пусть он будет наказан; если Клодий Милону — мы вправе себе ожидать оправдания.

151

152

153

154

XII. (32) Как же нам доказать, что именно Клодий устроил засаду Милону? Не достаточно ль вскрыть, что Милонова смерть для этого чудища, наглого и нечестивого, важною была целью, великие сулила надежды, немалые несла выгоды? Вот где как раз применимо известное Кассиево слово: «кому на пользу?» — хотя мы и знаем, что честного мужа ничто не прельстит на злодейство, а бесчестного — даже и самая малая выгода. Убийство Милона дало бы для Клодия не только претору без консула, при котором он не мог творить преступленья, — оно ставило над ним консулов, от которых он мог ожидать пусть не помощи, так хоть поблажки в разгуле задуманных им злодеяний; он полагал, что они не решатся стеснить его действия после того, как он столь им помог, а хотя б и решились, то вряд ли смогли бы осилить всю закоренелую дерзость злодея. (33) Разве, судьи, вы сами не знаете, разве чужие вы здесь, разве слух ваш далек и до ваших ушей не доходят повсюду известные в городе вести о том, какие законы, — да законы ль? нет, факелы, жгущие Рим, нет, чуму на отечество наше! — какие законы хотел наложить он на нас, как позорные клейма? Покажи нам, Секст Клодий, покажи тот ларец, где хранили вы эти Законы: не ты ль, говорят, среди ночи, сквозь свалку и схватку пронес его из дому, словно Палладий, достойнейший дар и оружие в трибунском служении, — затем, вероятно, чтоб вверить тому, кто возьмется

теперь по указке твоей быть трибуном?! Да разве хотя бы о том законе, которым так хвалится Секст, он посмел бы сказать хоть словечко при жизни — не то что при консульстве! — Тита Милона? Закон сочинил он о нашей и общей... но нет, умолкая (вы видите, как погибелен был бы закон, коль упрек за него уже опасен!), — вот он глядит на меня, как глядел в тот час, когда все и всех осыпал он угрозами! XIII. Как он страшен мне, пламенник курии! Но за что? Уж не думаешь ли ты, Секст, что я могу на тебя сердиться за то, что со злейшим моим врагом ты расправился хуже, чем сам бы я мог пожелать, храня человеколюбие? Ты вышвырнул вон окровавленный труп Публия Клодия, ты бросил его пред толпой, ты оставил его без торжеств погребального чина меж ликами предков, под звук славословий, — оставил полусожженным на огне богомерзких бревен, на съеденье полночным собакам. Нечестивое было это дело, но за него я ни хвалить не могу, ни сердиться не должен — ведь это мой враг стал жертвой твоей жестокости.

(34) Вы видите, судьи, сколь выгодно Клодию было убийство Милона; теперь же, прошу, обратите внимание ваше к Милону. Что пользы было Милону в убийстве Клодия? Зачем ему было не то что его допускать, а хотя бы желать? «Затем-де, что Клодий мешал ему сделаться консулом». Отнюдь! Он шел к консульству, Клодию наперекор, и от этого даже успешней: от меня самого ему не было столько пользы, сколько от Клодия! Судьи, вы ценили всю память о том, что сделал Милон для меня и отечества, вы ценили все слезные наши мольбы — я ведь помню, как были на диво вы тронуты ими, — но стократ важнее для вас была мысль о нависшей над нами опасности. Ибо кто же из граждан мог вообразить необузданность преторства Клодия без великого страха пред будущим переворотом? Да, необузданность — если бы вдруг не нашлось над ним консула, кто бы посмел и сумел бы его обуздать. А таким человеком был только Милон, целый римский народ это чувствовал, — и кто бы не подал свой голос за то, чтоб избавить от страха — себя, от угрозы — отечество? А теперь, когда Клодия нет, для Милона остались лишь общие пошлые средства искать себе чести; а та ему одному лишь сужденная слава, что изо дня в день умножалась крушениями бешеных умыслов Клодия, — она пала с кончиною Клодия. Вы достигли того, что вам некого больше бояться, — он лишился поприща для доблести, оснований для консульства, вечного источника собственной славы. Пока Клодий был жив — высший сан ждал Милона незыблемо; когда Клодий наконец-то погиб — пошатнулись и надежды Милона. Нет, никак не на пользу, а только во вред была для Милона Клодиева смерть.

155

(35) «Но в нем пересилила ненависть, победил гнев, одолела вражда, он мстил за несправедливость, карал за свою обиду». Так ли? А не в Клодии ль был этот дух куда сильней, чем в Милоне, — или лучше сказать, не в Клодии ль был он сильнее всех мер, а в Милоне отсутствовал вовсе? Что на это вы скажете? Да и с чего бы Милону ненавидеть Клодия, источник и пищу всей славы своей, иначе как тою общею гражданам ненавистью, какой ненавидим мы всех негодяев? Нет, это Клодий должен был ненавидеть Милона — защитника моих прав, смирителя его ярости, карателя его буйств, обвинителя его пред судом, — ибо Клодий всю жизнь обвинялся Милоном по закону Плотия! Каково было это сносить властолюбцу? И какова же должна была быть его ненависть, — больше того, как законна была она в нем, в беззаконнике!

156

157

XIV. (36) Не хватает того лишь, чтоб самые нрав и обычай для Клодия стали защитой, для Милона — уликой! «Никогда не насильничал Клодий, всегда

насильничал Милон». Так ли? А сам-то я, сам-то я, судьи, покидая столицу среди вашей же скорби, суда ли боялся? Нет: рабов! нет: мечей! нет: насилия! Если было законно меня возвращать, не незаконно ли было меня изгонять? Или, может быть, он назначил мне срок, подверг меня пене, повлек меня в суд за измену отечеству, и то, что грозило мне судом, было делом моим, темным и личным, а не общим, славным и вашим? Нет; но я не хотел ради себя повергать моих граждан, спасенных ценою моих же забот и тревог, под кинжалы рабов, оборванцев, преступников. (37) Я ведь видел, я видел, как сам Квинт Гортензий, краса и светило отечества, чуть не погиб от шайки рабов за то, что помог мне; а спутник его Вибиен, сенатор, достойнейший муж, так избит был в той свалке, что вскоре и жизни лишился! Так ужель оставался без дела кинжал — наследие Клодию от Катилины? Это он был направлен в меня, и его отводил я от вас, чтобы вы за меня не поплатились; это он затаен был на Гнея Помпея; это он окровавил убийством Папирия Аппиеву дорогу, памятник родовой своей славы; это он, снова он, спустя столько лет, обращен на меня, и совсем лишь недавно, вы помните, чуть не настиг меня около Регии.

158

(38) В чем же подобном виновен Милон? Все насилье его — только в том, чтобы Клодий, неподвластный суду, не теснил бы насильем отечество. Если б он замышлял убийство Клодия — сколько уже и каких было к этому случаев, суливших великую славу! Разве не мог он законно отомстить за себя, защищая свой дом и очаг от его осадившего Клодия? Или тогда, когда ранен был Сестий, его сотоварищ, отважнейший муж и краса римских граждан? Или когда благороднейший муж Квинт Фабриций, вносивший закон о моем возвращенье, был прогнан жестокой резней среди форума? Или когда справедливый и доблестный претор Цецилий был сам осажден в своем доме? Или в день, когда вновь внесен был закон обо мне, и стеклась вся Италия, радуясь моему спасенью, и готова была бы прославить такую расправу, — сверши ее Анний Милон, и заслугу бы эту себе приписали все граждане! XV. (39) Ах, как удобен был случай! консул — Клодиев враг Публий Лентул, отважный и славный, отмститель его злодеяний, поборник сената, защитник вашей же воли, блюститель единодушья, возвратитель моего гражданства; семь преторов, восемь трибунов, все — Клодиевы противники, все — мои заступники; сам Помпей был Клодиев враг, сам Помпей, зачинатель и вождь моего возвращенья, — это он, столь прекрасно и веско сказав о спасенье моем, повел за собою сенат, это он поднял римский народ, это он своим капуанским декретом дал знак всей Италии, ждавшей и звавшей его мне помочь, дал знак, чтоб стеклась она в Рим — возвратить меня Риму; весь народ тосковал обо мне и тем жарче пылал, ненавидя врага моего: будь тогда он убит — не только свобода, а даже награда ждала бы убийцу. (40) Но Милон устоял: дважды преследовал он Клодия судом, но ни разу — мечом. Ну, а дальше? Когда, уж сложив свою должность, встал Милон перед римским народом, обвиняемый Публием Клодием, и когда был в опасности сам Гней Помпей, его защищавший, — разве не было случая и даже причины ударить на Клодия? А недавно, когда Марк Антоний всем лучшим из граждан немалую подал надежду на лучшие дни, когда знатнейший этот юноша принял отважно на плечи тягчайшую часть всеобщего бремени, когда уж держал он в сетях того зверя, который так долго ускользал от петли суда, — ах, бессмертные боги! как удобны к убийству были тут и время и место! — когда Клодий, бежав, притаился под лестницей, трудно ли было Милону истребить эту язву, не накликав ненависти на себя, громкой славою покрывши Антония? (41) А на Марсовом поле наконец разве мало у него было к этому возможностей, — хотя бы тогда, когда Клодий ворвался в ограду для голосования с приказом обнажить мечи, с приказом нацелить камни, и вдруг, напуганный взором

Милона, метнулся к Тибру, между тем как вы и все добрые граждане молили богов, чтоб Милону случилось блеснуть своей доблестью!

XVI. Так что же? Неужели того, кого мог он убить в угождение всем, он убил вдруг в обиду немногим? Место, время, права, безнаказанность были у него — и он не посмел; неудобно, несвоевременно, несправедливо, опасно стало дело — и он решился? (42) Не забудьте, судьи, что близился день состязанья за консульский сан, день собраний и выборов, — а мне ли не знать, как пугливо искательство, как беспокойно стремление к консульству? В эти дни мы боимся не только того, что открыто нападка, но даже того, что доступно лишь смутным подозрениям, мы трепещем выдумок, слухов, вздорных, праздных, пустых, ловим каждый взгляд и каждое слово, — так неверно, так зыбко, так хрупко и ненадежно доброжелательство и расположение граждан, в которых не только дурные дела наши возбуждают гнев, но порою и правые — недовольство. (43) И в этот-то день, желанный и жданный, ужели Милон собирался явиться к освященному полю собраний с кровью на руках, хвалясь и величаясь преступным деянием? О, как непохоже это на Милона и как несомнительно это для Клодия, который в убийстве Милона видел надежду на царскую власть! Но что говорить? Не лучшая ль, судьи, приманка преступнику, не крайний ли предел его наглости — в том, чтобы знать, что ты безнаказан? А кто же из двух верней это знал? Милон ли, которого суд и сейчас-то не минул за дело, если не славное, то неизбежное, — или же Клодий, который так презирал и суды и расправы, что его привлекало лишь от природы грешное, а по закону запретное?

(44) Но к чему эти доводы, к чему эти лишние размышления? Подтверди, Квинт Петилий, гражданин достойный и бесстрашный; будь свидетелем и ты, Марк Катон, которого тоже благая судьба послала мне в судьи: не вы ли от Марка Фавония еще при жизни Клодия слышали, будто Клодий сказал: «Через три дня погибнет Милон»? И прошло три дня, и случилось то, что случилось. Если он не усомнился открыть свой замысел, усомнитесь ли вы в том, что он его и исполнил?

XVII. (45) «Но как сумел Клодий безошибочно выбрать день?» Я сказал уже как: разузнать об уставных обрядах ланувийских диктаторов не составляло труда; он услышал, что в тот день Милон должен был отправляться в Ланувий; день пришел, Милон тронулся в путь, но Клодий его упредил. А что это был за день! День неистовой сходки, к которой, как я говорил уж, созвал народ подкупленный трибун! Этот день, этот сброд, этот крик, — никогда их не покинул бы Клодий, если б не рвался к обдуманному преступлению. Стало быть, у Клодия не было причины ехать, а была причина остаться, — у Милона же не было возможности оставаться, а была причина, и даже необходимость, ехать. Нужно ль доказывать: Клодий знал, что Милон в этот день будет на этой дороге, а Милон о Клодии этого и подозревать не мог? (46) Откуда было, спрашивается, Милону это знать? А вот откуда было знать это Клодию, — и вы не стали бы спрашивать: пусть даже он никого бы о том не спросил, кроме друга своего, Тита Патины, все равно мог он знать, что в тот день Милон, ланувийский диктатор, назначает жреца в храм Юпитера, — а разве мало у кого бы он мог без труда узнать все, что надобно?

159

160

161

А Милон у кого мог узнать о поездке Клодия? Предположим, что он все узнал (я готов уступить даже в этом!), предположим, он даже раба у него подкупил, как сказал о том друг мой Аррий, — ну и что же? Прочтите свидетельства ваших же свидетелей; вот Кавсиний Схола из Интерамны, вернейший друг и спутник Клодия, тот самый Схола,

который присягал когда-то, будто Клодий в один и тот же час находился и в Интерамне и в Риме: Схола сказал, что Клодий в этот день хотел оставаться в альбанской усадьбе, но внезапно ему сообщили, что умер архитектор Кир, и он тут же решил отправиться в Рим. Точно то же сказал и Гай Клодий, спутник Публия Клодия. XVIII. (47) Вы видите, судьи, сколько вопросов сразу решают такие свидетельства! Во-первых, заведомо избавлен от подозрения Милон: он предпринял свой путь никак уж не с целью напасть по дороге на Клодия, потому что не должен был Клодий ехать по этой дороге. Во-вторых же, — почему бы мне не заступиться и за себя? — вы ведь знаете, судьи, что кое-кто, обсуждая нынешнее постановление, говорил, будто убийство свершено-то Милоном, но задумано кем-то повыше; и кого же, как не меня, эти мерзавцы и отверженцы представляли здесь убийцею и разбойником? Но вот они уничтожены собственными же свидетелями — теми, кто сказал, что Клодий в тот день и не вернулся бы в Рим, не узнай он о кончине архитектора. О, теперь я вздохну с облегчением: я волен, я больше не должен бояться, что кто-то скажет, будто бы я замышлял то, о чем бы не мог и подозревать!

(48) Но двинемся далее. Нам возражают: «Значит, Клодий и не думал о засаде, если он собирался в тот день остаться в альбанской усадьбе!» О, еще бы, — беда только в том, что как раз для убийства-то он и покинул усадьбу. Видится мне, что вестник кончины Кира совсем не о ней пришел возвестить, а о приближение Милона. Зачем было трудиться вестнику, когда Клодий сам, уезжая из Рима, оставил там Кира уж при смерти? Мы вместе там были, вместе скрепили его завещанье, и Кир при свидетелях назначил наследниками его и меня. Накануне в третьем часу Клодий оставил Кира умирающим — а на следующий день в десятом часу дожидался известия, что тот уже умер?

XIX. (49) Но пускай даже так — зачем было спешить ему в Рим, зачем пускаться в ночь? Что заставило его торопиться? Наследство? Нет: во-первых, не требовало оно такой спешки, во-вторых же, если б и требовало, разве ночью он мог бы взять больше, чем взял бы наутро? Более того: ночная поездка в столицу была для него опасна скорей, чем желанна, — напротив, Милон, этот мастер засад, уж наверное, зная об этом ночном его выезде, засел бы на пути и подстерег бы его. (50) Потом он отперся бы, и все бы ему поверили — всем ведь хочется оправдать его, несмотря на его признание. Преступление взяла бы на себя эта местность — приют и убежище разбойников; не выдали бы Милона ни глухое безлюдье, ни слепая ночь; подозренье легло бы на тех, кого Клодий терзал, обирал, изгонял, и на тех, кто боялся того же — вся Этрурия была бы вызвана в суд! (51) Впрочем, Клодий в тот день на обратном пути из Ариции завернул в свою альбанскую усадьбу — что ж Милон? Ведь он знал: если Клодий в Ариции, то, возвращаясь в Рим в тот же день, он, наверно, свернет к усадьбе, что возле дороги, — почему же Милон не застиг его раньше, чтоб Клодий не скрылся в усадьбе? почему не устроил засаду в местах, где он должен был ехать ночью?

(52) Мне кажется, судьи, что покамест все ясно. Милону было даже выгодно, чтоб Клодий жил, — Клодию для целей его всего нужней, чтобы Милон погиб. Клодий Милона ненавидел жесточайшим образом, Милон же Клодия — нисколько. У Клодия постоянным обычаем было насилие, у Милона — защита. Клодий открыто сулил и предсказывал Милону смерть — от Милона ничего подобного не слыхано. День отъезда Милона был Клодию известен, день возврата Клодия Милону неизвестен. Милону ехать было необходимо, Клодию — вовсе несвоевременно. Милон не скрывал, что в тот день он уедет из Рима, — Клодий скрывал, что намерен в этот день вернуться. Милон своих замыслов не менял, Клодий — менял под вымышленным предлогом. Милону, строй он Клодию засады, следовало бы выждать ночи в окрестностях города, — Клодию, даже не

бойся он Милона, все же следовало бы остеречься, подъезжая к городу ночью.

XX. (53) Перейдем теперь к самому главному: которому из двух удобней было для злодейства то место, где они сошлись? Да можно ли, судьи, об этом еще размышлять, еще сомневаться? Перед самым поместьем Клодия, где в непомерных его постройках легко могло скрываться до тысячи молодцов, под высоким, нависшим над дорогой оплотом противника неужели мог Милон надеяться на победу, неужели выбрал нарочно это место для боя? Не верней ли, что в этом самом месте поджидал его тот, кто считал, что здесь самое место поможет нападению? (54) Обстоятельства сами за себя говорят, и нет ничего доказательней! Если бы вы даже не слышали, как было дело, а только видели его на картине, все равно здесь было бы ясно, который из двух сидел в засаде, а который не помышлял ничего дурного. Один — в повозке, закутан в плащ, рядом с женою, — даже не знаешь, что неудобней, одежда, повозка или спутница? Заперт в повозке, стеснен женою, опутан плащом, — кто может быть меньше способен к сражению? А теперь посмотрите на другого: он внезапно покидает усадьбу (почему?), и при этом вечером (по какой нужде?), а потом мешкает (с какой стати в столь позднее время?). Он заворачивает к усадьбе Помпея — зачем? навестить Помпея? Но он знал, что Помпей в Альсии! Осмотреть усадьбу? Но он видел ее уже тысячу раз! Чего же ему надо? Помедлить и оттянуть время: он не хотел покидать это место, покуда не появится Милон.

XXI (55) А теперь сравните выезд разбойника налегке и тяжелый обоз у Милона. Обычно Клодий всюду был с женою, здесь — без жены, обычно — только в повозке, здесь — на коне; всюду брал с собою он греческий сброд, даже спеша в свой стан в Этрурию, а здесь — в целой свите ни одного шута. Милон, вопреки обыкновению, был тут с певчими рабами жены своей и с целою стаей служанок, а Клодий, всегда таскавший при себе продажных распутников и блудниц, тут не взял никого подобного: все при нем были молодец к молодцу. Почему же Клодий не вышел победителем? Потому что не всегда убивает разбойник путника — иногда и путник разбойника. Хоть и подготовленным напал Клодий на неподготовленного, — вышло так, словно баба столкнулась с мужчиной. (56) Да и не так уж был Милон неподготовлен, чтоб не быть настороже против Клодия. Он всегда держал в уме, как нужна его гибель для Клодия, и какова в Клодии ненависть, и какова наглость. И он знал, что жизнь его уже оценена и чуть ли не запродана, а потому не подставлял ее опасностям без охраны и стражи. А случай силен, а исход сражений неверен, а Марсово счастье переменчиво, и не раз ликующий враг, уже снимая доспех с побежденного, бывал пронзен и повержен от упавшего. И небрежен был главарь, раззевавшийся от ужина и выпивки, ибо, отрезав врага с тылу, не подумал он о его спутниках в конце поезда, и, наткнувшись на них, пылавших гневом и отчаяньем о жизни хозяина, принял кару как возмездие от верных слуг за жизнь хозяина.

(57) Почему же этим слугам дал Милон освобождение? Уж, наверное, из страха, что они его выдадут, что они не вытерпят мучений, что они признаются под пыткой: да, убит был Публий Клодий рабами Милона на Аппиевой дороге! Но к чему здесь, собственно, пытка? О чем следствие? Убил ли Милон? Да, убил. Законно убил или нет? А здесь палач ни при чем: на дыбе ведется следствие о деянии, а следствие о законности — в суде. XXII. Здесь мы и будем вести наше следствие, здесь мы и признаемся в том, чего ты домогаешься пыткой. Если спрашиваешь ты, почему Милон своих рабов отпустил на волю, а не спрашиваешь, почему так мало он их наградил, то ты и противника попрекнуть не умеешь! Ведь сам сидящий здесь Катон сказал с обычной твердостью и смелостью, сказал перед мятежной сходкой, усмирненной лишь его достоинством: не только свободы, а даже и всякой награды заслуживают те, кто спасает

жизнь господина! Есть ли достаточная награда для рабов, чьей верности, чьей честности, чьей преданности он обязан жизнью? И не только жизнью, а и тем, что злейший враг не насытил свой дух и свой взор видом крови из ран его! Не отпусти он их на волю, они достались бы на пытку палачу — спасители господина, каратели преступления, защитники от убийства! Право, для Милона ничего нет утешительней в беде его, чем знать: даже если с ним что-то случится, рабы его награждены по заслугам.

162

163

(59) Но Милону вредят те допросы, которые сделаны нынче при храме Свободы. Чьих же рабов там допрашивали? Как чьих? Клодиевых! Кто же этого потребовал? Аппий! Кто привел их? Аппий! Где взял их? От Аппия! Великие боги! Какие строгости! По закону ведь не дозволен никакой допрос рабов против господина, кроме как о кощунстве (как когда-то против Клодия): вот как, значит, нынче Клодий близок богам (ближе, чем когда влезал он в их святилище!), — о смерти его ведется следствие, как об оскорблении священнодействий. Не хотели наши предки допрашивать рабов против хозяина — хоть и можно было так доискаться правды, но казалось это недостойно и даже горше, чем самая смерть господина. А допрашивая рабов обвинителя против обвиняемого, и правды нельзя доискаться. (60) В самом деле, какой тут допрос? «Эй ты, Руфион какой-нибудь, смотри говори правду! Устроил Клодий засаду на Милона?» — «Устроил». — Верный крест! — «Не устраивал». — Желанная воля! Вот он, надежнейший из допросов! Да и то обычно рабов уводят на допрос внезапно, отделяют от других, держат взаперти, чтобы с ними никто не мог разговаривать, — а тут все сто дней они были при обвинителе, и к допросу их представил обвинитель. Вот оно, беспристрастнейшее, вот оно, неподкупнейшее из следствий!

XXIII. (61) Если все же вы еще не верите (хоть, казалось бы, ясней нельзя найти свидетельств и доводов!), что Милон вернулся в город с незапятнанною честностью, к преступлению непричастный, страхами не волнуемый, совестью не тревожимый, то, во имя бессмертных богов, припомните, как быстро он воротился, как вступил он на форум в час, когда пылала курия, припомните его мужество, его вид, его речь. Он предстал не только народу, но и сенату; не только сенату, но и охранным войскам государства; не только им, но и тому, чьей власти наш сенат вверил и республику, и юношество всей Италии, и войско римского народа, — а вождю этому Милон никак не стал бы доверяться, не будучи уверен в своей правоте, ибо тот ко всему прислушивался, многого опасался, кое-что подозревал, а иному и верил. Велика, о судьи, сила совести, велика и в добрых и в дурных: кто невинен, тому ничто не страшно, а кто виновен, тому всюду мерещится расплата. (62) Неспроста ведь сенат всегда был на стороне Милона: мудрым мужам ясна была законность его дела, стойкость его духа, твердость его защиты. Разве вы не помните, судьи, что при первой вести о гибели Клодия говорили и думали не только враги Милона, но и просто люди, мало его знавшие? Они говорили: Милон не вернется в Рим! (63) Если он убил врага в порыве гнева, пылая ненавистью, тогда, полагали они, ему довольно смерти Клодия, чтоб, насытившись кровью врага, спокойно вынести изгнание. Если же он этой смертью хотел освободить отечество, то подавно храбрец, спасши римский народ своим риском, без колебания внял бы закону и спокойно отступил, унося с собой вечную славу, а вам оставивши плоды своего подвига. Иные даже вспоминали Катилину и его злодейства: «Он вырвется и, укрепившись в каком-нибудь месте, войною пойдет на отечество!» Как несчастны порою граждане, доблестно служившие республике! как легко люди не только забывают славное, но и подозревают преступное! Подозрения эти оказались ложными; а ведь если б Милон совершил что-нибудь, в чем не мог бы оправдаться по

чести и совести, то, наверное, они и подтвердились бы!

164

XXIV. (64) Бессмертные боги! А вся клевета, что свалилась потом на него и могла бы сразить угрызеньями совести всякого, кто знал бы за собою хоть малый проступок, — как он ее перенес! Перенес? Нет, больше! Как презрел он ее, как вменил он ее ни во что! Право, так бы не смог пренебречь ею ни виновный, будь даже душою он тверд, ни невинный, если он не отважнейший муж. Доносили, будто можно захватить запасы копий, щитов, мечей и конской сбруи; будто нету в Риме ни улицы, ни переулка, где Милон бы не снял себе дом; будто в Окрикул по Тибру свезено оружие, будто дом на capitoлийском склоне набит щитами, будто все полно зажигательных стрел для поджога Рима! И не только доносили, а почти что верили, и не раньше отвергали, чем расследовали. (65) Я всегда хвалил замечательную бдительность Помпея, но сейчас скажу вам, судьи, то, что думаю! Слишком много вынуждены слушать те, кому вверена республика, — иначе и быть ведь не может. Так пришлось прислушаться и к какому-то службе Лицинию от Большого Цирка: он донес, будто бы рабы Милона спяну сами признались ему в том, что поклялись убить Помпея, а потом один из них, страшась доноса, даже ткнул его мечом. Донос подан был Помпею в сады его; он позвал меня почти тотчас; по совету друзей, дело было доложено в сенате. Я не мог не онеметь от страха при таком подозренье, грозившем тому, кто хранил и меня и отечество; и все же странно мне было, что верят службе, что готовы слушать признанья рабов, что ранку в боку, похожую на укол от иглы, принимают за удар гладиатора. (66) Я понимаю, конечно, что Помпей не столько страшился, сколько остерегался, и не только того, что опасно, но всего вообще, что могло бы пугать вас. Но вот сообщают, что ночью в течение многих часов был в осаде дом Юлия Цезаря, славнейшего и храбрейшего мужа; ни один из множества тамошних жителей этого не видел и не слышал, и все же донос был заслушан. Я и тут не мог, конечно, упрекнуть отважного Помпея в робости — я лишь видел в этом заботу об отечестве, а она не может быть чрезмерна. Наконец, при недавнем и людном собрании сената во храме Юпитера отыскался сенатор, воскликнувший, будто Милон — при оружьи; и на это Милон обнажил себя при всех, несмотря на святость места, чтобы те, кто не верит всей жизни такого гражданина и человека, поверили без всяких слов собственным глазам.

XXV. (67) Так мы видим, что все это — ложь и зловерные выдумки. И если все же иные боятся Милона, то не из-за дела о Клодии, а из-за твоих, Гней Помпей, — обращаюсь к тебе и кричу, чтоб ты мог меня слышать, — из-за твоих, Гней Помпей, мы должны трепетать подозрений! Если ты боишься Милона; если ты полагаешь, что он покушался на жизнь твою, нынче ли — умыслом, в прошлом ли — делом; если нравы иные твои вербовщики, говоря, будто этот набор по Италии, это войско, эти capitoлийские отряды, эти заставы, эти дозоры, это отборное юношество, охраняющее тебя и твой дом, — все это выставлено для отпора Милону, все это приготовлено, направлено, вооружено против него одного, — о, тогда несомненно, что сила его велика, дух неистов, а средства и мощь сверхчеловеческие, раз на него ополчается все государство во главе с величайшим вождем. (68) Но кто же не понимает, что все это оружие тебе дано для того, чтобы ты им крепил и целил все части вверенного тебе государственного тела, где чувствуешь слабость и шаткость? О, если бы Милону представился случай, он бы сам тебе показал, что не бывало дороже человека человеку, чем ты для него, что нету такой опасности, на которую не шел он ради чести твоей, что на злейшую язву отечества много раз ополчался он во имя славы твоей, что в трибунском своем звании боролся он за мой желанный тебе возврат по советам твоим, что пред уголовным судом ты был ему защитником, а в искательстве претуры —

помощником, что двое у него всегда было надежнейших друзей, ты и я: ты — за твои ему благодеяния, я — за его благодеяния мне. А если б он тебя и не убедил и подозрения твои оказались бы неискоренимы, и спасти город Рим от мечей, а Италию от набора он мог бы лишь ценой своего поражения, — что ж, тогда он, не дрогнув, ушел бы в изгнание (таким он рожден, и так он привык!), но и уходя, он призвал бы в свидетели своей невинности тебя, великий Помпей, как призывает и ныне.

XXVI. (69) Подумай, Помпей, как изменчива и непостоянна жизнь, как непрочно и преходяще счастье, какова ненадежность дружбы, как искусно притворяются люди друзьями до поры до времени и как в страхе разбегаются они в час опасности. Будет, будет время, заблестит заря того дня, когда ты во всем твоём благополучии (на которое надеюсь!) не минуешь все же тех общественных смут, обычайность которых мы знаем по опыту, и напрасно будешь тогда искать дружбы человека преданного, верности человека надежного и величия души человека отважного — самого отважного на памяти людской! (70) Впрочем, кто же поверит, что Гней Помпей, искушенный муж в государственном праве, в обычаях предков, в правленье республикой, — Гней Помпей, от сената облеченный полномочием следить, чтобы не было худа отечеству (а ведь некогда консулы были сильны таким полномочьем и без всяких оружий!), — Гней Помпей с этим войском и с этим солдатским набором стал бы вдруг дожидаться суда, чтоб пресечь покушенья Милона, который будто бы и самый суд порывался уничтожить? Нет, Помпей своим поведением довольно доказал, как вздорны эти наговоры на Милона: он внес закон, по которому, все полагают, вам можно (а я говорю: даже нужно!) вынести Милону оправдание. (71) А что Помпей сидит на возвышенном месте, окруженный государственною стражей, — это значит, что цель его не нагнать на вас страху (достойно ли Помпея понуждать вас к осуждению того, с кем он мог бы расправиться сам по законному праву и древним обычаям?), а лишь оградить вас и дать вам возможность судить свободно и по совести, не стесняясь вчерашнею сходкою.

165

166

167

168

169

170

XXVII. (72) Нет, судьи, не волнует меня убийство Клодия; и не настолько сошел я с ума, не настолько я чужд ваших чувств и несведущ, чтоб не знать, как вы судите о гибели Клодия. Если б я не разбил обвиненья, как я его разбил, все же мог бы Милон безнаказанно и громко лгать во славу свою: «Да, я убил, я убил! И убил не Спурия Мелия, обвиненного в жажде царской власти лишь за то, что он снизил цены на хлеб да растратил добро свое, словно заискивая пред толпою, и не Тиберия Гракха, мятежно отнявшего сан у товарища, — те, кто убил их, давно уж наполнили мир своей славой! Я убил того (Милон имел бы право так сказать, рискнувши жизнью ради свободы отечества!), кто когда-то знатнейшими женщинами был схвачен на священном ложе в кощунственном блуде; (73) кто не раз уже по решению сената казнью своей должен был искупить осквернение священных обрядов; кто даже с родною сестрою смесил свою кровь в блудодействе, как это допросом узнал и объявил под присягой Лукулл; кто мечами рабов своих выгнал из Рима того человека, которого и сенат, и народ, и весь мир признавали спасителем града и граждан; кто давал и отнимал царства, кто всем кругом земным делился с кем ему было угодно; кто без счета затевал на форуме побоища и добился мечом и насильем того, что муж, по доблести и славе первый в Риме, замкнулся в собственном доме; кто не знал запрета ни в преступлении, ни в похоти; кто

поджиг храм нимф, чтобы уничтожить государственные памятные записи о цензе народном; (74) кто не знал ни законов, ни гражданского права, ни права собственности; кто чужих имений домогался не крюкотворством в суде, не лживыми притязаниями и клятвами, а ополчением, осадами, походами; кто войной и оружием выгонял из поместий не только этрусков, которых и вовсе презирал, но даже Публия Бария, нашего судью, человека отважного и благонадежного; кто расхаживал по чужим садам и усадьбам, окружившись подрядчиками и с десятифутовой саженью в руках; кто надежду свою на захваты простирал от Яникула и до Альп; кто, не добившись от Марка Пакония, именитого и храброго римского всадника, чтобы тот ему продал остров на Прилийском озере, сам вдруг взял и перевез туда лес, известку, камни и орудия и начал строиться на чужой земле, между тем как хозяин лишь глазел на это с берега; (75) кто с самого Тита Фурфания потребовал денег, пригрозив, что иначе подбросит ему покойника в дом, чтобы хозяину сгореть от общей ненависти (самому Титу Фурфанию! — бессмертные боги! — что уж тогда и говорить о такой бабе, как Скантия, да о таком юнце, как Апиний, которых грозил он убить, коли они не отдадут ему свои сады?); кто брата своего Аппия (вернейшего моего друга) заочно лишил законных его владений; кто в сенях сестры своей стал ставить стену и повел ее так, что не осталось у сестры его не только сеней, но даже порога и входа!»

XXVIII. (76) Но пусть все это и казалось переносимо: хоть Клодий без разбору сокрушал государство и граждан, дальних и ближних, своих и чужих, но несказанное терпенье народа как-то уж свыкло с этим, закалясь и отвердев. Но как было вам отвратить или снести иные беды, вставшие уже и грозившие? Да ведь если бы Клодий дорвался до власти, — о, не говорю уж о союзниках, о народах, о царях, о тетрархах; я ведь знаю, вы молитесь только о том, чтобы Клодий обрушился лучше на них, чем на ваши усадьбы, дома и имущество! — имущество? нет! на детей ваших и жен, клянусь богом, без удержу обрушит он разнузданные свои страсти! Неужели я выдумываю то, что все знают, все видят, все помнят? Даже то, что Клодий был готов уже составить войско из римских рабов, чтобы с ними прибрать к рукам и общественное добро, и частное? (77) Неужели если бы Анний воскликнул с окровавленным мечом в руке: «Ко мне, граждане, и слушайте меня! Я убил Публия Клодия, этой рукой и этим клинком отвел я от вашего горла его неистовство, не обуздываемое уже ни судом, ни законом; мной одним спасены в государстве справедливость и право, закон и свобода, стыдливость и нравственность!» — то быть может, пришлось бы еще и тревожиться, как это примут сограждане? Нет! Разве есть кто-нибудь, кто не хвалит, не славит Милона про себя и вслух за то, что больше всех на памяти людской принес он пользы отечеству, за то, что великую радость подарил он римскому народу, и всей Италии, и всем земным племенам? Не мне судить, каковы были радости у народа римского встарь; но и в наши дни видели мы много блистательных побед славнейших полководцев, а ни одна из них не была причиной столь сильной и столь долгой радости. (78) Не забудьте же, судьи, об этом! Много доброго, я надеюсь, еще увидите в отечестве и вы, и ваши дети; и всякий раз будете вы убеждаться, что при жизни Публия Клодия вам бы этого не видать. Велика моя надежда, и думаю, что она меня не обманет: будет нынешний год под нынешним консулом целителен для отечества, ибо подавил он людскую разнузданность, укротил страсти, утвердил законы и суд. А какой безумец поверит, будто это могло бы случиться при жизни Публия Клодия? Все, что есть у вас вашего и собственного, разве осталось бы за вами по владетельскому праву, будь у власти этот бешеный человек?

XXIX. Я даже не боюсь, что может показаться, будто я в пылу моей личной вражды изрыгаю на него обвинения больше по страсти, чем по правде. Пусть бы это и

было главным — все равно, Клодий был таким врагом для всех, что едва ли моя ненависть к нему сильнее общей ненависти. Ни сказать, ни представить нельзя, сколько было в нем злодейства, сколько пагубы. (79) Посмотрите, судьи, на это дело вот как. Перед нами — дело о гибели Публия Клодия. Попробуйте же вообразить (ведь наша мысль вольна и может вглядываться во все, что ей предстанет), попробуйте же вообразить вот какую картину: если бы мог я добиться оправдания Милону ценою того, чтоб Публий Клодий ожил вновь... Как? На лицах ваших страх? Каково же вам пришлось бы от живого, если даже мертвый страшен праздному вашему воображению! Ну, а если бы сам Гней Помпей, который в доблести своей и счастье всюду может то, чего никто не может, — если б он мог выбирать, учреждать ли ему суд о гибели Клодия или вызвать из мертвых его самого, то что он, по-вашему, выбрал бы? Ради дружбы он, быть может, и хотел бы вызвать Клодия из мертвых, но ради государственного блага — нет, не вызвал бы! Значит, вы посажены мстить за смерть того, кому жизнь вы сами не решились бы вернуть, если бы даже могли; и следствие ведется об убийстве того, о ком никогда не велось бы, если бы от этого следствия он воскрес.

Будь Милон убийцею по умыслу, разве он, признавши это, мог бы опасаться наказания от тех, кого спас? (80) В Греции тираноубийцам назначают божеские почести — сколько видел я их в Афинах, сколько в других городах! Какие для них учреждены священные обряды! какие напевы, какие песни! В почитании и в памяти они едва ли не бессмертны. Так потерпите ли вы, чтоб спаситель такого народа, чтоб отмститель такого злодейства не только не дождался бы почета, но даже был отправлен бы на казнь? Он признался бы, он признался бы в своем деянии открыто и великодушно, если б он его свершил, и сказал бы, что свершил это ради общей вольности: не признаваться в этом надо бы, а похваляться этим! XXX. (81) Если он не отрицает и того, за что он ничего не просит, кроме прощения, неужели не признался бы он в том, за что бы мог просить в награду хвалы? Неужели он бы счел, что вам приятней видеть его защитником своей головы, а не вашей? Вам приятней иное — и он признался бы в этом, предвкушая великие почести. Если бы его деянья вы и не одобрили (впрочем, кто не одобрит собственного спасения?), если бы доблесть отважного мужа оказалась неугодна гражданам, — что ж, он с высоким и твердым духом покинул бы неблагодарную родину, ибо что неблагодарней, чем когда народ ликует, а страдает лишь виновник ликования? (82) Впрочем, несмотря на это, все мы, каратели измены, мыслим одинаково: зная, что нас ожидает слава, мы приемлем на себя и опасности и ненависть. Разве я сам заслужил бы славу ради вас и ваших детей, на немалое дерзнув в мое консульство, если бы великая борьба не предвиделась мне в этом дерзновении? Убить преступника и злодея решила бы любая баба, не бойся она опасности. Только тот — настоящий муж, кого ни вражда, ни кара, ни смерть не охладит к защите отечества! Доля народа — венчать наградой отличившихся перед отечеством; доля истинного мужа — даже из страха перед казнью не раскаиваться в подвиге. (83) Так признался бы в подвиге своем и Милон, как признались Агала, Назика, Опимий, Марий, как признался когда-то я сам; если будет отечество ему благодарно — он будет рад, если нет — он и в несчастье утешен будет чистою своею совестью.

Но нет, совсем не Милону обязаны вы вашей благодарностью, а счастьем римского народа, вашей удаче и бессмертным богам. А кто станет это отрицать, — верно, тот не верит в божеское провидение и власть, тому ничего не говорит ни величие нашей державы, ни движение солнца и небесных светил, ни весь мировой распорядок, ни — самое главное — мудрость предков, которые и сами богобоязненно чтили святых, обряды, гаданья и завещали это нам, своим потомкам. XXXI. (84) Есть она, есть такая власть! Если даже в наших немощных телах есть некая сила и разум, то

подавно есть она в столь великом и прекрасном движении природы. Пусть иной в нее не верит потому, что она не явлена нашему зрению, — но разве можем мы увидеть или хоть почувствовать самый наш дух, каков он есть и где, тот дух, которым мы мыслим, предвидим, делаем свое дело и говорим вот эти слова? Да, это она, та самая сила, которая столько уж раз посылала нашему Риму неслыханное счастье и обилие, это она теперь сокрушила и уничтожила Клодиеву пагубу, это она внушила ему вызывать насильем и тревожить мечом человека отважного, от которого он и понес поражение своей дерзости; а останься он с победою, не было бы конца безнаказанности его и необузданности.

171

172

(85) Не людскими умыслами, отнюдь, а немалым попечением бессмертных богов совершилось, судьи, то, что совершилось. Сами святыни, клянусь, сами святыни, мнится, восстали при виде гибели этого изверга, дабы на нем искать своих прав. К вам взываю я, вас зову в свидетели, альбанские холмы и рощи, вас, поверженные альбанские алтари, наших римских святынь союзники и сверстники, — это вас в своем безудержном безумии, сведя и вырубив священные леса, попирали убитый Клодий сваями своих чудовищных построек, это ваша святость воздвиглась, это ваша сила превозмогла, осквернявшаяся всеми его преступлениями! Это ты с твоей возвышенной горы, о святой Юпитер Латинский, чьи озера, рощи и поля он не раз позорил несказанным блудом и злодействами, это ты наконец-то отверз твои очи к его наказанию! Это за вас и у вас на виду постигла его запоздалая, но должная и справедливая кара. (86) Разве это могло быть случайно: перед самым святилищем Доброй Богини, что в имении Сергия Галла, достойного и славного юноши, пред лицом самой Доброй Богини получил он в начавшейся схватке ту первую рану, от которой и принял позорную смерть, чтобы не думали люди, будто был он оправдан тем безбожным судом, а чтобы видели, как сбережен он для этой отменнейшей казни. XXXII. И, конечно, тот же самый гнев богов внушил его приспешникам безумную мысль: чтобы был он сожжен как чужой, без выноса, проводов, плача, похвал, весь в крови и в грязи, обездоленный даже в той чести последнего дня, какой и недруг не лишает недруга! Верю: было грешно стольким образом доблестных предков украшать погребенье гнуснейшего из душегубов; и лучшее место, чтобы растерзать его труп, было именно там, где его осудили при жизни.

173

(87) Суровою и жестокою, клянусь богами, казалась мне Фортуна к римскому народу, позволяя Клодию столько лет измываться над отечеством. Он блудом своим осквернил священные обряды, отменил самоважнейшие сенатские указы, откупился открыто деньгами от судей, в бытность трибуном не щадил сенат; все, что было достигнуто на благо отечества согласием всех сословий, он ниспроверг, меня изгнал, добро мое расхитил, дом поджег, детям и жене не давал покоя; Гнею Помпею объявил он преступную войну, меж должностных и частных лиц учинил резню, дом брата моего подлог, Этрурию опустошил, поселян лишил домов и имущества. Он грозил, он теснил; Рим, Италия, провинции, царства не могли уже вместить его безумия; у него в дому уже чеканились законы, отдававшие всех нас под иго наших же рабов; что у кого ни приглянулось бы ему, он все считал своей добычей в близком будущем. (88) И никто не вставал поперек его замыслам, кроме Милона. Того, кто один мог ему помешать, считал он скованным недавним примирением; власть Цезаря он звал своею собственной; всех благомыслящих людей он презирал, преследуя меня в моем унижении; и теснил его только Милон.

XXXIII. Тут-то, как я уж сказал, безумцу и негодяю внушили бессмертные боги устроить засаду Милону. Не суждено было этой чуме иначе погибнуть: государство само за себя никак не могло постоять. Сенат бы, что ли, унял такого претора? Но сенат не умел унимать его, даже когда он был частным лицом. (89) Или, может быть, консулы нашли бы в себе силы справиться с собственным претором? Нет: этот претор, убивши Милона, завел бы себе собственных консулов; да и какой бы с ним справился консул, если он еще и в звании трибуна так жестоко мучил консульскую власть? Он все подмял бы, все забрал бы, все держал бы в собственных руках; он по новому закону, что нашли при нем в числе других, обратил бы наших всех рабов в своих вольноотпущенников; и поистине, коль боги не внушили бы ему, распутнику, напасть на храбреца, у вас бы нынче не было республики. (90) Разве он, ставши претором, разве он, ставши консулом (если б только эти стены, эти храмы выдержали, дожили бы до его консульства), разве, просто оставшись живым, он не сделал бы страшного зла, коли даже и мертвый поджег он руками приспешника священную курию? Что плачевней, что горше, что бедственней? Храм величия, святости, мысли, совета, чело Рима, алтарь всех союзников, прибежище всех народов, обитель, от всех сословий уступленная одному, — подожжена, разорена, осквернена! И не от бессмысленной толпы (хоть и это было бы ужасно!) — нет, это сделал один человек! Он дерзнул на это с факелом в руке во имя мертвеца, — а на что дерзнул бы он со знаменем в руке во имя живого? Мертвый должен был пожечь, что живой ниспровергал, — потому-то он и бросился на курию. (91) И после этого кто-то поминает Аппиеву дорогу, а о курии молчит! Кто-то надеется, что можно было уберечь форум от живого, когда не устояла курия от мертвеца! Воскресите-ка его, воскресите-ка из мертвых, если можете: сломите ли вы напор живого, если еле справились с неистовством непогребенного? Разве вы осилили тех, кто с огнями сбегались к курии, с баграми — к храму Кастора, с мечами — рыскали по форуму? Разве вы не видели, как рубили они народ, как клинками разгоняли ту сходку, где в тишине говорил Марк Целий, народный трибун, в государственных делах отважный, в предприятиях — надежный, воле честных людей и достоинству сената — преданный, а Милону — ив удаче и в напасти несказанно и божественно верный?

XXXIV, (92) Но достаточно уже сказал я о своем предмете, а сверх предмета даже, быть может, и более чем достаточно. Что же мне теперь осталось, судьи, как не умолять и заклинать вас: окажите храбрецу милость, о которой он даже не просит, — я один, против воли его, и прошу и взываю об этом! Хоть во всеобщем нашем плаче Милон не пролил ни единой слезы, хоть он и не дрогнул лицом, тверд голосом, неизменен речью, — не ожесточайтесь, видя это: быть может, так он даже больше нуждается в помощи. Даже в гладиаторских боях, глядя на судьбу и участь самых безвестных людей, мы обычно презираем тех, кто дрожит, молит и взывает о пощаде, но стараемся оставить жизнь тем, кто храбр, отважен и легко идет на смерть, — мы скорей жалеем тех, кто жалости пашей не ищет, чем тех, кто ее добивается; не стократ ли больше должны мы жалеть храбрейших из граждан? (93) Право, судьи, меня терзают и убивают те речи Милона, которые вечно я слышу, с которыми всюду я рядом: «Мир вам, мир вам, сограждане мои! Будьте безопасны, будьте благоденственны, будьте счастливы! Пусть стоит этот город, славный и родной для меня, как бы он со мною ни обошелся; пусть спокойно живут сограждане без меня, но благодаря мне; а коли мне с ними нельзя, то я уступлю и уйду. Если не дано мне жить в хорошем государстве, то хоть не буду жить и в дурном: дайте найти мне город вольный и благоустроенный, там и обрету я покой. (94) О труды мои, тщетно понесенные (так он восклицает), о милые мои надежды, о праздные мои помышления! Я, народный трибун, в тяжкий час для отечества встав за сенат, уже угасавший, встав за всадников римских, уже обессиленных, встав за честных

людей, уж утративших голос пред воинством Клодия, — я ли мог подумать, что честные люди оставят меня без защиты? Где же сенат, за которым я шел? где всадники, твои всадники (так говорит он мне)? где преданность городов? где негодование всей Италии? где, наконец, твоя речь, твоя защита, Марк Туллий, столь многим служившая подмогою? Мне ль одному, кто не раз за тебя шел навстречу смерти, ты ничем не в силах пособить?»

174

175

XXXV. (95) Говорит он это, судьи, не в слезах, как я, а с таким же лицом, как теперь. Если граждане неблагодарны, то отказывается Милон от дела своих рук; если только осторожны и осмотрительны, то не отказывается. Он напоминает вам, как эту толпу и низкую чернь, грозившую вам при Клодии, он не только доблестью своею смирал, чтоб были вы в безопасности, но и потратил ей в угоду три свои состояния; зрелищами снискал он расположение толпы, так неужто вашего не снищет он расположения редкими заслугами своими перед отечеством? Как сенат к нему благосклонен, он не раз видал в эти годы; а ваше, судьи, и ваших сословий рвенье о нем, и встречи, и речи унесет он с собою повсюду, что бы с ним ни случилось. (96) Помнит он и о том, что ему недоставало для консульства только голоса глашатая, в котором ему и не было нужды; ведь голос народа, которого он только и желал, уже подан был за него. И он знает: если все будет против него, то причина тому — не деянье, которое он совершил, а подозрение в измене отечеству. И еще добавляет он (и он прав!): кто истинно мудр и мужествен, тот в жизни взыскует подвига, а не награды за подвиг. Подвиг славы своей он свершил, ибо нет ничего достойней мужчины, чем избавить отчизну от опасности, — блажен, кто этим достиг почета от сограждан, но счастлив и тот, чьи услуги оказались выше благодарностей. (97) Впрочем, если уж вести счет наградам доблести, то величайшая из всех наград — это слава: лишь она утешает нас в краткости жизни памятью потомства; лишь она нам дает в заочности — присутствовать, в смерти — жить; лишь по ней, но ее ступеням люди словно бы восходят к небожителям. (98) И Милон говорит: «Вечною будет обо мне молва в римском народе и у всех народов, не заглушит ее даже время. Да и ныне, в эти самые дни, когда недруги раздувают пламя вражды ко мне, все же во всяком кругу меня поздравляют, меня благодарят, во всякой беседе прославляют меня. А что говорить об Этрурии, о праздниках ее, отпразднованных и назначенных? Сто два дня прошло, по моему, с гибели Публия Клодия, а уже до самых пределов власти римского народа докатилась эта весть и вслед за вестью ликование. Потому-то и не тревожусь я, где ляжет тело мое (так говорит он), ибо слава имени моего уже наполнила весь мир и жить будет вечно».

XXXVI. (99) Так говорил ты со мною наедине, и так говорю я с тобою, Милон, при всех: я не в силах достойно воздать хвалу твоему мужеству, но чем божественней твоя доблесть, тем большее для меня с тобою разлука. Если я потеряю тебя, не останется у меня и того печального утешения, чтобы гневаться на тех, кто нанес мне столь тяжкую рану: ибо не враги тебя у меня отнимут, а лучшие друзья, от которых никогда не знал я зла, а знал лишь благо. Да, судьи, это так: никакая боль от вас не будет столь жгучей (ибо есть ли боль сильнее этой?), чтобы мог я позабыть, как высоко вы всегда меня ставили. Если же вы сами об этом позабыли или если вы за что-то на меня в обиде, почему тогда не я плачусь за это, а Милон? Я считал бы себя счастливецом, если бы не дождал до такой беды его! (100) Одно лишь мне осталось утешенье: знать, что пред тобою, Милон, верен был я дружбе, верен был преданности, верен был признательности. За тебя я принял вражду власть имущих; за тебя подставил жизнь и

тело под мечи врагов твоих; за тебя я простирался ниц перед многими; для тебя в тяжелый час все добро мое и детей моих было как твое; и сегодня, если ждет нас насилие, ждет борьба не на жизнь, а на смерть, — я готов! Что еще могу я сделать, чем отплатить за твои услуги? Только разделить с тобою твою участь, какова бы она ни была! И я не отказываюсь, я не отрекаюсь; я заклинаю вас, судьи: или спасением Милона умножьте ваши мне благодеяния, или гибелью Милона заставьте о них обо всех позабыть!

176

XXXVII. (101) Милона не волнуют мои слезы: твердость духа его несказанна, изгнание для него — везде, где нет места для доблести, смерть для него — естественный конец жизни, а не кара. Таков уж он от природы; но вы-то, судьи, вы на что отважитесь? Память о Милоне сохраните, а самого Милона вышвырнете? Чтоб больше чести было городу, который примет его доблесть, а не городу, который ее породил? А вы, храбрецы, столько раз проливавшие кровь за отечество, вы, центурионы и воины, к вам я взываю в этот час беды непобедимого мужа и гражданина: неужели на глазах у вас, неужели под вооруженною охраною вашей будет из Рима такая доблесть изгнана, извергнута, вышвырнута? (102) Как я жалок, как я несчастен! Ты сумел, Милон, заставить их вернуть меня в отечество; я ли не заставлю их сберечь тебя отечеству? Что скажу я детям моим, для которых ты — второй отец? Что скажу я тебе, брат мой Квинт, товарищ былых моих дней, который теперь далеко? Что я не смог спасти Милона силами тех, чьими силами он меня спас? И в каком же деле он смог? В том, за которое ему весь мир благодарен! И пред кем не смог? Пред теми, кого больше всех и вызволила из тревог гибель Клодия! И кто не смог? Я! (103) О, каким, должно быть, преступлением, каким злодеянием осквернил себя я, судьи, в те дни, когда выследил, раскрыл, выявил, уничтожил угрозу всеобщей гибели! Все несчастья мои и ближних моих пролились на нас из этого источника! Зачем вы пожелали воротить меня? Затем ли, чтоб на моих глазах изгнан был тот, кто воротил меня? Не допустите же, молю вас, чтобы возвращение было мне горше изгнания: разве это восстановление в правах, когда лишаюсь я того, кто был моим восстановителем?

XXXVIII. О, если бы дали бессмертные боги... — отечество, не прогневайся, если слова мои перед Милоном честны, а пред тобою преступны! — о, если бы Клодий был жив, был претором, консулом, диктатором! Все лучше, чем видеть мне то, что я вижу! (104) О бессмертные боги! Вот храбрейший муж, достойнейший вашей пощады, о судьи: «Нет, нет, — говорит он, — лишь бы Клодий подвергся заслуженной каре, а я, коли нужно, приму на себя незаслуженную!» И такой-то муж, рожденный для отечества, погибнет не в отечестве, хоть и за отечество? Память о духе его останется при вас, а памятника над телом его не будет в Италии? И вы это потерпите? И кто-то из вас обречет приговором к изгнанию из Рима того человека, которого каждый иной город будет рад к себе призвать? (105) О, блажен тот край, который примет этого мужа, и неблагодарен тот, который его изгонит, и несчастен тот, который его потеряет! Но довольно! говорить мне мешают слезы, а слезами защищать запрещает Милон. Итак, умоляю и заклинаю вас, судьи: не бойтесь голосовать за то, за что высказалось ваше сердце. И поверьте: вашу доблесть, справедливость, верность сполна оценит тот, кто выбрал в этот суд самых честных, самых мудрых, самых смелых граждан.

ДИАЛОГИ

ТУСКУЛАНСКИЕ БЕСЕДЫ

Марку Бруту

177

Книга I

О ПРЕЗРЕНИИ К СМЕРТИ

I. (1) В эти дни, когда я отчасти или даже совсем освободился от судебных защит и сенаторских забот, решил я, дорогой мой Брут, послушаться твоих советов и вернуться к тем занятиям, которые всегда были близки моей душе, хоть и времени прошло много, и обстоятельства были неблагоприятны. А так как смысл и учение всех наук, которые указывают человеку верный путь в жизни, содержится в овладении тою мудростью, которая у греков называется философией, то ее-то я и почел нужным изложить здесь на латинском языке. Конечно, философии можно научиться и от самих греков — как по книгам, так и от учителей, — но я всегда был того мнения, что наши римские соотечественники во всем как сами умели делать открытия не хуже греков, так и заимствованное от греков умели улучшать и совершенствовать, если находили это достойным своих стараний.

(2) Наши нравы и порядки, наши домашние и семейные дела — все это налажено у нас, конечно, и лучше и пристойнее; законы и уставы, которыми наши предки устроили государство, тоже заведомо лучше; а что уж говорить о военном деле, в котором римляне всегда были сильны отвагой, но еще сильнее умением? Поистине, во всем, что дается людям от природы, а не от науки, с нами не идут в сравнение ни греки и никакой другой народ: была ли в ком такая величавость, такая твердость, высококость духа, благородство, честь, такая доблесть во всем, какая была у наших предков?

178

179

180

181

(3) Однако же в учености и словесности всякого рода Греция всегда нас превосходила, — да и трудно ли здесь одолеть тех, кто не сопротивлялся? Так, у греков древнейший род учености — поэзия: ведь если считать, что Гомер и Гесиод жили до основания Рима, а Архилох — в правление Ромула, то у нас поэтическое искусство появилось много позднее. Лишь около 510 года от основания Рима Ливий поставил здесь свою драму — это было при консулах Марке Тудитане и Гас Клавдии, сыне Клавдия Слепого, за год до рождения Энния. II. Вот как поздно у нас и узнали и признали, поэтов. Правда, в «Началах» сказано, что еще на пирах был у застольников обычай петь под флейту о доблестях славных предков; но, что такого рода искусство было не в почете, свидетельствует тот же Катон в своей речи, где корит Марка Побилиора за то, что он брал с собою в провинцию поэтов: как известно, этого консула сопровождал в Этолию Энний. А чем меньше почета было поэтам, тем меньше и занимались поэзией; так что даже кто отличался в этой области большими дарованиями, тем далеко было до славы эллинов. (4) Если бы Фабий, один из знатнейших римлян, удостоился хвалы за свое живописание, то можно ли сомневаться, что и у нас явился бы не один Поликлет и Паррасий? Почет питает искусства, слава воспламеняет всякого к занятию ими, а что у кого не в чести, то всегда влачит жалкое существование. Так, греки верхом образованности полагали пение и струнную игру — потому и Эпаминонд, величайший (по моему мнению) из греков, славился своим пением под кифару, и Фемистокл незадолго до него, отказавшись взять лиру на пиру, был сочтен невеждою. Оттого и процветало в Греции музыкальное искусство: учились ему все, а кто его не знал, тот считался недоучкою. (5) Далее, выше всего чтилась у греков геометрия — и вот блеск их математики таков, что ничем его не затмить; у нас же развитие этой науки было ограничено надобностями денежных расчетов и земельных межеваний.

182

183

184

III. Красноречием зато мы овладели очень скоро; и ораторы наши сперва были не учеными, а только речистыми, но потом достигли и учености. Учеными, по преданию, были и Гальба, и Африкан, и Лелий; не чуждался занятий даже их предшественник Катон; а после них были Лепид, Карбон, Гракхи и затем, вплоть до наших дней, такие великие ораторы, что здесь мы ни в чем или почти ни в чем не уступаем грекам. Философия же, напротив, до сих пор была в пренебрежении, так ничем и не блеснув в латинской словесности, — и это нам предстоит дать ей жизнь и блеск, чтобы, как прежде, находясь у дел, приносили мы посильную пользу согражданам, так и теперь, даже не у дел, оставались бы им полезны. (6) Забота эта для нас тем насущнее, что много уже есть, как слышно, латинских книг, писанных наспех мужами весьма достойными, но недостаточно для этого подготовленными. Ведь бывает, что человек судит здраво, но внятно изложить свои мысли не может, — ничего особенного в этом нет; но когда человек, не умея говорить ни связно, ни красиво, ни сколько-нибудь приятно для читателя, пытается излагать свои размышления в книгах, то этим он во зло употребляет и время свое, и книги. Поэтому-то и читают такие сочинения только сами они да их друзья — никому другому до них и дела нет, кроме тех, кто так же считает для себя дозволенным писать, что ему вздумается. Вот почему и решили мы: если усердие наше принесло хоть какую-то похвалу нашему красноречию, то с тем большим усердием должны мы явить людям тот исток, из которого исходило само это красноречие, — исток философии.

185

186

IV. (7) И вот как некогда Аристотель, муж несравненного дарования, знания и широты, возмущаясь успехом ритора Исократа, стал сам учить юношей хорошо говорить, соединяя тем самым мудрость с красноречием, — так и мы теперь рассудили: не оставляя прежних наших занятий витийством, предаться также и этой науке, много обширнейшей и важнейшей. Ведь я всегда полагал, что только та философия настоящая, которая о самых больших вопросах умеет говорить пространно и красноречиво; и занимался я ею так усердно, что даже позволил себе устраивать уроки ее на греческий лад. Так что вскоре после твоего отъезда, милый Брут, я и попробовал испытать в этом свои силы, воспользовавшись тем, что на Тускуланской моей вилле как раз собралось много моих друзей. Когда-то я устраивал декламации на судебные темы и не оставлял этого упражнения дольше всех; а теперь, на старости лет, подобные рассуждения заменили мне декламации: я предлагал назначить, кто о чем хочет услышать, а потом, сидя или прохаживаясь, начинал рассуждать. (8) Вот такие уроки (или, по-ученому говоря, лекции) я вел пять дней и записал в пяти книгах. Делалось это так: когда кто хотел о чем-нибудь послушать, тот сперва сам говорил, что он об этом думает, а потом уже я выступал с противоположным суждением. Ты ведь знаешь, что именно таков старинный сократический обычай — оспаривать мнение собеседника; Сократ считал, что так легче всего достичь наибольшего приближения к истине. Впрочем, чтобы понятнее было, в чем состояли эти наши споры, я изложу их тебе, словно не рассказывая, а показывая. Вот как, стало быть, мы начали:

V. (9) — Мне представляется, что смерть есть зло.

— Для кого? Для тех, кто умер, или для тех, кому предстоит умереть?

— И для тех, и для других.

— Если смерть — зло, то она — и несчастье?

— Конечно.

— Стало быть, несчастны и те, кто уже умер, и те, кому это еще предстоит?

— Думаю, что так.

— Стало быть, все люди несчастны?

— Все без исключения.

— В таком случае и при таком рассуждении все, кто рожден или будет рожден, не только несчастны, но и навеки несчастны? Если бы ты сказал, что несчастны только те, кому предстоит умереть, то это относилось бы ко всем без исключения живущим (ибо всем предстоит умереть), но, по крайней мере, смерть была бы концом их несчастий. Если же даже мертвые несчастны, то поистине мы рождаемся на вековечное несчастье. Ведь тогда несчастны даже те, кто уже сто тысяч лет как умерли, да и вообще все, кто когда-либо был рожден на свет.

(10) — Именно так я и думаю.

— Тогда скажи: что же тебя страшит? Трехголовый ли адский Цербер, или плеск Коцита, или путь через Ахеронт, или Тантал, который

В волнах по шею, но томится жаждою, —

или как

Весь в поту, Сизиф

187

Свой камень катит, но не в силах сдвинуться?

Или, может быть, неумолимые судьи Минос и Радаманф, перед которыми не сможет защитить тебя ни Марк Антоний, ни Луций Красс, ни сам Демосфен, которому вроде бы и легче иметь дело с греческими судьями? Тебе ведь придется говорить самому за себя и при несметном множестве слушателей. Не этого ли ты боишься и не поэтому ли считаешь смерть вековым злом?

VI. — За кого ты меня считаешь, скажи на милость? Не настолько же я спятил, чтобы во все это верить.

— Так ты в это не веришь?

— Нисколько.

— Плохо тогда твое дело!

— Почему?

— Потому что я мог бы на все это возразить очень даже красноречиво.

(11) — Конечно, тут это мог бы и всякий! Велик ли труд опровергать дикие выдумки поэтов и художников?

— Однако же рассуждениями против них заполнены целые книги философов.

— И зря. Какого глупца могло бы все это смутить?

— Тогда значит, если в загробном мире нет несчастных, то в загробном мире и вовсе никого нет?

— Конечно, нет.

— Где же тогда те, кого ты именуешь несчастными? Какое место в мире занимают они? Ведь если они существуют, должны же они где-нибудь быть.

— А я так понимаю, что они — нигде.

— То есть они не существуют?

— Да, они не существуют, но потому-то они и несчастны, что не существуют.

(12) — Ну, по мне, так уж лучше бояться Цербера, чем так непоследовательно рассуждать.

— Почему же непоследовательно?

— Потому что ты говоришь, что они не существуют, и в то же время — что они существуют. Где же твой здравый смысл? Ведь утверждая, что они несчастны, ты признаешь, что они существуют, хотя и говоришь, будто они не существуют.

— Нет, я не настолько глуп, чтобы это иметь в виду.

— Тогда что же ты имеешь в виду?

— Я хочу сказать, например, что несчастен Марк Красс, которого судьба лишила стольких его богатств, несчастен Гней Помпей, который лишился своей великой славы, несчастны все, кому не дано более видеть света.

— Ты опять возвращаешься к тому же. Если все они несчастны — значит, они еще существуют; а ты говорил, что мертвые перестают существовать. Если они перестали существовать, то их нет, а если их нет, то они не могут быть несчастны.

— Как видно, я неправильно выразил мою мысль: само несчастье, по-моему, в том и состоит, что ты существовал и вот уже не существуешь.

(13) — Как? Неужели это еще хуже, чем совсем не существовать? Ведь получается, что и те, кто еще не рожден, уже несчастны, ибо не существуют, и мы сами, еще нерожденные, были несчастны, ибо нам предстояло умереть и стать несчастными после смерти. Вот беда, что я никак не припомню, был ли я несчастен до рождения; если у тебя память получше, то скажи, не припоминаешь ли ты?

VII. — Ты шутишь так, словно я не мертвых назвал несчастными, а неродившихся!

— Именно это ты и сказал.

— Да нет же: я сказал, что несчастье — в том, чтобы существовать и вдруг перестать существовать.

— Опять ты не замечаешь противоречия! Разве не противоречие — говорить, что тот, кого нет, несчастен, или счастлив, или каков бы то ни было? Разве, глядя на склепы Калатинов, Сципионов, Сервилиев, Метеллов за Кайенскими воротами, ты думаешь, что все эти усопшие несчастны?

— Раз уж ты стараешься поймать меня на слове, я скажу так: они не вообще несчастны, а несчастны только потому, что не существуют.

— То есть ты не говоришь: «Марк Красс — несчастен», а говоришь «Несчастный Марк Красс!» — и только?

— И только.

(14) — Но ведь все равно: что бы ты ни заявлял таким образом, ты неизбежно заявляешь, что нечто или существует, или не существует! Или тебе не довелось даже пригубить диалектики? Первое ее правило («аксиома» по-гречески; сейчас мне хорош и такой перевод, а если найдется лучше, то воспользуюсь и другим): всякое высказывание есть то, что или истинно или ложно. Стало быть, когда ты говоришь: «Несчастный Марк Красс!», то этим ты или говоришь: «Марк Красс — несчастен» (истинно это или ложно — разговор особый), или же вообще ничего не говоришь.

— Ладно, я согласен, кто мертв — тот не несчастен; ты добился-таки, чтоб я признал: кто не существует, не может быть несчастен. Ну, а мы, те, кто живем, чтобы умереть, — разве мы не несчастны? Возможна ли в жизни радость, когда денно и ночью приходится размышлять, что тебя ожидает смерть?

VIII. (15) — Напротив! Да понимаешь ли ты сам, насколько облегчаешь ты тяжесть горькой нашей людской доли?

— Как это?

188

— А вот как. Если бы и в смерти мертвые были несчастны, то над жизнью нашей царило бы бесконечное и вековечное зло; теперь же я вижу тот предел, достигнув которого, можно уже более ничего не бояться. Право, мне кажется, что ты вторишь мысли Эпихарма, писателя умного и остроумного, как все сицилийцы.

— Что это за мысль? Я не слыхал о ней.

— Постараюсь сказать ее тебе на нашем языке: ты ведь знаешь, что я так же не люблю перебивать греческой речью латинскую, как и латинской греческую.

— И совершенно правильно. Но какую же мысль высказал Эпихарм?

— Мертвым быть — ничуть не страшно, умирать — куда страшней.

— Да, я догадываюсь, как это будет по-гречески. Но что же? Ты заставил меня признать, что мертвые несчастны быть не могут; заставь теперь признать, что и обреченные на смерть тоже не несчастны!

(16) — О, это не составит труда; но «нет, стремлюсь я к большему».

— Как это не составит труда? И что это за «большее»?

— А вот что. Ведь если после смерти нет никакого зла, то и сама смерть не есть зло, так как тотчас за нею наступает посмертность, в которой, по твоим же словам, нет никакого зла. Стало быть, неизбежность смерти не есть зло: она — лишь переход к тому, что не есть зло, как это мы сами уже признали.

— Подробнее, прошу тебя! Рассуждения эти слишком тернисты и от меня требуют скорее признания, чем согласия. И что же это за «большее», к которому ты будто бы стремишься?

— Показать по мере сил, что смерть не только не зло, но даже благо.

— Не смею об этом просить, но очень хотел бы услышать: покажи хоть не все, что ты хочешь, покажи хоть только то, что смерть не зло. Перебивать тебя я не буду: гораздо охотнее я выслушаю связную твою речь.

(17) — А если я сам тебя о чем-нибудь спрошу, ты мне ответишь?

— Это уж было бы слишком самонадеянно; поэтому без крайней надобности лучше не спрашивай.

IX. — Будь по-твоему: все, что ты хочешь, я объясню по мере сил, но, конечно, не так, как пифийский Аполлон — твердо и непреложно, а как простой человек, один из многих, судящий лишь по догадке и вероятности. Далее видимого подобия истины идти мне некуда, а непреложные истины пусть возвещают те, кто притязает их постичь и величают себя мудрецами.

— Говори, как сочтешь нужным, — я готов слушать.

189

190

(18) — Итак, что же такое смерть — эта, казалось бы, общеизвестная вещь? Вот наш самый первый вопрос. Ведь одни полагают, что смерть — это когда душа отделяется от тела; другие — что душа вовсе не отделяется от тела, что они гибнут вместе, и душа угасает в самом теле. Далее, из тех, кто полагает, что душа отделяется от тела, иные считают, что она развеивается тотчас, иные — что продолжает жить еще долгое время, иные — что пребывает вечно. Далее, что такое сама душа, и где она, и откуда она, — об этом тоже немало разногласий. Иные считают, что душа — это сердце (cor), и поэтому душевнобольные называются *excordes*, сумасброды — *vecordes*, единомышленные — *concordes*, поэтому же мудрый Назика, дважды бывший консулом, прозван «Коркул», поэтому же сказано:

Элий Секст, проницательный муж великого сердца.

(19) Эмпедокл считает, что душа — это притекающая к сердцу кровь; другие — что душою правит какая-то часть мозга; третьи не отождествляют душу ни с сердцем, ни с частью мозга, но допускают, что место ее и пристанище — то ли в сердце, по мнению одних, то ли в мозгу, по мнению других; четвертые говорят, что душа — это дух (таковы наши соотечественники — отсюда у нас выражения «расположение духа», «испустить дух», «собраться с духом», «во весь дух»; да и само слово «дух» родственно слову «душа»); а для стоика Зенона душа — это огонь.

Х. Сердце, мозг, дух, огонь — это все мнения общераспространенные; а у отдельных философов есть еще вот какие. Не так уж давно Аристоксен, музыкант и философ, вслед за еще более давними мыслителями, говорил, что душа есть некоторое напряжение всего тела, такое, какое в музыке и пении называется «гармонией»; сама природа и облик тела производят различные движения души, как пение производит звуки. (20) Так говорит он, держась своего ремесла; но сказанное им было уже много раньше сказано и разъяснено Платоном. Ксенократ говорит, что у души нет ни облика, ни, так сказать, тела и что душа есть число — ибо число в природе, как еще Пифагор говорил, главное всего. Учитель Ксенократа Платон придумал, что душа разделяется на три части: главная из них, разум, помещена в голове, как в крепости, а две другие, ей повинующиеся, гнев и похоть, каждая имеет свое место: гнев в груди, а похоть под средостением. (21) Дикеарх, излагая в трех книгах свою коринфскую речь, в первой выводит множество спорящих ученых с их речами, а в двух остальных — некоего старца Ферекрата Фтиотийского, потомка (будто бы) самого Девкалиона, и он у него рассуждает, что душа — это вообще ничто, лишь пустое имя, что «одушевленные существа» называются так безосновательно, что ни в человеке, ни в животном нет никакой души и никакого духа, а вся та сила, посредством которой мы чувствуем и действуем, равномерно разлита по всякому живому телу и неотделима от тела — именно потому, что сама по себе она не существует, а существует только тело, единое и однородное, но по сложению своему и природному составу способное к жизни и чувству. (22) Аристотель, наконец, и тонкостью ума, и тщательностью труда намного превосходящий всех (кроме, разумеется, Платона), выделяя свои четыре рода начал, из которых возникает все сущее, считает, что есть и некая пятая стихия — из нее-то и состоит ум. Размышлять, предвидеть, учиться, учить, иное узнавать, а многое другое запоминать, любить, ненавидеть, желать, бояться, тревожиться, радоваться и тому подобное — все это не свойственно ни одному из первых четырех начал; потому и привлекает Аристотель пятое начало, названия не имеющее, и приискивает для души новое слово — «энделехия», что означает как бы некое движение, непрерывное и вечное.

ХІ. Вот какие есть мнения у философов о душе, если только я ненароком чего-нибудь не упустил. Обошел я стороною лишь Демокрита, мужа, бесспорно, великого, но душу представляющего случайным стечением гладких и круглых частиц: ведь у этого люда все на свете состоит из толчеи атомов. (23) Какое из этих мнений истинно, пусть рассудит какой-нибудь бог; а какое из них ближе к истине, об этом можно спорить и спорить. Что же нам делать? Будем разбираться в этих мнениях или вернемся к исходному вопросу?

— Мне бы хотелось и того и другого, хотя соединить это тяжело. Поэтому, если можно избавиться от страха смерти без этих рассуждений, — сделай это; если же без разъяснения вопроса о душе это невозможно, — что ж, займемся, пожалуй, этим сейчас, а остальным в свое время.

— Как тебе больше хочется, так и мне лучше кажется. Само рассуждение покажет: какое бы из изложенных мнений ни было истинным, все равно, смерть — не зло, а может быть, даже благо. (24) В самом деле: если душа — это сердце, или кровь, или мозг, тогда, конечно, она — тело и погибнет вместе с остальным телом; если душа — это дух, то он развеется; если огонь — погаснет; если Аристоксенова гармония — то разладится; ну, а о Дикеархе с его утверждением, что душа — ничто, вообще не приходится говорить. Все эти суждения согласны в одном: что после смерти, то нас не

касается. В самом деле, вместе с жизнью мы теряем чувства; а кто не чувствует, тому ни до чего нет дела. Правда, есть и другие мнения: они еще оставляют надежду, которая, может быть, тебя и тешит, — надежду, что души, покинув тела, возносятся в небо, как в свое обиталище.

— Конечно, такая надежда меня тешит; больше всего мне хотелось бы, чтобы так оно и было, а если это даже не так, то чтобы меня убедили, будто это так.

193

— Но тогда зачем тебе мои старания? Разве могу я превзойти красноречием самого Платона? Прочитай со вниманием его книгу «О душе» — и тебе не останется желать ничего лучшего.

— Я читал ее, и не раз; но всегда как-то получается, что пока я читаю, то со всем соглашаюсь, а когда откладываю книгу и начинаю сам размышлять о бессмертии души, то всякое согласие улетучивается.

(25) — И что же тогда? Признаешь ли ты, что души или пребывают после смерти, или гибнут, когда приходит смерть?

— Конечно, признаю!

— И если они пребывают, то что же?

— Тогда, я полагаю, они блаженны.

— А если гибнут?

— Тогда они, по крайней мере, не несчастны, ибо не существуют более: я ведь только что это признал, поддавшись твоим настояниям.

— Как же тогда и почему же тогда говоришь ты, что смерть тебе кажется злом? Ведь благодаря ей души становятся или блаженны, сохраняя бытие, или безбедны, лишаясь чувств!

ХП. (26) — Вот и расскажи мне, пожалуйста, если не трудно: во-первых, если можно, о том, что души все же пребывают и после смерти, а во-вторых, если доказать это не удастся (ведь дело это нелегкое), то объясни, почему в таком случае смерть не есть зло; ведь я боюсь, что зло не столько в том, чтобы ничего не чувствовать, сколько в том, чтобы предчувствовать это бесчувствие.

— Чтобы доказать то, что тебя прельщает, я могу сослаться на самые лучшие свидетельства, которые во всяком деле и ценятся и должны цениться выше всего, — и первым делом на всю древность, которая ближе нас была к истоку и божественному нашему происхождению, а оттого, быть может, лучше могла распознать и самую истину.

(27) Итак, еще в тех стародавних людях, которых Энний называет «престарцы», врождено было одно убеждение: смерть не лишает чувств, и человек, кончая свою жизнь, не вовсе погибает. Свидетельств этому много, и не последние из них — жреческие законы и погребальные обряды, ибо мужи столь высокого ума не блюли бы их так бережно и не карали бы нарушение их так неумолимо, если бы не держалась в их сознании мысль: смерть — это не гибель, все сокрушающая и истребляющая, смерть — это лишь как бы переселение, перемена жизни, которая великим мужам и женам открывает путь на небеса, а всех прочих, хоть и не уводит с земли, но и не уничтожает.

194

195

(28) Вот почему соотечественники наши верят, что «Ромул живет меж богов в небесах», как сказал Энний вслед за общею молвой; вот почему и у греков таким чтимым и таким насущным богом стал Геркулес, а за ними — и у нас и дальше, до самого Океана; таков же и Либер, сын Семелы, такова же и слава братьев Тиндаридов, которые для римского народа были не только помощниками в битвах, но даже

вестниками побед. Мало того! Разве Ино, дочь Кадма, которую греки величают Левкофеей, не чтится у нас как Матута? Да и все небо в конце концов не людским ли заполнено родом? XIII. (29) Ведь если пойти глубже и всмотреться в то, что сообщают нам греческие писатели, то даже те боги, которые почитаются древнейшими, окажутся взошедшими в небо от нас. Подумай, сколько их гробниц показывают в Греции, вспомни, — ты ведь посвящен! — какие предания сохраняются в таинствах мистерий, и ты убедишься, что так было повсюду. Древним людям еще незнакома была физика, которую стали изучать лишь многие годы спустя — их убеждало только то знание, которое внушала им сама природа; они не понимали причин и оснований вещей, но то, что они сами видели не раз, особенно во сне, заставляло их верить, что ушедшие из жизни по-прежнему живы. (30) Самое же незыблемое основание к тому, чтобы мы верили в существование богов, — то, что нет на свете такого дикого племени, нет такого звероподобного человека, чтобы в сознании у него не было представления о богах. Пусть многие судят о богах ложно — этому причина предрассудки; но божественную природу и суть признают все. И делается это не по людскому сговору или общему решению, держится не на уставах или законах, — а если, несмотря на это, все народы единогласны в некотором мнении, то его следует считать естественным законом.

Итак, когда мы оплакиваем смерть наших близких, то не потому ли прежде всего, что думаем; «У них отняты все блага жизни?» Не будь этой мысли, мы бы и не плакали. Здесь ведь никто не горюет о собственном несчастье — разве что испытывает боль и тоску, — а все это горестное стенание и плач поднимаются оттого лишь, что мы уверены: тот, кого мы любим, лишается благ жизни и сам это чувствует. И уверенность эта в нас — от природы, а рассудок и наука тут ни при чем.

196

XIV. (31) Но самый лучший довод — это безмолвное свидетельство самой природы о бессмертии души: забота, и немалая забота каждого из нас о том, что будет после его смерти. Когда в «Сверстниках» герой говорит: «Для будущих времен он сажит саженцы», то разве он не имеет в виду, что будущие времена прямо его касаются? Здесь рачительный земледелец насаждает деревья, плодов которых он не увидит; а великий человек разве не насаждает свои законы, уставы, государственные порядки? Рождасть детей, продолжать свой род, усыновлять наследников, заботиться о завещаниях, на самих могилах ставить памятники и похвальные надписи — не означает ли это заботы о будущем? (32) Но что говорить? Несомненно ведь, что каждый должен брать пример с лучших образцов своей породы, — а какой образец лучше, чем те, кто отроду посвятил себя помощи людям, заботе о людях, спасению людей? Да, Гераклес взошел к богам; но никогда бы он не взошел к богам, если бы не проложил туда дорогу в бытность свою меж людьми. XV. Пример этот древний, освященный общею верой; а что сказать о стольких великих мужах нашего отечества, отдавших за него свою жизнь? Разве могли они считать, что конец их жизни — это и конец их доброму имени? Никто никогда не пойдет на смерть за родину без немалой надежды на бессмертие. (33) И Фемистокл мог бы прожить свою жизнь бестревожно, и Эпаминонд, а коли взять пример поближе и поновее, то даже и я; но в сознании людском неким образом живет какое-то предчувствие будущих веков, и чем больше дар, чем выше дух, тем тверже оно держится, тем нагляднее предстает глазам. Не будь это так, кто бы в здравом уме стал подвергать себя вечным трудам и опасностям? (34) Я говорю о вождах государства — но разве не мечтают о посмертной славе и поэты? Откуда тогда такие стихи:

Граждане, киньте свой взгляд на старого Энния облик —

Облик того, кто воспел ваших деянья отцов...

Энний требует славы как награды от тех, чьих отцов он прославил сам:
Пусть не оплачут меня погребальные вопли и стоны —
Незачем! Я ведь живой буду у всех на устах.

И не только поэты — даже мастера, и те ищут посмертной славы. Иначе зачем Фидий, не имея права подписать свое имя на щите Минервы, вставил в этот щит лицо, похожее на свое? А наши философы? Сочиняя книги о презрении к славе, ни один не забывает надписать на них свое имя. (35) Поистине, если общее согласие есть голос природы и если все и всюду согласны в чем-то относительно усопших, то должны согласиться с этим и мы; и если мы считаем, что природа вещей виднее всего тем, кто сам душою превосходит других по своей природе, то есть по дарованиям и добродетелям, а чем лучше человек, тем он более служит потомству, то весьма правдоподобно, что к некоторым вещам в человеке сохраняется чувство и после смерти.

XVI. (36) Но как о том, что боги существуют, мы догадываемся от природы, а о том, что они собой представляют, узнаем рассудком, так и о том, что души живут и после смерти, мы заключаем по всенародному согласию, а о том, где они живут и каковы они, должны дознаваться рассудком. Только от недостатка такого знания и вымышляются все те преисподние ужасы, которые ты, как вижу, с полным основанием отвергаешь. Так как мертвые тела падают на землю и погребаются под землей, то люди и стали думать, что и вся дальнейшая жизнь усопших — подземная. Из такого мнения произошло немало заблуждений, а поэты еще больше их умножили. (37) Сколько раз полный театр, и с детьми и с женщинами, трепетал при величавых стихах:

Я спускаюсь к Ахеронту, в пропасти глубокие,
Сквозь пещеры, под скалами острыми нависшими,
Где густеют страшным хладом мраки преисподние...

197

Суеверие это, кажется, уже исчезает; но сила его была такова, что, когда научились сжигать тела на кострах, о преисподней все равно выдумывали такое, чего без тела ни сделать, ни вообразить нельзя. Невозможно ведь представить умом душу, которая живет сама по себе; и вот им пытались придать какой-нибудь образ или облик. Отсюда — «спуск к мертвым» у Гомера, отсюда — гадание, которое друг мой Аппий называет «некиомантией», отсюда — рассказы о недалеком от нас Авернском озере,

Где из глубей Ахеронта, в сумраки окутаны,
Всходят души, к нам влекомы кровью жертв соленою...

198

Это — призраки мертвых, но по воле поэтов призраки эти даже говорят, а ведь для этого нужен язык, нёбо, гортань, грудь, легкие во всем их складе и силе. Ведь мыслью увидеть поэты ничего не могли и вот обращались к зрению. (38) Лишь могучему гению под силу отъять ум от чувств и оторвать собственную мысль от общей привычки. Может быть, такие и были в течение столь многих веков; но в книжное время первым объявил человеческую душу бессмертной Ферекид Сиросский, — было это давно, когда в Риме царствовал мой тезка. Мнение это всего сильнее укрепил ученик его Пифагор: он приехал в Италию при Тарквинии Гордом и пленил всю Великую Грецию — как своим учением, так и своим образом и обликом; еще много веков спустя слава пифагорейцев была такова, что, кроме них, никого и не признавали за ученого. XVII. Но речь сейчас о временах более древних. Доказательств своего учения они тогда почти не приводили, кроме разве тех, которые можно выразить числами и чертежами. (39) И лишь Платон, говорят, приехал в Италию нарочно для знакомства с пифагорейцами, изучил у них все, а науку о бессмертии души — более всего, и после этого не только разделил Пифагорово мнение, но подвел под него

обоснование. Однако, с твоего позволения, мы это обоснование оставим в стороне, как и все упования на бессмертие души.

— Как? Ты довел мое ожидание до самого предела и тут вдруг бросаешь? Клянусь, я охотнее готов заблуждаться вместе с Платоном, чем разделять истину с нынешними знатоками, — я ведь знаю, как ценишь ты Платона, и сам дивлюсь ему с твоих слов.

(40) — Мужайся! Я и сам бы рад заблуждаться вместе с Платоном. Разве я выражаю в нем сомнение — хотя бы такое сомнение, какое у меня в обычае? Никоим образом! Ведь математики доказывают нам, что земля находится в середине мира, что в небесных сферах она занимает точку, называемую центром, что природа четырех всепорождающих стихий словно поделила и распределила между ними различные тяготения — суша и влага своим весом и тяжестью одинаково наклонно сносятся в землю и море, оказываясь тем самым в средоточии мира, а две другие стихии, огонь и воздух, прямо взлетают в небесные пределы, — то ли это природа их сама стремится ввысь, то ли легкое от тяжелого само собой отталкивается. Но если это так, то должно быть ясно: души, отделившиеся от тела, возносятся ввысь, будь они духовными, то есть воздушными, будь они огневыми. (41) Если же душа есть некое число (мысль скорее глубокая, чем ясная) или же пятая стихия, которую нельзя ни назвать, ни понять, то она должна быть еще цельнее и чище и поэтому возносится особенно высоко над землей.

Чем из всего здесь перечисленного считать душу, безразлично, лишь бы такая живая сила, как ум, не была загнана ни в мозг, ни в сердце, ни в кровь, как того хочет Эмпедокл. XVIII. О Дикеархе и Аристоксене, его сверстнике и соученике, при всей их учености говорить не приходится: первый из них, по-видимому, настолько был бесчувствен, что даже не заметил души у самого себя, а второй настолько поглощен своей музыкой, что и о душе судил как о песне. Между тем гармонию мы познаем из интервалов между звуками, и разные интервалы, складываясь, дают многообразные гармонии; а вот какую может дать гармонию склад и облик тела без души, я представить себе не могу. Так что пусть уж лучше он при всей своей учености уступит это место учителю своему Аристотелю, а сам учит пению: не зря ведь говорится в греческой пословице:

Кто в чем учен, тот в том пусть и старается!

199

(42) И уж подавно мы отвергнем то случайное стечение неделимых телец, гладких и круглых, в котором Демокрит считает возможным находить теплоту и дыхание, то есть одушевленность. Если же наконец душа есть одна из тех четырех стихий, из которых будто бы все состоит, то, несомненно, она состоит из воспламененного воздуха (так, кажется, преимущественно полагает Панэтий), а стало быть, неизбежно стремится ввысь: ни огонь, ни воздух не имеют в себе ничего нисходящего, а всегда тянутся вверх. Поэтому, если эти души рассеиваются, то не иначе как высоко над землею, если же продолжают жить и сохраняют свой образ, то тем несомненное они возносятся к небу, прорезая и разрывая воздух более густой и плотный, который ближе к земле. Ибо душа — пламеннее и жарче, чем этот воздух, который я назвал густым и плотным; это видно из того, что тела наши, сами по себе сложенные из земляной стихии, согреваются жаром души. XIX. (43) А вырваться из названного здешнего воздуха и прорвать его тем легче для души, что ничего на свете нет ее быстрее: никакая скорость не поспорит со скоростью души. Стало быть, если только душа остается нерушимой и подобной самой себе, то неизбежно она несется так, что прорезает и пронизывает это небо, влажное и сумрачное от испарений земли, с его

тучами, дождями и ветрами. Преодолев наконец эту область, душа встречается и узнает природу, подобную себе; тогда она останавливается среди огней, в которых тончайший воздух слился с нежарким солнечным теплом, и выше уже не движется. В самом деле: оказавшись среди такой же теплоты и легкости, как и у нее самой, она словно уравнивается на весах и более никуда не движется; здесь ее естественное место, здесь она окружена себе подобными, здесь она ни в чем не нуждается, а питает и поддерживает ее все то же самое, чем питаются и поддерживаются звезды.

(44) А так как тело наше всегда распалено всяческою алчностью и завистью ко всем, у кого есть то, чего нам хочется, мы воистину будем блаженны, лишь когда покинем тела и так освободимся от алчности и зависти. Впрочем, мы сейчас именно это и делаем: освободившись от забот, предаемся созерцанию и умозрению; это же мы будем делать и там, тем свободнее и тем полнее обращая все свои силы на рассмотрение и созерцание предметов, что уже от самой природы заронена в наши умы некая ненасытная жажда истины, а там весь вид этих мест, ожидающих нас, располагая к удобнейшему наблюдению неба, внушит нам и сугубую жажду познания. (45) Ведь именно красота и на земле еще возбудила в нас, по слову Феофраста, «отцовское и дедовское любомудрие, взожженное жаждою знания». Особенно это относится к тем, кто еще в ту пору, когда люди на земле жили во мраке, стремились провидеть сквозь этот мрак острою умственного взора.

XX. В самом деле: ведь и теперь производит впечатление зрелище проливов при устье Понта, через которые проник

Арго, в котором лучшие аргивяне

Шли за руном барана золоченого, —

или океанский пролив,

Где меж Европой и Ливией хищное плещется море.

200

Каково же должно быть зрелище, когда предстанет нам вся земля с ее положением, видом, очертаниями, с ее населенными частями и теми, которые из-за сильного зноя и холода остаются вовсе нетронутыми? (46) А мы ведь воспринимаем видимое не глазами; в самом теле нет ни единого чувства, зато (это говорят не физики, а медики, которые видели это и показали въяве) есть как бы пути, ведущие от седалища души к отверстиям глаз, носа и ушей. Поэтому-то не раз от задумчивости или от болезни мы и ничего не видим и не слышим совершенно здоровыми глазами и ушами, что лишний раз показывает нам, что видит и слышит именно душа, а не части тела, которые служат ей как бы окошками, но которыми ничего нельзя чувствовать без присутствия и участия ума. А ведь таким образом мы воспринимаем вещи самые различные — цвет, вкус, жар, запах, звук; и никогда бы мы не назвали пять чувств пятью вестниками души, если бы все не сходилось к душе и она не была бы им единственным судьей. Так вот, все эти чувства бывают и яснее и чище, когда душа свободной воспаряет туда, куда ее влечет природа. (47) Ведь хотя все эти проходы через тело к душе проделаны природою с величайшим мастерством, однако в плотных земных телах они то и дело засоряются; а вот когда кроме души ничего уже не будет, тогда ничто постороннее не мешает душе воспринять все как есть.

201

XXI. Как много сказал бы я, если бы потребовалось, о том, какие в небесных пределах явятся душе зрелища, какие обильные, какие разнообразные! (48) Размышляя об этом, я часто дивлюсь нахальству тех философов, которые восхищаются познанием природы, а начинателя и вождя своего в этом исследовании с благодарным ликованием чтят как бога: это он, говорят они, освободил их от тягчайших тиранов — от вечного

ужаса, от повседневного и повсенощного страха. О каком страхе речь, о каком ужасе? Есть ли хоть одна сумасшедшая старуха, которая боялась бы того, чего боялись будто бы вы, кабы не ваша физика, —

Глубинные святыни ахеронтские,

От смерти бледные, от мрака темные.

И не стыдно философу хвастаться, будто он такого не боится и считает за вздор? Вот где видна мера их природного ума: не будь науки, они бы и такому верили! (49) Да и не знаю, что хорошего в том уроке, который вынесли они из своей науки, — будто с приходом смерти мы погибаем без остатка. Может быть, это и так, я не спорю, — но что в этом утешительного или славного? Да и не встречалось мне, пожалуй, никаких доводов, убеждающих, что мысль Пифагора и Платона не истинна. Даже если бы Платон не приводил никаких доказательств, он убедил бы меня авторитетом (ты видишь, как важно для меня, каков сам человек!), — но доказательств он привел столько, что видно, как он старается убедить не себя, но и других.

XXII. (50) Но много есть и таких, которые, напротив, считают смерть для души чем-то вроде уголовного наказания. Это опять-таки свидетельствует лишь о том, что они не верят в бессмертие души, потому что не умеют сообразить и понять разумом, что представляет собою душа без тела. Можно подумать, что они хоть в теле-то представляют себе душу, ее склад, величину, местоположение! Но, право, если бы они могли в живом человеке увидеть все, что в нем скрыто от взгляда, то еще вопрос, заметят ли они в нем душу, или она по тонкости своей ускользнет от их взгляда? (51) Пусть-ка они подумают — те, кто твердят, будто не представляют себе душу без тела. А как они представляют себе душу в теле? Мне так наоборот, когда я вникаю в природу души, гораздо темнее и труднее бывает помыслить, какова душа, обитающая в теле, как бы в чужом доме, чем какова душа, излетевшая из тела и вернувшаяся в вольное небо, как в родную обитель. Вот если бы мы могли иметь понятие о том, чего мы никогда не видели, то, конечно, мы получили бы понятие и о самом боге, и об освобожденной божественной душе. Так что если Дикеарх и Аристоксен пришли к совершенному отрицанию души, то лишь потому, что слишком трудно понять, что она такое и какова она. (52) Да, увидеть душу душою же — великое дело; в этом и состоит смысл Аполлонова завета: «Познай самого себя». Я сам полагаю, что он велит этим познать не члены наши, не рост, не облик: ведь мы и наши тела — вещи разные, и, разговаривая с тобой, я вовсе не с телом твоим разговариваю. Стало быть, говоря «Познай самого себя», он говорит: «Познай душу свою». Ибо тело для души — лишь сосуд или иное какое вместилище: как действует твоя душа, так действуешь ты сам. Познать это — поистине достойно божества: иначе это наставление некоего мудреца не было бы приписано самому богу.

(53) Но если душа и не знает сама, какова она, то, скажи, разве она не знает, тем не менее, что она существует? разве не знает, что она движется? Отсюда — известное рассуждение Платона, которое у него развивает Сократ в «Федре», а у меня вставлено в VI книгу «О государстве»: XXIII. «Что всегда в движении, то вечно; а что сообщает кому-то свое движение или само принимает от кого-то свое движение, в том, как только кончится движение, неизбежно кончится и жизнь. Только то, что само себя движет, никогда не прекращает движения, ибо никогда не покидает самого себя: поэтому в нем — исток и начало движения всех остальных движущихся тел. (54) Само же начало начала не имеет. В самом деле, это от начала возникает все на свете, само же оно ни из чего не может родиться: будь оно чем-то рождено, оно бы не было началом. А что никогда не рождается, то никогда и не гибнет — ибо погибнувшее начало не может ни возродиться само от чего-нибудь другого, ни из себя породить что-то другое, поскольку

все, что есть, начинается лишь от начала. Итак, начало движения — в самодвижении, а оно не имеет ни начала, ни конца, иначе бы неминуемо остановилось и рухнуло бы все небо и мироздание, и не нашлось бы никакой силы, чтобы вновь привести их в движение. Так вот, если ясно, что все самодвижущееся вечно, то кто станет отрицать, что именно такова природа души? Ведь все неодушевленное движется лишь от внешнего толчка, а все одушевленное наделено движением внутренним и незаемным. В этом — природа, в этом — суть души: она принадлежит к предметам самодвижущимся, а стало быть, не рождена и бессмертна».

(55) Пусть сойдется скопом хоть вся философская чернь (так хотелось бы мне назвать всех, кто отклоняется от Платона, Сократа и их школы), они не только не сумеют объяснить это с таким изяществом, но и этого-то объяснения во всей тонкости его вывода не уразумеют. Итак, душа чувствует, что она движется; вместе с этим чувствует, что движется собственной силою, а не чужой; а стало быть, не может случиться, чтобы она покинула самое себя. Вот так мы и доказали бессмертие души. Нет ли у тебя к этому замечаний?

— Нисколько: я легко следовал за тобой, и мне и в голову не приходило возражать — настолько мне по душе это учение.

202

XXIV. (56) — Ну что ж! Тогда для тебя, может быть, не менее убедительны будут доводы, показывающие, что в этих душах людских есть что-то божественное? Если я вижу, как нечто рождается, то я могу представить, и как оно погибает. Кровь, желчь, гной, кости, мышцы, жилы, — обо всем этом, обо всем складе членов и целого тела, мне кажется, я могу сказать, из чего они сделаны и как. Душа — другое дело: если бы она была только тем, что дает нам жить, то я считал бы, что от природы душа поддерживает жизнь в человеке точь-в-точь как в лозе или дереве: ведь говоря «жизнь», мы имеем в виду именно это. А если бы душа содержала только влечения и отвращения, это бы уподобляло человека лишь животным. (57) Между тем еще в ней есть память, и притом память бесконечная о вещах бесчисленных — то, что Платон называет припоминанием высшей жизни. Так, в книге под названием «Менон» Сократ у него задает какому-то мальчишке вопросы об измерении квадрата, тот на них поребачески отвечает, но вопросы так легки, что постепенно он начинает отвечать так, словно сам учился геометрии; отсюда Сократ и заключает, что всякое учение есть не что иное, как припоминание. Еще тщательнее рассматривает он этот вопрос в другой беседе, которую вел в последний день своей жизни: здесь он показывает, что каждый встречный, будь он хоть круглым невеждою, при хорошем спросе покажет своими ответами, что он не тотчас усвоил свои знания, а извлек их, припоминая, из памяти; а ведь немислимо было бы с детства иметь в наших душах врожденные и как бы запечатленные понятия (так называемые *εἰδη*), если бы душа еще до того, как войти в тело, не окрепла в познании вещей. (58) Ведь Платон постоянно говорит, что ничто не существует в истинном смысле слова; «в истинном смысле слова» он считает существующим не то, что возникает и погибает, но только то, что сохраняет свои качества всегда («идею» — на его языке, «пробраз» — на нашем), — а именно этого душа не могла познать, будучи заключена в тело, и, стало быть, она уже знала это, когда входила в тело. Вот отчего мы изумляемся собственному знанию стольких предметов. Оказавшись вдруг в жилище непривычном и неудобном, душа не может видеть их ясно; но, собираясь с силами и оживая, начинает узнавать их путем припоминания. Таким образом, учение есть не что иное, как воспоминание. (59) У меня же самого есть особенные основания восхищаться такой вещью, как память: ведь что такое память у нас, ораторов, и в чем ее сила, и откуда она берется? Я не говорю, какую памятью

славился Симонид, какою — Феодект, как памятливым был посланный от Пирра к сенату Киней, как потом Хармад и не так давно умерший Метродор Скепсийский, как наш друг Гортензий, — нет, я говорю о памяти простых людей, особенно тех, кто искушен в каком-нибудь высоком умении и искусстве: все равно они держат в памяти столько, что трудно и вообразить широту их ума.

XXV. (60) К чему я веду эту речь? Я хочу показать, что это за сила и откуда она. Конечно, она заключена не в сердце, не в крови, не в мозге, не в атомах; может быть, в духе, может быть, в огне, — не знаю и не стыжусь признаться в своем незнании (как иные философы), а могу только сказать об этом и о любом другом темном деле, что поистине божественным будет тот ум, который твердо скажет, что душа человека — это дух или огонь. Так скажи ты мне: могла ли здесь, на земле, под этим темным и влажным небом посеяться и окрепнуть такая могучая сила, как память? Что такое память, нам не видно; но какова она — видно; а коли не это, то уж как она широка — заведомо видно. (61) Так что же она? Может быть, мы вообразим в душе какую-то емкость, в которую, как в сосуд, стекаются все наши воспоминания? Но это нелепо: как она будет наполняться, и как представить себе такие очертания души, и вообще, что это за огромная получится емкость? Или, может быть, вообразить душу подобной воску, а память — следам вещей, отпечатавшимся на воске? Но какие отпечатки могут оставлять слова и даже предметы, а главное — как безмерна должна быть величина этого воска, чтобы запечатлеть столько всего?

203

А что сказать наконец о той способности души, которая исследует скрытое, которая называется догадкой и размышлением? (62) Разве от этой земной, смертной и хрупкой природы — деяния того, кто первый дал названия всем вещам (Пифагор считал это делом высочайшей мудрости), или кто собрал рассеянных по земле людей и обратил их к общественной жизни, или кто уложил в немногие знаки букв все звуки речи, казавшиеся бесчисленными, или кто разметил движения планет, их порывы вперед и остановки? Все они — великие люди, равно как и их предшественники, которые ввели в обиход и земные плоды, и одежду, и жилища, и жизненные удобства, и защиту от диких зверей, — ведь именно это смягчило нас, воспитало и позволило перейти от необходимости к изяществу. Так и услада для слуха отыскалась в сочетании различных по природе своей звуков; так и звезды мы стали наблюдать как неподвижные, так и подвижные («планеты» — блуждающие, как их называют); и кто узрел душой их круговорот и прочие движения, тот доказал, что душа его подобна душе того, кто вывел в небе эту постройку. (63) В самом деле, когда Архимед заключил в один шар все движения солнца, луны и пяти планет, то он совершил то же, что и платоновский бог, творец мира в «Тимее»: подчинил единому кругообороту движения ускоренные и замедленные. И если в мире это не может совершиться без бога, то и в сфере своей Архимед не мог бы воспроизвести это без божественного вдохновения.

204

XXVI. (64) Но не только в таких знаменитых и славных образцах вижу я присутствие божественной силы: по мне, так ни поэт не сложит важную и полнозвучную песню без некоего небесного побуждения в душе, ни красноречие без некой высшей силы не потечет обилием прекрасных слов и богатых мыслей. А уж философия, мать всех наук, что она, если не дар богов (по выражению Платона) или создание богов (как говорю я)? Это она обучила нас сперва — почитанию самих богов, потом — справедливости меж людей, на которой держится человеческое общество, потом — скромности и высоты духа; и она же согнала мрак с души, как с очей, чтобы мы могли видеть вышнее и нижнее, первое, последнее и среднее. (65) Право же,

только божественная сила, как я думаю, могла совершить столько великого. Что можно сказать о памяти на слова и дела? что — о способности к знанию? Уж наверное то, что в самих богах ничего нельзя представить совершеннее. Я не думаю, что боги услаждаются амброзией и нектаром или радуются кубкам из рук Гебы; я не верю Гомеру, будто боги похитили Ганимеда ради его красоты, чтоб он стал виночерпием Юпитера (это еще не причина, чтобы так обижать Лаомедонта!) — нет, Гомер все это выдумал, перенося на богов людские свойства, мы же на людей переносим божеские. Что это за божеские свойства? Бессмертие, мудрость, проницательность, память. Потому я и говорю, что душа — божественна, а Еврипид даже решается говорить, что душа — бог. Если бог есть дух или огонь, то такова же и душа человека, — и как природа небес свободна от земли и воды, так и человеческая душа не содержит ни того, ни другого; если же существует некая пятая стихия, о которой первым заговорил Аристотель, то она — общая для богов и для души.

205

Следуя этому учению, вот как мы написали в своем «Увещании»: XXVII. (66) «Начала души не приходится искать на земле: в душе нет ничего смешанного и сбитого, ничего рожденного или слепленного из земли, ничего влажного, воздушного или огненного. Ибо все эти стихии не содержат никаких задатков памяти, ума, размышления, ничего способного сохранять прошлое, предвидеть будущее, обымать настоящее, — а только это и можно назвать божественным, и прийти всему этому к людям неоткуда, кроме как от бога. Стало быть, природа и суть души есть нечто особенное, отдельное от привычной и знакомой нам природы: и все, что чувствует, мыслит, живет и крепнет, — небесно и божественно, и по этой самой причине — бессмертно. Да и сам бог не может быть понят нашим пониманием иначе, чем некий отрешенный и свободный ум, отстранившийся от всякой смертной плотности, все чувствующий, все движущий и сам находящийся в вечном самодвижении».

(67) Вот какого рода и вида человеческий дух. — «Но где же он и какой же он?» — А где твой собственный дух, и какой он, — ты можешь сказать? Если я знаю меньше, чем хотел бы знать для полного понимания, то разве ты запретишь мне пользоваться хотя бы тем, что я знаю? — «Душа так бессильна, что не видит и самой себя!» — Точно так же, как и глаз: душа, не видя себя, видит все остальное. — «Она не видит даже простейшего — собственного облика!» — Может быть, даже его она видит, — но об этом пока умолчим; а вот силу свою, проницательность, память, движение, быстроту она видит. В этом ее величие, в этом божественность, в этом бессмертие, — а какого она вида и где находится, не стоит и гадать.

XXVIII. (68) Как мы прежде всего видим красоту и свет неба; потом — невообразимую стремительность его вращения; потом — череду дней и ночей, вместе со сменою четырех времен года, благоприятствующей созреванию плодов и укреплению тел; потом — солнце, которое все их ведет и правит, и луну, которая своей прибылью и убылью как бы отмечает и измеряет календарные дни, и круг, разделенный на двенадцать частей, а в нем — пять звезд, движущихся по-разному, но твердо блюдущих каждая свой путь, и образ ночного неба, повсюду украшенного звездами, и земной шар, сушею выступающий из моря, утвержденный в средоточии мироздания, охваченный двумя поясами обитаемыми и возделанными, из которых один, населенный нами, —

Под полюсом, близ Воза семизвездного,

Откуда Аквилон со свистом снег несет, —

206

а другой — южный, нам неизвестный, у греков называемый «противоземлей» антиподов; (67) остальные же части земли необитаемы из-за ледящего холода или

палящего жара, а здесь, где мы живем, всякий раз в свой срок

Сияет солнце, лес листвою кроется,

Сок животворный полнит гроздья лозные,

Поля родят зерно, в лугах цветы цветут,

Бьют родники, земля покрыта зеленью, —

далее, когда мы видим множество скота на потребу нам то для пищи, то для пахоты, то для езды, то для одежды, видим самого человека созерцателем неба и чтителем богов, а поля и моря — открытыми для его пользования, — (70) когда мы видим все это и несчетно многое другое, то можем ли мы сомневаться, что над всем этим есть некий зиждитель (если мир имел начало, как полагает Платон) или блюститель всего этого строения и заботы о нем (если все это существовало извечно, как думает Аристотель)? Точно так же и дух человеческий: как бога ты не видишь, но узнаешь бога по делам его, так душу ты не видишь, но по ее памяти, по сметливости, по быстроте движения, по всей красоте ее доблести нельзя не признать божественной сути души.

XXIX. Но где же она находится? Полагаю, что в голове, и могу даже привести тому доказательства. Но если это и не так, то где бы она ни находилась, она — в тебе. Какова ее природа? Незаемная и самостоятельная, как я думаю; но будь она хоть воздушная, хоть огненная, это к нашему делу не относится. Ты будешь верить в бога, хоть не знаешь, ни где он, ни какой он с виду; точно так же довольно с тебя знать, что есть душа, даже если не знаешь ни вида ее, ни места. (71) А знать, что есть душа, можно без всякого сомнения, если хоть малость смыслить в физике. Ведь в душе нет ничего смешанного, скрепленного, соединенного, сдвоенного; а если так, то ее нельзя разделить, разорвать, разъять, — то есть, она недоступна гибели. Ибо гибель — это и есть распад, раскол, разделение тела на части, которые до смертного мига держались какою-то связью.

207

Вот по каким и подобным соображениям некогда Сократ, обвиненный в смертном преступлении, и от защитника отказался, и перед судьями не угодничал, а держался своего вольного упорства (порожденного высотой души, а отнюдь не гордынею!). Еще в последний день своей жизни он пространно рассуждал именно об этом; немного раньше, когда ему было легко ускользнуть из-под стражи, он сам того не пожелал; и, наконец, почти уже со смертоносной чашею в руке, разговаривал он так, словно ему угрожала не бездна смерти, а восхождение в небеса. XXX. (72) Рассуждал и говорил он при этом так. Два есть пути, две дороги для душ, отходящих от тел. Кто пятнает себя людскими пороками, впадает в ослепляющие похоти и оттого или оскверняет пороком и нечестием свой дом, или затевает неискупимые коварства и насилия против своего государства, у тех дорога кривая, уводящая их прочь от сонма богов. А кто сохранил себя чистым и незапятнанным, меньше всего занимался делами телесными и всегда был от них отрешен, тот и в людском теле вел жизнь, подобную богам, и такие люди легко находят возвратный путь туда, откуда пришли. (73) При этом вспоминает он лебедей, которые даром посвящены Аполлону, а потому, что, видимо, получили от него дар предвиденья: как они, предчувствуя, что в смерти — благо, умирают с наслаждением и песнею, — так пристало умирать всем, кто добр и учен. В этом не приходится сомневаться — лишь бы не случилось с нами в наших рассуждениях о душе то, что часто бывает, когда смотришь на заходящее солнце и на этом совсем теряешь зрение; так и острота ума, обращенная на самое себя, порою притупляется, и поэтому мы утрачиваем зоркость наблюдения. Так носится наш разум, как ладья в бескрайнем море, среди сомнений, подозрений, колебаний и многих

страхов.

208

(74) Это — пример из древности и из Греции; но вот и наш Катон ушел из жизни так, словно радовался поводу умереть. Бог, обитающий в нас, запрещает нам покидать себя против его воли; но когда он сам предоставляет законный к этому повод, как некогда Сократу, недавно — Катону и нередко — многим другим, тогда поистине мудрец с радостью выйдет из этих потемок к иному свету: не ломая стен тюрьмы (чтобы не нарушать законы), он выйдет по вызову бога, словно по вызову начальника или иной законной власти. Ведь и вся жизнь философа, по выражению того же Платона, есть подготовка к смерти. XXXI. (75) В самом деле, разве не именно это мы делаем, когда отвлекаемся душой от наслаждения, то есть от тела, от домашних дел, то есть от рабского прислуживания телу, от государственных дел и в конце концов — от всяких дел? Всем этим мы именно призываем душу к себе самой, понуждаем быть наедине с собой и по мере сил удаляем от тела. А отделять душу от тела — разве это не то же самое, что учиться умирать? Поэтому будем готовиться, будем отделять себя от тела, будем, стало быть, упражняться в смерти. От этого и здесь, на земле, жизнь наша подобна будет небесной, и потом, когда мы вырвемся из этих уз, то полет наших душ будет быстрее. Ведь кто провел всю жизнь в телесных колодках, тот и высвобожденный будет двигаться лишь медленно, как те, кто долгие годы ходил в кандалах. И вот когда мы достигнем цели своего пути, тогда-то и начнется наша настоящая жизнь, ибо здешняя жизнь — это смерть, и я мог бы о ней сложить целый плач, если кому угодно.

(76) — Да ведь ты уже и сделал это в своем «Увещании», — всякий раз, как я его читаю, мне больше всего хочется покинуть этот мир, а выслушав эту твою речь, хочется еще больше.

— Будет срок, скоро и ты или передумаешь или захочешь еще сильнее: время ведь летит быстро. Во всяком случае, о том, что смерть есть зло (как тебе казалось), не может быть и речи; я даже боюсь: смерть едва ли не противоположна злу, едва ли даже не благо — ведь благодаря ей мы станем богами или соседями богов.

— Почему же ты говоришь: «Я боюсь»?

— Потому что многие с этим не согласны. А я никак не хочу, чтобы после этого нашего разговора хоть какой-нибудь довод еще мог бы убедить тебя, будто смерть есть зло.

(77) — Кто же может убедить меня после этого?

— Кто сможет? Да тут выйдут спорщики целыми толпами, и это будут не только эпикурейцы, которых я лично вовсе не презираю, но из ученых людей почему-то презирают все. Так, против бессмертия души со страстью выступал любимый мой Дикеарх — он написал три «Лесбосские книги» (по той речи, которую он держал в Митиленах) и в них старается доказать смертность души. А стоики — те уступают нам душу лишь в долгосрочное пользование, как воронам: они согласны, что души долговечны, но не согласны, что души бессмертны. XXXII. Но хочешь, я тебе скажу, почему даже при такой предпосылке смерть все-таки не есть зло?

— Как же не хотеть! Но в бессмертии души меня никто уж не заставит усомниться.

(78) — Хвалю, конечно, но чрезмерная самоуверенность опасна. Часто нас смущает какой-нибудь остроумный вывод, и мы оступаемся и меняем мнение даже в вопросах пояснее, а сейчас перед нами вопрос темный. Вооружимся же и для такого случая.

— Вооружимся, но я постараюсь, чтобы таких случаев не было.

— Итак, есть ли у нас причины обходить вниманием наших друзей-стоиков? тех

стойков, которые признают, что души, покинув тело, сохраняют жизнь, но не признают, что навеки?

— По-моему, они принимают то, что в нашем вопросе самое трудное, — что душа может существовать и без тела; а того, что и само по себе легче принять и что из принятого ими следует прямым следствием, они признать не хотят, — признают, что души живут долго, но не признают, что вечно.

209

210

— Отличное возражение: так оно и есть. (79) Тогда, может быть, прислушаемся к Папэтию, именно здесь разноречащему со своим Платоном? Ведь он всюду называет Платона божественным, мудрейшим, святейшим, даже Гомером среди философов, и только это единственное учение о бессмертии души отвергает. Он настаивает (о чем никто и не спорит), что все рожденное гибнет; а душа, по его мнению, рождается, и доказательство этому — сходство отцов и детей, которое бывает не только в облике их, но и в нраве. И второй есть у него довод: все, что способно страдать, доступно для болезни, а что подвержено болезни, то обречено на смерть; но душа способна страдать — стало быть, способна и умереть. XXXIII. (80) Этот последний довод можно опровергнуть так: Панэтий здесь словно забывает, что когда говорится о бессмертии души, то имеется в виду человеческий дух в целом, свободный от всякого смущающего движения, а не отдельные части этого духа, в которых и находят приют боль, гнев и похоти; и тот, с кем здесь спорит Панэтий, считает эти части лежащими от ума далеко и отдельно. Что же касается сходства, то оно гораздо заметнее не в человеке, а в животных, души которых не имеют разума; у людей же сходство гораздо заметнее в телесном облике, чем в душе. Но ведь и для души немаловажно, в каком заключена она теле: многое в теле обостряет дух, многое, наоборот, притупляет. Аристотель, например, заявляет, что все одаренные люди — безумцы (что утешает меня в скромности моего дарования), перечисляет много примеров и, словно считая это уже доказанным, предлагает объяснение, почему это так. А если на склад ума так влияют телесные особенности (которые, в чем бы они ни выражались, как раз и составляют сходство), то и такое сходство нельзя считать доказательством, что души рождаются вместе с людьми. (81) А о несходстве и говорить нечего: будь здесь сам Панэтий, приятель Сципиона, уж я бы спросил его, с кем же из своих сородичей сходен Сципионов внучатный племянник, который лицом был вылитый отец, а нравом такой забулдыга, что хуже, пожалуй, и найти нельзя? Или с кем сходен внук Публия Красса, человека мудрого, красноречивого и одного из первых в государстве, или с кем — сыновья и внуки многих знаменитых мужей, перечислять которых нет надобности?

Но о чем мы заговорились? Разве мы забыли, что мы собирались, порассуждав о бессмертии души, показать, что даже если душа — смертная, то все равно в смерти нет ничего дурного?

— Отлично помню; но твое рассуждение о бессмертии души хоть и было отступлением, но очень уж пришлось мне по сердцу.

XXXIV. (82) — Вижу, вижу, что цель твоя высока и ты мечтаешь вознестись в самое небо. Будем надеяться, что такая судьба нас и ждет. Но допустим, в угоду им, что души не остаются жить после смерти, — и что из того? Надежды на блаженную жизнь мы лишаемся; но что дурного, какое зло сулит нам это учение? Пусть душа погибает так же, как тело, — но разве после смерти в теле остается боль или какое-нибудь другое чувство? Никто не решается сказать такое; хотя Эпикур и приписывает это мнение Демокриту, но сами последователи Демокрита это отрицают. А в душе? В ней тоже нет никакого чувства, ибо и самой-то души уж нет нигде. А третьего не дано; где же,

спрашивается, зло? Может быть, само отделение души от тела причиняет боль? Если даже так, то какая же это малость! Но я-то думаю, что и это не так, что обычно это отъятие души совершается нечувствительно, а иногда даже с удовольствием; но в любом случае это легко, потому что происходит мгновенно.

211

(83) Но другое тебя томит и даже мучит: расставание со всем, что в жизни есть хорошего. Не вернее ли сказать: «Со всем, что есть плохого»? Мне ни к чему сейчас оплакивать людскую жизнь — я мог бы это сделать по истине и по справедливости, но зачем? Если речь идет о том, что после смерти мы не несчастны, то с какой стати делать самую жизнь несчастнее от наших причитаний? Да мы уж и писали об этом в той книге, где по мере сил сами для себя искали утешения. Стало быть, как посмотреть по сути, от всего дурного, а вовсе не от хорошего отрывает нас смерть. Недаром киренаик Гегесий рассуждал об этом так пространно, что царь Птолемей, говорят, запретил ему выступать на эту тему, потому что многие, послушавши его, кончали жизнь самоубийством. У Каллимаха есть эпиграмма на Клеомброта Амбракийского, который будто бы без всякой бедственной причины бросился в море со стены только оттого, что прочитал диалог Платона. Тому же самому Гегесию принадлежит книга «Обессиленный», в которой герой собирается кончить жизнь голодовкой, друзья его разубеждают, а он им в ответ перечисляет все неприятности жизни. То же самое мог бы сделать и я, хоть и не в такой степени, как он, считающий, что жизнь вообще никому не впрок. Не буду говорить о других — но мне самому она разве впрок? Если бы я умер раньше, чем лишился всех своих утех, и домашних и общественных, смерть избавила бы меня от бед, а уж никак не от благ.

212

XXXV. (85) Вообразим себе человека, не изведавшего зла, не понесшего ни единой раны от судьбы. Вот Метелл с четырьмя знаменитыми сынами, а вот — Приам, у которого было их пятьдесят, в том числе от законной жены — семнадцать. Над обоими власть судьбы была одинакова, но воспользовалась она ею по-разному. Метелла возложили на погребальный костер бесчисленные сыны и дочери, внуки и внучки, а Приама, потерявшего все свое потомство, у алтарного прибежища сразила вражеская рука. Если бы он умер в незыблемом царстве, среди цветущих детей,

Под штучным кровом, в варварском роскошестве, —

то лишился бы он бед или благ? Кажется, что благ. Во всяком случае, ему было бы лучше, и не пришлось бы так жалобно петь:

В огне дворцовые здания.

Приам от меча кончается,

В крови — Юпитеров жертвенник.

213

214

Как будто в это время меч не был для него самой лучшей долей! Если бы он умер раньше, все эти беды для него не существовали бы: но только теперь перестал он чувствовать несчастья. (86) Помпей, наш родственник, лежал больным в Неаполе, и вдруг начал поправляться: тогда жители Неаполя, Путеол и окрестных городов явились к нему с поздравлениями, огромной толпой и с венками на головах; нелепо это выглядело и очень по-гречески, но весьма доброжелательно. Так вот, если бы Помпей как раз тогда и скончался, ушел бы он от зла или от блага? Конечно, от зла, да еще какого! Ему не пришлось бы воевать с собственным свекром, неожиданно хвататься за оружие, бежать из Италии, терять войско, обнажать грудь перед мечом раба; а нам не пришлось бы плакать о детях его и о богатствах его в руках у победителей. Умри он

тогда, он бы умер в великом довольстве; а оставшись жить, сколько несчастий — и каких! — принял он на свою долю! XXXVI. Вот от чего спасает нас смерть: от того, что хоть и не случилось, но могло случиться. Но люди не верят, что с ними такое может произойти, и каждый надеется на судьбу Метелла — то ли потому, что на свете больше счастливых, чем несчастных, то ли потому, что в делах людских хоть что-то есть надежное, то ли просто надеяться разумнее, чем бояться.

(87) Однако допустим и это — пусть смерть отнимает у людей все их блага. Но лишение благ — несчастье ли это для мертвого? «Конечно, скажут, а как же?» Но может ли быть чего-то лишен тот, кого нет? «Лишение» — неприятное слово для нас, потому что за ним стоит такой смысл: «имел, не имеет, нуждается, желает, тоскует» — вот неудобства лишения. Кто лишен зрения, страдает от слепоты, кто лишен детей — страдает от бездетности. Но все это относится к живым; мертвые же не чувствуют отсутствия не только жизненных благ, но и самой жизни. Это я говорю о мертвых, которые не существуют; а мы, которые существуем, разве чувствуем себя лишенными рогов или крыльев? Кто решится такое сказать? Уж верно, никто. А почему? Потому что, лишась того, чего ты не имел ни от природы, ни по обычаю, ты не чувствуешь этого лишения. (88) На этом доводе приходится нам настаивать вновь и вновь, коли уж мы приняли несомненное положение, что если душа — смертна, то смерть эта не оставляет и мысли о каких-нибудь чувствах. Так вот, утвердив и установив это должным образом, нужно основательно проверить, что значит «лишение», — чтобы не осталось никакой ошибки в словоупотреблении. А именно, «лишение» — это значит: не иметь того, что хочешь иметь. Иначе говоря, в слове «лишение» есть оттенок желания, — если только говорить не в горячке, влагая в слово все, что вздумается. В слове «лишение» есть и другой смысл — когда чего-то не имеешь и чувствуешь это, но легко переносишь. Но и в этом значении мертвые не «терпят лишений», потому что для них это не означает страдания. Говорится: «Лишение блага есть зло» — но ведь даже для живого «лишение» — только там, где он чувствует нужду; так о живом можно сказать: «Он лишен царства» (да и то, пожалуй, не о тебе, а разве что о Тарквинии, изгнанном из царства), но о мертвом никак уж нельзя. «Терпеть лишение» — свойство чувствующего человека, а мертвый не чувствует — стало быть, даже чувства «лишения» нет в мертвеце.

215

216

XXXVII. (89) Впрочем, есть ли надобность об этом философствовать, когда мы видим, что и без философии предмет достаточно ясен? Сколько раз бросались на верную смерть не только вожди наши, но и все наши войска? Если бы бояться смерти — не пал бы в битве Луций Брут, защищая отечество от возврата тирана, которого сам изгнал; не бросились бы на вражьи копыта в войне с латинами — Деций-отец, с этрусками — Деций-сын, с Пирром — Деций-внук; не погибли бы в одной битве за отечество Сципионы в Испании, Павел и Гемин — при Каннах, Марцелл — в Венузии, Альбин — в Литане, Гракх — в Лукании, — кто же из них нынче несчастен? Даже испустив последний вздох, не были они несчастны: не может быть несчастен тот, у кого уже нет чувств. (90) «Но быть без чувств — это и ужасно». — Ужасно, — если это значит «быть лишенным чувств». Но если ясно, что человек, которого нет, уже не может в себе ничего иметь, то что может быть ужасно для того, кто уже не испытывает чувств и не терпит лишений? Конечно, ужас тут бывает, и нередко, но лишь оттого, что съезживается вся душа от страха смерти. Кто поймет то, что само по себе ясно, как день, — что с разрушением души и тела, с гибелью всего живого существа, с полным его уничтожением это живое существо из того, чем оно было, превращается в сущее ничто,

— тот легко поймет, что никакой нет разницы между гиппокентаврами, которых никогда не бывало, и царем Агамемноном, который когда-то был, и поймет, что покойному Марку Камиллу так же мало дела до нашей гражданской войны, как мне было при его жизни — до падения Рима. В самом деле, с чего бы Камиллу печалиться о том, что будет через триста пятьдесят лет после него, или мне — о том, что, может быть, десять тысяч лет спустя нашим городом завладеет еще какой-то народ? Но любовь наша к отечеству такова, что мы мерим ее не нашим чувством, а его собственным благом. XXXVIII. (91) Поэтому мудрецу не страшна смерть, которая ежедневно грозит ему от любой случайности и которая никогда не далека, ибо жизнь человеческая кратковременна, — ведь мудрец постоянно помогает советами государству и близким, а заботу о потомстве, хотя он его и не почувствует, считает своим долгом. Поэтому пусть даже душа подвержена смерти — все равно она посягает на вечность; если не жаждою славы, которой душа будет чужда, то жаждою добродетели, за которой слава следует неизбежно, даже если не думаешь о ней. Так уж устроено природой: как началом всего бывает для нас наше рождение, так концом бывает смерть, и как не касается нас ничто, случившееся до нашего рождения, не будет касаться и ничто после нашей смерти. Где же здесь зло, если смерть не имеет отношения ни к мертвым, ни к живым — одних уж нет, а других она не касается.

(92) Кто хочет изобразить смерть более легкой, тот уподобляет ее сну. Как будто кто-нибудь согласился бы прожить девяносто лет при условии, что шестьдесят он проживет, а остальные проспит! Не то что сам он, а даже ближние его будут против этого. Если верить мифу, то Эндимион заснул когда-то на карийской горе Латме и спит там, наверное, до сих пор. Считается, что усыпила его Луна, чтобы спящего целовать; но как по-твоему, есть ему какое-нибудь дело до ее забот? какое может быть до них дело тому, кто ничего не чувствует? Сон — подобие смерти, ты погружаешься в него каждый день, и ты еще сомневаешься, что в смерти нет никаких чувств, хотя сам видишь, что даже в ее подобии нет никаких чувств?

217

XXXIX. (93) Итак, долой этот бабий вздор, будто умереть раньше времени — несчастье! Раньше какого времени? Данного нам природою? Но она дала нам жизнь, как деньги, только в пользование, не оговорив, до которого дня. Что же ты жалуешься, если она требует свое обратно по первому желанию? Таково было ее условие с самого начала. И ведь те же люди переносят спокойно смерть маленького мальчика, а на смерть грудного младенца даже не жалуются; а ведь с него природа взыскивает строже то, что дала! «Он еще не успел отведать сладости жизни, — говорит она, — а этот уже исполнился больших надежд, начавши вкушать блага жизни». А разве не во всем считается, что лучше ухватить хоть часть, чем вовсе ничего? Точно то же самое и в жизни. И хоть прав Каллимах, когда говорит, что больше пришлось в жизни плакать Приаму, чем Троилу, однако судьба тех, кто умирает в преклонном возрасте, считается счастливой. (94) А почему, собственно? Наверное, потому, что ничего нет людям приятнее долгой жизни: ведь старость хоть и все уносит, зато приносит здравый ум, а слаще его ничего нет. Но какую же жизнь считать долгой? и что вообще может быть долгого в жизни человека?

Вот мы — дети, вот мы — юны, но всечасно крадется

Следом и подстерегает нас

218

старость, — вот и все. Но так как больше у нас ничего нет, то нам и это кажется долгим. Долгим и коротким мы называем все на свете только по сравнению с тем, что людям дано и на что они рассчитывают. На реке Гипанисе, что течет в Понт с

европейской стороны, живут, по словам Аристотеля, существа-однодневки: так вот, кто из них прожил восемь часов, тот умирает уже в преклонном возрасте, а кто дожил до заката, тот достигает глубокой дряхлости, — особенно если дело было в день летнего солнцестояния. Сравни человеческую долговечность с вечностью — и окажется, что мы почти такие же подонки, как и эти твари.

219

XL. (95) Отнесемся же с презрением ко всему этому вздору (что несерьезно, то и не стоит другого названия); порешим, что вся суть хорошей жизни — в силе души, в высоте духа, в презрении и пренебрежении ко всем людским делам и, наконец, во всяческой добродетели. А теперь, изнежившись, мы льстим себя мыслями, будто, если смерть придет раньше, чем обещали нам халдейские гадания, то мы окажемся ограблены (неведомо в чем), обмануты и осмеяны. (96) Боги бессмертные! как трепещут наши души желанием и ожиданием, как они томятся и мучатся! И каким блаженным должен быть тот путь, после которого не ждет нас больше никакая забота, никакая тревога!

220

221

Как я люблю Ферамена, как высок был его дух! Мы плачем, читая о нем, но ничего жалостного не было в смерти этого славного мужа. Брошенный тридцатью тиранами в темницу, он выпил яд, как пьет жаждущий, остаток же с шумом выплеснул из чаши и с улыбкою сказал, услышав плеск: «За здоровье красавца Крития!» Критий этот был ему злейший враг; а на пирах у греков принято было пить за здоровье тех, кто должен был поднять чашу следующим. Так пошутил доблестный муж, готовый уже испустить дух, чувствуя уже, как смерть подступала ему к сердцу; и впрямь он накликать смерть на того, за чье здоровье пил отраву: прошло немного времени, и Критий погиб. (97) Можно ли, восхваляя твердость этой великой души на пороге смерти, по-прежнему считать смерть злом?

222

223

В той же тюрьме, перед тем же кубком, так же пострадав от преступных судей, как от тиранов Ферамен, через несколько лет оказался Сократ. Какова же была та речь, которую произносит он перед судьями у Платона, уже под страхом смерти? XLI. «Велика моя надежда, судьи, — сказал он, — что, посылая меня на смерть, делаете вы доброе дело. Ибо одно из двух: или смерть начисто лишит меня чувств, или она перенесет меня отсюда в некое иное место. Если смерть угашает в человеке все чувства и подобна сну без сновидений, приносящему нам усладительный покой, то какое же это счастье — умереть, великие боги! много ли есть в жизни дней лучше, чем такая ночь! и если вся окружающая меня вечность похожа на нее, то кто в мире блаженнее, чем я? (98) Если же правду говорят, будто смерть есть переселение в тот мир, где живут скончавшиеся, то ведь это блаженство еще того выше! Подумать только: ускользнуть от тех, кто притязает здесь быть моими судьями, и предстать перед судьями, подлинно достойными этого имени, перед Миносом, Радаманфом, Эаком, Триптолемом! Встретиться с теми, кто жил праведно и честно, — да разве это не прекраснейшее из переселений? Побеседовать с Орфеем, Мусеем, Гомером, Гесиодом, — разве это ничего не стоит? Право, мне и раньше хотелось бы умереть, если можно, чтобы увидеть все, о чем я говорю! А каким утешением было бы для меня повстречать Паламеда, Аянта и других, кто осужден несправедным судом! Я попытал бы мудрость и великого царя, который шел с полчищами против Трои, и Улисса, и Сизифа, и за эти мои расспросы не заплатился бы смертным приговором, как случилось здесь. Да и вы, судьи,

голосовавшие за мое оправдание, тоже не бойтесь смерти. (99) Никакому хорошему человеку не грозит ничто дурное ни в жизни, ни после смерти, никакое его дело не ускользает от бессмертных богов, и что произошло со мной, то случилось неслучайно. И тех, кто меня обвинил, и тех, кто меня осудил, я не упрекаю ни в чем — разве что в том, что они думали, будто делают мне зло». Такова вся его речь, а лучше всего конец: «Но пора нам уже расходиться — мне, чтобы умереть, вам — чтобы жить. А какая из этих двух судеб лучше, знают только боги, а из людей, как я полагаю, никто не знает».

XLII. Право, я предпочту иметь такую душу, чем все добро всех тех, кто правил суд над этим человеком. И хотя он и заявляет, будто одни боги знают, что лучше из двух, он отлично это знает сам, как сказал перед тем; просто он старается держаться до конца своего правила: ничего прямо не утверждать. (100) Мы же лучше будем держаться правила: не может быть злом то, что природа дала в удел всем; и будем помнить, что если смерть — зло, то зло это вечное; если жизнь — зло, то смерть — конец ей, если же смерть — зло, то конца ей быть не может.

Но к чему поминать таких мужей, знаменитых добродетелью и мудростью, как Сократ или Ферамен? Один лакедемонянин, даже имя которого осталось неизвестным, и тот умел настолько презирать смерть, что шел по приговору эфоров на смертную казнь с лицом веселым и довольным; и когда какой-то недруг у него спросил: «Не над Ликурговыми ли законами ты смеешься?» — он ответил: «Наоборот! Я благодарен Ликургу за то, что он наказал меня пенею, которую я могу заплатить без долгов и процентов». Вот муж, достойный Спарты! С такой высокою душою он все мне кажется невинно осужденным. (101) Без счета таких примеров являет и наше отечество; и нужно ли мне перечислять вождей и начальников, если Катон пишет, что целые легионы без колебаний бросались туда, откуда не чаяли возврата? Таков же был дух у лакедемонян, павших в Фермопилах, о чем написал Симонид:

Путник, весть передай всем гражданам Лакедемона:

Их исполняя закон, здесь мы в могиле лежим.

А что сказал тогда их вождь Леонид? «Держитесь крепче, спартанцы, — ужинать нам сегодня придется на том свете». Могуч был этот народ, пока в силе были Ликурговы законы. А один из них в разговоре с врагом на похвальбу перса: «Наши дроты и стрелы закроют солнце!» — ответил: «Что ж, будем сражаться в тени!» (102) Таковы мужчины; а женщина? Послав своего сына на бой и узнав, что он убит, лаконянка сказала: «Для того я его и родила, чтобы он, не дрогнув, принял смерть за отечество».

XLIII. Пусть спартанцы были тверды и мужественны оттого, что государство их крепко было порядком. Но вот Феодор Киренский, философ немалознатный, разве не заслуживает восхищения?

224

Царь Лисимах грозил его распять на кресте, а он ответил: «Оставь такие угрозы для своих пурпурных царедворцев; а Феодору все равно, гнить ему под землей или над землей». Этим его изречением я воспользуюсь, чтобы сказать кое-что о предании земле и погребении — это не трудно после того, что мы недавно сказали об отсутствии всяких чувств у мертвого. Что об этом думал Сократ, явствует из книги о его смерти, на которую мы не раз уже ссылались. (103) Когда они спорили о бессмертии души и смертный миг уже приближался, Критон спросил Сократа, какого бы он хотел погребения, и услышал в ответ: «Вижу, друзья, что много времени я потерял понапрасну, — вот Критон так и не понял, что я отсюда отлечу и здесь от меня ничего не останется. Что ж, Критон, если ты сумеешь последовать за мной, то похорони меня где захочешь; но поверь, что никто из вас, когда я отойду, меня уж не догонит».

Отлично сказано: и другу он не отказал и выразил, что до всего этого ему нет никакого дела. (104) Диоген рассуждал так же, но грубей, и выражался, как киник, прямолинейнее. Он велел бросить себя без погребения. «Как, на съедение зверям и стервятникам?» — «Отнюдь! — ответил Диоген. — Положите рядом со мной палку, и я их буду отгонять». — «Как же? Разве ты почувствуешь?» — «А коли не почувствую, то какое мне дело до самых грызучих зверей?» Отлично сказал и Анаксагор, когда умирал в Лампсаке, и друзья спрашивали его, не перенести ли его тело на родину в Клазомены: «Никакой надобности в этом нет — в преисподнюю путь отовсюду один и тот же». В общем же о смысле погребения достаточно помнить одно: жива ли душа, умерла ли душа, но погребение имеет дело только с телом. А в теле, очевидно, уже не остается никаких чувств, отлетела ли от него душа или угасла вместе с ним.

XLIV. (105) Но сколько вокруг всего этого накопилось заблуждений! Вот Ахилл тащит Гектора, привязав к своей колеснице; очевидно, этим он терзает его тело и полагает, что Гектор это чувствует. Для Ахилла это месть (так ему кажется), для Андромахи — жесточайшее горе:

Ах, видела и, видя, горько мучилась,

Я Гектора в пыли за колесницею...

Точно ли Гектора? И долго ли этот труп еще будет Гектором? Лучше сказано у Акция, и Ахилл у него разумнее:

Отдал старому Приаму тело, но не Гектора.

Стало быть, ты тащил за колесницей не Гектора, а лишь тело, принадлежавшее Гектору. (106) А вот некто другой подымается из земли, не давая спать матери:

Мать, о мать, ты жалость к сыну умеряешь дремой сна;

Так услышь меня, взываю: встань, похорони меня!

Когда такие слова выпеваются напряженно и под жалобную музыку, опечаливающую весь театр, то нетрудно и впрямь подумать, что непогребенные мертвецы несчастны:

Прежде, чем зверье и птицы...

Он боится, что ему будет неудобно пользоваться истерзанными членами, а каково будет пользоваться сожженными, не боится:

Не позволяй, чтоб эти кости разметались по полю,

Оскверненные, без мяса, полуобнаженные...

(107) Чего ему бояться, выводя под флейту такие отличные стихи? Нет, после смерти всякую заботу о мертвых надо оставить. А ведь многие наказывают мертвецов, как своих настоящих врагов, — так у Энния Фиест в могучих стихах призывает проклятия на голову Атрея, чтобы тот погиб в кораблекрушении. Проклятие это жестокое, и такую гибель чувствовать тяжело; но дальше — опять пустые слова:

Сам же он на острых скалах, вспоротый, истерзанный,

Пусть повиснет битым телом, кровь и гной разбрызнувши.

Даже сами скалы ведь не больше лишены чувств, чем мертвое тело, «вспоротое и истерзанное», которому Фиест желает еще пущих мук. Если бы Атрей был способен чувствовать — это было бы жестоко; но он не способен — стало быть, это бессмысленно. А вот уж и совсем пустая угроза:

Да не будет его телу гробного пристанища,

Где, избыв людскую душу, тело отдохнет от бед.

Видишь, сколько тут суеверия: у тела есть пристанище, и мертвец находит отдых в гробнице. Нехорошо, нехорошо поступил Пелоп, не воспитав сыновей и не научив их, как и о чем следует заботиться!

XLV. (108) Но зачем перечислять суеверия того или этого человека, когда они у всех на глазах господствуют у целых народов? Египтяне бальзамируют мертвецов и сохраняют их у себя дома; персы даже заливают их воском, чтобы они дольше сохраняли обычный вид. Маги предают тела земле не раньше, чем их растерзают звери. В Гиркании простонародье кормит общинных собак, а знать — домашних; порода эта нам хорошо известна, но возвращается она для совсем особой цели: растерзанные ими, гирканцы считают их лучшими для себя гробницами. Хрисипп, во всем любознательный, собрал множество и других подобных примеров; но иные из них так отвратительны, что наша речь их страшится и сторонится. Мы с тобою можем это презирать, но среди соотечественников наших не можем этим пренебрегать, хоть и будем, пока живы, чувствовать, что мертвые уже ничего не чувствуют. (109) Пусть живые сами позаботятся, какие тут нужно сделать уступки обычаям и общему мнению, но пусть всегда помнят, что мертвым до этого нет никакого дела.

Но особенно спокойно встречаешь смерть тогда, когда закат человеческой жизни украшен достойными похвалами. Кто совершенным образом явил совершенную добродетель, о том никогда нельзя сказать, что он мало жил. Мне и самому представлялась не раз счастливая возможность вовремя умереть, — ах, если бы так оно и случилось! Приобретать мне было больше нечего, жизненный долг был выполнен, оставалась лишь борьба с судьбою. Таким вот образом, если рассудок недостаточно учит нас пренебрежению к смерти, то сама прожитая жизнь учит, что прожили мы уже достаточно, и даже больше. И хотя мертвые ничего не чувствуют, все равно, и не чувствуя, окружены они почетом и славой за себя и за свои дела: ведь слава сама по себе хоть и не заслуживает домогательства, однако за добродетелью она следует неотступно, как тень. XLVI. (110) Конечно, если толпа и судит порой справедливо о достойных людях, то это больше к чести для самой толпы, чем к счастью для таких людей; и все же, как там к этому ни относиться, у Ликурга и Солона не отнять славы законодателей, а у Фемистокла и Эпаминонда — славы доблестных воителей. Раньше Нептун смоем остров Саламин, чем память о Саламинской победе, и раньше сотрется с лица земли беотийская Левктра, чем слава битвы при Левктре! И не скоро смолкнет слава Курия, Фабриция, Калатина, двух Сципионов Африканских, Максима, Марцелла, Павла, Катона, Лелия и скольких еще других! Кто сумеет хоть сколько-нибудь им подражать, меряя их доблесть не народной молвой, а надежной хвалой достойных ценителей, тот, коли все будет хорошо, с твердым духом доживёт до самой смерти, в которой, как мы уже знаем, обретет высшее благо или, во всяком случае, ни малейшего зла. Он даже предпочтет умереть, пока все дела его идут на лад, ибо не так отрадно накопление благ, как горько их лишение. (111) Именно это, думается мне, имелось в виду в словах одного спартамца: когда знаменитый олимпийский победитель Диагор Родосский в один день увидел олимпийскими победителями двух своих сыновей, тот спартанец подошел к старику и поздравил его так: «Умри, Диагор, живым на небо тебе все равно не взойти!» Так высоко — даже слишком высоко — ценят греки (вернее, ценили когда-то) олимпийские победы, что сказавший это Диагору спартанец решил, будто ничего нет выше трех олимпийских побед в одной семье, а стало быть, и Диагору нет нужды задерживаться в этом мире, подвергаясь превратностям судьбы. Я тебе уже сказал в немногих словах, каково мое мнение, и ты согласился, что мертвые не испытывают никакого зла; а теперь хочу добавить, что в тоске и страхе эта мысль служит для нас немалым утешением. Собственную боль или боль за нас мы должны принимать сдержанно, чтобы не показаться себялюбцами. А по-настоящему мы мучимся, думая, что те, кого мы лишились, сохранили какую-то чувствительность в тех несчастиях, о которых твердит молва. Стряхнуть с себя, исторгнуть из себя этот

предрассудок — вот чего я хотел; оттого, наверно, я и говорил так долго.

XLVII. (112) — Так долго? Для меня это совсем не долго. Начальной частью твоей речи ты достиг того, что мне самому захотелось умереть; дальнейшей речью научил меня относиться к смерти с безразличием и спокойствием; а вся речь в целом заведомо привела к тому, что смерть я более не считаю злом.

— Так нужно ли мне еще делать концовку на ораторский лад? или уж оставим это искусство в стороне?

— Нет уж, не оставляй его: ты всегда считался украшением этого искусства, и по заслугам; да и оно, по правде сказать, служило украшением для тебя. Но какая же тут концовка? О чем бы ты ни повел в ней речь, я хочу послушать.

(113) — Как мыслят о смерти бессмертные боги, об этом рассказывают в школах, притом без всякой выдумки, а со ссылками на Геродота и других многих писателей. Рассказ этот известен. У аргосской жрицы было два сына, Клеобис и Битон. По обряду, жрицу должны были в день уставного праздничного священнослужения ввозить в храм на колеснице; но от города до храма было далеко, повозка запаздывала, и вот эти юноши, сбросив одежды и натеревшись маслом, встали сами под ярмо — так жрица и явилась в храм на колеснице, запряженной собственными сыновьями, а в храме взмолилась богине, чтобы дети ее за любовь свою к матери удостоились бы самой высокой награды, которую боги могут дать человеку. Юноши были при матери за трапезой, потом отошли ко сну, а поутру их нашли мертвыми. (114) Подобной молитвой, говорят, молились Трофоний и Агамед: воздвигнув храм Аполлону Дельфийскому, они преклоненно обратились к богу, прося за творение свое и труд немалую награду — ничего определенного не назвали, а только сказали: «Что для человека лучше всего». И через два дня Аполлон воочию показал, что будет им дарована эта награда: едва наступил третий рассвет, оба были найдены мертвыми. Так судил бог, и даже тот самый бог, которому все остальные уступили дар провидения. XLVIII. Есть такая сказка и о Силене: когда он попался в плен к Мидасу, то, говорят, за свое вызволение он вознаградил царя таким поучением: «Самое лучшее для человека — совсем не родиться, а после этого самое лучшее — скорее умереть». (115) Такова же мысль и в «Кресфонте» Еврипида:

Когда дитя на белый свет рождается,
Его всем домом надо бы оплакивать,
Все беды вспомнив жизни человеческой;
А кто в трудах к концу подходит смертному,
Того бы провожать с веселой радостью.

Нечто похожее есть и в «Утешении» Крантора: он говорит, что некий Элисий из Терины, горюя о смерти сына, спросил у душегадателей, за что ему такая беда? и в ответ получил три таблички с такими строчками:

Умы людские — в вечных заблуждениях.
Смерть Евфиною от судьбы назначена.
Такая смерть — на благо для обоих вас.

(116) Вот на каких основаниях утверждается, что сами бессмертные боги судят о смерти именно так. Некий Алкидамант, ритор старинный и видный, написал даже «Похвалу смерти», состоящую из перечисления всяческих людских бедствий. Обоснований этому, которых так тщательно ищут философы, здесь немного, а пространного красноречия — много. Что же касается славных смертей за отечество, то они представляются риторам не только славными, но поистине блаженными. Начинают они от Эрехфея, дочери которого сами искали смерти ради блага сограждан; поминают Кодра, который вмешался в гущу врагов в рабском платье, чтобы в царском

его не узнали, потому что был оракул: «Если царь погибнет, афиняне победят». Не забыт и Менекей, который тоже по оракулу пролил кровь за отечество; а затем — Ифигения в Авлиде, которая сама велит вести себя на жертву, «чтоб вражьей кровью оплатить свою». XLIX. Затем идут примеры более близкие: у всех на устах Гармодий с Аристокитоном, спартанец Леонид, фиванец Эпаминонд; о наших героях они не знают, да и слишком долго было бы их перечислять — столько было тех, кто показал, сколь желанна славная смерть.

(117) Если все, что я сказал, — правильно, то великое нужно красноречие и с высокого места, чтобы убедить людей или возжелать смерти или хотя бы отрешиться от страха перед ней. Ведь если смертный день не угашает душу, а лишь переселяет ее в иные места, то что может быть желаннее? Если же душа разрушается и погибает всецело, то что может быть лучше, чем уснуть на середине жизненных трудов и смежить глаза для сна, который вечен? Если так, то лучше сказал Энний, чем Солон:

Пусть не оплачут меня погребальные вопли и стоны —
Незачем!

А у древнего мудреца:

Смерть да не будет моя неоплаканной: я завещаю

Скорбным друзьям обо мне плакать над прахом моим.

(118) Ну, а я, если так случится, что бог провозвестит мне кончину, то приму это с радостью и благодарностью, почту это за освобождение из оков и из-под стражи, после которого я или возвращусь в свой дом, а может быть, и в вечный дом, или утрачу всякую чувствительность и тягость. Если же и не будет мне предвозвещения, все равно, я настрою себя так, чтобы другим этот день казался ужасным, а мне — счастливым, и не вменю во зло ничто установленное бессмертными богами или природою, матерью всего. Все мы сеяны и созданы не произвольно и не наобум, но есть несомненная некая сила, которая бдит над родом человеческим и не затем растит и питает его, чтобы по преодолении стольких трудов низринуть его в смерть, как в вековечное бедствие, — нет, скорее уж мы должны считать смерть открытым для нас прибежищем и пристанищем. (119) О, если бы могли мы поспешить к ней сразу и на всех парусах! Противные ветры сбивают нас с пути, но рано или поздно всех нас туда прибьет. Что неизбежно для всех, то может ли быть несчастьем для одного? Вот тебе и заключение моей речи, чтобы ничто в ней не оказалось обойденным или упущенным.

— Отличное заключение! и, вдобавок, убеждение мое стало во мне от этого еще крепче.

— И прекрасно! Но позаботимся теперь и о собственном добром здоровье; а завтра, и сколько дней еще мы пробудем в Тускуле, мы опять займемся всем этим, особенно же тем, что относится к смягчению страданий, страхов и страстей, ибо все это лучшие из плодов с дерева философии.

Книга II

О ПРЕОДОЛЕНИИ БОЛИ

I. (1) Неоптолем у Энния говорит в одном месте: «Философствовать необходимо, но понемногу; вообще же это занятие успеха не имеет». Так и мне, милый Брут, необходимо философствовать, — что мне еще делать, если я ничего не делаю? — однако же не «понемногу», как Неоптолему. Редко в философии «немногое» бывает известно тому, кому неизвестно все или почти все. Ведь «немногое» можно выбирать только из многого, и кто усвоил немного, тот с таким же усердием должен был изучать и все остальное. (2) Впрочем, в жизни, полной дел (да еще военных, как у Неоптолема), даже немного часто бывает на пользу и приносит свои плоды — не такие, конечно, как от всей философии, но хотя бы такие, которые временно и отчасти освобождают нас от

алчности, страдания и страха. Так и из той беседы, которую я только что вел на тускуланской вилле, почерпалось, на мой взгляд, немалое презрение к смерти, а это уже сильно способствует освобождению души от страха. В самом деле, кто боится неизбежного, тот никогда не может жить спокойно; а кто не боится смерти не только потому, что она неизбежна, но еще и потому, что в ней нет ничего ужасного, тот уже готовит себе немалое подспорье для жизненного блаженства.

226

(3) Конечно, я отлично понимаю, что многие будут рьяно со мною спорить; но без этого не обойтись, разве что вовсе перестанешь писать. Ведь даже мои речи — а в них я старался угодить вкусу толпы (ибо речи произносятся для народа, и цель красноречия — одобрение всех слушателей) — не нравились кое-кому из таких ценителей, которые хвалят лишь то, что считают посильным для собственного подражания, которые ставят искусству красноречия лишь такие цели, каких сами надеются достичь, которые не в силах вынести обилия мыслей и слов и поэтому заявляют, что сухость и вялость им милее, чем полнота и обилие, — это от них и пошла так называемая аттическая манера (хотя вряд ли они сами знали те образцы, которым пытались подражать) — манера, уже почти смолкнувшая под общий смех всего форума. (4) Что же теперь? Там нашей поддержкою был народ, здесь мы никак не можем на него рассчитывать: философия довольствуется немногими ценителями, намеренно избегает толпы, а толпа ее опасается и не любит, — поэтому кто захочет охулить всю философию в целом, тот легко может это сделать при общем сочувствии, а кто захочет напасть на ту философию, которой более всего придерживаюсь я, тем еще помогут философы других направлений. II. Тем, кто хулит философию в целом, мы дали ответ в «Гортензии»; в пользу академической школы что можно было сказать, мы со всем старанием изложили в четырех книгах «Академики»; но это нисколько не значит, что мы не хотим слушать никаких возражений — напротив, они нам желаннее всего. Ведь и в Греции философия никогда не была бы в таком почете, если бы ее не животворили разногласия и споры ученых.

(5) Вот почему я и призываю всех, кто может: отнимем же и эту славу у исыкающей Греции и перенесем ее в наш город, как уже перенесено было стараниями и усердием наших предков все остальное, что того заслуживало. Так перенесена была к нам слава красноречия и от ничтожества поднялась до таких вершин, что, наверное, как почти всегда бывает в природе, скоро уже состарится и сойдет на нет. Философии же предстоит зародиться в латинской словесности только в наши дни и не без нашей помощи, потому мы и готовы к любым нападкам и опровержениям. Если кто к ним чувствителен, так это те, кто привержен и словно привязан к тому или иному определенному учению, так что по необходимости, чтобы быть последовательными, они вынуждены защищать даже то, с чем сами не согласны. Но мы стремимся лишь к вероятному и не пытаемся идти дальше того, что нам кажется правдоподобным; поэтому мы и сами возражаем без упрямства, и чужие возражения принимаем без озлобленности.

227

228

229

(6) Если бы эти занятия были перенесены к нам, сразу бы явились у нас и книжные собрания, как у греков, — ведь у греков потому так много книг, что у них великое множество писателей; многие говорят одно и то же, оттого все и набито у них книгами. Будь у нас интерес к таким занятиям, то же самое было бы и у нас. Вот я и стараюсь возбудить таких мужей, у которых общее образование и изящество речи сочетались бы с умением философствовать разумно и последовательно. III. (7) Я знаю,

что и у нас есть много людей, величающих себя философами, и говорят, что они уже написали немало латинских книг; я далек от того, чтобы презирать их, тем более что сам я их никогда не читал — все они сами признаются в своих писаниях, что пишут, не заботясь ни о ясности, ни о последовательности, ни об изяществе, ни о красоте; а читать без удовольствия я не люблю. Что касается содержания слов и мыслей у приверженцев того или другого учения, то оно знакомо любому полужнайке; о том, чтобы выразиться получше, они сами не заботятся; так что я даже не понимаю, почему их вообще кто-то читает, кроме собственных единомышленников. (8) В самом деле: и Платона, и остальных сократиков с их последователями читают все, даже не будучи согласны с их учениями или не вполне следуя им, а вот Эпикура и Метродора не берет в руки почти никто, кроме их же собственных наследников: так и этих латинских писателей читают только те, кто согласен с их взглядами. А я полагаю так: все, что пишется, тем самым предназначается для чтения всех образованных людей; пусть мне самому и не удастся этого достичь, но что к этому надобно стремиться, для меня очевидно. (9) Поэтому нравится мне и обычай перипатетиков и Академии обо всяком вопросе рассуждать за и против — нравится не только потому, что только так можно доискаться, что в какой точке зрения ближе к истине, но еще и потому, что это — превосходное упражнение в красноречии. Первым так стал поступать Аристотель, за ним — другие; и уже на нашей памяти тот Филон, которого мы слышали не раз, ввел обычай в одни часы учить риторике, в другие — философии. К этому обычаю обратили и нас наши тускуланские друзья, и сколько у нас было времени, мы так его и использовали: до полудня упражнялись в красноречии, как и накануне, а после полудня спускались в свою Академию. О чем мы там беседовали, это я покажу не в пересказе, а почти слово в слово, как было дело и шел спор.

IV. (10) И вот, когда мы прогуливались таким образом, между нами завязалась беседа, и начало ее было такое:

— У меня нет слов, чтобы сказать, какую радость или, вернее, какую пользу принесла мне вчерашняя наша беседа. Я хорошо сознаю, что чрезмерной жажды жизни во мне не бывало, но иногда в душе моей все-таки вставал некий страх и боль при мысли о том, что свет этой жизни угаснет и все блага ее утратятся. Вот эта боязнь у меня и исчезла: честное слово, теперь это беспокоит меня меньше всего.

(11) — Ничего удивительного! В этом и сила философии: излечивать души, отвеивать пустые заботы, избавлять от страстей, отгонять страхи. Но эта сила не одинаково действует на всех: она тем действеннее, чем больше к ней предрасположена природа. «Смелым фортуна в подмогу», — гласит древняя поговорка; еще больше это можно сказать о разуме, который своими доводами как бы подкрепляет силу смелости. Тебе от природы дана высота и величие души вместе с презрением ко всему человеческому: поэтому в сильной твоей душе и осела так прочно речь моя против смерти. Но неужели ты думаешь, что она так же действует на тех, кто это учение сам придумал, обсудил, записал? Разве что лишь на некоторых! Много ли найдешь ты философов, которые бы так вели себя, таковы были бы нравом и жизнью, как того требует разум? Для которых их учение — это закон их жизни, а не только знания, выставляемые напоказ? Кто владеет собой и подчиняется собственным решениям? (12) Иных можно видеть такими легкомысленно-хвастливыми, что лучше бы им было совсем не учиться: иные — рабы денег, многие — славы, а еще того больше — похотей; и с таким их поведением удивительно расходятся их речи, а это мне кажется позорнее всего. Если человек, называющийся грамматиком, допустит в речи варварский оборот или, слывающий музыкантом, станет петь не в лад, — это будет тем позорнее, что ошибка будет как раз в том, что они должны лучше всего знать; точно так же и философ,

погрешающий в жизни, поступает тем позорнее, что ошибка его — в том самом деле, которому он берется обучать, и что, обучая науке жить, он живет, забывая эту науку.

V. — А ты не боишься, что если это так, то вся краса твоей философии оказывается ложной? Если иные хорошие философы живут недостойным образом, — не лучшее ли это доказательство, что философия бесполезна?

(13) — Это вовсе ничего не доказывает: ведь и поля не все плодоносны, хоть и возделываются, так что не прав был Акции в своих стихах:

Ведь и в дурной земле зерно хорошее

Даст всход своей природной силой всхожести, —

как поля, так не все плодоносны и души. А чтобы продолжить сравнение, добавлю: как плодородное поле без возделывания не даст урожая, так и душа. А возделывание души — это и есть философия: она выпалывает в душе пороки, prepares души к приятию посева и вверяет ей — сеет, так сказать — только те семена, которые, вызрев, приносят обильнейший урожай. Но будем продолжать, как начали. Скажи, пожалуйста, о чем тебе угодно побеседовать?

(14) — О боли — она кажется мне величайшим из зол.

— Хуже даже, чем позор?

— Нет, этого я не решаюсь сказать: мне даже стыдно, что я так быстро сбив со своего утверждения.

— Куда стыднее было бы, если бы ты на нем настаивал. Чего уж хуже, если бы тебе казалось, будто что-то есть низменней, чем позор, бесчестье, стыд! И чтобы только избежать их, разве не приходится нам принимать, более того — искать, терпеть, призывать на себя боль?

— Конечно, это так. Но пусть боль не величайшее из зол, все-таки она — зло.

— Видишь, как самое малое доказательство умерило твой ужас перед болью?

(15) — Вижу; но хотелось бы еще больше.

— Я готов попробовать; но дело это нелегкое и нужно, чтобы в душе ты мне не сопротивлялся.

— Не буду. Как вчера, так и сегодня я последую за твоим рассуждением, куда бы оно ни повело.

230

VI. — Прежде всего я скажу о неразумии большинства и о различных взглядах философов. Первый из них и по важности и по древности, сократик Аристипп без колебания объявил, что боль есть высшее зло. От него это мнение, женственно-изнеженное, унаследовал Эпикур. После него Иероним Родосский провозгласил свободу от боли высшим благом — вот каким великим злом считал он боль. Остальные же философы, кроме лишь Зенона, Аристона и Пиррона, говорили приблизительно то же, что и ты, — боль есть зло, но есть и другие, еще хуже. (16) Итак, что с порогу отвергла сама природа, сама благородная человеческая доблесть, — мысль, что боль есть худшее из зол и остается таковым даже по сравнению с позором, — такая мысль задержалась в философии на много веков. Какой долг, какая хвала, какой почет, если только он сопряжен с болью, может быть желанен для того, кто уверен, что боль — худшее из зол? Какое бесчестье, какой стыд не снесет он ради избавления от боли, которая для него — худшее из зол? Кто на свете не несчастен — и не только теперь, когда его мучат сильные боли, которые для него — худшее из зол, но даже когда он лишь предвидит, что они могут его постигнуть, — а кого они не могут постигнуть? Так и получается, что никто не может быть счастливым. (17) Метродор прямо заявляет, что счастлив лишь тот, у кого есть здоровое тело и испытанная уверенность, что оно всегда будет таким; но кому доступна такая уверенность? VII. Эпикур же говорит такое, что кажется мне вовсе

смехотворным. Где-то он уверяет, что мудрец, даже если его жечь на костре или распинать на кресте — то что же? — вытерпит, вынесет, не сломится? Клянусь Геркулесом, это славно, это самого Геркулеса достойно! Но нет, нашему твердому и суровому Эпикуру и этого мало: его мудрец даже в Фаларидовом быке будет твердить: «Как приятно! Как равнодушен я ко всему этому!» Приятно? Казалось бы, если не мучительно — и то хорошо! Ведь даже кто не считает боль за зло, и те обычно не говорят, будто распятие — приятно: они называют его жестоким, тяжким, мерзким, противоестественным — лишь бы не «злом». А Эпикур, который только боль и считает злом превыше всех зол, вдруг объявляет, что мудрец сочтет распятие приятным! (18) Я не требую, чтобы ты называл боль теми же словами, что и Эпикур, поклонник наслаждений; он-то, конечно, сказал бы в Фаларидовом быке то же, что и на собственной постели; но я вовсе не приписываю мудрости такой силы против боли. Терпеливо сносить — этого достаточно, чтобы мудрец выполнил свой долг; радоваться при этом — требование уже чрезмерное.

Да, конечно, боль — вещь жестокая, горькая, мучительная, противоестественная, терпеть и сносить ее трудно. (19) Взгляни на Филоктета, которому не стыдно было стенать, — он ведь видел, как сам Геркулес вопил на Эте от непереносимой боли. Ничем не могли помочь Филоктету стрелы, полученные им от Геркулеса, когда

Змеиным зубом жилы уязвленные

По телу с ядом разнесли мучение.

И вот он восклицает, моля о помощи, мечтая о смерти:

...Увы, увы! Кто сбросит меня

В соленую зыбь с вершины скалы?

Снедает меня, сокрушает дух

Больная, жаркая рана.

Трудно поверить, что это не зло, и к тому же немалое, заставляет его так вопить.

VIII. (20) Но взглянем дальше — на самого Геркулеса, сокрушаемого раной и самою смертью снискивающего себе бессмертие! Какие стоны испускает он у Софокла в «Трахинянках»! Когда он надел тунику, которую Деянира намазала кровью кентавра, и яд уже проник в его члены, он кричит:

231

О, как назвать, о, как такое вынести,

Что мне терпеть душой и телом выпало!

Нет, ни самой Юоны гнев безжалостный,

Ни злостные веленья Еврисфеевы

Не превзойдут коварства этой женщины!

Она меня опутала одеждами,

Безумной болью тело бередящими,

Дыхание из легких вырывающими;

Нет сукровицы в жилах обескровленных,

Все тело иссыхает, болью скручено,

Я весь отравлен тканью заразою.

Не вражья длань, не от Земли рожденная

Толпа гигантов, не в двойном обличии

Кентавр нанес удар мне поражающий —

Не сила греков и не дикость варваров

И не свирепость дальних земножителей,

Разогнанных в пути моем в кругу земном, —

Нет, это мужа погубила женщина!
IX. О сын, будь для отца ты сыном истинным:
Любовь к отцу, низвергни жалость к матери!
Схвати ее руками благочестными!
Дай увидеть, она иль я святей тебе!
Пусть смерть отца не будет неоплакана,
(21) О ком бы должен целый мир печалиться!
Увы, я плачу, плачу, словно девица,
Без стоны выносивший все труды свои!
Я обессилен, поражен и гибну я.

Встань ближе, сын, запомни муку отчую,
Взгляни на торс, изглоданный отравой,
Взгляните все! А ты, небесный сеятель,
Молю, срази меня слепящей молнией!
Опять, опять нахлынуло мучение,
Нахлынул жар. О, руки всепобедные,
(22) О, грудь моя, плечо мое, спина моя,
Ладони, под которыми Немейский лев,
Скрипя зубами, выпускал дыхание,
О, гидру длань смирившая Лернейскую,
Стада двутелых гибелью настигшая,
На Эриманфе свергшая губителя,
Из темного из Тартара изведшая
Пса — гидры трехголовое отродие,
Пронзившая дракона стоизвивного,
Что стражем был при златоносном дереве,
Победная в победах ненасчитанных,
Ни с кем, ни с чем ту славу не делившая...

Можем ли мы презирать боль, если сам Геркулес на наших глазах страдает так
нестерпимо? X. (23) Но вот перед нами Эсхил, не только поэт, но и пифагореец, как
случалось нам слышать. Как переносит у него Прометей свою казнь за Лемносскую
кражу?

Это там утаен от смертных огонь,
И его-то похитил мудрец Прометей,
И за этот обман по воле Судьбы
Казнит его страшно Юпитер.
И вот какие свои казни перечисляет он, пригвожденный к склону Кавказа:
232

Титанов племя! О мои сокровники!
Урана дети! Видите: к скале крутой
Прикован! Бурной полночи страшась, моряк
Среди зыбей причаливает утлый челн
В безлюдье диком. Так же пригвоздил меня
В пустыне Зевс. А руку приложил Гефест.
Он костылями (ремесло свирепое!)
Пробил ступни. Эриний стаи, угрюмый кряж
Здесь сторожу, к мучениям приученный,
(24) И в каждый третий, трижды ненавистный день
На тяжких крыльях Зевса посланец летит

И рвет когтями тело — корм чудовищный! —
И гложет печень жирную. Насытившись,
И кычет зычно, и крылами бьет, и хвост
Ленивый в кровь мою макает черную.
И вновь обглоданная печень вырастет,
И к корму вновь голодный прилетает гость:
Питаю сам своих мучений сторожа,
А он меня поит бессмертной горечью.
Цепями Зевса скован, не могу врага
Крылатого от горькой отогнать груди.

(25) Себе я сам стал тошен. Боль измаяла.

(26) Хочу я смерти: смерть освободит от мук,

(27) Но гибель отгоняет от меня Кронид,

(28) И к телу липнут сгустки крови мерзостной,
Старинной, за столетия свернувшейся.

(29) И в зное солнца тает кровь, и каплями

233

(30) На древний камень гор Кавказских капает.

Трудно не признать, что перед нами несчастный человек; а если он несчастен, стало быть, боль — это зло.

XI. (26) — До сих пор ты как будто со мною не разноречишь. Но я хотел бы узнать, откуда эти стихи? Я их не знал.

— Вопрос законный, и я тебе отвечу. Я ведь сейчас живу на покое?

— Так что же?

— В бытность твою в Афинах ты бывал, наверно, на уроках философов?

— Конечно, и с большой охотой.

— И ты замечал, наверно, что хотя никто из них не отличался богатством красноречия, они все же вставляли в свою речь стихотворные примеры?

— Да, а Дионисий-стоик даже очень часто.

— Верно; но у него они звучали как заученные, без отбора, без изящества; а вот Филон читал их и с должным ритмом, и с выбором, и к месту. И так как эти старческие декламации мне понравились, то и я потом стал пользоваться примерами из наших поэтов, а когда их не находилось, то многое переводил с греческого сам, чтобы и латинская речь не оставалась без прикрас такого рода. (27) Правда, это обращение к поэтам не обходится без вреда. Мужественных героев они представляют стенающими, приучая этим наши души к мягкости; а стихи их так сладостны, что не только читаются, но и сами собой запоминаются. Так, помимо дурного домашнего воспитания, помимо жизни изнеженной и вялой, еще и поэты обессиливают все мышцы нашей доблести; поэтому не без оснований Платон изгоняет их из придуманного им государства, так как они подрывают добрые нравы граждан и добрый порядок всего государственного устройства. Но мы-то, выучившись в Греции, читаем и запоминаем поэтов с детства, считая такое образование ученым и благородным.

XII. (28) Но с какой стати сердиться на поэтов? Ведь и среди философов, наставников доброго, есть такие, которые считают боль высшим злом. Тебе и самому это только что так казалось; но стоило мне спросить, хуже ли боль, чем позор, как ты сразу оставил эту мысль. Но спроси Эпикура — и он скажет, что даже несильная боль хуже, чем наихудший позор; да и сам позор плох только тем, что приносит боль. Но разве принесло Эпикуру боль это утверждение, будто она — худшее из зол? а ведь большего позора для философа и придумать нельзя. Но ты меня успокоил,

признавшись, что для тебя хуже стыд, чем боль. Если ты будешь так думать далее, то легко поймешь, как противостоять боли: ведь для нас не так важно, зло или не зло есть боль, как важно понять, чем укрепить душу против боли.

(29) У стойков есть свои приемчики, чтоб доказать, что боль не зло, — но они словно хлопочут только о словах, а не о деле. Зачем крючкотворствуешь, Эсиоп? То, что меня ужасает, ты вообще не считаешь за зло; я так этим пленен, что хочу узнать, каким это образом то, что для меня всего тяжелей, для тебя вообще не зло? — «Зло, — отвечаешь ты, — только в том, что порочно и позорно». — Не дело говоришь: не избавляешь ты меня от того, что меня томит. Что боль и злонравие — вещи разные, я знаю и сам; не объясняй мне этого, а лучше скажи, как это между болью и не болью нет никакой разницы? — «Боль не имеет отношения к счастью — оно заключено лишь в добродетели; тем не менее боли следует избегать». — Почему же? — «Она неприятна, противоестественна, труднопереносима, горька, жестока». XIII. (30) Вот сколько слов они набирают, чтобы сказать на разные лады одно — то же, что мы называем «злом». Ты не снимаешь боль, а лишь определяешь ее, называя неприятной, противоестественной, несносной; все это так, но не к лицу тебе, похваляясь на словах, терпеть поражение на деле. «Нет блага, кроме достойного, нет зла, кроме позорного», — это доброе пожелание, а не наука.

Было бы и лучше и справедливее признать, что все противное природе — зло, а все согласное с нею — благо. Если это признать, а словесную игру отбросить, то останется одно: с полным основанием мы объединяем все нравственное, пристойное, правильное, что порой мы называем общим именем добродетели, тогда как все остальное, что считается телесным благом и удовольствием, называем мелочью и вздором; и с полным основанием мы думаем, что из зол позор несравнимо превосходит все остальные, даже вместе взятые. (31) А поэтому, если только ты признал, что позор нам хуже боли, — значит, боль и впрямь ничто. Ибо если кажется тебе позорным для мужчины стонать, стенать, вопить, сетовать, терять от боли мужество и силу, а нравственность, достоинство, пристойность ты хранишь и блюдешь, меряешься по ним и сдерживаешь себя, — тогда и боль, конечно, отступит перед доблестью и ослабеет перед собранностью души. Или ни единой добродетели нет на свете, или всякое зло доступно презрению. Взять ли разумение, без которого невозможна никакая добродетель? Разве оно тебе позволит что-нибудь сделать понапрасну и без успеха? Чувство меры — разве оно позволит тебе что-нибудь сделать, выходящее из ряда вон? А справедливость? Может ли она быть в человеке, под угрозой боли способном выдать тайну, предать друзей, изменить своему долгу? (32) А мужество и его спутники — высота духа, достоинство, терпение, презрение к человеческому ничтожеству, — чем ты им ответишь? Пораженный, поверженный, жалостно стонущий, ты надеешься услышать: «О доблестный муж!»? Да тебя в таком виде и мужем-то не всякий назовет! Нет: или забудь о мужестве, или умертви в себе боль. XIV. А ты ведь знаешь: если ты потерял коринфскую вазу, то у тебя осталось нетронутым все остальное добро, если же ты потеряешь одну из добродетелей... впрочем, нет, потерять добродетель нельзя; скажем так: если ты признал, что у тебя нет какой-то добродетели, то у тебя нет и никаких других? (33) Можно ли назвать человеком сильным, высоким душой, терпеливым, хранящим достоинство, презирающим людские слабости, — тебя или, например, того же Филоктета, чтобы не говорить о тебе? Нет, не мужествен тот, кто лежит

...под скалою мрачною,

Которая плачевно отзывается

На крик, на плач, на вопль его стонающий?

Я не спорю, что боль есть боль, — иначе зачем было бы и мужество? Но я настаиваю, что подавлять ее нужно терпением, если только у тебя есть терпение, а если нет, то для чего нам выхвалять философию и тщеславиться именем философа? Боль колет? Пусть даже режет: если ты безоружен — подставь горло; если защищен мужеством, как Вулкановым доспехом, — сопротивляйся; а иначе оно перестанет быть стражем твоего достоинства, оставит тебя и покинет.

(34) Критские законы, которые освятил сам Юпитер или Минос по воле Юпитера (так говорят поэты), а затем и Ликурговы законы закаляют юношей в охоте и гоньбе, в голоде и жажде, в холоде и зное; в Спарте мальчиков даже секли перед алтарем —

Покуда кровь из тел не появлялася, —

а порою и до смерти (так мне самому рассказывали, когда я там был), но ни один из них не только не закричал, но даже не застонал. Неужели что под силу мальчику, то не под силу взрослому? И неужели голос обычая сильнее, чем голос разума?

234

XV. (35) Труд и боль — вещи разные. Они близки в конечном счете, но разница между ними остается. Труд — это усилие душевное и телесное при тяжелой и усердной работе; боль — это резкое движение в теле, противное нашим чувствам. Греки, у которых язык богаче, называют, тем не менее, то и другое одним словом; поэтому «трудолюбец» у них значит «любитель» и даже «искатель» боли, хотя трудиться и болеть — совсем не одно и то же. (О Греция, как порою ты скудна в своем обилии слов!) Итак, говорю я, боль — одно, а труд — другое: когда Гаю Марию иссекали вздутые вены, это была боль, а когда он вел полки в тяжелый зной, это был труд. А сходство между ними в том, что привычка к труду облегчает и перенесение боли. (36) Потому-то устроители греческих государств и старались закалять трудом тела юношей, а в Спарте — даже тела девушек, которые в остальных городах «изнеженно росли под сенью стен»: там не хотели, чтобы девушки походили

...на девушек Лаконии,

Которым пыль палестры, зной, и труд, и бой

Дороже азиатской плодovitости.

В самом деле, среди упражнений в таких трудах не избежать иной раз и боли — люди сшибаются, ранят друг друга, валят, падают, и сам труд оказывается как бы противоядием, смягчающим боль.

XVI. (37) А военная служба? Я имею в виду нашу, а не спартанскую, где войска шли в бой под звуки флейт, и все напевы были в анапестическом ритме. Само наше слово «войско» (exēcitus) происходит от слова «упражнение» (exercitatio). А какой труд требуется от войска на походе — нести на себе полумесячное довольствие, нести повседневную утварь, нести колья для вала! Щит, шлем и меч я не причисляю к этому грузу, как не причисляю плечи, мышцы, руки, — ведь оружие для солдата все равно что часть тела, и пользуются они им так ловко, что в случае нужды им достаточно сбросить кладь и встретить врага оружием, как собственными руками. А сами упражнения легионов, их бег, стычки, битвенный шум — разве это не труд? Здесь и учится душа принимать боевые раны; сравни с обученным воином необученного — скажешь, что это баба. (38) Откуда такая разница между новобранцем и ветераном, какую мы видим с первого же взгляда? Молодость новобранцев — отличное свойство, но терпеть труды и презирать раны учит только опыт. То же видим мы, когда несут из сражения раненых: неопытный новичок издает жалостные стоны от каждой легкой раны, а бывалый ветеран, сильный своим опытом, только зовет врача, чтобы тот помог:

О Патрокл, к тебе пришел я попросить о помощи
Раньше, чем вот эта рана станет мне погибельной:
Не могу остановить я кровь мою текущую, —
Помоги своим мне знанием, отдали мой смертный час!

235

Все, кто ранены, — у семей Эскулаповых сынов,
Мне туда не подступиться...

XVII. (39) Так говорит Еврипил, воин многоопытный. А пока он так стонет, послушаем, как отвечают ему без всякой плачевности, разумно напоминая, почему ему нужно быть тверже душой:

...Кто другим готовил смерть,
Тот всегда готов быть должен сам к подобной участи.

Патрокл, должно быть, ответит ему на ложе, чтобы залечивать рану; будь он простым человеком, на этом бы и кончилось, но здесь — никоим образом. Патрокл прежде всего спрашивает, что случилось в бою:

— Говори же, говори же, держатся ль аргивяне?
— Слов сказать не нахожу я, как нам трудно в этот раз!

236

Успокойся же и перевязывай рану. Но если бы на этом мог успокоиться Еврипил, то никак не мог успокоиться игравший его Эсоп:

Только дрогнул строй наш ярый перед счастьем Гектора... —
и так далее, не переставая мучиться, Еврипил рассказывает все. Вот как безудержна в сильном муже жажда воинской славы.

237

238

На что способен ветеран, неужели не способен муж ученый и мудрый? Способен, и даже на большее. (40) Но ведь мы сейчас говорим о привычке к труду, а не о разуме и мудрости. Старушки часто не едят по два-три дня — а отними на один день еду у атлета, и он с криком всплachtetся к Юпитеру Олимпийскому, которому служит, что он так больше не может. Велика сила привычки! Охотники ночуют в горных снегах, индусы позволяют сжигать себя, кулачные бойцы даже не вскрикнут под ударом цеста. (41) Но к чему поминать тех, для кого олимпийская победа — почти то же, что для наших предков консульство? Вот гладиаторы, они — преступники или варвары, но как переносят они удары! Насколько охотнее вышколенный гладиатор примет удар, чем постыдно от него ускользнет! Как часто кажется, будто они только о том и думают, чтобы угодить хозяину и зрителям! Даже израненные, они посылают спросить хозяев, чего те хотят, — если угодно, они готовы умереть. Был ли случай, чтобы даже посредственный гладиатор застонал или изменился в лице? Они не только стоят, они и падают с достоинством; а упав, никогда не прячут горла, если приказано принять смертельный удар! Вот что значит упражнение, учение, привычка; и все это сделал

Грязный и грубый самнит, достойный низменной доли.

Если это так, то допустит ли муж, рожденный для славы, чтобы в душе его хоть что-то оставалось вялое, не укрепленное учением и разумом? Жестоки гладиаторские зрелища, многим они кажутся бесчеловечными, и пожалуй, так оно и есть — по крайней мере, теперь; но когда сражающимися были приговоренные преступники, то это был лучший урок мужества против боли и смерти, — если не для ушей, то для глаз.

XVIII. (42) Об упражнении, привычке, навыке я уже сказал; теперь, если угодно, посмотрим, какое отношение имеет к этому разум.

— Мне ли тебя перебивать? И не подумаю — так убедительны для меня твои

речи.

— Итак, зло боль или не зло, об этом пускай судят стоики с их мелочным крючкотворством, ничего не говорящим нашим чувствам; пусть они и доказывают, будто боль — не зло. А я лишь думаю, что не все, что есть, — таково, каким оно кажется; больше того, я говорю, что именно ложным видом и сущностью вещей чаще всего бываю смущены людские умы; потому и полагаю я, что всякая боль переносима.

С чего же мне начать? Не напомнить ли вкратце о том, что уже сказано, — чтобы дальше речь пошла пространнее и легче? (43) Всякий знает, и ученый и неученый, что мужи сильные, высокого духа, терпеливые, победившие в себе людские слабости, переносят боль гораздо более стойко; и никто до сих пор не отрицал, что такая стойкость достойна похвалы. Если от людей мужественных мы этого ждем и это в них хвалим, то не стыдно ли нам самим бояться боли наступающей и не переносить боли наступившей? Кроме того, заметь, что хотя все хорошие качества души называются добродетелями (*virtutes*), слово это подходит не ко всем, а перенесено на все от одной, самой главной: ведь слово *virtus* происходит от слова *vir* (муж), а в муже первое качество — мужество, а в мужестве два главных проявления: презрение к смерти и презрение к боли. И то и другое должно быть при каждом из нас, если только мы хотим быть добродетельны, то есть хотим быть мужчинами: ведь слово *virtus* — от слова *vir*. Как же этого достичь, спросишь ты, и будешь прав: средство достичь этого обещает нам философия.

XIX. (44) Но вот является Эпикур, человек недурной и даже превосходный; что он понимает, тому и учит. Он говорит: «Пренебрегай болью!» От кого я это слышу? От того, кто сам объявил боль предельным злом. Где же тут последовательность? Послушаем его. «Если боль — предельная, — говорит он, — то она должна быть кратковременна». — «Повтори, повтори еще свои слова, а то я не совсем понимаю, что у тебя предельное и что кратковременное». — «Предельное — то, что выше всего, кратковременное — то, что быстрее всего. Вот я и презираю силу боли, от которой ее кратковременность защищает меня чуть ли не раньше, чем она наступит». — «А если эта боль такая, как у Филоктета?» — «Что ж, это боль очень сильная, однако же не предельная: болит у него только нога, а глаза, голова, грудь, внутренности, и все остальное — здоровы: стало быть, это далеко еще не предельная боль; стало быть, продолжительная боль даже содержит в себе больше удовольствия, чем тягости». (45) Ну, коли так, то я, конечно, не могу о таком великом человеке сказать, что он глуп, но скажу лучше, что он потешается над нами. Высшую боль я вовсе не считаю краткою («высшей» я ее называю, даже если есть боль на десять атомов сильнее) — я мог бы перечислить многих славных мужей, которые долгие годы испытывали величайшие мучения от подагры. Ведь хитрый Эпикур нигде не определяет ни меру силы, ни меру краткости боли, чтобы оставалось непонятно, что он считает предельной силой и что — предельной краткостью. Оставим же его разглагольствовать, ничего не говоря толком: а сами признаемся, что не у того нам надо искать лекарства против боли, кто провозглашает боль худшим из всех зол, хотя бы сам он и проявлял мужество, страдая животом и задержанием мочи.

239

Искать лекарство от боли нам надо у кого-то другого — и прежде всего у тех, кто высшим благом считает честь, высшим злом — позор. Пред их лицом ты вряд ли решишься стенать и сетовать, их голосом обращается к тебе сама добродетель: XX. (46) «Ты видел, как мальчики в Лакедемонии, юноши в Олимпии, варвары-гладиаторы на арене молча переносят самые тяжелые удары, — ты ли теперь, столкнувшись с болью, не выдержишь ее стойко и сдержанно и будешь вопить, как баба?» — Не вынесу: это

противно природе. — «Понятно. Но ведь мальчики так делают ради славы, другие — из стыда, многие — из страха; а если это совершается столь многими и столь повсеместно, вряд ли это так уж противно природе! Нет, она не только не противится этому, но даже требует этого, ибо нет для нее ничего выше и желаннее, чем честь, хвала, достоинство, блеск. Все это — разные имена для одной и той же цели, но я пользуюсь ими, чтобы охватить ее значение как можно полнее. Я хочу сказать: самое лучшее для человека — все то, что желанно само по себе, что проистекает из добродетели или заложено в ней самой, что похвально само по себе, что я назвал бы даже не высшим благом, а единственным благом. И точно так же, как я говорю о честном, я скажу и о бесчестном, только противоположное: ничего нет для человека более низкого, более презренного, более недостойного.

240

(47) Если ты в этом уверился (а ты ведь сразу мне сказал, что для тебя позор хуже, чем боль), тогда остается лишь одно: повелевать самим собой. Говорят почему-то, что в каждом человеке живут два человека: один — чтобы повелевать, другой — чтобы покорствоваться. Говорится это не зря: XXI. душа ведь разделена на две части, из которых одна причастна разуму, а другая нет. И когда говорится, что мы должны властвовать собою, это и значит, что разум должен сдерживать неразумие. От природы ведь есть во всех душах нечто мягкое, безвольное, приниженное, обессиленное, вялое; не будь в них ничего другого, не было бы ничего на свете безобразнее человека; но есть над всем этим господин и повелитель — Разум, и он-то, опираясь на самого себя и двигаясь дальше и дальше, порождает совершенную добродетель. Истинный муж и должен следить за тем, чтобы эта часть души господствовала над той, которая призвана повиноваться. (48) Каким же образом? — спросишь ты. Как хозяин над рабом, или военачальник над воином, или отец над сыном. Если та часть души, которую я называю вялою и мягкой, ведет себя постыдно и предается бабьим сетованиям и слезам, то друзья и близкие, к ней приставленные, должны одолеть ее и связать, — ведь часто, кого не убедишь разумом, того усмиришь стыдом. Вот так, — одних с помощью стражи и оков, как невольников, других, кто покрепче, но не совсем силен, с помощью увещания, как добрых воинов, — всех возможно привести к законному порядку. Так в «Омовении» мудрейший из греков жалуется так:

— Осторожней шаг, осторожней шаг,
Чтоб от встряски боль не была сильней.

(49) Пакувий это написал лучше, чем Софокл, у которого Улисс совсем уж жалобно плачется на свою рану, — но и за это скромное стенание спутники, блюдущие его достоинство, без колебания пеняют ему:

— Улисс, Улисс, твоя рана тяжка,
Но слишком пред ней ослабел твой дух,
Привыкший к войнам...

(Поэт умен и понимает, что привычка к боли — отличная наставница для героя).

(50) И Улисс у него сдержан в своей великой боли:

— Держите меня! Рана мучит меня!
Откиньте одежду! О, горе мое!
Так он начинает слабеть, но тотчас собирается с духом:
— Прикройте меня, отойдите прочь,
Оставьте меня: каждый шаг и вздрог
Больнее делают рану.

Видишь, как он притих? Это не в теле улеглась мука, это душа очистилась от боли. Вот почему в конце драмы он, умирая, сам укоряет других:

— Встать лицом к лицу с судьбою — долг наш, а не плакаться!

Таково мужское дело; плач оставьте женщинам.

Так слабейшая часть души подчинилась разуму, как устыдившийся воин — строгому военачальнику.

241

XXII. (51) Человек, наделенный совершенной мудростью (такого человека еще нам не встречалось, но, по суждениям философов, можно описать, каким он будет, если будет), вернее сказать — его разум, достигший в нем совершенства, будет так распоряжаться низшими частями души, как справедливый отец достойными сыновьями: ему довольно будет одного лишь знака, чтобы без всякого труда и усилия достигнуть цели: он сам себя ободрит, поставит на ноги, научит, вооружит, чтобы выйти на бой, как на неприятеля. Вооружит, но как? Собранностью, напряженностью, приказом самому себе: «Берегись позора, берегись вялости, берегись всего, что недостойно мужа». (52) Полезно припоминать истинные образцы высокого духа — как Зенон Эгейский вытерпел все пытки, но не выдал своих сообщников по заговору против тирана; как Анаксарх, ученик Демокрита, попавшись на Кипре царю Тимокреонту, вынес всяческие муки, ни от чего не отрекшись; как индеец Калан, неученый варвар, рожденный в предгорьях Кавказа, живой добровольно взошел на костер. А у нас едва заболит нога или зуб (пусть даже все тело!), как мы уже и вытерпеть этого не можем. Ибо и в боли и в радости мы так изнежены и легкомысленны, что растекаемся всем своим существом и без крика не выносим даже пчелиного укуса. Но вот Гай Марий, муж истинный, хотя и мужиковатый, перед тем как резать ему ногу, запретил привязывать себя к доске; до той поры никто на это не решался, а теперь так делают многие — почему? По его примеру. Однако какова при этом боль, показал сам Марий: вторую ногу резать он уже не дал. Так Марий как муж преодолел сильную боль и как человек отказался принять без необходимости сильнейшую. Стало быть, главное — только в том, чтобы владеть собой. Как это бывает, я показал; и эти раздумья о том, чего требуют от человека терпение, сила и высота духа, не только сдерживают душу, но и некоторым образом заглушают боль.

242

XXIII. (54) Как порою и в сражении воин слабый и робкий при виде врага бежит со всех ног, бросив щит, и поэтому нередко погибает, не получив даже раны, а воин стойкий остается цел, так и те, кому страшен даже вид боли, бывают поражены до обморока и валятся без сил, а кто выстоит, тот отходит, укрепившись духом. Между душой и телом есть некоторое сходство: как напряженное тело легче поднимает груз, а расслабленное склоняется под ним, так точно и душа в напряжении одолевает всякую тяжесть, а в расслаблении бывает угнетена и не в силах восстать. (55) По правде сказать, напряжение души необходимо при исполнении всякого долга — оно как бы единственный страж этого долга. Особенно же важно это при перенесении боли: не вести себя приниженно, робко, нерадиво, по-рабски или по-женски и прежде всего подавлять и сдерживать тот самый Филоктетов плач. Стенать мужчине иногда позволительно, хоть и редко; вопить непозволительно даже и женщине. Это и есть тот неумеренный плач, который на похоронах запрещен XII таблицами. (56) А если и случится вскрикнуть мужу сильному и мудрому, то разве лишь затем, чтобы усилить свое напряжение, — так бегуны, состязаясь, кричат что есть сил, так, упражняясь, подают голос атлеты, так кулачные бойцы, ударяя противника, вскрикивают, выбрасывая вперед свой цест, — это не потому, что им больно или что они трусили, а потому, что при крике все тело напрягается и удар получается сильнее. XIV. В самом деле: разве при восклицании напрягаются только грудь, гортань, язык, издающие и

изливающие голос? Все тело, до кончиков ногтей, как говорится, участвует в этом крике. (57) Честное слово, я видел, как Марк Антоний с таким напряжением произносил речь в свою защиту от закона Вария, что даже коленом касался земли. Как баллисты пускают камни и прочие предметы тем сильнее, чем больше напряжения и силы вложено в толчок, так и голос, бег, удар становятся тем сильнее, чем больше в них напряжения. Раз уж такова сила напряжения, что стон от боли может послужить укреплению души — будем этим пользоваться; но если в этом стоне звучат только бессилие, унижение, жалоба, то стонущий так недостоин зваться мужчиной. Если такой стон поднимает дух — мы понимаем, что это голос человека сильного и мужественного; если же он даже не ослабляет боли, то зачем нам зря искать позора? Что позорнее мужчины, плачущего как баба? (58) Что я говорю о боли, то имеет и более широкий смысл: одно и то же напряжение души потребно для сопротивления во всяком деле, а не только там, где боль. Гнев разжигает, похоть подстрекает человека — и от того и от другого у него один и тот же оплот, одно и то же оружие; но сейчас об этом говорить не будем, потому что речь у нас теперь идет о боли. Чтобы выносить боль спокойно и сдержанно, очень важно всей душой, как говорится, сосредоточиться на том, что честно и нравственно. Я уже сказал, и еще буду говорить, что по самой природе своей мы стремимся и влечемся к нравственности; и если мы заметим ее свет впереди, то уже ничто не убавит нашей готовности все снести и стерпеть ради нее. От этого бросаются в опасности битвы, в бою не чувствуют ран, а если и чувствуют, то все равно им лучше умереть, чем на шаг отступить от достигнутого достоинства. (59) Сверкающие мечи были перед Дециями, когда они бросились на строй врагов — и честь благородной смерти заглушила в них страх перед ранами. А Эпаминонд, разве стонал он, отдавая вместе с кровью свою жизнь? Он принял родину, покорную лакедемонянам, а оставил родину, покорившую лакедемонян, — вот утешения, вот лекарства, облегчавшие его предельную боль!

243

XXV. (60) Ты спросишь: а в мирное время, а дома, а на ложе? Тогда придется говорить о тех, кто не часто появляется в бою, — о философах. Был среди них Дионисий Гераклеяский, человек легкомысленный; он учился у Зенона быть сильным и на этом отвык от боли. Но, захворавши почками, он со стонами стал восклицать, что все, что он раньше думал о боли, — это вздор. Клеанф, его товарищ по школе, спросил его, откуда такая перемена мнения; тот ответил: «Когда я обращался к философии, я не мог переносить боли, и уже это доказывало, что боль есть зло; теперь, потратив много лет на философию, я по-прежнему не переношу боли — стало быть, боль есть зло». Тогда Клеанф, говорят, топнул оземь ногой и произнес стих из «Эпигонов»:

Амфиарай подземный, слышишь, слышишь ли? —

под Амфиараем имея в виду Закона и огорчаясь, что друг от него отступил. (61) Другое дело — наш Посидоний, которого я и сам видел, и слышал, что о нем рассказывал Помпей. Возвращаясь из Сирии, он проездом на Родосе захотел послушать Посидония; а узнав, что тот тяжело болен и все суставы у него невыносимо болят, захотел хоть посмотреть на знаменитого философа. Он пришел к Посидонию, приветствовал его и достойными словами изъяснил, как жаль ему, что он не может послушать речи философа. Но тот возразил: «Уж ты-то можешь их послушать — я не допущу, чтобы из-за какой-то боли в моем теле столь видный муж пришел ко мне понапрасну». И дальше, рассказывал Помпей, философ, лежа, стал серьезно и подробно рассуждать именно о том, что нет блага, кроме чести; а когда огонь боли жег его еще сильнее, он приговаривал: «Полно, боль, полно! Сколько ты меня ни мучь, никогда я не признаюсь, что ты — зло».

XXVI. (62) Короче говоря, все труды бывают терпимы, если цель их — благородная известность. Разве мы не видим: у какого народа в чести гимнастические игры, у того никто, берущийся в них состязаться, не избегает боли? А у какого ценятся ловкость в охоте и скачке, там стремятся к этому, не обращая внимания на боль. А наше честолюбие, наша жажда почестей? Через какой костер не пробегал тот, кто старался собрать побольше голосов? Так и Сципион Африканский никогда не выпускал из рук сократика Ксенофонта, особенно хваля в нем ту мысль, что для полководца и солдата одни и те же труды тяжелы по-разному — полководцу они легче, потому что ему за них выше честь. (63) Но бывает и так, что и бессмысленная толпа имеет свое мнение о чести, а истинную честь и нравственность увидеть и понять не может; и люди, сбитые с толку голосом толпы и мнением большинства, впадают в заблуждение и полагают почетным то, что превозносит толпа. Ты — у всех на виду, и потому-то я не хочу, чтобы ты разделял суждения всех и считал бы за лучшее то же, что и все. У тебя есть свое собственное суждение; и если ты останешься доволен собой в том, что считаешь правильным, то победишь не только самого себя, как я только что говорил, но все и всех. (64) Поставь себе единственную цель: считай, что прекраснее всего широта души и высота души, тем более превознесенной, чем более она презирает всякую боль; прекраснее всего, потому что здесь душа довлеет себе и не нуждается ни в народе, ни в его рукоплесканиях. А мне всегда казалось похвальнее то, что совершается не напоказ и не при всех — не потому, что от людей надо прятаться (всякое хорошее дело стремится к свету!), а потому, что сознание собственной добродетели дороже любого скопища зрителей.

XXVII. (65) При этом прежде всего нужно заботиться, чтобы та терпеливость к боли, которую я все время призываю тебя подкреплять напряжением души, одинаково распространялась на все. Часто многие из тех, кто храбро принимали и переносили раны, сражаясь из жажды победы, или ради славы, или за свою свободу и права, теряли всякое самообладание при болезни и не могли терпеть ее боль, — ведь прежде подвергали они себя боли не по разуму и мудрости, а из-за рвения и славы. Точно так и дикие варвары могут ожесточенно рубиться мечами, но не могут мужественно переносить болезнь. Греки, наоборот, отвагой не отличаются, но по обычаю своему весьма рассудительны; столкновения с врагом они не выносят, но болезни терпят достойно и сдержанно. А кимвры и кельтиберы опять-таки бывают бешены в битвах и слезливы в болезнях. Ибо только там, где распоряжается разум, возможно ровное поведение. (66) Но если посмотреть на тех, кто движим убежденностью или рвением и поэтому на пути к своей цели не сламывается от боли, то мы неизбежно придем к выводу, что или боль не есть зло, или же если даже называть злом все неприятное и противное природе, то это такая малость, что добродетель легко ее заглушает до полной неprimетности. Не забывай об этом, прошу тебя, ни днем, ни ночью. Рассуждение это имеет более широкий смысл и относится не только к вопросу о боли. Ибо если все мы будем избегать позора и стремиться к чести, то мы сможем перенести не только уколы боли, но и молнии судьбы, — особенно если у нас при этом есть такое убежище, как то, о котором мы разговаривали вчера. (67) В самом деле, если мореходу, преследуемому пиратами, некий бог вдруг скажет: «Бросайся в море! Тебя уже готов принять или дельфин, как Ариона Мефимнейского, или Нептуновы кони, которые «над волнами несут колесницу», и они умчат тебя, куда угодно», — разве не отбросит он всякий страх? Вот точно так же и мы, теснимые суровыми и тягостными муками, знаем: если они становятся несносны, то от них есть куда бежать.

Вот и все, что собирался я тебе сказать. Но, может быть, ты по-прежнему

остаешься при своем мнении?

— Никоим образом! Вот уже за два дня я избавился от страха перед двумя вещами, которых я больше всего боялся.

— Тогда завтра — опять в урочный час, как мы договорились; а в философской беседе я уж тебе никак не откажу.

— Отлично, и тогда обычные занятия будут до полудня, а теперешние — в это же время.

— Так и сделаем; а я постараюсь пойти навстречу лучшим твоим желаниям.

Книга III

ОБ УТЕШЕНИИ В ГОРЕ

I. (1) Отчего бы это, Брут: состоим мы из души и тела, но забота о теле давно уже стала наукою, и открытие пользы от нее освящено самими бессмертными богами; а исцеление души и до своего открытия не казалось столь необходимым, и после открытия не было в таком почете, и теперь не столь многим дорого и приятно, а гораздо чаще кажется людям сомнительно и опасно? Уж не потому ли, что телесные недуги и немощи мы чувствуем душой, а душевную болезнь телом не чувствуем? Ведь душе приходится судить о своей болезни лишь тогда, когда то, что судит, само уже больное. (2) Если бы природа сотворила нас так, что мы могли бы созерцать ее непосредственно, следовать за нею в жизни как за лучшим путеводителем, нам не так уж были бы надобны и разум и учение. Но природа посеяла в нас лишь искры огня, и когда вдруг дурной нрав или ложное мнение сбивает нас с пути, то эти искры гаснут, и свет природы становится более не виден.

Есть в наших душах врожденные семена добродетелей, и если дать им развиваться, природа сама поведет нас к счастью. Однако мы, едва явившись на свет, уже оказываемся в хаосе ложных мнений и чуть ли не с молоком кормилицы, можно сказать, впиваем заблуждения. От нее мы переходим к родителям, от родителей к учителям и впиваем все новые и новые заблуждения, так что истина уступает тщете, а сама природа — укоренившимся предрассудкам. II. (3) Вдобавок к этому, являются поэты с важным видом учености и мудрости, их слушают, читают, заучивают, и слова их западают в душу. Наконец приходит, так сказать, главный учитель — народ, эта все отовсюду клонящая к пороку толпа, — и тогда, окончательно заражаясь лживыми мнениями, мы совсем забываем природу, и лучшими ее знатоками нам кажутся те, кто не знает для человека ничего прекраснее, достойнее и выше, чем почести, власть и народная молва. В конце концов каждый человек, искатель истинной чести, к которой путь поисков показывает одна природа, оказывается в совершенной пустоте и видит перед собою не яркий образ добродетели, а только смутный образ славы. Слава бывает и не смутная, а прочная и видная — это согласная похвала добрых людей, неподкупный суд понимающих ценителей о выдающейся добродетели, такая слава — это словно эхо добродетели. (4) Иная же слава, пытающаяся ей подражать, опрометчивая, неразумчивая, сплошь и рядом готовая хвалить и грехи и пороки, — это слава народная, она лишь подражает чести и нравственности и этим разрушает их красоту. Из-за этой своей слепоты люди, желая самого лучшего, но не зная, ни какое оно, ни где его искать, — иные рушат свои государства, иные губят самих себя. Да и само стремление их к лучшему часто оказывается мнимым — не по злой воле, а потому, что оно сбивается с пути. Кто увлечен стяжательством, кто похотью, у кого душа в такой смуте, что остается один лишь шаг до безумия, — а именно таковы многие неразумные, — разве все это не нуждается в лечении? Или страдания души меньше, чем страдания тела, или для тел лекарства есть, а для душ — нету? III. (5) Нет, душевные немощи куда губительнее и многочисленнее телесных. Они тем и пагубны, что затрагивают и

волнуют душу. «Душа блуждает, — как говорит Энний, — ничего не в силах ни стерпеть, ни вынести, вечно алчущая...» Не буду говорить о других болезнях, но даже с этими двумя, горем и алчностью, может ли сравниться хоть какая из телесных болезней? Кто скажет, будто душа неспособна исцелить себя, когда и для тела-то лекарства находит именно душа? И если выздоровлению тела много помогает природа самих тел, но все же не все лечащиеся выздоравливают, то душа, если есть к тому добрая воля и к услугам советы мудрецов, выздоравливает несомненно.

(6) Наука об исцелении души есть философия, но помощь ее приходит не извне, как помощь против телесных болезней, — нет, мы сами должны пустить в дело все силы и средства, чтобы исцелить себя самим. Впрочем, о философии в целом и о том, как следует к ней стремиться и ею овладевать, мы уже достаточно сказали в нашем «Гортензии». О более существенных вопросах мы и потом не переставали ни говорить, ни писать; так и в этих книгах мною изложено то, о чем случилось мне беседовать с друзьями на тускуланской вилле. В первых двух беседах речь шла о смерти и о боли; третий день бесед составит эту третью книгу. (7) В нашу Академию мы спустились, когда день уж клонился к вечеру, и предложили одному из присутствующих назначить тему для беседы. Затем речь пошла так:

IV. — Представляется мне, что мудрец доступен для горя.

— А для других душевных волнений? для страха, гнева, похоти? Все это у греков называется «страстями» (pathe) — дословно это можно было бы перевести «страдание», но это не совпадает с нашим словоупотреблением. Так, греки называют «страданиями» и такие чувства, как жалость, зависть, ликование, радость, — все движения души, неподвластные разуму; а у нас для всех этих движений взбудораженной души есть, по-моему, более точное слово «волнение» или «страсть», тогда как «страдание» в этом значении, если я не ошибаюсь, мало употребительно.

(8) — По-моему, тоже.

— Так может ли все это случиться с мудрецом?

— Полагаю, что может.

— Как бы тогда эта хваленая мудрость не оказалась слишком дешевой — больно уж она близка к безумию!

— Как? Всякое душевное волнение кажется тебе безумием?

— И не мне одному: как это ни поразительно, предкам нашим казалось точно то же еще за много веков до Сократа, от которого пошла вся житейская и нравственная философия.

— Как же это так?

— Что такое безумие? Страдание и болезнь ума: [нездоровый, страждущий ум мы и называем безумным. (9) Философы называют болезнями все волнения души без исключения, ни один глупец не свободен от них; но кто подвержен болезни, тот болен, и это относится ко всем, кто не мудрец, — все они душевнобольные]. Здоровье души, говорят они, — в покое и постоянстве; в ком этого нет, тех называют душевнобольными, полагая, что смута в душе, как и смута в теле, здоровьем быть не может.

V. (10) Не менее тонко рассуждали наши предки, когда называли «безумием» волнение души, не освещенное светом ума. Отсюда видно, что все, кто давал вещам имена, чувствовали то же, что и Сократ, а вслед за ним стоики — что всякий неразумный есть душевнобольной. Ибо душа, охваченная болезнью, — а болезнью, как сказано, философы называют всякое взволнованное состояние, — так же больна, как и тело, охваченное болезнью. Так и получается, что неразумие есть род безумия или, что одно и то же, сумасшествия. Латинские слова выражают все это лучше, чем греческие

(как и во многих других случаях); но об этом в другой раз, а сейчас — ближе к делу. (11). В самом смысле их уже раскрыто, что

VI. (12) — Итак, ты сказал, кажется, что мудрец подвержен горю?

— Именно так.

— Что ж, это показывает в тебе настоящего человека: мы не каменные, в каждой душе от природы есть нечто нежное и мягкое, откликающееся на горе, как на погоду. Поэтому не лишены смысла слова Крантора, одного из лучших философов в нашей Академии: «Я нимало не согласен с теми, кто восхваляет какую-то бесчувственность, которой не может быть и не должно быть. Я не хотел бы заболеть; а если заболею, то не хотел бы лишиться чувств, даже если бы у меня что-нибудь отсекали или отрывали от тела. Ибо слишком дорогой ценой покупается эта бесчувственность, душа грубеет, а тело цепенеет». (13) Но еще вопрос, не сказаны ли эти слова лишь из сочувствия к нашему слабосилию и из снисхождения к нашему слабодушию; мы же попытаемся не только обрубить ветви наших горестей, но выкорчевать самый их корень. Правда, глупости так глубоко в нас засели, что всегда что-нибудь останется; но постараемся оставить лишь самое неизбежное.

Дело обстоит так: чтобы избавиться от несчастий, нужно исцелиться душой, а этого нельзя достичь без философии. Поэтому, взявшись за дело, предадим себя ей для исцеления и, если захотим, — исцелимся. Я пойду и дальше и изъясню тебе это для исцеления не только от скорби, но и от всех других душевных волнений (болезней, как говорят греки), — однако же начну с того, о чем объявлено. Сперва, с твоего позволения, я изложу это на стоический лад короткими доводами, а затем уже распространю в моей обычной манере.

VII. (14) Тот, кто мужествен, — уверен в себе (не говорю «самоуверен», потому что это слово обычно понимается в дурном смысле); кто уверен в себе — тот чужд страха, ибо страх с уверенностью несовместим. Кто подвержен горю, тот подвержен и страху; (15) что присутствием своим вызывает в нас горе, то приближением и угрозой — страх. Так горе противодействует мужеству. Стало быть, скорее всего, кто подвержен горю, тот подвержен и страху, и душевному надлому, и подавленности. А кто всему этому подвержен, тот тем самым впадает в рабство, признает поражение. Кто допустил в себе горе, тот допустил вместе с ним и робость и малодушие. Мужественному человеку все это чуждо — стало быть, и горе ему чуждо. А мудрец — всегда мужественный человек — стало быть, мудрец не подвержен горю. Кроме того, всякий, кто мужествен, тем самым высок духом; кто высок духом, тот непобедим; кто непобедим, тот смотрит на дела человеческие свысока и с презрением; но презирать то, что причиняет горе, невозможно; стало быть, мужественный человек никогда не чувствителен к горю. Но мудрец всегда мужествен — стало быть, он не подвержен горю. И как помраченный глаз плохо способен к своему делу, и остальные части тела, и все тело в целом, потеряв равновесие, неспособно к своему назначению и делу, — так же и помраченная душа неспособна выполнять свое дело. А дело души в том, чтобы толково пользоваться разумом, и у мудреца она всегда такова, что он пользуется им наилучшим образом; стало быть, душа мудреца никогда не помрачается. Горе же есть помрачение души — стало быть, мудрец всегда остается ему чужд.

245

VIII. (16) Сходным образом можно сказать и об умеренности — о той добродетели, которую греки называют *sophrosyne* не от слова *sophron*, а я — то умеренностью, то сдержанностью, а иной раз скромностью. Не знаю только, можно ли называть это качество «годностью» (*frugalitas*), потому что у греков это слово имеет более узкий смысл — «полезность для чего-либо» (*chresimon*). Наше слово шире — оно

включает такие понятия, как воздержание, незловредность (то есть нежелание никому другому вредить — у греков для этого нет слова, а могло бы быть слово *ablabeia* и тому подобные). Если бы не эта широта, если бы слово имело лишь тот узкий смысл, который ему иные приписывают, никогда бы Луций Пизон не получил своего почетного прозвища «Фруги». (17) На самом же деле Фруги («годным») у нас называется тот, кто не покинет пост из страха (это — трусость), кто не утаит негласного долга из жадности (это — несправедливость), кто не поведет дело плохо по необдуманности (это — неразумие); стало быть, наше слово «годность» обнимает три названные добродетели — мужество, справедливость и разумность, — ибо во всех добродетелях есть нечто общее, все они связаны и сопряжены между собой, — а само по себе это слово означает четвертую добродетель, «годность». Вот что к ней относится: движения души, стремящейся размерять и умерять, укрощающей похоть, блюдушей в каждом деле сдержанное постоянство; а противоположный этому порок называется «негодностью». (18) Слово *frugalitas* происходит от слова *fruges* (зерно), означающего лучший из плодов земных; слово *nequitia* (негодность) — от того, что в дурном человеке нет ничего (*nequidquam*) хорошего. (Это последнее объяснение немного натянуто, все же мы его допускаем; если же оно неверно, пусть это будет простая игра слов.) Человек «годный» или, если угодно, сдержанный и умеренный, непременно бывает ровен; кто ровен, тот спокоен; кто спокоен, тот чужд всякого смятения, а в том числе и горя. Но все это — свойства мудреца; стало быть, опять-таки, мудрец не подвержен горю.

Поэтому недаром Дионисий Гераклеяский оспаривает гомеровское сетование Ахилла:

Сердце вспухает мое надмением горького гнева,
246

Стоит лишь вспомнить о том, как лишился я чести и славы.

(19) Разве здорова рука, которая вспухла, и разве любой член, вспухши, не обнаруживает этим свою болезнь? Так и вспухающая душа свидетельствует о пороке. А у мудреца душа не знает порока, не знает надмения, не знает вспухания — всего, что свойственно гневливой душе, — стало быть, мудрец никогда не гневается. Но в ком гнев, в том и желание; кто разгневан, тот, естественно, желает нанести своему обидчику как можно больше вреда; а кто этого достиг, тот, понятным образом, веселится, то есть радуется чужому несчастью. Мудрец таких чувств не знает, а стало быть, опять-таки не подвержен гневу. Если бы мудрец был подвержен горю, он был бы подвержен и гневу; но не будучи подвержен гневу, он не подвержен и горю.

(20) Далее, если бы мудрец был подвержен горю, он был бы подвержен и состраданию и зависти (*invidentia*) — не говорю «ненависти» (*invidia*), которая бывает, когда человек не может видеть чужого счастья; но ведь от слова «видеть» можно без двусмыслицы произвести и слово «зависть», которая бывает, когда человек слишком заглядывается на чужое счастье, как сказано в «Меланиппе»:

Кто там на юность чад моих завидует?
247

Это кажется неправильностью, но у Акция звучит прекрасно: не «завидовать кому-нибудь», а «завидовать на кого-нибудь». X. (21) Мы предпочитаем держаться разговорного обычая, а у поэтов свои права, и он выразился смелее. Сострадание и зависть сводятся к одному и тому же: кто испытывает боль от чьего-то несчастья, тот испытывает боль и от чужого счастья: так Феофраст, горюя о гибели друга своего Каллисфена, не может не удручаться благополучием Александра, — поэтому он и пишет, что Каллисфена судьба свела с мужем великой мощи и великой удачи, но не ведающим, как этим счастьем пользоваться. Таким образом, как сострадание есть горе

о чужом несчастье, так зависть есть горе о чужом счастье. Кто подвержен зависти, тот подвержен и состраданию; мудрец не подвержен зависти, следовательно, и состраданию так же. Если бы мудрец горевал о ком-то, это было бы сострадание; стало быть, мудрец опять-таки чужд горя.

248

(22) Так говорят стоики, пользуясь своими скомканными умозаключениями. Но об этом следовало бы сказать пространнее и обильнее, пользуясь, однако, преимущественно теми же доводами и рассуждениями, какими пользовались философы самые сильные и мужественные. Ибо друзья наши перипатетики, самые красноречивые, самые ученые, самые глубокие, считают лучшим для души волнение или болезнь средней силы; а по-моему, это неверно. Всякое зло, даже средней силы, остается злом; и мы полагаем, что в мудреце ему не должно быть места. Как тело, страдающее болезнью средней силы, все-таки не будет здоровым, так и душа в подобном состоянии здорова быть не может. Недаром наши предки, во всем удачливые, по сходству с телесной скорбью называют «скорбью» и душевные болезни. (23) Так ведь и греки называют этим словом душевные волнения: они зовут «болезнью», то есть «страданием», всякую душевную смуту. В нашем языке лучше: «горем» или «скорбью» называются те болезни, которые впрямь похожи на болезни тела, в отличие от непохожих — похоти или неумеренной радости, возвышенно-ликующего настроения души; даже страх не так уж похож на болезни, хоть он и близко родствен горю. Но как мысль о телесной болезни, так и мысль о душевном горе неотделима от представления о боли. Стало быть, нам надобно прояснить истоки этой боли, то есть исходную причину как душевного горя, так и телесной болезни. Ибо как врачи, обнаружив причину болезни, считают, что лечение уже у них в руках, так и мы, отыскав причину скорби, найдем и средства ее лечения.

XI. (24) Так вот, причина всего в нашем ложном мнении — и причина не только горя, но и остальных душевных волнений, которых насчитывается четыре вида и много разновидностей. Ибо всякое волнение есть движение души, или чуждое разуму, или пренебрегающее разумом, или непокорное разуму, и это движение получает толчок от ложного мнения о благе или зле, соответственно чему и четыре рода волнений делятся на два разряда. А именно, два рода волнений исходят из мысли о благе: первое, буйная радость и непомерная веселость, вызывается мыслью о каком-то большом наличном благе; второе, алчность, которую можно назвать похотью, есть несдержанное и неподвластное рассудку влечение к тому, что кажется нам великим благом. (25) Стало быть, эти два рода волнений, буйная радость и похоть, являются от мысли о благе, тогда как два другие, страх и скорбь, — от мыслей о зле. Именно, страх есть мысль о великом зле предстоящем, а тоска — о великом зле, уже наличном, и к тому же свежем, от которого, естественно, встает такая тоска, что мучащемуся кажется, будто он мучится поделом. Эти-то волнения, словно неких фурий, напускает на жизнь нашу неразумие человеческое; им-то и должны мы сопротивляться всеми силами и средствами, если только хотим прожить свой жизненный срок в покое и мире. Но об этом — в свое время; а теперь по мере сил будем искоренять горе. Это надо сделать, потому что ты сказал, будто допускаешь горе и в мудреце, тогда как я с этим нисколько не согласен: горе есть вещь низкая, жалкая, убогая, от которой надо спасаться, так сказать, на всех парусах и веслах.

XII. (26) Каков тебе кажется

Внук Тантала, сын Пелопа, браком похитительным

Взявшего у Эномай в жены Гипподамию?

А ведь он был правнуком Зевса! И вот — не он ли надломлен и попран:

— Прочь, прочь от меня, гости-чужеземцы!
Чтоб я не задел вас ни словом и ни тенью —
Так тело мое пропитано злодейством!

Ты проклинаешь себя, ослепляешь себя, Фиест, за преступление, которое совершено не тобою! Ну, а как не сказать о сыне Солнца, что он недостойн видеть собственного отца?

Глаза погасли, тело скорбью высохло,
Изъели слезы кожу щек бескровную,
И борода, склокочена, не стрижена,
Покрыла грудь, слезами увлажненную.

249

И тут, глупец Эет, ты сам себе причинил все эти неприятности! Ничего этого не было в том несчастье, которое послал тебе случай, и времени прошло уже достаточно, чтобы вспухшая душа опала (ведь горе, как я покажу далее, заложено в памяти о недавнем зле). Плачешь ты не столько о дочери, сколько в тоске о царстве. Дочь ты ненавидел, и поделом; а к потере царства был совсем не равнодушен. Как бесстыден этот плач скорби о том, что ему уже не править над свободными людьми! (27) Тиран Дионисий, изгнанный из Сиракуз, в Коринфе учил малых детей — так не хотелось ему расставаться хоть с какой-то властью! И разве не бесстыден Тарквиний, взявшись воевать с теми, кто не мог выносить его гордыни? Не сумев вернуть себе царство оружием вейентов и латинов, он удалился, по преданию, в Кумы и там скончался от старости и скорби.

XIII. И ты все-таки считаешь, что мудрец подвержен горю, то есть несчастью? Ибо если всякое душевное волнение — несчастье, то горе — это пытка. В похоти есть жар, в легкомыслии — радостное веселье, в страхе — унижение, но в горе — нечто худшее: смерть заживо, мука, угнетение, омерзение; оно терзает душу, выедаёт ее, приканчивает ее. Если мы не избавимся от этой страсти, не отбросим ее от себя, то и несчастье нас не покинет.

(28) Прежде всего бросается в глаза, что горе существует лишь тогда, когда кажется, будто нас гнетет некое великое зло. Эпикур, например, считает, что всякая тоска от природы есть мысль о зле: достаточно вдуматься в сколько-нибудь большое зло и представить, что оно может постигнуть и тебя, как мы сразу почувствуем тоску. Киренаики же полагают, что тоску причиняет не всякое зло, а только неожиданное и непредвиденное. Этим тоска и в самом деле усугубляется: все неожиданное кажется нам тяжелее. Отсюда и справедливые слова:

— Я ведь знал, что дети смертны, и взрастил их смертными;
Я их сам послал под Трою на защиту Греции;
И я знал, что не на пир их шлю, а на побоище.

XIV. (29) Такое предведение будущих бед смягчает их приход: кажется, что издали видишь подступающее. Так, у Еврипида хорошо говорит Тесей (привожу, по моему обычаю, его слова в переводе):

— Запали в душу мне советы мудрые, —
Я загодя себя готовил к бедствиям:
К внезапной смерти, к горестным скитаниям,
К любой беде, что мог вообразить мой ум,
Чтоб горе непредвиденно не грянуло
И не терзало сердца неожиданно.

(30) Что Тесей запомнил у мудрого советника, то Еврипид говорит о самом себе: ведь он слушал уроки того самого Анаксагора, который, узнав о смерти сына, будто бы

сказал: «Я знал, что мой сын смертен». Из этих слов явствует, что несчастья горьки для тех, кто их не предвидел. Несомненно, все, что считается злом, от неожиданности делается еще хуже. И хотя не одним этим усиливается скорбь, все же при смягчении боли многое зависит от подготовленности души и от общей готовности — пусть же человек всегда помнит о своей человеческой участи. И поистине замечательно и божественно — заранее держать в мысли и понимании удел всех людей, ничему происходящему не удивляться и не мнить, будто чего нет, того и быть не может:

250

— Когда у нас успех во всем, тогда-то вот особенно
Готовым надо быть к тому, какие нас невзгоды ждут:
Расстройство в денежных делах, опасности, изгнание.
И, возвращаясь из чужих краев к себе на родину,
Того и жди, что или сын набедокурил, или же
Жена скончалась, дочь больна. Чтоб ни одно событие

251

Не ново было, мы должны его считать естественным.

252

XV. (31) Если Теренций так кстати высказал свою почерпнутую из философии мысль, то почему бы и нам, философам, из которых он черпал, не сказать то же самое еще лучше и тверже? Никогда философ не меняется в лице — за то и бранила всегда Ксантиппа своего мужа Сократа, что он с каким видом уходил из дома, с таким и приходил. И вид этот был не такой, как у старого Марка Красса, который, по словам Луцилия, смеялся один-единственный раз в жизни, — нет, всегда он был, судя по рассказам, спокоен и ясен. И понятно, что выражение лица его никогда не менялось: ведь дух его, отпечатлевшийся на лице, не знал изменений. Поэтому я охотно беру у киренаиков их оружие против неожиданности и случайности, и этим повседневным размышлением о будущем отражаю его удары. В то же время я продолжаю считать, что причина скорби — не природа вещей, а людское о них мнение: если причина — в вещах, то почему предвиденные неприятности становятся легче? (32) В этом предмете можно разобраться и глубже, приняв во внимание учение Эпикура: всякий человек испытывает горе, видя себя в несчастьи, даже если эти неприятности предвиденные и ожидаемые или уже привычные. Ибо неприятность не умалется от давности и не облегчается от предвидения: задумываться о будущих неприятностях и вообще о будущем — пустое дело, потому что всякая беда достаточно тяжела, когда приходит. Кто все время размышляет, что с ним может приключиться, тот живет в вечной муке, и особенно опасна эта добровольная мука, если ожидаемое зло так и не наступает: вот и приходится жить в вечном томлении, либо терпя зло, либо воображая его. (33) Средств к облегчению в горе у такого человека имеется два: во-первых, отвлечься от мыслей о дурном, и во-вторых, обратиться к помыслам о наслаждении. Душа, по мнению Эпикура, может повиноваться разуму и следовать за ним: вот разум и запрещает ей всматриваться в неприятное, отвлекает от горьких размышлений, притупляет внимание к наблюдаемым несчастьям; а затем, отвлекши нас от этого, тянет в другую сторону и побуждает сосредоточить умственное созерцание на различных удовольствиях, которых, по его мнению, вдоволь у мудреца и в памяти о прошлом, и в надеждах на будущее. Мы пересказали это своими словами, эпикурейцы выражаются по-своему; но мы будем смотреть не на то, как они говорят, а на то, что именно говорят.

XVI. (34) Прежде всего эпикурейцы напрасно порицают размышления о будущем. Ничто так не притупляет и не снимает скорбь, как привычка постоянно в течение всей жизни думать о том, что все может случиться, размышлять о

человеческом уделе, помнить о жизненном законе и повиновении ему — все это не усугубляет горя, а отменяет его. Точно так же, размышляя о превратностях жизни и о человеческой слабости, человек не скорбит, а напротив, более всего извлекает блага из философии. В самом деле, с одной стороны, рассматривая дела человеческие, он выполняет главную задачу философии, с другой стороны, он в несчастьях закаляет свою душу тремя утешениями: во-первых, он долго размышляет о том, что может случиться, и уже это одно весьма облегчает и смягчает тягости жизни; во-вторых, он научается человеческую долю выносить по-человечески; в-третьих, он видит, что единственное зло в нашей жизни — это вина, а вины не бывает там, где случившееся не зависит от человека. (35) Что же касается того, чтобы после отвлечения от зол обратиться духом ко благам, то это вздор. Ведь не в нашей власти забыть, хотя бы притворно, обо всем беспокоящем, что кажется нам злом: оно нас терзает, мучит, язвит, жжет огнем, не дает дышать. И когда ты приказываешь противоестественно забыть об этом, то отнимаешь этим даже то единственное средство, которое дала нам от застарелой боли сама природа! Средство это медленное, но верное, и приносит его давность времени.

253

Ты велишь мне думать о хорошем и забыть плохое? Это было бы отлично сказано и достойно философа, если бы под «хорошим» ты имел в виду то, что действительно есть лучшего для человека. XVII. (36) Допустим, Пифагор, или Сократ, или Платон обратились бы ко мне с такою речью: «Отчего ты в прахе, отчего ты в горе, отчего уступаешь и поддаешься судьбе? Она может тебя задеть и уколоть, но не может сломить твоих сил. Велика сила добродетелей; разбуди же их, если они заснули! Тогда с тобою прежде всех будет мужество, и оно вдохнет тебе в душу такую силу, что все людские неприятности ты сможешь презирать и ставить ни во что. С тобой будет умеренность, она же сдержанность, она же «годность», о которой я недавно говорил, и она не допустит тебя ни до чего негодного и позорного — а что негоднее и позорнее, чем изнежившийся мужчина? Справедливость тоже не допустит тебя до этого; хоть, казалось бы, здесь ей и нечего делать, она покажет тебе, что ты дважды несправедлив: во-первых, домогаешься чужого, то есть в смертной доле — доли бессмертных, а во-вторых, ропщешь на то, что тебе приходится возвращать взятое лишь во временное пользование». (37) А что ты ответишь разумению, когда оно докажет тебе, что добродетель самодовлеет, что ее достаточно не только чтобы жить достойно, но и чтобы жить блаженно? Если бы добродетель опиралась на что-то внешнее, а не начиналась и кончалась в самой себе, обнимая все свое и ни в чем постороннем не нуждаясь, то, право, не за что было бы так прославлять ее на словах и так стремиться к ней на деле. Если это те блага, к которым ты меня призываешь, Эпикур, то я повинуюсь, бегу за тобой, вижу в тебе вождя, забываю по твоему приказу обо всех несчастьях, тем более что и несчастьями-то их считать нельзя. Но нет — ты обращаешь мои мысли к наслаждениям. Каким? Телесным, как я понимаю, — или же к таким, которые даже в воспоминаниях или в надеждах убажуют тело. Разве не так? Разве неверно толкую я твое учение? Есть ведь и такие, которые уверяют, что мы не понимаем Эпикуровых слов. (38) Именно это говорит и говорил во всеуслышание в бытность мою в Афинах старый Зенон, человек язвительнейший. По его словам, блажен тот, кто пользуется наслаждением в настоящем и уверен в том же самом и впредь — на всю жизнь или на большую часть ее; боль не нарушит его наслаждения, а если и нарушит, то сильная будет кратковременна, а в долгой будет больше приятного, чем неприятного. Кто так думает, тот и блажен, особенно если и бывшие блага не миновали его, и страх перед смертью и богами ему незнаком. Вот тебе очерк блаженной жизни по Эпикуру, с

собственных слов Зенона, чтобы никто не мог усомниться.

254

XVIII. (39) Но что же? Неужели призыв к такой жизни и мысль о ней могут поднять дух тому же Фиесту или Эету, о которых я недавно говорил, или Теламону, изгнанному из отечества и скитающемуся в нищете? Теламону, о котором говорили с изумлением:

Теламон ли то, чья слава простиралась до неба,

Чьи слова ловили греки, полные почтения?

(40) Если кто, по словам той же драмы, «павши с трона, пал и духом», то лечиться им надобно у суровых философов древности, а не у нынешних проповедников наслаждения. Много ли хорошего можно услышать от них? Пусть они считают, что для высшего счастья нужна свобода от боли (это еще не все, что они называют наслаждением, но здесь нам не до подробностей), — облегчит ли такое мнение нашу скорбь? Пусть они считают, что высшее зло — это боль; значит ли это, что у кого нет этого зла, тот уже постоянно причастен к высшему благу? (41) Зачем увиливать, Эпикур, и отговариваться, будто мы называем наслаждением не то же самое, что и ты называешь, не краснея? Твои это слова или не твои? В той книге, где содержится все твое учение (я буду переводить дословно, чтобы не подумали, будто я что-то прибавляю от себя), ты говоришь так: «Я не представляю, как понимать благо, если изъять из него наслаждения, доставляемые вкусом, доставляемые слухом и пением, доставляемые образами и приятными движениями, воспринимаемыми зрением, — короче говоря, наслаждения, порождаемые в человеке любым из его чувств. Нельзя даже сказать, что благо — это только умственная радость: ум радуется, сколько я знаю, только в надежде на все перечисленное без примеси боли». (42) Это собственные его слова — чтобы каждый понимал, какое наслаждение имел в виду Эпикур. Немного ниже он пишет: «Часто я спрашивал у так называемых мудрецов, что останется у них хорошего, если отнять у них перечисленное мною и не прибегать ни к каким словесным уловкам, — но они ничего не могли ответить. Сколько ни трезвонят они о мудрости и добродетелях, в конечном счете остается лишь тот путь, который приводит к целям, названным нами». Все последующее продолжает те же мысли, и вся книга его о высшем благе начинена подобными словами и мыслями. (43) К такой-то жизни ты и будешь призывать Теламона, чтобы унять его горе? И если горе коснется кого-нибудь из твоих близких, разве ты ему предложишь вкусную рыбу, а не сократическую книгу? посоветуешь послушать водяной орган, а не Платона? предложишь его глазам цветистое и пестрое зрелище? сунешь ему под нос пучок цветов? воскуришь фимиам и призовешь всех венчаться розами? или даже... но к чему нам продолжать? Уж и этого довольно, наверное, чтобы унять всякую скорбь.

XIX. (44) Таковы заветы Эпикура, пересказанные мною почти слово в слово: их следовало бы изгладить из книги или выбросить самую книгу — столько в ней набито наслаждений. Как, например, унять горе у человека, который восклицает:

Знатный род мне не поможет пред судьбиной злобною:

Сам ты знаешь, все имел я, роскошь и достоинство,

255

Но и царство и богатство унесла Фортуны мощь.

Что ж, ты поднесешь такому человеку чашу сладкого вина, чтобы он успокоился, или еще что-нибудь подобное? А вот тебе другое место из того же автора:

Тебя лишь, Гектор, нет среди помощников!

Говорящая вызывает о помощи; вот ее слова:

Где мне просить, где искать мне помощи?

Подмоги ли ждать или в бегство броситься?
Ни оплота, ни града. Куда бежать? К кому припасть?
Алтари отцов разрушены, размыканы,
В пламени храмы, стены их обуглены,
Вкривь бревна изуродованы...
Что дальше, знаете сами:
Отчизна, отец, Приамов чертог!
Ограда с дверьми, чей сладостен скрип!
Я вижу твой азиатский блеск,
Твой штучный кров, твой богатый кров
В слоновой кости и золоте.

(45) Как отменно пишет этот поэт, хоть на него и смотрят свысока нынешние подголоски Евфориона! Он понимает, что все внезапное и неожиданное усиливает скорбь. Расцветив таким образом царское богатство, казавшееся вечным, она продолжает:

И все это ныне — в пламени,
Приам повержен насилием,
В крови — Юпитеров жертвенник...

(46) Славные стихи! Горе изливается в них и в предметах, и в словах, и в напеве. Избавим же ее от горя! Но как? Положим ее на пуховые подушки, позовем танцовщиц, воскурим благовония, поднесем чашу сладкого питья, позаботимся и о пище? Все это — отличные вещи, заведомо способные отогнать самую тяжкую скорбь; по крайней мере, ты только что утверждал, что иначе быть не может. Во всяком случае, я согласен с Эпикуром, что душу следует отвлечь от скорби и обратить к мыслям о благе; только одинаково ли мы понимаем, что такое благо?

XX. Кто-нибудь скажет: «Как? Ты приписываешь Эпикуру такие намерения, ты веришь, что его учение столь сладострастно?» Я-то, конечно, нет; я знаю, что часто его речи суровы и прекрасны. Но еще раз я повторяю: я говорю не о его собственных нравах, а о направлении его мысли; ведь хоть сам он и презирает наслаждения, но в то же время их восхваляет — я отлично помню, в чем он видел высшее благо. Он не просто называл его наслаждением, но и объяснял, что это значит: вкус, объятия, телесные радости, пение и образы, движущиеся приятно для глаз. Разве я лгу, разве выдумываю? Будь это так, я первый был бы рад: я ведь стараюсь только выяснить истину в каждом вопросе. (47) Но в то же время он заявляет, что с умалением боли наслаждение не возрастает и что высшее благо — быть свободным от страданий. Сразу три заблуждения в нескольких словах! Во-первых, он сам себе противоречит: только что он сказал, что не представляет себе блага иначе, чем в виде наслаждения, щекочущего чувства, а теперь утверждает, что высшее наслаждение — всего лишь быть свободным от боли. Можно ли сильнее противоречить самому себе? Во-вторых, в природе есть три состояния: удовольствие, боль и такое, которое не есть ни удовольствие, ни боль; а Эпикур соединяет первое и третье вместе, не отделяя удовольствия от отсутствия боли. В-третьих (и здесь он не одинок), обычно к философии обращаются прежде всего ради достижения добродетели, Эпикур же резко отделяет добродетель от высшего блага. (48) «Но разве мало он прославляет добродетель?» А вот Гай Гракх, вконец опустошивший казну даровыми раздачами, на словах всегда был защитником казны. Чему же верить: словам или делам? Славный Луций Пизон Фруги всегда выступал против закона о хлебных раздачах; но когда закон был принят, он как консуляр сам пришел к раздаче хлеба. Гракх заметил его в толпе и при всем народе его спросил, почему такая непоследовательность: Пизон приходит к тем самым раздачам, против которых

голосовал? Тот ответил: «Я вовсе не хочу, Гракх, чтобы ты делил мое добро между всеми; но раз уж ты за это взялся, то и я хочу получить мою долю». Разве плохо сказал этот достойный и разумный муж, что закон Семпрония — это расточение общественного добра? А как почитать речи Гракха, так он и покажется бдительным блюстителем казны. (49) Далее: Эпикур говорит, что счастливо жить возможно, лишь обладая добродетелью; что над мудрецом не властен случай; что скромную пищу он предпочитает богатой; что мудрец счастлив в любое время. Все это вполне достойно философа, но все это противоречит его же стремлению к наслаждениям. «Но под «наслаждением» Эпикур подразумевает совсем не то!» Что б он ни подразумевал, для добродетели в его наслаждении нет никакого места. Пусть я не понимаю, что такое наслаждение, но я понимаю, что такое боль, и утверждаю, что для кого высшее зло измеряется болью, для того невозможно и упоминать о добродетели.

XXI. (50) И вот некоторые эпикурейцы, славные люди (я никогда не встречал людей более безобидных, чем они), сердятся на то, что в речах против Эпикура я пристрастен. Но почему бы и нет? Мы ведь спорим не о чем-нибудь, а о достоинстве и нравственности. Для меня высшее благо — в душе, для них — в теле; для меня — в добродетели, для них — в наслаждении. А они спорят, а они призывают в союзники смежных философов — их немало, готовых слететься по первому зову, — но я об этом не забочусь и буду судить не по словам, а по делам. (51) Зачем шуметь? Даже о Пунической войне Марк Катон и Луций Лентул были разного мнения, но никакой ссоры между ними не было. А мои противники потому выступают так бурно, что защищать им приходится не очень вдохновляющую мысль, о которой они не взялись бы говорить ни в сенате, ни на сходке, ни перед войском, ни перед цензорами. Но с ними я лучше поговорю в другой раз, и опять-таки не ради спора, а с готовностью уступить всякому, кто скажет истину, только с условием: если доподлинно верно, что для мудреца все соотносится с телом, или, лучше сказать, в поведении их все соотносится с выгодой или с собственной пользой, то так как ничего в этом похвального нет, пусть они впредь радуются своим наслаждениям втихомолку, а открыто хвастаться перестанут.

256

257

XXII. (52) Остаются еще взгляды киренаиков — тех, которые признают горе, но лишь от причин неожиданных и непредвиденных. Это, конечно, обстоятельство существенное, как я уже говорил; и сам Хрисипп, как кажется, понимал, что непредвиденное поражает сильнее. Но в этом еще не все. Конечно, и неожиданное нападение врагов поднимает тревогу сильнее, чем ожидаемое, и внезапная морская буря пугает мореходов больше, чем предвиденная, и тому подобное. Но если всмотреться в природу неожиданности, то окажется, что все неожиданное бывает больше по двум причинам: во-первых, потому что нет времени сообразить, велика ли опасность, а во-вторых, так как кажется, что, будь у нас время, мы могли бы что-нибудь предпринять, — и это чувство делает боль острее. (53) Что с течением времени скорбь притупляется, это мы видим каждый день, когда несчастье остается прежним, а скорбь смягчается, а то и проходит совсем. Многие карфагеняне служили Риму как рабы, многие македонцы, захваченные с царем Персеем, — также; я сам в юности видел в Пелопоннесе нескольких коринфян, которые могли бы теми же словами, что и Андромаха, оплакать себя: «Я зрела все...» — но, видимо, уже давно отплакались. Видом, речью, статью, повадками они больше напоминали аргивян или сикионян, и я больше был взволнован внезапно представшим мне видом разрушенных стен Коринфа, чем самими коринфянами, в чьих душах повседневные помыслы давно зарубцевали

старую рану. (54) Читали мы и книгу Клитомаха, которую он после падения Карфагена послал своим пленным согражданам; по его собственным словам, в книгу вставлено рассуждение Карнеада, — таким образом, там была излита и скорбь мудреца о сокрушении родного города, и возражения на это Карнеада. Такое философское лекарство требуется при наличных бедствиях; при устарелых оно уже менее необходимо; а если бы он послал свою книгу пленным еще через несколько лет, то она врачевала бы уже шрамы, а не раны. Так постепенно и незаметно сама собою умалывается боль — не потому, что меняется или может меняться сам предмет скорби, а потому, что дело ума берет на себя привычка и показывает всю малость того, что казалось большим.

XXIII. (55) Скажут: в таком случае зачем вообще нужны доводы ума и прочие утешения, которыми мы пытаемся смягчить боль скорбящих? Ведь смысл их сводится к тому, чтобы ничто не казалось неожиданным или чтобы стало легче от мысли, что человеку все равно ведь не избежать какой-нибудь беды. Такая речь ничего не убавляет в совокупности зла, а, напротив, прибавляет мысль о том, что все происходящее не могло не произойти. Конечно, речи такого рода способны утешить, но очень ли сильно — не знаю: ведь не настолько сильна неожиданность, чтобы из нее одной исходило все горе. Неожиданности, может быть, ранят сильнее, но не оттого, что они неожиданны: они кажутся большими не потому, что они внезапные, а просто потому, что они недавние. (56) Два есть пути к нахождению истины, и не только в дурных вещах, но и в благих. Или мы дознаемся о том, какова природа, качество и величина отдельного явления (например, чтобы облегчить гнет бедности хоть на словах, мы рассказываем, как мало и как просто все, что от природы для человека нужно), или от тонких рассуждений переходим к отдельным примерам, поминая то Диогена, то Сократа, то Цецилиев стих:

Бывает мудрость скрыта под дрянным плащом.

258

Если бедность для всех одна и та же, то почему Фабриний умел ее выносить, а остальные будто бы не могут? (57) Ко второму пути относится и тот способ утешения, который показывает, что все, случающееся с человеком, свойственно человеку. Не только познание человеческой природы в целом раскрывается в этом учении, но оно и доказывает, что такое-то зло переносимо, если люди терпели его и терпят. XXIV. Если речь идет о бедности, то приводятся многочисленные примеры терпения в бедности; если о презрении к почестям, то именуются те, кто и без всяких почестей был блажен; если кто предпочитает личный досуг общественным делам, то немало и таких можно перечислить с похвалою; не забудем упомянуть и анапесты того могучего царя, который называет блаженным старца, сумевшего дожить до последнего дня в безвестности и скромности. (58) Точно так же напоминаются примеры бездетности для тех, кто сетует на бездетность, точно так же смягчаются примерами чужой горести те, кто неумеренно плачет над покойником; и рядом с такими примерами случившееся становится гораздо мельче, чем казалось вначале. Так с постепенным размышлением становится ясна вся ложность первоначального мнения. Отсюда и слова Теламона: «Я ведь знал, что дети смертны...», и Тесея: «Я загодя себя готовил к бедствиям», и Анаксагора: «Я знал, что мой сын смертен». Все они в долгих размышлениях о доле человеческой постигли, что она не так страшна, как кажется толпе. И я думаю, что и те, кто заранее задумывается о будущем, и те, которых излечивает время, приходят почти к одному и тому же, — разница лишь одна: первых исцеляет рассуждение, а вторых сама природа, если только понять в ней, что к чему: и тем и другим становится ясно, что беда, казавшаяся величайшей, не так уж велика, чтобы нарушить блаженную жизнь.

(59) Вот так и получается, что неожиданный удар действительно бывает больней, но совсем не потому, как думают те философы, что из двух одинаковых случаев только тот болезнен, который приключается неожиданно.

259

Говорят даже, что иные скорбящие, услышав про эту общую человеческую судьбу — о том, что по закону природы никто из родившихся на свет не свободен от бедствий, — только пришли в еще большее удручение. XXV. Поэтому и Карнеад, как я знаю из писаний нашего Антиоха, порицал Хрисиппа за то, что тот хвалил слова Еврипида:

Болезнь и смерть — таков удел, для каждого
Назначенный. Должны мы хоронить детей
И вновь родить, но будет смерть концом для всех.
Не зря такая мука роду смертному:
Земля берет земное, а проросшая
Жизнь падает, как колос под серпом жнеца, —
Так говорит нам голос Неизбежности.

(60) Карнеад настаивал, что такими словами никак не возможно смягчить скорбь. Достоин сожаления уже и то, что подчинены мы столь жестокой Неизбежности; а перечисление чужих бед способно утешить лишь человека злорадного. Но я с этим совершенно не согласен. Ведь сама неизбежность доли людской запрещает, так сказать, бороться с богом и напоминает нам, что мы не более как люди; такое соображение немало смягчает грусть, а перечисленные примеры не для того служат, чтобы потешить злорадство, а для того, чтобы терпимее стала тоска, которую спокойно и стойко переносили столь многие. (61) Все средства хороши, чтобы помочь человеку, который не может выстоять и словно рассыпается в прах перед всею силою горя, — поэтому и Хрисипп производил слово «тоска» (I

260

XXVI. Но когда к этому мнению, что горе — большое зло, прибавляется еще и мнение, будто правильно, нужно, непременно следует обо всем, что случилось, горевать как можно горше, — тогда, конечно, и происходит самая сильная душевная смута. (62) Отсюда и проистекают самые разные и унижительные проявления горя: запущенный вид, царапание щек, удары в грудь, в бедра, в голову — вот почему Агамемнон у Гомера и Акция

От горя рвет нестриженные волосы, —

261

строка, над которой посмеялся Бион, сказавши, что нужно быть очень глупым царем, чтобы в скорби рвать на себе волосы, как будто лысая голова свободна от горя. (63) Однако все так делают, полагая, что так уж должно быть. Так Эсхин напал на Демосфена, когда тот через шесть дней после смерти дочери приносил по ней погребальные жертвы. С каким ораторским мастерством, с каким изобилием он говорил, какие подбирал мысли, как поворачивал слова! — можно было подумать, что оратору все дозволено! Это всякому показалось бы странно, если бы нам не было врождено чувство, что любому порядочному человеку подобает при кончине близких изъяслять свою скорбь как можно выразительней. Поэтому от душевной скорби иные ищут уединения, как говорит Гомер о Беллерофонте:

Беллерофонт по долине Алейской блуждал одиноко,

262

Душу глодая себе и тропинок людских избегая, —

и Ниобу представляют каменную из-за вечного тоскливого ее молчания, а Гекуба

за ожесточение и ярость будто бы превращена была в собаку. А иные в горе рады говорить даже с своим одиночеством; так у Энния служанка восклицает:

— Земля и море! О страстях Медеиных
Хотя бы вам хочу поведать горестно.

XXVII. (64) Все это считается правильным, верным и должным в горе — и даже делается напоказ, как обязанность; а если кто из оплакивающих начнет говорить по-человечески и живет, они тотчас напоминают себе, что нужно вернуться к строгой скорби, и так и делают, угрызаясь сердцем, что отступили от притворной боли. Детей — так тех прямо наказывают родители или наставники, и не только на словах, но и розгами, заставляя их плакать за то, что они среди семейного горя сказали или сделали что-то веселое. Но что из этого? Плач ослабнет, ум вернется в свои права, ничего не приобретя от скорби, — так не ясно ли, что все это было нарочитым? (65) Что говорит теренций «Самоистязатель»?

Хремет, коль я несчастен, то я чувствую,
Что сыну за обиду я плачу свой долг.

Здесь он сам решает быть несчастным: а разве возможно принимать такое решение против воли?

Любой достоин кары я, по-моему.

Он, видите ли, достоин кары, если не будет несчастен! Ты видишь теперь, что зло заключено не в предмете, а в мнении о нем. А что если сам предмет не допускает плача, например, у Гомера с его ежедневными битвами и бесчисленными смертями, заглушающими всякую скорбь; где так говорится:

Слишком много мужей ежедневно, одни за другими
Гибнут. Ну, кто и когда бы успел отдохнуть от печали?
Должно земле предавать испутившего дух человека,
263

Твердость в душе сохраняя, поплакавши день над умершим.
264

(66) Стало быть, может человек воспользоваться обстоятельствами, чтобы при желании сбросить с себя боль. Так неужели не воспользуется он обстоятельствами — ведь это и подавно ему доступно, — чтобы сбросить с себя скорбь? Известно, что спутники Помпея, видевшие, как он пал, покрытый ранами, в миг этого горького и плачевного зрелища боялись только за себя, потому что их окружал вражеский флот, и потому заботились лишь о том, чтобы ободрить гребцов и найти спасение в бегстве; и только достигнув гавани Тира, они принялись сетовать и плакаться. У них страх превозмог скорбь: неужели у нас истинная мудрость неспособна превозмочь скорбь? XXVIII. Понять, что боль бесполезна и что принимать ее на себя — дело пустое, — разве это не вернейшее средство избавиться от боли? А если от нее можно избавиться, то значит, с нею можно и не встречаться совсем: иными словами, надобно признать, что горе — это следствие нашей собственной воли и выбора. (67) На то же указывает и еще одно: кто много перенес, тот легче переносит, что бы с ним ни случилось; он уже затвердел в борьбе с несчастием, как говорит герой Еврипида:

Когда бы это мерный был печальный день,
Когда б я не исплавал море бедствия,
Тогда и понятным было бы страдание;
Как жеребенок, к удилам привыкнувший,
Я загрубел и к боли нечувствителен.
265

Если, таким образом, утомление от избытка несчастий делает эти несчастия

терпимее, то не ясно ли, что источник и причина горя — не в предметах, а в суждениях? (68) Знаменитые философы, пока они еще не достигли высшей мудрости, разве не понимают этого своего несчастья? А ведь есть люди неразумные, которые, хоть неразумие и есть величайшее из несчастий, вовсе об этом не горюют. Почему? Потому что это несчастье не сопровождается мнением, будто правильно, нужно, непременно следует горевать о своем неразумии: это только мы причисляем его к самым плачевным несчастьям, достойным даже оплакивания. (69) Ведь еще Аристотель, осуждая древних философов, из которых каждый считал, будто своим дарованием привел философию к совершенству, хоть и называет это глупостью или самомнением, о себе, однако, думает, будто и впрямь за немногие годы он так продвинул философию, что она вскоре уже должна достигнуть совершенства. И Феофраст, умирая, жаловался на природу, что воронам и оленям она дала долгую жизнь, которая им совсем не нужна, а человеку — такую короткую, хотя она ему очень нужна: если бы человек мог жить дольше, он мог бы украсить людскую жизнь совершенным знанием всех наук. Вот он и жалуется, что должен умереть как раз тогда, когда что-то завиднелось впереди. Ну, а другие философы? разве лучшие и серьезнейшие из них не признавались, что многого они не знают и что многое им еще надобно учить и учить? (70) Но даже когда они чувствуют, как много еще в них глупости (что тягостнее всего), скорбь не угнетает их, — именно потому, что в них нет мысли о том, будто они должны горевать по обязанности. А разве мало таких, которые вообще считают горе недостойным мужа? Квинт Максим, похоронивший сына-консуляра, Луций Павел, в течение нескольких дней лишившийся обоих сынов, Марк Катон, у которого умер сын, уже избранный в преторы? Другие примеры я собрал в своем «Утешении». (71) Откуда в них такое спокойствие, как не оттого, что скорбь и плач считали они недостойными мужа? Поэтому из-за чего другие считали возможным предаваться горю, из-за того эти отвергали всякое горе как позор. Отсюда опять-таки видно, что скорбь — не в предмете, а в мнении о нем.

266

XXIX. На это возражают: «Какой же сумасшедший горюет и скорбит по собственному желанию? Боль приходит от природы, а уступать природе учит даже ваш Крантор: она давит человека, теснит его, и противиться ей нельзя. Так у Софокла Оилей находил слова, чтобы утешить Теламона в смерти его сына Аянта, но пал духом, услышав о смерти собственного сына. Об этой внезапной перемене настроения говорится так:

Нет, не найдешь такой ты добродетели,
Которая, чужие боли пестуя,
Вдруг пред судьбой, разящей неожиданно
Не сломится, забыв свои же доводы».

Наши соперники стараются показать, что противостоять природе нельзя; но они же стремятся принимать на себя более тяжкую скорбь, чем велит природа. Не безумие ли это? — спросим мы, обратив к ним их же упреки.

(72) Многие обстоятельства толкают нас к скорби. Прежде всего — обычное представление о зле, которое видишь, в котором не сомневаешься и за которым неизменно следует горе и скорбь; потом — мысль о том, что покойникам легче, когда о них тоскуют; и даже такое бабье суеверие, будто людям легче угодить бессмертным, если они покажут, как тяжек для них и убийствен посланный богами удар. И многие далее не замечают, как сами себе противоречат: тех, кто спокойно умирает, они хвалят, а тех, кто спокойно переносит чужую смерть, бранят, — как будто можно любить другого больше, чем себя, как о том клянутся меж собой любовники! (73) Прекрасно,

конечно, и даже правильно и справедливо, если угодно, когда тех, кто должен быть нам всех дороже, мы любим, как самих себя; но уж о большем и речи быть не может. Даже в дружбе не приходится этого желать, — чтобы друг меня или я друга любили более самих себя. Будь это так, все в жизни бы перемешалось, и все обязанности людские перепутались бы.

XXX. Но об этом — в другом месте. А здесь достаточно сказать, что нельзя приписывать лишь утрате друзей нашу скорбь, чтобы не вышло так, будто мы их любим больше самих себя и едва ли не больше, чем хотелось бы им самим, будь они способны почувствовать нашу любовь. А кто говорит, будто от утешений обычно на душе не легче и будто сами утешители при перемене судьбы оказываются в нескрываемом горе, те и в том и в другом ошибаются. Это происходит не по природе, а по вине человека; а глупость человеческую можно обличать без конца. От утешения не становится легче только тем, кто сам заставляет себя горевать; а те, кто переносит беды хуже, чем проповедовали другим, не более порочны, чем большинство людей: ведь всегда скупой бранит скупого, а тщеславный тщеславного, — каждый по глупости чужие пороки видит, а своих не замечает.

(74) Но что больше всего надобно заметить: когда тоска смягчается со временем, то это смягчение происходит не от самого течения времени, а от повседневных раздумий. Ведь если предмет остается тем же самым и человек тоже, то что же может измениться в этом положении, когда и страдающий, и причина страдания остались неизменны? Очевидно, не само течение времени, а именно долгое размышление показывает, что предмет боли не есть зло.

267

268

XXXI. Но вот мне предлагают учение о золотой середине во всем. Если она определена природой, то здесь и утешение ни к чему: сама природа укажет меру. Если же она тоже порождена мнением, то мнение это требует самого решительного опровержения. По-моему, уже достаточно сказано: горе — это мнение, что над тобою висит какое-то зло (причем подразумевается, что отделаться от такого горя никак нельзя); (75) а Зенон справедливо добавляет, что эта мысль о присутствующем зле должна быть свежей. Слово это надлежит понимать не так, будто «свежее» — это что-то недавно происшедшее: «свежим» следует именовать подразумеваемое зло все время, пока оно хранит какую-то силу, не слабеет и не угасает. Так, Артемисия, жена карийского царя Мавсола, выстроившая ему в Галикарнасе знаменитую гробницу, скорбела о нем всю жизнь и от этого горя скончалась. Это значит, что для нее мысль о муже всегда была свежей; мысль перестает быть свежей лишь тогда, когда засохнет от давности.

269

Таково, стало быть, дело утешителя: искоренить горе целиком, или успокоить, или ослабить по мере сил, или подавить и пресечь, или перенести на другой предмет. (76) Есть такие, кто сводит дело утешителя к одному: показать, что случившееся зло — совсем не зло (так полагает Клеанф) или что это не великое зло (так — перипатетики); иные переводят мысль от злого к доброму (так — Эпикур); иные полагают достаточным показать, что не произошло ничего неожиданного (так — киренаики); Хрисипп, наконец, считает, что главное при утешении — освободить скорбящего от мысли, будто страданий требует от него долг и справедливость. Есть и такие, которые считают возможным сочетать все эти способы утешения, потому что на одного лучше действует одно, на другого — другое; так поступили и мы, в нашем «Утешении» объединив их вместе: душа моя была тогда в жестокой болезни, и нужно было

использовать всяческое лечение. Но при лечении нужно выбирать удобное время — как для души, так и для тела; так Прометей у Эсхила на слова:

— Но разве ты не знаешь, Прометей-мудрец,

Больной душе врачи — советы добрые? —

отвечает так:

— Да, если сердца вовремя смягчить нарыв,

270

Не бередить гноящуюся опухоль.

271

XXXII. (77) Стало быть, при всяком утешении первое дело объяснить, что эта беда или совсем не зло, или очень малое зло; второе — обсудить общую участь человеческую и особенно собственную участь каждого страждущего; третье — показать, что если горе не приносит пользы, то предаваться горю глупо. О Клеанфе и говорить нечего — он имеет в виду мудреца, который в утешении вообще не нуждается. Что касается утверждения, что зло — только в том, что позорно, то с его помощью ты человеку ума прибавишь, а скорби не убавишь: всякому поучению свое время. Да и Клеанф, по-моему, недосмотрел, что бывают случаи, когда горе происходит от того же самого, что Клеанф считает высшим злом. Например, Сократ, говорят, однажды доказал Алкивиаду, что тот недостойн зваться человеком, что между знатным Алкивиадом и последним грузчиком нет никакой разницы, — и Алкивиад после этого в отчаянии и со слезами умолял Сократа научить его добродетели и избавить от позора. Что ты скажешь на это, Клеанф? Разве скорбь Алкивиада здесь происходила не от настоящего зла? (78) Вспомним доводы Ликона о том, что горе не горе, если вызывается оно не страданиями души, а мелкими причинами — несчастными обстоятельствами, телесным нездоровьем; но сможет ли кто-нибудь утверждать, что горе Алкивиада происходило не из страданий души? Что же касается Эпикурова утешения, то о нем я говорил уже достаточно.

272

XXXIII. (79) Вот из всех утешений — самое надежное и хоть и пошлое, но хорошо испытанное: «Не с тобой одним такое бывает». Оно, как сказано, хорошо помогает, только не везде и не всякому, — иным оно противопоказано, и тут важно, как это утешение применить. Нужно показать, как переносят несчастно разумные люди, а не какое несчастье они перенесли. Хрисиппово утверждение с точки зрения истины — самое надежное, но в минуту скорби оно применимо с трудом: нелегко убедить скорбящего, что скорбит он только по своему желанию и потому, что считает это долгом. Поэтому, как в судебных речах мы пользуемся не одним подходом к предмету (в учении о контroversиях это называется «статусом»), а по-разному применяемся к обстоятельствам, к характеру дела, к людям, — так и при утешении в горе надобно учитывать, какое кому лечение больше подходит.

(80) Однако рассуждение наше каким-то образом отклонилось от предложенного тобою предмета. Ты спрашивал о таком мудреце, который или ни в чем не видит зла, кроме позорного, или видит зло столь малым, что оно не выдерживает напора его мудрости и почти исчезает, — и это потому, что он ничего не прибавляет к своему горю из предрассудков ходячего мнения и не считает правильным как можно больше мучить себя и удручать горем, что нелепее всего. Но вопросом о том, существует ли зло, непричастное позору, мы сейчас, не задавались; а что касается того зла, которое заключено в горе, то мне кажется, что сам разум показывает нам: не от природы оно, а от собственного нашего выбора и ошибочного мнения.

(81) Речь у нас была только об одном, о самом главном виде горя: устранив его,

мы без большого труда найдем средства и для других. XXXIV. Есть хорошо известные вещи, которые мы говорим о бедности, о жизни без почестей и славы; есть отдельные уроки об изгнанничестве, о гибели отечества, о рабстве, о бессилии, о слепоте, обо всем, что можно назвать несчастьем. Обо всем этом греки рассуждают порознь и в отдельных книгах — такой уж это народ; полные междоусобных споров, книги эти все же очень интересны.

(82) Но как врачи, лечя все тело, лечат тем самым все малые его части, так и философия, устраняя общее душевное горе, тем самым помогает и в частных случаях — если будет грызть бедность, колоть глаза бесчестие, окутывать мраком изгнание и т. п.; а кроме того, на отдельные горести есть и отдельные утешения, с которыми при желании может познакомиться любой.

Но все это горе сводится к одному источнику, а источник этот от мудреца далек: все это праздно, тщетно, все это порождается не природой, а людским суждением и мнением — так сказать, приглашением к страданию, если мы уж решили, что так должно быть.

(83) Удали все, что привнесено произволом, — и скорбь, как болезнь души, исчезнет, останутся только мелкие уколы и судороги души. Их можно, пожалуй, даже называть естественными, лишь бы не было того горя, тяжкого, мрачного, гробового, которому нет места рядом с мудростью. Много корней у горя, и каких глубоких, и каких горьких, — и когда комель выворочен, то каждый из них еще предстоит, если нужно, выкорчевать особым рассуждением. Время для этого у нас какое ни есть, а есть. Но смысл всякого горя — один, а имен у него — множество. Ведь и зависть, и соперничество, и коварство, и жалость, и тоска, и плач, и скорбь, и душевный гнет, и стенания, и волнения, и отчаяние — все это входит в состав горя. (84) Всему этому дают точные определения стоики, прилагая названным нами предметам те же слова, но, кажется, имея в виду нечто иное, — может быть, об этом я еще скажу в другой раз. Все это — отростки корней, до которых мы собирались докопаться, чтобы выкорчевать их все до одного. Большое это было дело и трудное, спору нет, — но все великое на свете трудно. Однако философия сама обещает нам поддержку, и мы доверяемся ее целительной силе.

Но довольно, по крайней мере, об этом предмете. Все остальное еще будет для вас — здесь или где угодно и до каких угодно подробностей.

Книга IV

О СТРАСТЯХ

273

I. (1) Во многом, дорогой мой Брут, случалось мне удивляться дарованиям и доблести наших соотечественников, но более всего — в тех занятиях, которые усвоили они лишь недавно, перенесши из Греции в Рим. От самого основания Рима по царским указам и отчасти по законам в нем божественно были устроены гадания, церемонии, народные собрания, обращения к народу, советы старейшин, росписи всадников и пеших, и все военное дело в целом; а когда государство освободилось от царского владычества, то успехи в этом пути к совершенству стали удивительны до невероятности. Но здесь не место говорить о нравах и уставах предков, о порядках и согласии в государстве — об этом мною довольно уже сказано в других местах, главным образом — в шести книгах «О государстве». (2) Здесь же, рассматривая занятия науками, я по многим признакам вижу, что они у нас, хоть и воспринятые со стороны, были не только заимствованы, но и сохранены и развиты. На виду у наших предков был сам Пифагор, великий знатностью и мудростью, — он жил в Италии в те самые годы, когда знаменитый зачинатель славы твоего рода Луций Брут освободил от царей

наше отечество. Учение Пифагора, растекаясь все шире и дальше, проникло, насколько могу я судить, и в наше государство; и это не только предположение, но доказывается многими признаками. Кто поверит, что в те самые годы, когда в Италии цвела большими и могущественными городами так называемая Великая Греция, а в ней не было имени громче, чем сперва Пифагора, а потом пифагорейцев, — что в те годы слух наших земляков оставался замкнут для этих учений речей? (3) Я даже думаю, что именно из-за преклонения перед пифагорейцами к их числу позднейшими поколениями был причислен наш царь Пума. В самом деле, когда они познакомились с уставом и учением Пифагора, от предков своих сохранили память о мудрости и справедливости своего царя, а рассчитать поколения и годы за давностью времени не умели, то самого мудрого из своих царей они и сочли учеником Пифагора. II. Впрочем, все это лишь догадки; но и подлинных следов пифагорейцев можно собрать множество, однако же мы ограничимся немногими, так как сейчас не об этом речь. Так, именно они, по преданию, пользовались песнями, заветы свои передавали тайно, а умы свои от напряженных размышлений успокаивали музыкой и пением, — а ведь сам достойнейший Катон в «Началах» пишет, что у наших предков был обычай, возлежа на пирах, петь по очереди под звуки флейт хвалу знаменитым мужам и их доблестям, а из этого ясно, что и пение и песни были тогда уже расписаны по звукам. (4) О том же, что песни были уже в ходу, свидетельствуют и XII таблиц: закон предусматривает, чтобы эти песни пелись никому не в обиду. И это — не домысел ученых времен, потому что и на пирах в честь богов, и на пирах магистратов праздник начинался с музыки, что свойственно именно пифагорейской школе. Даже стихи Анния Клавдия, которые так хвалит Панэтий в одном письме к Квинту Туберону, кажутся мне написанными в пифагорейском духе. Многие и другое заимствовано от них в наших обычаях, — об этом молчу, чтобы не показалось, будто и свое-то мы заимствовали на стороне. (5) Но не будем отклоняться от нашего предмета: сколько поэтов, какие ораторы явились у нас в столь недолгое время! Как не сказать, что нашим соотечественникам все удастся, стоит лишь им пожелать.

274

275

III. Но об остальных занятиях мы уже не раз говорили и еще будем говорить при случае. Занятия мудростью у нас тоже давние, но до времени Лелия и Сципиона я никого бы не смог назвать поименно. А в годы их молодости я уже вижу, что в Рим послами к сенату от Афин прибывают стоик Диоген и академик Карнеад, — конечно, оба они государственными делами не занимались, да и родом был один из Кирены, а другой из Вавилона, и никто бы их не вызвал из их училищ и не избрал бы для такого поручения, если бы в те времена иные наши первые люди не отличались уже усердием к науке. И хотя они многое изложили словесно — иные в книгах о праве, иные в речах, иные в сочинениях о деяниях древних, — но высшей из всех наук, науке достойно жить, они служили больше жизнью своею, чем книгами. (6) Вот и случилось так, что на латинском языке нет или почти нет памятников настоящей философии — той, которая ведет начало от Сократа и продолжает жить у перипатетиков, а в несколько ином виде — у стоиков, между тем как академики оспаривают доводы и тех и других, — они не появились по-латыни то ли потому, что наши соотечественники и без того были слишком заняты, то ли потому, что они не хотели браться за такое дело без подготовки. Вот тогда-то, пока остальные молчали, явился Гай Амафиний со своими писаниями, и взволнованные читатели бросились прежде всего к его учению, — то ли потому, что оно легче других усваивается, то ли потому, что заманчивы были утехы наслаждений, то ли просто потому, что ничего другого не было и они брали что имелось. (7) Вслед за

Амафинием много писали об этом многие ревнители того же учения, наводняя всю Италию, потому что их достоинство — не в тонкости доводов, а в легкой заучиваемости, приятной невеждам, — на этом и держится, по словам самих эпикурейцев, успех их философии.

IV. Но пусть каждый защищает мнение, которое ему по душе; мы же будем держаться правила не сковывать себя никакими уставами одного учения, как это приходится в философии, а будем, как обычно, искать на каждый вопрос самого правдоподобного ответа. Как и прежде не раз, так мы поступали и в последний раз в Тускуланских беседах. Три беседы я тебе уже изложил, а теперь изложу беседу четвертого дня. Когда я спустился на прогулку туда же, где и в прошлые дни, то разговор пошел так:

(8) — Что ж, пусть любой, кому угодно, скажет, о чем ему хочется порассуждать.

— Я не представляю себе, как душа мудреца может быть свободна от всякого волнения.

— От горя, во всяком случае, может быть свободна, как мы договорились вчера, — если только ты не притворно соглашался с нами.

— Никоим образом! Так убедительна была твоя речь.

— Стало быть, ты допускаешь, что горю мудрец не подвержен?

— Допускаю.

— Но если горе не властно над душой мудреца, то и ничто другое не властно. Что еще может его тревожить? Страх? Но страх — это тоже горе, только причиняемое не тем, что есть, а тем, чего еще нет. Освободиться от горя — значит освободиться от страха. Остаются еще две страсти: буйная радость и желание; если и для них недоступен мудрец, то душа его будет всегда спокойна.

(9) — И я так думаю.

— Тогда выбирай: сразу ли нам расправить паруса или сперва выгрести из гавани на веслах?

— Что ты хочешь сказать? Я не понимаю.

V. — Хрисипп и стоики, рассуждая о страстях души, главным образом заняты их разделением и определением, и поэтому о том, как исцелять души и смирять их волнение, они говорят лишь очень коротко. Перипатетики, напротив, сосредоточиваются на успокоении души, а острые углы разделений и определений обходят стороной. Вот и я спросил, сразу ли мне развернуть паруса моей речи или для разбега проплыть немного на веслах диалектики?

— Конечно, второй способ лучше: с двух сторон мне станет яснее весь предмет в целом.

(10) — Ты совершенно прав; а что будет неясно, о том ты сам меня переспросишь.

— Хорошо, переспрошу; но обычно ведь и темные места ты излагаешь куда яснее, чем сами греки.

— Постараюсь, хоть от меня и потребуется немало внимания: если упustiшь мелочь, то может ускользнуть и целое. Речь пойдет о том, что по-гречески называется «болезнями» (pathe), а у нас не болезнями, а чаще волнениями или страстями. Исходить я буду из того описания, которое первым дал Пифагор, а за ним Платон; они разделяют душу на две части, одну — причастную разуму, другую — не причастную; и в той, которая причастна разуму, они полагают спокойствие, то есть умиротворенное и блаженное постоянство, а в другой части души — бурные движения, противоположные и враждебные разуму — такие, как вожделение или гнев. (11) Такова будет основа наших суждений; в описании же страстей мы последуем определениям и разделением

стойков, которые, по-моему, именно здесь обнаружили больше всего тонкости.

VI. Вот определение Зенона: страсть (*pathos* на его языке) есть движение души, отвлеченное от разума и противное природе. Некоторые выражаются короче: страсть есть чрезмерно сильное движение души — «чрезмерно сильное», то есть далеко отступающее от постоянной своей природы. Видов страстей они насчитывают: два — от мнимого блага и два — от мнимого зла, а всего четыре. От мнимого блага исходят желание и радость, то есть радость от насущных благ и желание таковых же в будущем, от мнимого зла исходят страх и горе, то есть горе в настоящем и страх перед будущим; чего мы боимся впереди, о том горюем, когда оно наступит.

(12) Радость и желание вытекают из суждения нашего о благе, потому что желание как бы овладевает человеком и воспаляет его к достижению того, что представляется ему благом; а радость прорывается и ликует тогда, когда желанное достигнуто. Ведь по законам самой природы все люди тянутся к тому, что кажется им благом, а противоположного избегают; поэтому если предмет кажется благом, то домогаться его велит сама природа. Если это влечение устойчиво и разумно, то стоики его называют *boulesis*, а мы — волею. Такой волей обладает у них только мудрец; отсюда и определение: «Воля есть разумное желание». А если такое желание направлено против разума и сильно возбуждено, то это уже — похоть, разнузданное хотение, которое мы видим во всех глупцах. (13) Далее, по достижении блага наше волнение может быть двояким: когда оно согласно с разумом, то называется просто радостью, когда же это веселье доходит, можно сказать, до чрезмерности, мы его называем буйным ликованием. И точно так же, как от природы мы стремимся к благу, мы по природе уклоняемся от зла; если это уклонение согласно с разумом, то пусть оно называется осторожностью и присуще только мудрецу; если оно не согласно с разумом, а совершается с унижением и надломом души, то пусть называется страхом: стало быть, страх — это осторожность без разума. (14) Что касается насущного зла, то оно для мудреца ничего не значит, а для глупцов означает горе: они страдают из-за мнимого зла, и душа их сжимается и расслабляется независимо от разума. Отсюда определение: горе — это сжатие души вопреки разуму. Таковы четыре страсти и три здравых состояния, потому что горе не имеет соответствующего себе здорового состояния.

VII. При этом все страсти стоики считают возникающими от предрассудка и ложного мнения; поэтому они дают им и более краткие определения, показывающие, что страсть не только вредна, но и подвластна нам самим. Так, скорбь — это свежее мнение о насущном зле, перед которым душа словно позволяет себе сжаться и расслабиться; радость — свежее мнение о насущном благе, при котором словно бы позволительно душевное ликование; страх — мнение о грозящем зле, кажущемся непереносимым; желание — мнение о будущем благе, которое легко может наступить и быть достигнуто. (15) Более того, в этих предрассудках и мнениях коренятся не только сами страсти, но и все, что эти страсти вызывают в нас: так, горе вызывает приступ боли, страх — отступление и бегство души, ликование — веселость, переливающуюся через край, желание — необузданную похоть. А все те мнения, которые в вышеназванных определениях участвовали, они считают лишь бессильными придатками чувств.

(16) Далее, стоики подразделяют каждую страсть на много видов. Так, в понятие горя входят завистливость (пользуясь этим необычным словом, как более точным, чем «зависть»), соперничество, ущемленность, жалость, томление, отчаяние, скорбь, тягость, боль, сетование, забота, уничтожение, мука, безнадежность и проч. Под страхом подразумеваются вялость, стыд, ужас, испуг, безумие, обморок, смятение, грусть. Под наслаждением — зложелательство, злорадство, самодовольство, гордыня и проч. Под

«желанием» — гнев, озлобление, ненависть, вражда, раздор, неумность, алчность и подобные им.

А виды страстей они определяют так: завистливость — это горе, испытываемое при виде чужого благополучия, ничем не вредящего завистнику. VIII. (17) Конечно, когда чужое благополучие опасно для человека (как для Гектора — успехи Агамемнона), то речь идет уже не о завистливости: завистник — это тот, кому благополучие соседа нимало не мешает, но тем не менее причиняет душевную боль. Соперничество тоже бывает двоякое — хорошее и плохое: так называется и соперничество в хорошем («соревнование»; но о нем я сейчас не говорю, оно достойно лишь хвалы) и соперничество в дурном («ревность»), при котором человек хочет того, чего у него нет, а у другого есть. Ущемленность (по-гречески *zelotypia*) — это горе, когда то же самое, что есть у тебя, есть и у другого. (18) Жалость — это горе от чужого незаслуженного несчастья (жалеть отцеубийцу или предателя отечества вряд ли кто станет); томление — это горе давящее; скорбь — горе о потере близкого человека; отчаяние — горе со слезами; тягость — горе труднопереносимое; боль — горе мучающее; сетование — горе с воплями; забота — горе, отягченное мыслями; унижение — горе, держащееся долго; мука — горе вкупе с телесными мучениями; безнадежность — горе без надежды на улучшение.

276

Страсти, входящие в понятие «страх», определяются так: вялость — это боязнь работы, стыд — это страх позора, (19) ужас — страх потрясающий (от стыда человек краснеет, от ужаса бледнеет, трясется и стучит зубами), испуг — страх приближающейся опасности, безумие — страх, при котором дух словно покидает тело, как сказано у Энния:

Дух, захваченный безумьем, вылетает из груди;

обморок — страх, как бы следующий за безумием, подобно спутнику; смятение — страх, лишаящий мыслей; трусость — страх долгосрочный.

IX. (20) Разновидности наслаждений описывают они так: зложелательство есть наслаждение от беды человека, ничего тебе дурного не сделавшего; настоящее удовольствие получаешь от наслаждения звуками, смягчающего душу (и не только звуками, но и тем, что мы видим, осязаем, обоняем, вкушаем, — как будто душа наша стала жидкой и все эти ощущения растворяются в ней); гордыня же есть удовольствие, бесстыдно выставленное напоказ.

(21) Страсти, входящие в понятие «желание», определяются так: гнев есть желание наказать того, кто, по-твоему, тебя обидел; озлобление — гнев в зачатке, едва еще возникающий (у греков это называется *thymosis*); ненависть — гнев застарелый и закоренелый; вражда — гнев, выжидающий срок отмщения; ссора — гнев, из глубины души находящий выход в речах; неумность — желание неутолимое; алчность — желание того, чего даже еще не видел. Есть и другое различие между желанием и алчностью — желание обращено к тем свойствам, которые называются у диалектиков «атрибутами» — например, быть богатым, пользоваться почетом, алчность же — к самим предметам, например, к деньгам или почестям.

(22) Но у всех этих душевных волнений источник один — неумеренность, то есть отклонение сознания с правильного пути, и настолько сильный отход от заветов разума, что порывы души невозможно ни сдержать, ни направить. Как умеренность смягчает эти порывы и подчиняет их прямому разуму, а потом сохраняет в себе суждения ума, так и противоположная ей неумеренность воспаляет, переворачивает, волнует душу, и из нее рождается и горе, и страх, и остальные душевные страсти.

Х. (23) Во всяком случае, как испорченная кровь или избыточная слизь либо желчь вызывают в теле отравления и болезни, так замешательство ложных и взаимопротиворечивых мнений лишает душу здоровья и опутывает ее болезнями. Эти страсти прежде всего порождают те болезни, которые у стоиков называются *posemata*, и одновременно — противоположные им, те, которые внушают неприязнь и отвращение к тем или иным предметам; затем — более серьезные заболевания, которые у стоиков называются *arrostemata*, и опять-таки одновременно противоположные им. Здесь стоики, и в первую очередь Хрисипп, очень много положили труда на сопоставление душевных болезней с телесными. Но эту сторону, для нас маловажную, мы опустим и ограничимся тем, что прямо относится к делу.

(24) Понятно, что страсть, все время сталкивающая различные мнения друг с другом, находится в переменчивом и бурном движении; а когда это кипение и возбуждение души застаревает и как бы оседает в наших костях и жилах, тогда постоянными станут и болезни и недуги и одновременно страсти, противоположные им. XI. Ведь лишь в рассуждении можно разделить эти страсти, на деле же они тесно связаны с противоположными, возникающими от желания и радости. Так, когда желание денег не сдерживается постоянной работой разума, как неким сократическим лекарством, исцеляющим от алчности, то оно оседает в жилах, застынет во внутренностях и останется болезнью внутренней и долгой, которую в ее застарелом виде уже не вырвешь из человека, имя же этой болезни — жадность. (25) Таковы же и остальные болезни — славолюбие, сладострастие (то, что греки называют «женолюбием»), да и прочие болезни и недуги возникают так же. А противоположные им болезни возникают от страха — таково женоненавистничество, изображенное в комедии Атилия «Мисогин», таково и человеконенавистничество вообще, которое нам известно по Тимону-мизантропу, таково негостеприимство, — все эти болезни души рождаются из некоего страха перед вещами, которые человек ненавидит и которых избегает. (26) Еще одно определение душевной болезни — в том, что это застарелое и укоренившееся мнение, заставляющее человека желать того, что на деле вовсе нежелательно; или же, напротив того, застарелое и укоренившееся мнение, заставляющее человека избегать того, чего избегать совсем не нужно; короче говоря, ложная уверенность, будто знаешь то, чего не знаешь. Всего можно перечислить такие виды душевных болезней: жадность, тщеславие, женолубие, упрямство, обжорство, пьянство, слатолубие и т. п. Так, жадность есть преувеличенное мнение о деньгах и о том, что их следует домогаться, — мнение, глубоко проникшее и укоренившееся. Остальные страсти могут быть определены таким же образом. (27) Соответственно определяются и отвращения: так, негостеприимство есть преувеличенное мнение о том, что от людей следует скрываться, — мнение, тоже глубоко проникшее и укоренившееся. Точно так же, как негостеприимство, определяется и ненависть к женщинам, как у Ипполита, и ко всему роду человеческому, как у Тимона.

XII. Мы уже не раз прибегали к сравнению здоровья душевного и телесного, хотя и не так часто, как сами стоики; остановимся же на этом. Как разные люди склонны к разным болезням (так, астматики — это не только люди, испытывающие приступ астмы, и дизентерики — не только те, кто страдает дизентерией именно сейчас), так разные люди склонны кто к страху, кто к другим страстям. Поэтому мы говорим о «боязливости» и «боязливых людях», — ведь «боязливость» и «боязнь» такие же разные вещи, как «гневливость» и «гнев», и «быть гневливым» — не то же, что «быть в гневе». Таково же различие между «боязливостью» и «боязнью», — не все, кому случалось бояться, называются «боязливыми людьми», и не все боязливые люди постоянно кого-нибудь боятся. Такова же разница между выпивкой и пьянством, такова же — между

влюбленным и женолюбом. Такова же склонность других людей к другим болезням, и еще того шире — ко всем страстям. (28) Такая склонность обнаруживается и в других душевных недостатках, но слов для нее не подобрано. Поэтому мы говорим и о завистниках, и о зложелателях, и о робких, и о сострадателях, но слова эти означают не тех, кто всегда обуян этими страстями, а и тех, кто просто склонен к ним. Такую склонность к порокам (в разных людях — к разным порокам) можно по сходству с телесной болезненностью назвать душевной болезненностью, полагая, что болезненность есть не что иное, как склонность к болезням. Такая склонность в хороших делах называется благонравием, в дурных делах — злонравием, в промежуточных случаях — неустойчивостью.

ХІІІ. Как в теле живут болезни, так и в душе есть свои заболевания и изъяны. Болезнью называется полное расстройство работы тела; заболеванием — болезнь, сопровождаемая полным бессилием; а изъян — это когда части тела не согласованы, то есть повреждение членов, исковерканность их, уродство. (29) Таким образом, болезнь и заболевание происходят от расшатанности и порчи здоровья во всем теле, а изъян — сам по себе, без общего повреждения здоровья. Но в душе разделить болезнь и заболевание мы можем только мысленно; а изъяны души, то есть ее порочность, образуют общий склад жизни, противоречивый и непоследовательный. Так и получается, что при одном повреждении мнений возникают болезнь и заболевание, а при другом — противоречивость и расшатанность. Не при всех изъянах противоречивость одинакова: например, у тех, кому уже недалеко до мудрости, душевное расположение несогласно с собой, ибо неразумно, но не сбито с пути и не искажено. Болезни же и душевные заболевания — это лишь частное проявление порочности; относятся ли к ней и страсти — это еще вопрос. (30) Пороки — это ведь качества постоянные, а страсти — переменные, поэтому они не могут быть частью постоянных пороков.

Далее, природа души подобна природе тела не только в дурном, но и в добром. Как в теле есть красота, сила, бодрость, крепость, быстрота, так и в душе. Есть здоровье телесное — умеренность, при которой согласуются между собой все части, составляющие тело; точно так же можно говорить о здоровье душевном, когда в душе согласованы между собою суждения и мнения; эту добродетель души иные прямо называют умеренностью, а иные — следованием умеренности, когда душа ей не перечит и никак самостоятельно не проявляется; но и те и другие согласны в том, что такая умеренность бывает только в мудреце. Однако и в любой немудрой душе может явиться здоровье, если врачи освободят ее от душевных волнений. (31) И как в теле хорошее сложение и приятный цвет кожи называется «красота», так и в душе равновесие и постоянство мыслей и мнений вместе с твердостью и стойкостью в стремлении к добродетели либо в самой добродетели тоже называются красотою. Так же и силы души называют по их подобию силам, жилам и способностям тела. Быстрота — это тоже телесное качество, но она же — и похвальное свойство души, способной быстро обозреть множество предметов за малое время.

277

278

ХІV. Есть меж душою и телом также и разница: здоровую душу болезнь не подточит, а тело подточит; тело может заболеть не по своей вине, а душа — только по своей, потому что все душевные болезни и страсти происходят от пренебрежения к разуму. Это особенное свойство человека — животным случается совершать поступки, подобные нашим, но страстей у них нет. (32) Есть разница также между острым умом и тупым умом: как коринфская медь труднее ржавеет, так и острые умы труднее впадают

в болезни и легче выходят из них, а тупые — нет. Да и не во всякую болезнь и страсть впадает мудрец [...] не одни страсти дикие и бесчеловечные: иные из них, как сострадание, горе, страх, имеют даже видимость человечности. Заболевания и болезни души искореняются, как полагают, труднее, чем сами пороки, которые противоположны добродетелям: даже после устранения пороков болезни остаются — легче избавиться от порока, чем вылечить от болезни.

(33) Вот тебе все, что о страстях говорят стоики, говорят просто и ясно, — такие свои тончайшие рассуждения они называют «логическими». С их помощью мы выплыли из прибрежных утесов в открытое море и впредь постараемся держаться прямого пути для того, чтобы рассказать о предмете тем более внятно, чем более он темен.

— Ты и так был достаточно внятен; но если что понадобится выяснить подробнее, сделаем это в другой раз, а сейчас распустим паруса и направим путь, куда ты обещал.

XV. (34) — Мне уже приходилось и еще придется говорить о добродетели, ибо множество вопросов, относящихся к жизни и нраву, могут иметь истоком своим добродетель. И вот, коль скоро добродетель эта в самом деле есть постоянное и внутренне соразмерное расположение души, приносящее похвалу тем, в ком она живет, и похвальное само по себе, то из нее рождаются честные намерения, мысли, поступки и все истинно разумное (да и сама добродетель для краткости может быть названа истинным разумом). Такой добродетели противоположна порочность (греческое слово *kakia* лучше переводить «порочность», чем «злонравие», потому что злонравие может иметь в виду какой-то определенный порок, а «порочность» — все сразу); она порождает те самые страсти, которые мы только что определяли как беспорядочное замешательство души, противное разуму и враждебное спокойствию духа и жизни. Страсти приносят с собой горе с тревогой и мукой, поражают и сковывают страхом; они же воспаляют сердца чрезмерной жадностью, которую мы называем то алчностью, то желанием, но во всяком случае — бессилием души, то есть чем-то решительно противоположным умеренности и здравости. (35) Если такой душе случится овладеть желаемым, то она в ликовании «позабудет сама себя», как тот, кто видел «высшее из заблуждений — в лишнем наслаждении». От всех этих бед единственное исцеление — в добродетели.

XVI. Что может быть более жалким, более мерзким, безобразным, чем человек, пораженный горем, обессиленный, поверженный? И, право, недалек от него тот, кто с приближением какого-нибудь зла заранее трепещет, страшится и почти лишается чувств. Всю силу этого зла показывают поэты, изображая Тантала под нависшим камнем —

За грехи, за невоздержность, за высокоумие.

Такова казнь всякому неразумию: над всяким, чей дух сбивается с пути разума, всегда висит подобная угроза.

(36) И как есть страсти, сжигающие ум, например, горе и страх, так и более светлые, например, вечно чего-то домогающаяся алчность и пустое веселье, названное нами неумеренным ликованием, лишь немногим отличаются от безумия. Отсюда можно понять, каков же тот человек, которого мы называем то умеренным, то скромным, то сдержанным, то постоянным и воздержным, сводя иногда все эти слова к понятию «годности», как к общей их черте: если бы это слово не обнимало собою все добродетели, никогда не стало бы оно таким ходовым, чтобы войти в пословицу: «Человек годный все делает правильно». То же самое говорят о мудреце и стоике, но говорят, пожалуй, слишком уж пышно и выпендренно.

XVII. (37) Итак, человек, умеренностью и постоянством достигший спокойствия и внутреннего мира, которого не изъест горе, не сломит страх, не сожжет ненасытное желание, не разымет праздное ликование, — это и есть тот мудрец, которого мы искали, это и есть тот блаженный муж, для кого нет ничего столь невыносимого, чтобы падать духом, и ничего столь радостного, чтобы возноситься духом. Что может ему показаться великим в делах человеческих — ему, кому ведома вечность и весь простор мира? Ибо что в делах человеческих или в нашей столь краткой жизни может показаться великим для мудреца, у которого душа столь бдительна, что для нее не может быть ничего неожиданного, непредвиденного, нового, (38) и у которого каждый взгляд настолько зорок, что всегда находит место, где можно жить без тягости и страха, спокойно и ровно, снося любой поворот судьбы; и кому это удастся, тот избавится уже не только от горя, но и от всякого иного волнения, и лишь тогда освобожденная душа обретет совершенное и полное блаженство; а кто взволнован и отступает от всей полноты разума, тот утрачивает не только постоянство, но и душевное здоровье.

Насколько же слабым и вялым кажутся учение и поучение перипатетиков о том, что страсти душе необходимы и нужно только не переступать положенных им границ? (39) Порок, но-твоему, должен иметь границу? Или непослушание разуму — это уже не порок? Или разум недостаточно ясно показывает, что вовсе не благо то, чего ты так жаждешь достичь и так ликуешь, достигши, и вовсе не зло то, что повергает тебя в прах и от чего ты бежишь, чтобы не быть повергнутым? Все слишком скорбное или слишком веселое есть порок? И порок этот у глупых становится день ото дня слабее, хотя причина и не меняется, — ведь по-иному переживается старая беда, по-иному — свежая, а мудреца вообще ничего не касается? (40) И потом, где лежат эти границы? Попробуем отыскать высший предел горя, к которому способен человек. Вот Публий Рупилий огорчился оттого, что брат его не прошел в консулы, огорчился явно сверх меры, потому что от этого горя он и умер, — надо было быть умеренней. Ну, а если бы это горе он перенес, а потом его постигла бы смерть детей? Новое горе, и тоже имеющее свои пределы, но оно уже сильнее, потому что не первое. А если к этому добавятся телесные страдания? потеря имущества? слепота? изгнание? Если в отдельных несчастьях и соблюдать меру горя, то в общей совокупности зло все-таки станет непереносимым.

XVIII. (41) Искать меры в пороке — это все равно, что броситься с Левкадской скалы и надеяться удержаться на середине падения. Как невозможен такой прыжок, так и душа, возбужденная и взволнованная, уже не может быть удержана, не может остановиться, где надо, и вообще что дурно развивается, то дурно и начинается. (42) Так, горе и другие страсти, развившись, бывают губительны; стало быть, от самого зародыша они развиваются в дурную сторону. Развиваются они собственными силами и, раз отступив от разума, будут усиливаться в своем неразумии дальше и дальше, не зная, где остановиться. Поэтому, если одобряются умеренные страсти, то это все равно, что одобрять умеренную несправедливость, умеренную нерадивость, умеренную невоздержанность; кто ставит меру порокам, тот сам становится им причастен, а это и само по себе скверно, и еще того хуже, потому что порок движется по наклонной плоскости, зыбкой и неверной, так что удержать его невозможно.

XIX. (43) Но что сказать, когда перипатетики об этих страстях, которые мы считаем подлежащими искоренению, заявляют, будто они не только естественны, но даже и на пользу даны нам от природы! Прежде всего они хвалят гнев, называют его пробным камнем мужества, говорят, что гневливый человек страшнее и для врага и для мятежника, доказывая это такими легковесными рассуждениями: «Настоящая битва — это та, которая ведется во имя законов, свободы и отечества, — а в такой битве

хорошо лишь то мужество, которое приправлено гневом». И не только о рядовом воине здесь речь, — приказы по войску, как они полагают, тоже невозможны без некоторого гневного ожесточения; и даже оратора, притом не только обвинителя, но и защитника, признают они лишь способного гневно жалить или, по крайней мере, притворно выражать гнев словами и движениями, — чтобы действия оратора возбуждали гнев в слушающих. Кто неспособен к гневу, того они и за мужчину не считают, а то, что мы называем мягкостью, они обзывают вялостью. (44) И не только этот вид желания им любезен (что гнев — это желание мести, я уже определил выше), — но и всякий вид желания или хотения они полагают даром природы человеку на высшее его благо: ведь без желания, говорят они, никто не может сделаться великим. Фемистокл ночью бродил по городу и не мог заснуть — успехи Мильтиада, жаловался он, не дают ему спать. Кто не слышал о бдениях Демосфена? Недаром он говорил, что стыдно для него, если на рассвете какой-нибудь ремесленник окажется за работою раньше, чем он. В философии первейшие учителя никогда не достигли бы своих успехов, если бы не желание знаний: мы ведь знаем, в каких дальних землях побывали Пифагор, Демокрит, Платон. Все края, где была надежда чему-то научиться, они считали своим долгом посетить. Могло ли это быть без великого жара страсти?

279

XX. (45) Даже горе, от которого мы призывали спастись как от страшного и жестокого чудища, считается у них полезным созданием природы, — хорошо, мол, что за свои проступки люди терпят боль от наказания, порицания, позора; а кому позор и бесчестье нипочем, те пускай уж лучше мучатся совестью, чтобы не остаться безнаказанными. Афраний взял прямо из жизни свою сцену, где распутный сын говорит:

— Горе мне, несчастному! —

а суровый отец отвечает:

— Отстрадай теперь за это, чем угодно отстрадай!

(46) И другие виды горя считаются у них полезными. Сострадание полезно, чтобы помогать другим или утешать незаслуженно пострадавших. Соперничество, зависть, — и это не без пользы: они показывают человеку, что он отстает от других или что другие настигают его. А уничтожить страх — это значило бы уничтожить в жизни всякое усердие, которое держится на страхе перед законами и магистратами, бедностью и бесчестьем, болезнью и смертью. Они признают, что этим чувствам нужно бы подрезать ветви; но выкорчевывать их с корнем будто бы и невозможно и не нужно, а самое лучшее в большинстве таких случаев держаться середины. Что же, по-моему, заслуживают внимания такие мнения?

— По-моему, очень заслуживают, и я с нетерпением жду, что ты на них возразишь.

XXI. (47) — Что-нибудь да найду; но заметь сперва, как скромно держатся в этом вопросе академики! Они просто говорят, что относится к делу. Зато перипатетикам не уйти от возражений со стороны стоиков. Но пускай же они и терзают друг друга, а мне лишь нужно доискаться, что в этом споре всего правдоподобнее. Что же здесь можно усмотреть такое, от чего можно прийти к этому правдоподобнейшему, к этому рубежу, дальше которого идти не дано человеческому уму? По-моему — определение страстей по Зенону. Звучит оно так: страсть есть движение души, противное разуму и направленное против природы; или, короче, страсть есть сильнейший порыв — сильнейший, то есть далеко отступающий от постоянной меры природы. (48) Что можно возразить на такие определения? Заметь, что они не выходят из области рассуждений, толковых и тонких, тогда как перипатетики со своим «жар души есть пробный камень

добродетели» уже пользуются риторическими прикрасами. Да разве мужественный человек не будет мужествен, если его и не сердить? Их слова подошли бы разве что для гладиаторов, да и среди гладиаторов мы нередко видим хладнокровие:

Разговаривают мирно, отвечают, спрашивают... —

280

так что обнаруживают больше спокойствия, чем гнева. Конечно, есть среди них и такие, как Нацидиан, описанный Луцилием:

— Я опрокину его, сокрушу его, можете верить:

Только сделаю так: сначала лицо окровавлю,

А уж потом погружу клинок ему в грудь и в утробу.

Я ненавижу его, жестоким охваченный гневом,

Я налечу на него — он и выхватить меч не успеет, —

Так меня ненависть обуревает неистовым гневом.

281

282

283

284

285

XXII. (49) Но ничего похожего на эту гладиаторскую ярость мы не видим, например, у гомеровского Аянта, с радостной бодростью выходящего на бой с Гектором: когда он взял оружие, то соратники его вдохновились, а враги исполнились страха, так что даже у самого Гектора, по словам Гомера, «дрогнуло сердце в груди» и он пожалел о своем вызове. Говорили они меж собою перед единоборством спокойно и мирно, да и в самой схватке не выказывали ни запальчивости, ни ярости. Точно так же, думается мне, и Торкват, впервые получивший это имя, не был обуян гневом, снимая с галла его ожерелье, и Марцелл при Кластидии был мужествен совсем не от гнева. (50) О Сципионе Африканском, которого мы знаем лучше по свежим воспоминаниям, я могу под присягою сказать, что никакого в нем не было гнева, когда он в бою прикрыл своим щитом Марка Аллиенния Пелигна, а меч свой вонзил в грудь врага. Разве что о Луции Бруте я могу усомниться, только ли безмерная ненависть к тирании бросила его на Аррунта с таким пылом. Я прямо вижу, как в единоборстве они «пали оба, сразив друг друга»; но при чем здесь гнев? Разве мужество само по себе, без неистовства, силы не имеет? А Геракл? Вам хочется, чтобы и его возвело на небо не мужество, а гнев; но разве в гневе бился он с Эриманфским вепрем или Немейским львом? И разве в гневе Тесей брал за рога марафонского быка? Ты видишь: мужество бывает и без ярости, а гнев, напротив, есть черта легкомыслия. Ибо нет мужества без разума. XXIII. (51) Презирать людские мелочи, пренебрегать смертью, терпеливо переносить боль и труд — все это в соединении с здравым суждением и смыслом обнаруживает мужество сильное и стойкое; разве что пылкость, стремительность, напористость в наших действиях дают подозревать в нас и гнев. Я думаю, что не был в гневе и великий понтифик Сципион, когда, согласно словам стоиков о том, что «мудрец не может быть частным человеком», выступил против Тиберия Гракха: видя нерешительность консула, он, будучи частным человеком, сам стал действовать как консул и призвал за собою всех, кому дорога республика. (52) Не знаю, сделал ли я что-нибудь мужественное на благо республике, но если и сделал, то никак не в гневе. Гнев похож на безумие больше всего на свете: недаром «началом безумства» называется гнев у Энния. Цвет лица, звук голоса, взгляд и дыхание, неспособность управлять речами и делами, — разве во всем этом гнев не близок безумию? Что может быть отвратительнее, чем у Гомера ссора Ахилла с Агамемноном? Аянта же гнев довел до настоящего безумия и

гибели. Мужество не нуждается в помощи гнева: оно и само приучено, готово, вооружено ко всякому отпору. Иначе можно сказать, что и пьянство, а то и безумие тоже полезно мужеству, так как и пьяные и безумные тоже отличаются силою. Аянт всегда был храбр, но храбрее всего в ярости, когда

Он свершил великий подвиг: меж данайцев дрогнувших

Он добился нам победы в боевом неистовстве.

XXIV. (53) Добился победы в неистовстве — сделаем ли мы из этого вывод, что неистовство — вещь полезная? Рассмотрим определения мужества: увидишь, что они исключают безумие. Но этим определениям мужество — это «расположение души к повиновению высшему закону в трудных обстоятельствах», или «сохранение твердого духа в таких обстоятельствах, которые представляются пугающими и страшными», или «знание предметов страшных, нестрашных и безразличных и соответственное к ним отношение». Это — определения Сфера, большого искусника по части определений (так думают стоики), — все они друг на друга похожи, и только по-разному выражают общепринятое понятие. А что говорит Хрисипп, выражаясь более кратко? «Мужество — это умение все выносить со стойкостью, или же — расположение души, которая без страха повинует высшему закону в терпении и выносливости». Хоть над этими философами и можно насмехаться (как это делывал Карнеад), других достойных определений, пожалуй, и не найти. Каждое из них раскрывает наше общее, неосознанное и скрытое понятие о мужестве. Если же его раскрыть, то кто потребует чего-то большего и для воина, и для военачальника, и для оратора? Кто скажет, будто им нужна еще какая-то ярость, чтобы до биться успеха? (54) Эту связь ведь придумали стоики, считающие, будто, кроме мудрецов, все безумны, достаточно из этого их понятия о безумии исключить гнев и другие страсти, — и мнение их окажется нелепо. Они отговариваются, что, мол, «все глупые — безумны»; это у них говорится в том же смысле, что и «всякая дрянь плохо пахнет». Но ведь не всегда: сперва пошевели, потом почувствуешь. Так и гневливый не всегда гневен: но задень его, он и вправду покажет свою ярость. А каков будет этот воинственный гнев дома? с женой, с детьми, с домочадцами? Или он и здесь полезен? Да и вообще есть ли что-нибудь, что взволнованный ум сделал бы лучше, чем спокойный? А всякий гнев — это прежде всего волнение ума. Хорошо догадались наши предки, называя разные нравы по-разному, только гневливых назвав просто «нравными», потому что гневливость — это худший из пороков, а пороки — худшее в нравах человека.

XXV. (55) Что касается оратора, то гневаться всерьез ему отнюдь не подобает, притворно же гневаться — вполне допустимо. Разве тебе не кажется, что мы гневаемся, когда говорим речь более сильно и пылко, чем обычно? А когда дело уже решено, и все позади, и мы садимся записывать нашу речь, то разве кажется, будто мы в гнев?

Вязать его! Ужель никто не видит...

Неужели кто-нибудь может подумать, будто это произносит сумасшедший Эсон или написал сумасшедший Акций? Все это — игра, игра прекрасная, и оратору (если он настоящий оратор) дающаяся даже легче, чем актеру, — но все же игра со спокойным умом и легким сердцем.

А кто желает хвалить желание? Вы называете Фемистокла, Демосфена, потом Пифагора, Демокрита, Платона. Как? Усердие вы именуете желанием? Но если это усердие к хорошим делам, которые вы и имеете в виду, то оно должно быть спокойным и мирным.

А хвалить горе, такую тяжелую долю, — решится ли на это кто-нибудь из философов? Прав был Афраний, сказав:

Отстрадай теперь за это, чем угодно отстрадай!

Но ведь это он сказал о юноше-забуддыге, мы же все время имеем в виду мужа взрослого и мудрого. А одинаков ли гнев должен быть у центуриона, знаменосца или простого воина — об этом я лучше не буду говорить, чтобы не раскрывать наши ораторские тайны. Пусть пользуется движениями души тот, кому не под силу пользоваться разумом; мы же, еще раз повторяем, говорим только о мудреце.

XXVI. (56) Но еще, мол, могут быть полезны соперничество, зависть, жалость. Однако, чем жалеть, не лучше ли помочь, если ты в силах? Или без чувства жалости мы не можем даже быть щедрыми? Не сами должны мы брать себе часть чужого горя, но других по мере сил от него избавлять. Завидовать другому — это значит тоже соперничать, только более ревниво; в чем же тут польза, если вся и разница в том, что соперник томится о чужом добре, которого у него нет, а завистник — о чужом добре, потому что оно есть и у другого? Как одобрить человека, если он, пожелав чего-нибудь, тоскует вместо того, чтобы добиваться желаемого? А мечтать одному иметь все — это уже верх безумия.

(57) А хвалить среднюю меру порока — разве это правильно? В ком есть похоть и в ком есть алчность, может ли тот не быть похотливым и алчным? в ком гнев — не быть гневливым? в ком тревога — не быть тревожным? в ком робость — не трусом? И этого-то человека — похотливого, гневливого, тревожного, робкого — мы и будем считать мудрецом? О том, что такое настоящая мудрость, можно сказать много и пространно, но мы скажем коротко: это знание наук божеских и человеческих и понимание, в чем причина всех вещей. При этом все божеское должно служить образцом, а все низшее, человеческое, — быть направляемо добродетелью. Ты говоришь, что утопаешь в буре страстей, как в море, волнуемом ветрами? Но что же могло вызвать эту бурю там, где были покой и достоинство? Что-нибудь внезапное и непредвиденное? Но может ли такое произойти с человеком, который заранее предвидит все людские превратности? А когда нам говорят о том, что чрезмерное нужно отсекаать, а естественное оставлять, то что же естественное может быть чрезмерным? Все, что порождено такими заблуждениями, должно быть искоренено и выкорчевано до основания, а не только подрезано и подстрижено.

XXVII. (58) Но так как я подозреваю, что тебе хочется узнать не столько о мудреце, сколько о себе самом (мудреца ты считаешь уже свободным от всяких страстей, а сам только стремишься к этому), то посмотрим, какие же средства предлагает философия против болезней души. Такие средства, конечно, есть, — не такой уж недоброй была природа к людскому племени, чтобы дать ему столько лекарств для тела и ни единого для души: напротив, для души она сделала даже больше, потому что поддержку для тел можно найти на стороне, а спасение для души — в ней самой. Но чем выше людская душа и божественней, тем больше требует она забот. Поэтому с толком приложенный разум сразу находит лучшие лекарства, а небрежно приложенный — чреват опасностями. (59) Итак, обращаюсь теперь с речью прямо к тебе, ведь ты лишь притворно расспрашиваешь о мудреце, а на самом деле имеешь в виду себя.

Для различных страстей различны, понятным образом, и лекарства. Не для всех болезней пригодны одни и те же средства: иное нужно тоскующему, иное — сострадающему, иное — завидующему. Но какую бы из четырех страстей ни взять, будет разница: во-первых, вести ли речь о всей страсти в целом (то есть о небрежении разумом или чрезмерном вожделении) или о ее отдельных видах (каковы страх, желание и прочее), и во-вторых, говорить ли о том, что предмет горя не стоит этого горя; или о том, что в жизни вообще нет места горю: так, если кто-то страдает от бедности, нужно выбрать, доказывать ли, что бедность не есть зло или что человеку

вообще не должно ни о чем печалиться. Последнее лучше: если увещание о бедности окажется безуспешным; то останется место и для горя; если же унять горе теми доводами, о которых говорено вчера, то горечь бедности снимется сама собою.

XXVIII. (60) Всякая страсть, конечно, успокаивается, когда вразумишь, что предмет, вызывающий радость или желание, не есть благо, а противоположный, вызывающий страх или горе, не есть зло; но полное и настоящее исцеление наступает, лишь когда докажешь, что страсти сами по себе порочны и не оправданы ни естеством, ни необходимостью: так, мы видим, что горе смягчается, если горюющим выставить на вид бессилие и изнеженность их души и, наоборот, похвалить твердость и стойкость тех, кто выносит людскую долю, не смущаясь духом. Это обычно удается с теми, кто продолжает считать беду бедою, но согласны терпеть ее безропотно. Для одного благо заключено в наслаждении, для другого — в богатстве, но и того и другого можно от невоздержности и алчности избавить. Самое лучшее — это та речь и те мысли, которые разом и уничтожают ложное мнение, и снимают болезнь; но удается это редко и не перед многолюдной толпой. (61) Бывает, однако, и такое горе, против которого это лечение бессильно, — например, если человек страдает оттого, что нет в нем доблести, высокого духа, чести, чувства долга. Это тоже мучение, но истреблять его надобно иначе — с помощью философов, хотя бы они во всем остальном и противоречили друг другу. В самом деле, все философы согласятся, что душевные движения, отклоняющиеся от прямого пути разума, порочны. Твердым, спокойным, серьезным, возвышающимся над всем человеческим, — вот каким видим мы мужа сильного и высокого духом. Ни горе, ни страх, ни желание, ни ликование, конечно, не могут его коснуться, ибо все это свойства тех, кто допускает, что превратности жизни человеческой могут быть сильнее, чем их душа.

286

XXIX. (62) Таким образом, у всех философов, как сказано, способ лечения один: заниматься не тем, что смущает душу, а самым смущением души. Так, когда речь идет об алчности, которую нужно устранить, то нет нужды вникать, благо или не благо вызывает эту алчность, а надобно устранять алчность как таковую. Поэтому, считают ли высшим благом честь, или наслаждение, или сочетание того и другого, или общеизвестные три благополучия, или даже сама добродетель вызывает столь сильный порыв — для всех этих случаев, чтобы унять страсть, надобно одно и то же убеждение. Все средства успокоения души, какие есть в человеческой природе, лежат на виду; чтобы обратить на них внимание, нужно лишь раскрыть в словах человеческую долю и жизненный закон. (63) Поэтому не без причины, когда Еврипид поставил своего «Ореста», то Сократ, говорят, охотно повторял первые три стиха этой драмы:

Нет в мире положенья столь ужасного,

Нет наказанья божьего, которого

Не одолел бы человек терпением.

Стало быть, для увещания в том, что случившееся и можно и должно перенести, полезно бывает перечислить, сколько других людей претерпели то же самое. Вообще же, что касается заглушения горя, нами достаточно сказано и во вчерашней нашей беседе, и в книге «Утешение», писанной мною в пору горя и скорби (тогда мне далеко еще было до мудрости): и хоть Хрисипп и запрещает врачевать свежие душевные раны, мы делали именно это, пользуясь силою природы, чтобы сильное горе поддалось сильному лекарству.

XXX. (64) О горе мы уже рассуждали немало; рядом с ним обычно стоит страх, о котором тоже нужно кое-что сказать. Как горе относится к насущному злу, так страх относится к злу будущему. Поэтому некоторые считают страх лишь частью горя, а

другие — предвестником тягости, потому что обычно за испугом следует тягость. Как переносится начало, так презирается и конец: лишь бы не допускать ни там, ни тут ничего низкого, ничтожного, изнеживающего, немужественного, не коверкаться и не падать духом. Но хотя говорить приходится главным образом о том, что сам страх непостоянен, легковесен, бессилен, все же полезно и о поводах для страха тоже поминать с пренебрежением. Поэтому — случайно ли, намеренно ли, но очень хорошо и кстати получилось, что о ничтожности двух важнейших предметов страха, о смерти и о боли, нам уже приходилось разговаривать на днях; если эти беседы были удачны, то от страха мы в большой степени уже избавились.

XXXI. (65) Но о ложных представлениях дурного — достаточно; пора перейти к представлению о хорошем, то есть о радости и о желании. В рассуждениях обо всех страстях видится мне одно важнейшее обстоятельство: все они — в нашей власти, все доброхотно приняты, все произвольны. Здесь одно заблуждение, одно ложное мнение должно быть искоренено: как, думая о несчастье, следует все представлять себе терпимее, так и думая о счастье, нужно сделать легче и тише то, что вызывает восторг и ликование. И у дурных и у хороших страстей есть общее: трудно убедить человека, что никакой предмет его страсти не нужно считать ни хорошим, ни плохим; однако лечение к различным страстям применяется разное: иное для зложелателя, иное для сластолюбца, иное для тревожного, иное для труса. (66) Было бы нетрудно сделать и такой вывод, одинаковый для всех добрых страстей и злых: заявить, что чувство радости доступно только мудрецу, ибо только ему доступно добро; но мы сейчас говорим о вещах не столь высоких. Пусть и почести, и богатства, и наслаждения, и все тому подобное действительно будут благами: однако все равно радоваться и ликовать из-за их приобретения позорно; так, смеяться позволительно, а хохотать без удержу предосудительно. Ибо одинаково нехорошо как разливаться душою в радости, так и сжиматься ею в скорби; одинаково порочна и жадность в приобретении, и радость при обладании; кто слишком угнетен тягостью и кто слишком увлечен радостью — с одинаковым правом считаются легкомысленными; а если зависть относится к чувствам горестным, а удовольствие при злополучии соседа — к чувствам радостным, то одинакового наказания заслуживают оба чувства за животную их жестокость; короче говоря, остерегаться пристойно, бояться непристойно и радоваться пристойно, а ликовать — непристойно (радость и ликование мы разделяем только для удобства поучения). (67) О том, что сжатие души всегда нехорошо, а расширение души — не всегда, мы уже говорили выше. Иное дело, когда у Невия Гектор радуется:

Похвала всегда отрадна от хвалимого отца, —

287

а иное дело — когда у Трабей герой радуется так:

Щедры купленные сводня враз поймет мой каждый знак,

Стоит только стукнуть пальцем — тотчас дверь откроется,

И Хрисиды, в изумленье перед неожиданным

Гостем, встанет на пороге и ко мне в объятия

Упадет...

И сам говорит, как прекрасно это ему кажется:

Я удачливей Удачи, коль удачам счет вести!

XXXII. (68) Достаточно всмотреться в такое ликование, чтобы понять, как оно постыдно. Стидно смотреть на тех, кто ликует, дорвавшись до Венериных утех, мерзко — на тех, кто еще только рвется к ним воспаленным желанием. Такой порыв обычно называется «любовью» (и я, право же, не могу подобрать ему другого имени), — и в нем видна такая слабость духа, которую и сравнить не с чем. Это о нем пишет Цецилий:

...Тот глуп или неопытен,
Кто не поймет, что бог сей выше всех богов:
В его руках — и разум и безумие,
В его руках — болезни и целение...
...Кого любить, кого желать, заманивать.

(69) О поэзия, поэзия, славная исправительница нравов! даже в сонм богов ввела ты любовь — зачинщицу порока и легкомыслия. Не говорю о комедии, — не потворствуй мы порокам, не было бы у нас и комедий. Но что говорит в трагедии сам вождь аргонавтов?

— Из любви, не ради чести ты спасла меня тогда.

И что же? какой пожар бедствий зажгла эта Медеина любовь! А у другого писателя та же Медея решается сказать отцу, что у нее есть «супруг»:

— Он, самой любовью данный, мне дороже, чем отец!

288

XXXIII. (70) Но что уж спрашивать с поэтов, если они в своих выдумках приписывают этот порок самому Юпитеру? Перейдем к наставникам добродетели — философам: они утверждают, что любовь не есть блуд, и спорят об этом с Эпикуром, который, по-моему, тоже тут не особенно отклоняется от истины. И самом деле, что такое их «любовь к дружбе»? Почему никто не любит ни уродливого юношу, ни красивого старца? По-моему, родилась такая любовь в греческих гимназиях, где она допускается в полную волю. Хорошо сказал Энний:

Быть раздетыми на людях — вот исток порочности.

289

Охотно допускаю, что философы здесь сохраняют чистоту; но волнение и тревога в них остаются, и тем больше, чем больше они стесняются и сдерживаются. (71) Не буду говорить о любви к женщинам (здесь сама природа дает нам больше свободы), но что сказать о похищении Ганимеда, как его представляют поэты, и кто не знает того, что у Еврипида говорит и делает Лайй? А чего только ученые люди и большие поэты не наговаривают на себя в своих стихах и песнях! Алкей, отважный муж в своем отечестве, так много писал о любви к мальчикам! У Анакреонта почти все стихи — любовные. Едва ли не больше всех пылал такой любовью регийский Ивик, судя по его сочинениям.

290

XXXIV. Мы видим, что у всего этого люда любовь неотрывна от похоти. Но мы, философы, сами ведь придаем любви большое значение, и первым — вождь наш Платон, которого справедливо попрекал за это Дикеарх. (72) Стоики даже утверждают, что и мудрец может любить и что сама любовь — это «стремление к дружбе, вдохновляемое красотой». Если есть в природе человек без забот, без желаний, без тревог, без печалей, — пусть так; но, уж во всяком случае, в нем не будет вожделения, а у нас сейчас речь именно о вожделениях. Ибо если есть любовь на свете, — а она есть! — то она недалеко от безумия: сказано ведь в «Левкадии»:

— Хоть бог какой нашелся бы призреть меня!

(73) Словно богам только и дела, что до человека, занятого любовными удовольствиями!

— Несчастный я!

Вот это — правда. Правда и дальше:

— Здоров ли ты, что сетуешь?

Ну, конечно, нездоров, даже собеседнику это ясно. А с каким трагическим пафосом он взывает:

— К тебе взываю, Аполлон, к тебе, Нептун, всеводный царь,
И к вам, о ветры!..

Целый мир он готов перевернуть ради своей любви, только Венеру оставляет в покое:

...А к тебе взывать, Венера, незачем!..

В своей страсти он о ней и не заботится, хотя именно страсть заставляет его говорить и действовать так нелепо.

XXXV. (74) Если кто поражен такою страстью, то для исцеления нужно показать ему, что предмет его желаний — это нечто пустое, презренное, ничтожное, чего можно легко добиться в другом месте, другим способом, или совсем не добиваться. Иногда полезно отвлечь его к другим занятиям, хлопотам, заботам, делам; часто помогает простая перемена места, как для плохо выздоравливающих больных; (75) думают даже, будто старую любовь, как клин клином, можно выбить новой любовью; но главным образом нужно убеждать человека, какое это безумие — любовь. Из всех страстей она заведомо самая сильная; если не хочешь, чтобы я осуждал ее саму по себе, вспомни насилие, позор, блуд, даже кровосмешительство, — все, что позорно и достойно осуждения. А если не хочешь говорить о них, то любовная страсть и сама по себе достаточно мерзостна. (76) Умолчим о безумии любви; но разве мало в ней еще и легкомыслия, даже там, где это кажется мелочью:

291

— Несообразностей

Полна любовь: обиды, подозрения,

Вражда, и перемирие, и опять война,

И мир опять! Всю эту бестолковщину

Толковой сделать — все равно, как если бы

292

Ты постарался с толком сумасшествовать!

Это непостоянство, эта изменчивость настроения, может ли она не оттолкнуть своим безобразием? А между тем и здесь нужно доказать то же, что говорится о всякой страсти: что она — мнимая, что она избрана добровольным решением. Если бы любовь была чувством естественным, то любили бы все, любили бы постоянно и одно и то же, не чувствуя ни стыда, ни раздумья, ни пресыщения.

293

XXXVI. (77) Что касается гнева, то уж он-то, овладев душою, делает ее заведомо безумной; это под влиянием гнева встает брат на брата с такими словами:

— Есть ли кто на белом свете вероломнее тебя?

Есть ли в ком такая жадность...

И так далее, как ты знаешь, перебрасываясь стихами, брат брату швыряет в лицо тягчайшие упреки, так что легко поверить: это дети Атрея, когда-то придумавшего против брата небывалую казнь:

— Неслыханный лелею в сердце замысел,

Чтоб сердце брата раздавить жестокое.

Какой же замысел? Послушаем Фиеста:

— Это брат мой, брат заставил, чтобы я, несчастнейший,

Собственных пожрал потомков...

294

Атрей накормил брата мясом его детей. Разве гнев у него здесь не равен безумию? Поэтому мы и говорим, что такие люди «не владеют собою», то есть ни умом, ни рассудком, ни духом, так как все это зависит от душевных сил человека. (78) От

гневною человека нужно удалять тех, кто вызвал его гнев, пока он сам не соберется с мыслями («собраться с мыслями» — это ведь и значит собрать воедино рассеявшиеся части души), или же упрашивать его и умолять, чтобы свою месть, если она ему подвластна, он отложил, пока не перекипит гнев. А кипящий гнев — это жар души, не сковываемой разумом. Отсюда и прекрасные слова Архита, разгневавшегося на своего раба: «Не будь я в гневе, я бы тебе показал!»

295

XXXVII. (79) Где же теперь все те, кто считает гнев полезным (уж тогда не считать ли полезным и безумие?) или хотя бы естественным? Или кто-нибудь допускает, будто то, что противно разуму, может быть согласно с природою? Если гнев естествен, то почему люди наделены им в разной степени? и почему эта жажда мести прекращается раньше, чем исполнится месть? и почему люди так раскаиваются в том, что они сделали в гневе? Мы знаем, что царь Александр после того, как в гневе убил своего друга Клита, едва не наложил на себя руки — таково было его раскаяние. После этого кто усомнится в том, что такое движение души есть вещь, подчиненная мнению и вполне подвластная нашей воле? Кто усомнится в том, что душевные болезни, как жадность или тщеславие, возникают из преувеличенного представления о вещах, которых желаем? Из этого опять видно: всякая душевная страсть заключена в ложном мнении. (80) И если уверенность, то есть твердая решимость души, есть некоторое знание и мнение человека серьезного и небездумного, то страх есть неуверенность, не грозит ли впереди нависающее зло; и как надежда есть ожидание блага, так страх — ожидание зла. Каков страх, таковы и другие дурные страсти. Стало быть, как уверенность — спутница знания, так и страсть — спутник заблуждения. А кто будто бы от природы гневлив, или жалостен, или жаден, то это следует считать болезненным состоянием души, заболеванием, однако, излечимым, как говорится о Сократе. Некий Зопир, утверждавший, будто он умеет распознавать нрав по облику, однажды перед многолюдной толпой стал говорить о Сократе; все его подняли на смех, потому что никто не знал за Сократом таких пороков, какими наградил его Зопир, но сам Сократ заступился за Зопира, сказав, что пороки эти у него действительно были, но что он избавился от них силою разума. (81) Это значит, что как человек, с виду отличного здоровья, может от природы иметь предрасположенность к той или иной болезни, так и душа — к тому или иному пороку. А кто порочен не от природы, а по собственной вине, в тех пороки заведомо возникают из ложного мнения о добре и зле, так что и здесь одни склоннее к одним страстям, другие — к другим. И как в теле, так и здесь: чем более застарела страсть, тем труднее ее изгнать, точно так же, как свежий ячмень на глазу легче лечится, чем давняя подслеповатость.

XXXVIII. (82) Но теперь, когда выяснена причина страстей, — произвольно выбранные мнения, суждения и решения, — нам пора переменить предмет. Следует только помнить, что, разобравши, сколько можно, вопрос о высшем добре и крайнем зле применительно к человеку, мы тем самым спросили у философии самое лучшее, самое главное за эти четыре дня нашего разговора. Мы доказали презрение к смерти; показали терпение к боли; добавили к этому успокоение горя — этой величайшей тягости человеческой. И хотя всякая страсть тяжела и близка к безумию, однако мы часто такие чувства, которые смежны со смятением, страхом, ликованием или желанием, называем бурными или смятенными, а тех, кто подвержен скорби, называем жалкими, удрученными, угнетенными, несчастными. (83) Поэтому не случайно, я думаю, а со смыслом говорили мы отдельно о горе, а отдельно об остальных страстях, ибо горе со скорбью есть их исток и начало. Но и от горя и от других душевных волнений есть одно средство: считать их мнимыми и произвольными, зная, что

допускают их потому, что так считают лучше. Это ложное мнение, как корень всех зол, и старается выкорчевать философия. (84) Доверимся же ей и позволим себя вылечить. А пока в нас сидит этот предрассудок, нам не достичь не то что блаженства, но даже попросту здоровья. Стало быть, или признаем, что разум бессилен, — а ведь на самом деле ничто не вершится вопреки разуму, — или уж, так как все доводы разума воссоединены в философии, то к ней и обратимся за средствами и способами, которые помогут от нашего желания жить хорошо и блаженно перейти и на деле к жизни хорошей и блаженной.

Книга V

О САМОДОВЛЕЮЩЕЙ ДОБРОДЕТЕЛИ

296

297

I. (1) Этот пятый и последний день наших Тускуланских бесед, милый Брут, посвящен тому самому, что тебе ближе всего. Как из обстоятельной книги, которую ты мне посвятил, так и из многих разговоров с тобою я понимаю, что тебе особенно по сердцу мысль о том, что для счастья довольно одной добродетели. Доказать это положение нелегко среди таких и стольких превратностей судьбы, однако оно стоит того, чтоб над ним потрудиться. Ибо в целой философии нет ничего достойнее для разговора важного и возвышенного. (2) Именно по этой причине первые мужи, которые занялись философией, отложили все другие предметы и сосредоточились на изыскании наилучшего образа жизни, — несомненно, в надежде достигнуть таким изучением блаженного бытия. И если ими открыта и усовершенствована добродетель и если добродетель — надежный залог блаженной жизни, то кто скажет, будто начатые ими и продолженные нами философские занятия не достойное дело? Если же добродетель, подверженная всевозможным случайностям, есть лишь служанка Фортуны и не обладает достаточной силой, чтобы сама себя защитить, то боюсь я, что надежды наши на блаженную жизнь придется нам возлагать не столько на твердую добродетель, сколько на зыбкие молитвы. (3) И право, раздумывая про себя о тех превратностях, которыми меня так безжалостно пытала судьба, я порой теряю веру в добродетель и тревожусь за слабость и хрупкость человеческую. Я боюсь, что природа, давшая нам столь слабое тело с его неисцелимыми болезнями и непереносимыми болями, под стать ему дала нам и душу, разделяющую с телом его мучения и вдобавок опутанную собственными тревогами и заботами. (4) Но я напоминаю себе, что это лишь по своей и чужой слабости, а не по самой добродетели сужу я о том, какова ее сила. Если только есть на свете добродетель (а пример твоего дяди, Брут, доказывает, что есть добродетель на свете), то она превыше всего, что может случиться с человеком, с презрением взирает на людской жребий, свободна от всякого порока, и ни до чего, кроме себя самой, ей нет дела. Мы же, из чувства страха преувеличивая все приближающиеся опасности, а из чувства скорби — уже наступившие, предпочитаем обвинять природу, а не собственные заблуждения.

II. (5) Но и от этой ошибки, и от всех возможных других слабостей и погрешностей спаситель наш — философия. В лоно ее с юных лет моих привела меня любовь и ревность к занятиям; в гавани ее, откуда мы выплыли, после многих превратностей находим мы прибежище, гонимые бурей. О философия, водительница душ, изыскательница добродетелей, гонительница пороков! что стало бы без тебя не только со мной, но и со всем родом человеческим! Ты породила города, ты соединила в общество рассеянных по земле людей, ты объединила их сперва домами, потом супружеством, наконец — общностью языков и письмен; ты открыла законы, стала наставницей порядка и нравственности; к тебе мы прибегаем в беде, от тебя ищем

помощи, тебе всегда вверялся я отчасти, а теперь вверяюсь целиком и полностью. Один день, прожитый по твоим уставам, дороже, чем целое бессмертие, прожитое в грехе! У кого мне искать поддержки, как не у тебя, которая одарила меня покоем и избавила от страха смерти? (6) Но мы видим: мало того, что философия не получает похвал за ее услуги жизни людской, — большинство людей ею просто пренебрегают, а некоторые даже и хулят. Хулить философию, родительницу жизни, — это все равно, что покушаться на матереубийство; но и этим себя пятнают люди, столь неблагодарные, что бранят ту, кого должны бы чтить, даже не умея понять! Но я думаю, что это заблуждение, этот мрак, окутывающий непросвещенные души, держится оттого, что люди не могут заглянуть в прошлое настолько, чтобы признать в первоустроителях этой жизни философов.

298

299

III. (7) Но если сама философия, как мы видим, восходит к древнейшим временам, то имя она получила, надо признать, совсем недавно. Мудрость — другое дело: кто усомнится, что не только сама она, но и имя ее существуют издавна? Кто познавал предметы божественные и человеческие, а потом — причины и начала всего на свете, тот и носил с древнейших времен это славное имя. Таковы те семеро, кого греки почитают и называют *sophoi*, а римляне — мудрецами, и задолго до них — Ликург, при котором жил Гомер, а город наш еще и не был основан, и еще в героические времена — Улисс и Нестор, которые, как мы знаем, и были и считались мудрецами. (8) И Атлант не поддерживал бы небо, и Прометей не был бы пригвожден к Кавказу, и звездный Цефей вместе с женою, дочерью и зятем не вошли бы в предание, если бы божественное знание неба не связало имена их с мифическими вымыслами. За этим вслед каждый, кто занимался наблюдением явлений, считался и звался мудрецом, и так до самого времени Пифагора. По словам Гераклида Понтийского, виднейшего ученого и ученика Платона, когда-то Пифагор во Флиунте вел ученую и красноречивую беседу с флиунтским правителем Леонтом; Леонт так поразился уму и красноречию собеседника, что спросил, откуда у него такие знания; а Пифагор ответил, что никаких знаний он за собою не знает, а просто он философ, то есть «любомудр». Удивленный новым словом, Леонт спросил, кто же такие философы и чем они отличаются от других людей. (9) Пифагор ответил, что жизнь человеческая напоминает ему тот праздничный торг, который устраивается при самых пышных общегреческих играх. Одни люди там стараются снискать венок славы и известности упражнениями закаленных тел, другие приходят, чтобы нажиться, что-нибудь продавая и покупая, а третьи, самые умные, не ищут ни рукоплесканий, ни прибыли, а приходят только посмотреть, что и как здесь делается. Так и мы: словно явились из другой жизни в эту жизнь, как на праздничный торг из какого-то другого города, и одни природою призваны служить славе, другие — служить наживе, и лишь немногие, отбросив все остальные дела, внимательно всматриваются в природу вещей, — они-то и называются «любителями мудрости», то есть философами; и как на состязаниях благороднее всего смотреть и ничего для себя не искать, так и в жизни лучше всего созерцание и познание вещей. IV. (10) Но Пифагор не только придумал слово «философ», он и саму философию распространил шире, чем прежде. После описанной нами беседы во Флиунте он переехал в Италию, где украсил в так называемой «Великой Греции» и частную и общественную жизнь прекрасными установлениями и науками. Впрочем, о его учении лучше рассказать при случае в другой раз.

Но от древнейшей философии до самого Сократа (а он учился у Архелая, который был учеником Анаксагора) главным предметом философии были числа и

движения: откуда все берется, к чему приходит, какова величина светил, расстояния между ними, пути их и прочие небесные явления. Сократ первый свел философию с неба, поселил в городах, ввел в дома и заставил рассуждать о жизни и нравах, о добре и зле. (11). Разнообразные его способы спора, богатство предметов и величие дарования, увековеченные памятью и писаниями Платона, породили множество разногласных философских школ. У этих школ мы стараемся выбрать то, в чем лучше всего сохранился обычай Сократа: собственное мнение придерживать, остальные обличать в ошибках и в таком споре выяснять, что из всего этого более правдоподобно. Таким приемом всегда умно и красноречиво пользовался Карнеад; стараемся так поступать и мы, подражая ему в этих наших Тускуланских беседах. Четыре беседы предыдущих дней изложены нами в четырех книгах для тебя; а на пятый день, когда все мы собрались на том же месте, то предмет разговора определился так:

V. (12) — Думается мне, что одной только добродетелью не может быть счастлив человек.

— А другу моему Бруту думается, что может! И уж ты не обессуди, его мнение для меня важнее.

— Я в этом не сомневаюсь, да и речь идет не о том, кто тебе дороже; речь идет о том, что я только что заявил и о чем хотел бы с тобой поговорить.

— Стало быть, ты говоришь, что для счастливой жизни одной добродетели мало?

— Именно так.

— Но скажи: чтобы жить правильно, честно, похвально, одним словом — хорошо, разве не достаточно человеку добродетели?

— Конечно, достаточно.

— А можешь ли ты так сказать: кто плохо живет, тот несчастен, а кто хорошо живет (по твоим же словам), тот тоже не счастлив?

— Почему бы и нет? Ведь и под пыткой человек может вести себя правильно, честно, похвально, то есть «жить хорошо». Но ты пойми только, что я хочу этим «хорошо» сказать: жить твердо, серьезно, разумно, мужественно — вот что я имею в виду. (13) Все эти качества можно явить и на дыбе, а от нее до счастливой жизни — куда как далеко.

— Что же? Ты хочешь сказать, что счастливая жизнь одна остается за порогом застенка, а твердость, серьезность, мужество и мудрость повлекутся за тобой к палачу и не изменят ни под пыткой, ни среди боли?

300

— Если ты ставишь такие возражения, то придумай что-нибудь новое, а это все меня не трогает: доводы эти очень избитые, и похожи они на легкое вино, разбавленное водой, — все такие стоические выдумки приятны на вкус, но слабы на хмель, сколько их ни пей. Весь этот сонм добродетелей и на дыбе являет образ столь внушительный, что счастливая жизнь бегом устремится к ним и ни на миг не пожелает их покинуть. (14) Если же отвлечься от картин и образов к самой сути дела, то останется голый вопрос: может ли человек быть блаженным в руках палача? Этот вопрос мы и будем обсуждать; а за добродетели не бойся — они не станут горевать и жаловаться, если счастливая жизнь и покинет их. Если нет добродетели без разумности — то разумность сама видит, что не все хорошие люди бывали счастливы: многое можно вспомнить о Марке Атилии, о Квинте Цепионе, о Мании Аквиллии. Если же не отвлекаться от образов ради сути дела, то мы увидим, как сама разумность удерживает счастливую жизнь, не давая ей идти на пытку, и заявляет, что с мучением и болью у нее нет ничего общего.

VI. (15) — Охотно соглашаюсь на твои условия, хотя и несправедливо с твоей

стороны предписывать мне, каким способом рассуждать. Но сперва скажи: наши уроки последних четырех дней дали нам что-нибудь или нет?

— Конечно, дали, и немало.

— Отлично; тогда наш вопрос продвинул уже очень далеко и близок к разрешению.

— Каким образом?

— Потому что в человеке беспорядочном, конечно, метания души, носимой безотчетными порывами, отрицают всякий разум, и тогда уж для блаженной жизни не остается никакой возможности. Если человек боится смерти и боли, из которых одна грозит нам так часто, а другая — всегда, то разве может он не быть несчастен? Если человек боится, как все, бедности, ничтожества, бесславия или немощи, или слепоты, или того, что грозит даже не малым людям, а целым народам, — рабства, — то разве он, боязливый, может быть блаженным? (16) А если он не только боится за будущее, но уже претерпевает что-то и в настоящем — изгнание, сиротство, бездетность? Кто под всеми этими ударами впадает в скорбь, тот разве не несчастней всех? А кого мы видим, распаленного желанием, охваченного бешенством, страстно всего домогающегося, ненасытимо жадного, к которому чем обильнее притекают наслаждения, тем жарче он жаждет новых, — разве тот не несчастнейший из людей? А кто по легкомыслию своему беспричинно ликует — не кажется ли он нам столь же несчастен, сколько себе — счастлив? Стало быть, как эти люди несчастны, так блаженны те, кого не пугают страхи, не мучит горе, не возбуждают страсти и не заставляют ликовать пустые радости, размягчая томными наслаждениями. Как море считается спокойным лишь тогда, когда ни малейшее дуновение ветерка не колеблет в нем зыби, так и душа считается спокойной и мирной лишь тогда, когда ее не тревожит ни малейшее волнение. (17) Есть ли на свете человек, готовый принять и претерпеть всякую судьбу, всякую людскую долю, все, что может приключиться с человеком, и потому недоступный ни для страха и тревоги, ни для желания, ни для пустого ликования, — и если есть, то разве он не блажен? А если все эти свойства приходят к человеку от добродетели, то почему не сказать, что добродетель сама по себе дает человеку блаженство?

VII. — Я согласен, о второй части вопроса ничего другого и не скажешь: кто ничего не боится, ни о чем не тревожится, ничего не жаждет, не ликует попусту, те блаженны, я не спорю. Однако и о первой мы уже говорили: ведь нами установлено в прежних беседах, что мудрец свободен от всякой страсти.

(18) — Стало быть, дело и кончено: вопрос наш, кажется, исчерпан?

— Пожалуй, что так.

— Ну нет! это обычай математиков, а у философов обычай другой. Когда геометр что-нибудь хочет доказать и что-то нужное для этого доказательства у него уже доказано, он принимает это как утвержденное и установленное и исходит из этого при новых доказательствах. Философ, напротив, с каким бы вопросом он ни имел дело, собирает вокруг него все, что может собрать, хоть бы о том и говорилось прежде. Иначе зачем стоику так много разглагольствовать, когда его спросят, довольно ли одной мудрости для достижения счастья? Достаточно было бы ответить: я уже доказал, что хорошо только то, что нравственно; а из этого прямо следует, что все блаженство содержится в добродетели; и как второе следует из первого, так и первое из второго: если блаженство — в добродетели, то хорошо только то, что нравственно. (19) Но стоики действуют иначе: и о нравственности, и о высшем благе они пишут отдельные книги, и даже когда достаточно ясно, как добродетель много значит для блаженства, все равно они пишут об этом отдельно. Они считают, что всякое дело непременно должно

быть доказано своими собственными доводами и примерами, а особенно дело столь важное. Потому и не сомневайся: ни о чем философия не говорит так ясно, ничего не провозглашает важнее и пространнее. И что же она провозглашает? Праведные боги! Она обещает привести того, кто повинуется ее законам, к такому совершенству, что он всегда будет вооружен против судьбы, всегда будет иметь в себе все оплоты для жизни честной и блаженной и всегда, стало быть, обладать блаженством. (20) Но мы посмотрим, чего она добьется, — хотя и обещанное, на наш взгляд, многого стоит. Вспомним Ксеркса: владея всеми дарами судьбы, конницею, пехотою, кораблями, несметными сокровищами, он назначил награду тому, кто изобретет для него новое наслаждение, но и этим был недоволен, — все потому, что желаниям человеческим нет предела. А для нас желаннейшая награда, чтобы кто-нибудь привлек новый довод для укрепления нашей веры в самодовлеющую добродетель.

301

VIII. (21) — Я хочу того же, что и ты, но сперва прошу еще об одной мелочи. Я совершенно согласен с тем, как ты выводил одно из другого: если только честное хорошо, то только добродетель дает блаженную жизнь, и если только добродетель дает блаженную жизнь, то только нравственное хорошо. Однако твой друг Брут, ссылаясь на Ариста и Антиоха, полагает иначе: он говорит, что есть некоторые блага и помимо добродетели.

— Чего же ты хочешь? Чтобы я стал опровергать Брута?

— Нет, только чтобы ты поступал, как тебе угодно: не мне предписывать границы твоей речи.

(22) — Ну что же, посмотрим в свое время, кто тут более последователен. Спорить об этом мне и с Антиохом приходилось много раз, и с Аристом, когда я недавно проезжал через Афины после войны. Мне тогда казалось, что не может быть блаженным человек в несчастье: в несчастье можно лишь оставаться мудрым, терпя несчастья или от болезни, или от обстоятельств. Говорилось также и о том, о чем Антиох и писал не раз: что добродетель сама по себе может сделать человека блаженным, но не может блаженнейшим. Говорилось главным образом о таких вещах, как сила, здоровье, богатство, почести, слава, которых может быть больше или меньше, которые надобно определять как целое, независимо от количества; точно так же и блаженная жизнь, пусть и в чем-то неполная, все же заслуживает такого имени, оставаясь блаженной в большей своей части. (23) Все ошибки таких утверждений здесь не место вскрывать, но некоторые несвязности сами бросаются в глаза. Во-первых, я не понимаю, как может блаженный в чем-то нуждаться, чтобы стать блаженнее (ведь кому чего-то не хватает, тот и не был блаженным); а во-вторых, когда они говорят, что всякую вещь надо определять и называть по тому, чего в ней больше, то в каких-то случаях они, может быть, и правы; но если, например, из трех возможных зол на человека давят два, превратности судьбы и гнет телесных недугов, то можно ли утверждать, что ему лишь немного недостает для блаженной (не говоря уже о блаженнейшей) жизни?

IX. (24) Таких разговоров терпеть не мог Феофраст. Он признал, что побои, пытки, мучения, бедствия отчизны, изгнание, потери не могут не делать жизнь жалкой и несчастной; но об этом, о таких простых и горестных чувствах, он не решился говорить возвышенно и пространно; хорошо ли он так решил, не нам судить, но решил твердо и раз навсегда. А я не из таких, которые, соглашаясь с предпосылками, отвергают выводы. Ведь почему-то люди не так уж сильно нападают на Феофраста, философа красноречивейшего и ученейшего, за его рассуждения, что блага бывают трех родов, но очень сурово бранят его за то, что сказано у него в книге «О блаженной

жизни», где он подробно доказывает, почему не может быть блажен человек под муками и пытками. Это там он будто бы говорит, что на колесо (есть такая казнь у греков) блаженная жизнь никогда не всхаживала; на самом деле он этого не говорит, но общий смысл его слов именно таков. (25) Но если я признаю вслед за ним, что телесные страдания зло и что превратности судьбы — тоже зло, то могу ли я на него сердиться, когда он говорит, что не все хорошие блаженны, потому что со всяким хорошим человеком может случиться то, что он считает несчастьем? И еще того же Феофраста преследуют в своих книгах все философы всех школ за то, что в своем «Каллисфене» он одобрил такое изречение:

— Не Мудрость правит, а Судьба и Случай здесь.

«Ни один философ, — говорят критики, — не высказывал ничего более расхолаживающего!»

Я согласен, но не вижу здесь никакой непоследовательности: в самом деле, если столько благ заключено в теле и столько благ вне тела, в руках судьбы и случая, то разве не логично сказать, что Судьба, владычица всех благ телесных и внешних, больше значит в жизни, чем любое размышление?

302

(26) Или лучше будет последовать за Эпикуром? У него много прекрасных высказываний; но о том, чтобы эти высказывания были связны и последовательны, он не заботился. Так, он хвалит простой образ жизни; что ж, это делали многие философы, но Сократу или Антисфену это больше к лицу, чем проповеднику наслаждения как высшего блага. Он говорит, что не может быть приятной жизни без чести, мудрости, справедливости. Прекраснейшие слова и достойные философии, если бы все это — «честь, мудрость, справедливость» — относилось опять-таки не к наслаждению. «Судьба не властна над мудрецом», — что может быть лучше сказано? Но говорит это человек, считающий боль не только высшим, но и вообще единственным злом; что он скажет, если острейшая боль согнет ему все тело, как раз когда он будет на словах торжествовать над Судьбой? (27) Еще лучше сказал Метродор: «Я оградился от тебя, Судьба, я перехватил все подступы, чтобы ты не могла подобраться ко мне». Это прекрасно звучало бы в устах Аристона Хиосского или Зенона-стоика, которые ни в чем не видели зла, кроме как в позоре; но ты, Метродор, ты, который загнал всякое благо в глубь собственной утробы, а высшим благом считаешь крепкое здоровье и надежду на его сохранение, ты ли преградишь всякий доступ к себе для Фортуны? Чем? Ведь всех своих благ ты можешь лишиться в одно мгновение.

Х. (28) Вот в какие сети попадают неопытные критики, и вот почему их оказывается такое множество. Ведь только проницательнейший спорщик способен смотреть не на то, что говорят философы, а на то, что подобало бы им говорить. Возьмем этот самый вопрос, который мы разбираем: все хорошие люди блаженны. Кого я называю «хорошим», это ясно: хороший человек — это человек мудрый и обладающий всеми добродетелями, которые красят человека. Посмотрим теперь, кого надо называть блаженным. Я бы сказал: «Всех, кто располагает благами и свободен от зол». (29) «Быть блаженным» — когда мы это говорим, то не имеем в виду ничего другого, кроме обладания всею совокупностью благ без примеси зол. Но достигнуть этого не может никакая добродетель (если только есть в мире блага, кроме нее!). Ибо ее толпою окружают беды, если только мы называем их бедами: бедность, безродность, униженность, одиночество, потеря близких, тяжкие болезни, немощь, слабосилие, слепота, крушение отечества, изгнание и, наконец, рабство, — вот какие и вот сколько (а можно бы перечислить и больше) бедствия обступают мудреца, потому что посылает их случай, и посылает мудрецу не меньше, чем другим. Если все это — действительно

бедствия, то кто из мудрецов сможет притязать на вечное счастье, когда все они могут обрушиться на каждого во всякий миг?

(30) Нет, если все, перечисленное выше, — действительное зло, то я никак не могу согласиться ни с другом моим Брутом, ни с общими нашими наставниками, ни с древними — Аристотелем, Спевсиппом, Ксенократом, Полемоном, утверждавшими, что мудрец всегда блажен. Если же они хотят сохранить прекрасное и славное имя философа и быть достойными Пифагора, Сократа, Платона, то пусть принудят они себя презирать все, что пленяет их своим блеском, — силу, здоровье, красоту, богатство, почести, имущество, — и пусть принудят себя относиться с равнодушием ко всему, что этому противоположно. Тогда только смогут они зваться этим гордым именем и утверждать, что они выше ударов судьбы, выше предрассудков толпы, что они не боятся ни болезни ни бедности, что все свое они носят в себе, и все, что им кажется благом, — в их власти. (31) А иначе говорить слова, достойные мужа высокого и великого, а мнения о добре и зле разделять с толпою, — это уж совсем непозволительно. Между тем на такую славу и польстился ведь даже Эпикур: он тоже говорил, да простят его боги, что мудрец счастлив всегда. Его пленила важность такого суждения; но прислушайся он к своим собственным словам, он никогда не сказал бы этого. К лицу ли человеку, который считает боль высшим или даже единственным злом, среди мучений восклицать: «Как мне приятно!» — и зваться при этом мудрецом? Ведь не по отдельным заявлениям признают философов философами, а по твердости и постоянности их взглядов.

XI. (32) — Ты хочешь склонить меня на свою сторону; но берегись, чтоб самому не оказаться непоследовательным.

— Почему?

— Я недавно читал твою четвертую книгу «О предельном добре и зле»; в ней, как я понял, ты в споре с Катонем старался показать, что между Зеноном и перипатетиками различие только в словах (с чем я совершенно согласен). Если это так, если Зенон прав в своем рассуждении о важности добродетели для блаженной жизни, то почему отказывать в этом же самом перипатетикам? Ведь смотреть надо не на слова, а на суть.

303

(33) — Ты, значит, предлагаешь мне мою же расписку, ты бьешь меня тем, что я когда-то сказал или написал? Побереги-ка это для других, которые спорят по правилам, а мы живем со дня на день: что поразит нас большим правдоподобием, то и отстаиваем словесно, свободные от всяких правил. Хотя я и говорил недавно о постоянстве, здесь я считаю неуместным доискиваться, верно или нет полагали Зенон и его ученик Аристон, что добродетель — это только то, что нравственно [...] все блаженство жизни заключено в единой добродетели. (34) Поэтому спокойно предоставим Бруту считать всякого мудреца блаженным, — подходит это ему или нет, он увидит и сам; да и кому, как не столь достойному мужу, держаться столь славного мнения? А мы такого мудреца готовы назвать даже не блаженным, а блаженнейшим.

304

305

306

XII. Но кажется, будто Зенон Китионский, пришлый и безродный словесных дел мастер, стараясь втереться в ряд великих философов, заимствовал эту мысль не у кого иного, как у самого Платона, который обращался к ней несколько раз: только мудрец может быть счастлив. Например, в «Горгии» Сократу предлагают вопрос, не считает ли он блаженным человеком Архелая, сына Пердикки, — Архелай этот, казалось, был тогда на вершине счастья. (35) Сократ ответил: «Не знаю — я ведь с ним никогда не

разговаривал». — «Как? иначе ты не можешь судить о нем?» — «Никоим образом». — «Значит, и о великом персидском царе не можешь сказать, счастлив он или нет?» — «Как же я могу это сделать, не зная, ученый ли он и хороший ли он человек?» — «Значит, только в этом ты и видишь залог блаженной жизни?» — «Конечно: добродетельных людей я считаю блаженными, а дурных — несчастными». — «Так и Архелай несчастен?» — «Если он несправедлив, то да». — Разве из этого разговора не видно, что в добродетели для него заключается вся блаженная жизнь? (36) И разве не о том же говорится в «Надгробном слове»? «Кто в самом себе, — говорит он, — имеет все, что потребно для блаженной жизни, и притом независимо ни от кого; кто ни в удаче, ни в неудаче не имеет нужды блуждать, завися от чужих поступков, тот владеет искусством наилучшей жизни. В нем — умеренность, в нем — мужество, в нем — мудрость; когда в его жизни что-то возникает или погибает (прежде всего — дети), он примет это покорно и спокойно по старому завету, он не будет ни радоваться, ни печалиться свыше меры, потому что будет полагаться во всем только на самого себя». Вот из этих слов Платона, как из священного чистого источника, извожу я и свою собственную речь.

XIII. (37) С чего же нам начать по порядку, как не с общей нашей матери — природы? Ведь природа велит всему рождающемуся (и не только животным, но и таким порождениям земли, которые держатся еще за нее корнями) быть совершенным в своем роде. Так, и деревья, и лозы, и еще больше скромные прочие растения, неспособные подняться выше над землею, иные вечно зеленеют, иные же обнажаются на зиму, а весною покрываются новой зеленью, и каждое из них крепнет внутренним своим движением и заключенными в них семенами, благодаря которым они приносят каждое свои цветы, плоды или ягоды, — все, что в них заложено, если не мешает какое-то внешнее препятствие. (38) Еще заметнее сила природы в животных, которых она уже наделила чувствами. Животных плавучих она поселила в воде, животным крылатым предоставила воздух, одним дала ползать, другим — ходить, одним жить в одиночестве, другим — стаями и стадами, одни остались дикими, другие приручились, а некоторые даже живут под землей. Так каждая порода владеет своим особым даром, и никакие животные не могут перейти положенный им рубеж — таков закон природы. И как животным от природы дано каждому свое, и оно всегда при нем, так дано и человеку нечто гораздо высшее. Если о «высшем» можно говорить только в сравнении с чем-то, то человеческая душа произошла от божественного духа и сравнима быть может только с самим богом, ежели не грешно так говорить. (39) Стало быть, если о душе долгое время заботиться и следить, чтобы зрячесть ее не омрачалась никакими заблуждениями, то она становится совершенным умом, безотносительным разумом, иными словами — добродетелью. И если блаженно все то, что само в себе полно и закончено, а это — свойство добродетели, то ясно, что всякий, кто причастен к добродетели, блажен. В этом я согласен с Брутом, а тем самым — с Аристотелем, Ксенократом, Спевсиппом, Полемоном; этих мужей я назвал бы даже не блаженными, а блаженнейшими.

(40) Чего же недостает до блаженства тем, кто уверен в своем благе? И кто может быть блажен, если не уверен в своем благе? А не уверен в своем благе, например, тот, кто разделяет блага на три вида. XIV. Разве можно быть уверенным в своем телесном здоровье или в милости судьбы? Кто хочет быть блажен, тому нужно опираться на благо прочное и непреходящее; какое же отношение к блаженству могут иметь здоровье или судьба? Мне вспоминаются слова одного лаконца, когда какой-то купец хвастался перед ним, что разослал свои суда во все концы земли: «Не хотел бы я такого богатства, которое держится лишь на веслах!» Разве можно сомневаться, что среди тех благ, полнота которых делает жизнь блаженной, нет места ничему, что может быть утрачено?

Ничто, способное иссохнуть, погаснуть, пасть, не должно быть в числе опор совершенного блаженства. Ибо кто боится потерять, что имеет, тот не может быть блаженным. (41) Мы желаем, чтобы наш блаженный человек был неуязвим, защищен от всех опасностей, окружен стеною и укреплениями, чтобы в нем не было даже малого страха, а только совершенное бесстрашие. Невинным называется не тот, кто виновен лишь слегка, а только тот, кто вовсе не знает вины; бесстрашным называется не тот, кто боится немногого, а тот, кто вовсе ничего не боится. И что такое мужество, как не расположение души, с одной стороны, к стойкости в опасностях, страданиях и трудах, а с другой стороны, против всякого страха? (42) Все это было бы невозможно, если бы все эти блага не коренились в единой нравственности. Желаннее всего для человека безопасность — так я называю отсутствие всякого настоящего и будущего горя, то чувство, без которого была бы немыслима блаженная жизнь. Но может ли обладать этим чувством человек, которого обступили и обступают беды со всех сторон? Кто может быть так высок и прям, чтобы свысока смотреть на все превратности судьбы (а таков должен быть мудрец), как не тот, кто верит, что в нем самом заложено все? Лакедемонянам когда-то Филипп грозил в письме, что будет препятствовать всякому их предприятю; те спросили: «Даже гибели?» Если таков дух целого народа, то неужели труднее найти такой дух в одном человеке? Мало того: если с тем мужеством, о котором идет речь, соединена умеренность, эта умиротворительница душевных движений, то чего еще не достает для блаженной доли человеку, которого мужество защитит от страха и скорби, а умеренность — от желаний и от бесстыдного ликования? А такое дается именно добродетелью, — я бы легко это доказал, не будь оно и так ясно из бесед четырех последних наших дней.

XV. (43) Но если страсти делают жизнь несчастной, а успокоение этих страстей делает жизнь счастливой; если есть два рода страстей: один — от дурных предрассудков, порождающих горе и страх, другой — от благих заблуждений, как желание и ликование, и все они ратуют против разума и здравого смысла, то, увидев человека вольного, свободного, отрешенного от всех этих волнений, столь тяжких и друг с другом несогласных, разве ты поколеблешься назвать его блаженным? Но мудрец всегда именно таков; стало быть, мудрец всегда блажен. Далее, все хорошее в людях радостно; что радостно, тем можно громко гордиться, ибо оно достославно; что достославно, то похвально, что похвально, то нравственно; стало быть, все хорошее в людях — нравственно. (44) Между тем даже те, кто хвалит так называемые блага, не решаются назвать их нравственными; стало быть, благо — лишь то, что нравственно; стало быть, нравственность одна заключает в себе блаженную жизнь. Поэтому нельзя считать и называть благом все то, что даже в изобилии не может избавить нас от несчастья. (45) Представь себе человека отличного здоровья, силы, красоты, с безукоризненным зрением, слухом и остальными чувствами, даже, если угодно, быстрого и проворного; осыпь его богатствами, почестями, властью, могуществом, славой; но если он при всем этом окажется неправосуден, не умерен, робок, тупоумен или вовсе слабоумен, — разве ты усомнишься назвать его несчастным? Чего же стоят все эти блага, если обладатель их остается несчастнейшим человеком? Как куча зерна — из одинаковых зерен, так и наша блаженная жизнь, если подумать, должна слагаться из малых однородных частиц. Если так, то понятно, что такая жизнь должна слагаться лишь из частиц добрых, а значит — только нравственных; если же окажется примесь других частиц, все в целом нельзя будет назвать нравственным; а без нравственности возможно ли блаженство? Вообще все хорошее не может не привлекать; все привлекательное не может не нравиться; все, что нравится, не может не быть приятно и желанно; а чего желаешь, в том, стало быть, видишь какое-то достоинство; если это

так, то оно должно быть и похвальным; а стало быть, все хорошее — похвально. Из этого опять-таки следует, что только нравственное — хорошо.

XVI. (46) Если же мы не будем держаться такого мнения, то слишком уж многое придется нам объявить благами: не говорю о богатстве (то, чем может обладать каждый негодяй, я к благам не причисляю, ведь настоящим благом не каждому дано владеть), не говорю о знаменитости и славе (это суд толпы, состоящей из глупцов и подлецов); но даже такие вещи, как белые зубки, приятные глазки, цвет кожи и даже то, что упоминает Антиклея, омывая ноги Улиссу, —

Изысканную речь и тело мягкое, —

если все это мы сочтем за благо, то чем же будет серьезность философа и выше и величавей, чем предрассудки черни и толпы глупцов? (47) Стоики — те называют подобные блага не «благами», а «преимуществами»: называя их так, стоики показывают, что понятие «блаженная жизнь» складывается не из них, — между тем как те, перипатетики, без них не представляют себе жизни блаженной или, по крайней мере, блаженнейшей. Мы же и без этого хотим считать жизнь блаженнейшей, следуя в этом сократическим рассуждениям. А Сократ, этот чиновничья философ, рассуждал так: каковы у человека склонности духа, таков и сам человек; каков человек, такова его речь; какова речь, таковы дела; каковы дела, такова жизнь. Склонности духа в мудреце достохвальны, стало быть, и жизнь его достохвальна, а потому и нравственна. Вот какие блага служат источником блаженной жизни. (48) И в самом деле: клянусь богами и людьми! Разве в этих наших беседах, которые мы ведем для удовольствия и провождения времени, мы не решили, что мудрец всегда свободен от всякого волнения души, именуемого нами страстью, что всегда в душе его царит умиротворенный покой? Муж, уверенный во всем, твердый, не знающий ни страха, ни горя, ни опрометчивости, ни вожделения, — разве он не блажен? Мудрец всегда таков: стало быть, мудрец всегда блажен. Далее, может ли достойный человек не мерить все свои слова и дела меркой похвальности? А он мерит их меркой блаженной жизни; стало быть, блаженная жизнь и похвальная — одно и то же. Но без добродетели нет ничего похвального; следовательно, блаженство достигается добродетелью. VII. (49) К тому же самому можем мы прийти еще вот каким умозаключением. Ни в несчастной жизни, ни в такой жизни, которая не счастлива и не несчастна, нет ничего достойного похвалы или похвальбы. А ведь есть и такая жизнь, которая достойна похвалы и похвальбы, — например, у Эпаминонда, —

Разумом нашим подрезаны крылья у славы лаконцев, —

или у Сципиона Африканского:

307

От Меотийских болот, где восходит восточное солнце,

Нет такого, чтоб делом равняться ему.

(50) Если все это так, то блаженная жизнь достойна гордости, похвалы и похвальбы, и нет ничего более достойного гордости или похвалы. Следствия из этого понятны: если жизнь блаженная и жизнь нравственная не тождественны, то должно быть нечто лучшее, чем блаженная жизнь, — ведь всякий согласится, что нравственная жизнь лучше. Получается, что есть что-то лучше, чем блаженная жизнь, — но разве это не нелепость? И потом, — если мы признали, что порок достаточная сила, чтобы сделать жизнь несчастной, то надо считать, что и добродетель достаточная сила, чтобы сделать жизнь блаженной. (51) Тут я и вспоминаю знаменитые весы Критолая, который помещал на одну чашу все душевные блага, а на другую — все телесные и внешние, и утверждал, что чашу с душевными благами не перевесит и целый мир своими морями и землями.

XVIII. Если так, то что же мешает тому же Критолаю или самому важному среди

философов — Ксенократу, превозносителю добродетели и поносителю всего остального, признать такую жизнь не только блаженной, но и блаженнейшей? Такая непоследовательность разом губит все добродетели. (52) Ведь кто доступен горю, тот неминуемо доступен и страху, ибо страх есть ожидание будущего горя; на кого нападает страх, на того и робость, испуг, оцепенение, трусость; он будет чувствовать себя в их власти и применит к себе знаменитые слова Атрея:

О если бы нам жить непобежденными! —

ибо он будет побежден, и не только побежден, но и обращен в рабство. А для нас добродетель всегда вольна, всегда непобедима; если этого нет — нет и добродетели. (53) Если добродетель — достаточный оплот для нравственной жизни, то и для блаженной тоже; добродетели достаточно, чтобы жить мужественно; мужественно — значит, с высоким духом, чтобы ничего не страшиться и всегда оставаться непобежденным. Следовательно, добродетельному человеку нечего стыдиться, не в чем нуждаться, нечего бояться; следовательно, все у него делается гладко, легко, удачно, совершенно, — иными словами, блаженно. Стало быть, добродетели достаточно, чтобы жить мужественно, а значит — блаженно. (54) Как глупость, добившись, чего желала, домогается еще и еще, так мудрость, всегда довольная тем, что при ней, никогда не знает недовольства собой.

308

XIX. Гай Лелий был консулом один раз, да и то после провала на выборах (хотя когда такой разумный и достойный муж встречает на выборах препятствия, то это скорее провал не для консула, а для народа), но неужели ты не предпочел бы одно консульство Лелия четырем консульствам Цинны? (55) Не сомневаюсь в твоем ответе — я ведь знаю, с кем говорю. Но спросить такое можно не у всякого: иной ответит, что не только четыре консульства предпочел бы одному, но и один день Цинны предпочел бы целой жизни многих славных мужей. Лелий принял бы наказание, если бы он пальцем кого-нибудь тронул; а Цинна велел казнить Гнея Октавия — собственного товарища по консульству, Публия Красса и Луция Цезаря — знатнейших мужей, чья мудрость была изведена на войне и в мире, Марка Антония — красноречивейшего оратора из всех, кого я слышал, Гая Цезаря — того, кто был для меня живым образцом обходительности, остроумия, приятности, изящества. Блажен ли был тот, кто совершал эти убийства? Мне он кажется скорее несчастен, и не столько по тому, что он сделал, сколько по тому, что привело и допустило его до этих деяний. Впрочем, «пустило» — это обмолвка: я знаю, что преступления никогда не допустимы, я имел в виду не «допущение», а «попущение». (56) Когда был блаженнее Гай Марий — тогда ли, когда делил победу над кимврами с Католом, этим вторым Лелием (так, по-моему, были они похожи) или тогда, когда, победивши в гражданской войне, в ответ на мольбы всех друзей и родственников Католу он отвечал вновь и вновь: «Смерть ему!» Здесь, по-моему, блаженнее тот, кто повиновался этим нечестивым словам, чем тот, кто отдавал преступный приказ. Ибо лучше терпеть, чем творить несправедливость, и лучше, как Катол, сделать шаг навстречу и без того уже близкой смерти, чем, как Марий, казнью такого мужа затмить свои шесть заслуженных консульств и осквернить остаток своих дней.

XX. (57) Тридцать восемь лет Дионисий был тираном Сиракуз, придя к власти в двадцать пять лет. Какой прекрасный и какой богатейший город поверг он под иго рабства! Хорошие историки пишут, что хоть он и был человеком умеренной жизни и больших государственных способностей, нравом он был неправосуден и жесток. Из этого понятно всякому, кто умеет видеть суть: он не мог не быть несчастнейшим человеком. То, чего он больше всего желал, ускользало у него из рук тем скорее, чем

большей властью он обладал. (58) Хоть был он из хорошего знатного рода (об этом, впрочем, историки пишут по-разному), обладал в изобилии дружескими и родственными связями, а с некоторыми юношами находился, по греческому обычаю, в любовной связи, — но не доверял он из них никому, а доверял только рабам из богатых домов, им самим отпущенным на волю, а также некоторым пришельцам и диким варварам, которых только и допускал себя охранять. Так ради низкой жажды власти он словно самого себя заключил в темницу. Даже стричь себя он научил родных дочерей, не доверяя цирюльнику: и вот царские дочери, как рабыни, ремесленнически подстригали волосы и бороду отца. Но даже им доверял он не вполне, и когда они подросли, он отобрал у них бритвы и велел опалать себе бороду и волосы раскаленными ореховыми скорлупками. (59) К двум своим женам — сиракузянке Аристомaxe и взятой из Локров Дориде — он приходил по ночам так, чтобы заранее все осмотреть и разузнать. Спальный покой его был окружен широким рвом, через который был переброшен лишь деревянный мостик, и он всякий раз сам за собою его поднимал, запираясь в опочивальне. Выступая в народном собрании, он уже не решался стоять прямо перед народом, а говорил свои речи с высокой башни. (60) Он любил играть в мяч и часто этим развлекался; однажды, раздевшись перед игрой, говорят, он отдал вместе с мечом одежду любимому мальчику; один из друзей в шутку сказал: «Вот кому все-таки доверяешь ты свою жизнь!» И мальчик улыбнулся. Дионисий за это приказал казнить обоих — одного за то, что тот подал мысль об убийстве, другого за то, что он своей улыбкой ее одобрил. При этом он горевал, как никогда в жизни, — ведь он убил мальчика, которого очень любил. Так души бессильных раздираются противоположными страстями: последовав одной, идешь против другой.

XXI. (61) Впрочем, тиран и сам понимал, что это за блаженство. Один из его льстецов, Дамокл, разглагольствовал о царском богатстве, могуществе, величии, изобилии, роскоши дворцов и утверждал, что блаженнее Дионисия никого нет на свете. «Хочешь, Дамокл, — спросил тот, — если тебе нравится такая жизнь, изведать ее самому и испытать, как я живу?» Тот согласился; Дионисий уложил его на золотое ложе, застланное роскошным и богато расшитым ковром, под штучным потолком, украшенным золотом и серебром; потом велел мальчикам отборной красоты стать вокруг стола и угодливо прислуживать ему по первому знаку. (62) Вокруг были благовония, цветочные венки, курились ароматы, стол был полон изысканных яств, — Дамоклу казалось, что он на вершине блаженства. Среди всей этой пышности тиран приказал подвесить к потолку на конском волосе блестящий меч, чтобы он пришелся над самой головой блаженствующего. Увидев это, Дамокл не стал смотреть ни на красавцев-прислужников, ни на серебряную чеканную посуду, не притронулся к пище, венки сами соскользнули у него с головы, и он стал умолять Дионисия отпустить его: больше уж блаженства ему не надо. Разве не достаточно ясно показал этим Дионисий, что нет блаженства для того, над кем вечно нависает страх. И при всем этом Дионисий не исцелился душой, не воротился к правой жизни, не воротил гражданам свободу и полноправие: он запутался в сетях заблуждений еще в безрассудном возрасте и наделал столько бед, что, даже взявшись за ум, уже не мог исцелиться.

309

310

XXII. (63) Как он мечтал о настоящей дружбе, в которой можно не бояться неверности, показывает известный случай с двумя пифагорейцами, из которых один остался заложником смерти другого, а второй пришел к сроку казни, чтобы освободить друга: «О, если бы я мог быть третьим в вашей дружбе!» Как несчастен был он без дружеских уз, без товарища в жизни, без откровенной речи, — он, смолodu ученый и

искушенный в благородных науках! Ведь он был искусен в музыке, был сам поэтом-трагиком (хорошим или нет — другой вопрос: в этом деле почему-то каждый сам себе хорош; из всех поэтов, которых я знал, — а я водился даже с Аквинием! — каждый считал себя лучше всех, — что делать, тебе мило твое, мне мое!). И вот такой-то человек был вовсе лишен человеческого общества и обращения, а жил среди беглых, среди преступников, среди варваров и не верил, что кто-нибудь достойный свободы или хотя чающий свободы может быть ему другом.

311

XXXIII. (64) С этой жизнью — самой черной, жалкой, презренной, какую я могу себе представить, — я даже не пытаюсь сравнивать жизнь Платона или Архита, мужей ученых и поистине мудрых. Я возьму маленького человека из того же города, жившего много лет спустя, вызвав его к свету от его песка и трости, — это Архимед. Когда я был квестором, я отыскал в Сиракузах его могилу, со всех сторон заросшую терновником, словно изгородью, потому что сиракузяне совсем забыли о ней, словно ее и нет. Я знал несколько стихов, сочиненных для его надгробного памятника, где упоминается, что на вершине его поставлены шар и цилиндр. (65) И вот, осматривая местность близ Акрагантских ворот, где очень много гробниц и могил, я заметил маленькую колонну, чуть-чуть возвышавшуюся из зарослей, на которой были очертания шара и цилиндра. Тотчас я сказал сиракузянам — со мной были первейшие граждане города, — что этого-то, видимо, я и ищу. Они послали косарей и расчистили место. (66) Когда доступ к нему открылся, мы подошли к основанию памятника. Там была и надпись, но концы ее строчек стерлись от времени почти наполовину. Вот до какой степени славнейший, а некогда и ученейший греческий город позабыл памятник умнейшему из своих граждан: понадобился человек из Арпина, чтобы напомнить о нем.

Но вернемся к нашему предмету. Есть ли человек, хоть сколько-нибудь знакомый с музами, то есть с образованностью и наукой, который не предпочел бы быть этим математиком, нежели тем тираном? Сравним образ жизни того и другого — у одного ум живет в постоянной деятельности, в постоянной пытливости, с тем наслаждением искания, которое для ума — сладчайшее из яств, у другого ум — в кровавых злодеяниях, в ежедневном и еженощном страхе. Припомни Демокрита, Пифагора, Анаксагора — какие царства, какие богатства предпочтешь ты сладости их изысканий? (67) Есть лучшая часть в душе человека, и только в ней может быть то лучшее из благ, которого ты ищешь. А что в человеке лучше пытливого и трезвого ума? Будем же пользоваться благами ума, если ищем блаженной жизни; но добродетель — это тоже благо ума; стало быть, оно тоже неминуемо входит в блаженную жизнь. Только отсюда — все прекрасное, честное, благое в нашей жизни, о чем я говорил и должен буду говорить еще подробнее, и все это полно для нас великой радости. А так как блаженная жизнь вся есть непрерывная и полная радость, то все в ней — нравственно и честно.

312

XXIV. (68) Но чтобы не быть голословным, показывая наш предмет, нужно представить его как бы вживе, чтобы нам легче было познать его и понять. Поэтому возьмем образ человека выдающегося в благородных науках и дополним его немного собственной мыслью и воображением. Прежде всего он должен быть высоких дарований — ленивый ум невосприимчив к добродетели. Далее, у него должно быть живое рвение к познанию истины. Тогда и явится троякий плод его души: одна часть его — в познании вещей и объяснении природы; другая — в различении должного и недолжного и в понимании смысла жизни; третье — в уразумении, что с чем согласно, что чему противоположно, то есть в овладении всею тонкостью размышлений и

верностью суждений.

(69) Какою радостью наполнится душа мудреца, денно и ночью погруженного в эти заботы! Он узрит круговращение целого мира, он рассмотрит несчетные небесные светила, как те, что движутся вместе с небом на своих незыблемых местах, так и те семь, которые держат каждое свой путь то выше, то ниже, но блуждающее движение которых тоже твердо определено поприщами каждого. Именно это движение поразило умы древних и побудило их к дальнейшим изысканиям. Отсюда — исследование всех начал и, так сказать, семян, из которых все явилось, родилось, окрепло; и каково происхождение, существование, гибель, взаимопревращения и перемены во всем живом и неживом, словесном и бессловесном; откуда явилась земля и какие силы удерживают ее в равновесии, каковы полости, занятые морями, и какой тяжестью увлекается все на свете к центру мира, словно это самый низ мировой сферы.

XXV. (70) Для тех, кто погружен в это умом и размышляет об этом денно и ночью, есть еще один славный завет: слова дельфийского бога — чтобы всякий дух сам познал себя и свою связь с божественным духом, и это будет источником бесконечной душевной радости. Само размышление о природе и сути богов пробуждает охоту подражать их вечности и отвлекает от кратковременности нашей жизни, ибо человек видит причины вещей, друг с другом согласных и связанных взаимной необходимостью, а цепь этих причин длится из вечности в вечность, правя нашим духом и разумом. (71) Всматриваясь, осматриваясь или, лучше сказать, обнимая взглядом всю эту цепь причин, с каким душевным покоем взираем мы на низшие человеческие дела! Здесь и рождается понятие добродетели, здесь и процветают все роды и виды добродетели, — здесь обретается то, что природа назначила нам высшим благом и крайним злом, здесь — то, чем мерится всякий человеческий долг, здесь — устав, которого следует держаться во всей остальной жизни. И, вникая в эти и подобные вопросы, мы еще увереннее придем к тому, о чем сейчас говорим, — к тому, что добродетель сама себе довлеет для блаженной жизни.

(72) И, наконец, третья часть, проницающая собою и все остальные части философии: она дает определения вещам, разделяет роды, связует последовательности, делает выводы, различает истинное и ложное, — это наука о способах рассуждения. Она не только полезна для оценки предметов: она — величайшее наслаждение ума и достойнейшая мудрость.

313

Все это — на досуге. Но пусть наш мудрец перейдет и к делам государственным. А что здесь может быть лучше, чем разумение, которое позволит ему угадать общественную пользу, чем справедливость, которая не допустит его до злоупотреблений, чем остальные добродетели, столь многочисленные, различные и полезные? Добавь к этому еще плоды дружбы, которая для мудреца не только единомыслие, единокровие и как бы одиночество всей жизни, но и высшее наслаждение от повседневного житья и быта. Чего еще нужно для блаженства? Сама Фортуна отступает перед жизнью, полной стольких радостей. Но радоваться таким душевным благам, то есть добродетелям, — блаженство; а всякий мудрец радуется именно такою радостью; стало быть, удел всякого мудреца блажен.

XXVI. (73) — Блажен даже среди мучений и под пыткой?

— Неужели ты думал, что я его представляю только среди роз и фиалок? Эпикур, который только притворялся философом, сам себе присваивая это имя, мог же ведь говорить, что хотя бы мудреца жгли, пытали, секли, — все равно он в любое мгновение сможет сказать: «До чего все это ничтожно!» И вот эти слова я принимаю с рукоплесканием, — тем более что для него боль была высшим злом, а наслаждение —

высшим благом, а наши представления, что зло — это позор, а добро — это честь, он высмеивал как пустые слова, считая, что раз они и им подобные не причиняют телу ни приятности, ни боли, то они для нас безразличны. Таков уж этот Эпикур: рассуждая почти как животное, он позволит себе не помнить собственных же слов — он будет презирать судьбу, хотя считает, что в руках ее все его благо и зло, он будет провозглашать себя блаженным даже в мучении и под пыткой, хотя боль для него — не только величайшее, но даже единственное зло. (74) Ион не заготовил себе никакого лекарства от этого зла — ни твердости духа, ни краски стыда, ни развитой упражнением привычки к терпению, ни заветов мужества, ни мужской выносливости; единственное его средство найти покой — это воспоминания о минувших наслаждениях, а это все равно как если бы в знойную пору человек, томящийся жаждою, стал бы вспоминать, какие свежие ручьи лились вокруг него в Арпине. Как можно минувшим наслаждением смягчить насущное зло, не понимаю. (75) Но если уж сам Эпикур говорит, что мудрец блажен (хотя именно ему, ради последовательности, лучше было бы помолчать), то что же должны говорить мы, для кого без чести нет ни хорошего, ни желанного? По мне, так даже перипатетикам и древним академикам следовало бы на миг оторваться от своей болтовни и признать громко и открыто, что блаженная жизнь возможна даже в Фаларидовом быке!

314

XXVII. (76) Теперь, чтобы распутаться с хитросплетениями стоиков, к которым я нынче (сам понимаю!) обращался чаще обычного, сделаем вот что. Допустим, что действительно существует три рода благ; допустим, что блага внешние и телесные лежат прямо на земле и зовутся благами лишь потому, что надо к ним нагнуться и поднять, — зато блага третьего рода божественно разливаются вдаль и вширь, достигая самого неба; кто причастен этому благу, того можно ли не назвать блаженным? Разве такой мудрец станет бояться боли? Это почти невозможно вообразить. Против смерти своей и близких, против горя и других душевных волнений мы, кажется, уже достаточно вооружены и готовы к бою после бесед предыдущих дней. Самым упорным врагом добродетели оказалось горе: оно жжет горящим факелом, оно грозит и мужеству, и высоты духа, и терпению. (77) Неужели перед ним преклонится добродетель, преклонится жизнь мужа мудрого и твердого? Какой позор! Спартанские мальчики не стонут ни под какими ударами бичей. Мы своими глазами видели, как целые ватаги лакедемонских юношей в безжалостной схватке бились кулаками, ногами и даже ногтями и зубами, до последнего изнеможения не признавая себя побежденными. Как ни велика и ни дика варварская Индия, но и тут которые считаются мудрецами, те живут голыми, не чувствуют снегов Кавказской земли, не боятся огня и без ропота предаются сожжению. (78) Даже женщины в Индии, когда общий их муж умирает, начинают спор, которую из них он больше всего любил (в Индии ведь у человека бывает по несколько жен), и кто победит, та радостно всходит, провожаемая родичами, на мужний костер, а другая, побежденная, горестно уходит. Никакой обычай не победит природу, она всегда незыблема; и только мы сами себя портим полдневной тенью, усладами, праздностью, ленью, а размякши, предаемся предрассудкам и дурным обычаям. Кто не знает обычаев египтян? Они так пропитаны предрассудками, что египтянин скорее отдастся палачу, чем обидит ибиса, аспиды, кошку, пса или крокодила; даже если он их задел нечаянно, он готов принять любую кару. (79) Но почему я говорю только о людях? Разве животные не переносят голода, жажды, скитаний по горам и лесам? не бьются за своих детенышей, принимая раны, не страшась никакого напора, никаких ударов? Не говорю уже о том, чему подвергают себя честолюбцы ради почести, тщеславцы — ради славы, влюбленные — ради своей

страсти, — примеры тому можно видеть на каждом шагу.

XXVIII. (80) Но пора и меру знать, пора обратить речь к ее первоначальному предмету. Да, говорю я, даже на пытку пойдет блаженная жизнь, и ни праведности она, ни умеренности, ни тем более мужества с высокостью духа и терпением не покинет даже перед лицом палача; а когда все эти добродетели шагнут в застенок, бестрепетно готовые на любые муки, не останется она при дверях за порогом, как мы выразились раньше, ибо что может быть чернее и безобразнее, чем жизнь, покинутая всем, что было в ней лучшего? Это невозможно: ни добродетели не могут существовать без блаженной жизни, ни блаженная жизнь без добродетелей. **(81)** Поэтому добродетели не позволяют ей отвернуться и повлекут ее за собой на любую смертную муку. Мудрец неспособен сделать что-нибудь против своей воли, чего потом пришлось бы ему стыдиться, — он всегда и все будет делать прекрасно, твердо, величественно и достойно, ничего не будет ждать от будущего с уверенностью, никакому случаю не будет удивляться как новому и неожиданному, все будет судить собственным судом, по собственному усмотрению. Что может быть блаженнее этого, не могу себе представить! **(82)** А стоики делают из этого простые выводы: предельное благо, говорят они, в том, чтобы жить по законам природы и согласно с ней (а мудрец не только должен, но и может это сделать); но кто владеет предельным благом, тот и живет блаженной жизнью; таким образом жизнь мудреца всегда блаженна.

Вот какие суждения о блаженной жизни хотел я привести — самые, на мой взгляд, мужественные, а если ты не добавишь к ним ничего лучшего, то и самые истинные.

XXIX. — Ничего лучшего, разумеется, я добавить не могу. Но если это нетрудно, мне бы хотелось воспользоваться тем, что ты не скован законами одной философской школы, а свободно черпаешь повсюду то, что тебя привлекает правдоподобием, и попросить тебя вот о чем: ты, кажется, недавно упоминал с хвалою о перипатетиках и древних академиках, побуждая их смелее, открыто и безраздумно сказать, что мудрецы всегда блаженны; вот мне и хочется услышать, как ты связываешь это с остальными мнениями? Ведь ты очень много говорил против них, а заключил стоическим доводом.

315

(83) — Я воспользуюсь тогда тою вольностью, которою из всех философов дано пользоваться мне одному, ибо моя речь ни о чем сама не судит, а чужим суждениям открыта со всех сторон, так что другие могут судить о ней самой по себе, независимо от чьего-нибудь авторитета. И так как тебе явно хочется, чтобы, при всей разногласии философов о предельном добре и зле, хотя бы добродетель они оставили оплотом блаженной жизни, то я возьмусь за тот способ спора, каким пользовался Карнеад; но Карнеад против стоиков всегда выступал с особенным рвением, а против их учения прямо-таки пылал; мы же будем действовать мирно.

Если стоики представляют себе предельное благо правильно, то спорить не о чем: из этого следует, что мудрец вечно блажен. **(84)** Но рассмотрим также и взгляды прочих философов: не может ли этот прекрасный устав блаженной жизни хорошо прийтись к любому взгляду и учению?

316

XXX. О предельном благе, насколько я знаю, известны и имеют приверженцев такие положения. Во-первых, четыре простых: «благо в нравственности и чести», — говорят стоики, «благо в наслаждении», — говорят эпикурейцы, «благо в свободе» (от боли), — говорит Иероним, «благо в пользовании первичными, или всеми, или лучшими благами природы», — говорит Карнеад, возражая стоикам. Эти четыре — простые, остальные — смешанные: «благо бывает троякое, во-первых, душевное, во-

вторых, телесное, в-третьих, внешнее», — говорят перипатетики и близкие к ним старшие академики; «наслаждение и нравственность» сочетали Диномах и Каллифонт, «свободу от боли и нравственность», — перипатетик Диодор. Все эти учения оказались достаточно живучими, между тем как учения Аристона, Пиррона, Эрилла и многих других уже забыты. Посмотрим же, что может дать каждое из них, — оставим в стороне лишь стоиков, чье учение, думается, мы уже защищали предостаточно.

Положения перипатетиков достаточно ясны и раскрыты (если не считать Феофраста и его последователей, бессильно страшящихся боли); пусть они и дальше действуют в том же духе, углубляя важность и достоинство добродетели. Превознося добродетель до небес, что нетрудно красноречивому человеку, они по сравнению с нею легко могут презирать и попираť все остальное. В самом деле, если ты считаешь, что хвалы нужно добиваться и ценою боли, то как же не считать блаженными тех, кто уже стяжал эту похвалу? Хотя им тоже случается претерпевать неприятности, однако слово «блаженство» достаточно широко, чтобы охватить и их. XXXI. (86) Ведь мы говорим «доходная торговля», «плодородная пашня» не потому, что всякий раз без исключения торговля безубыточна, а поле свободно от природных бедствий, — просто потому, что и в том и в другом хозяин по большей части удачлив. Вот так и жизнь имеется в виду не сплошь состоящая из одного блаженства, но такая, в которой блаженство составляет большую и главнейшую часть — такую жизнь мы с полным основанием называем блаженной. (87) По такому учению блаженная жизнь последует за добродетелью на любые мучения, вплоть до Фаларидова быка (и по Аристотелю, и по Ксенократу, и по Спевсиппу, и по Полемону), не давая смущать себя ни угрозами, ни соблазнами. Таково же учение Каллифонта и Диодора, у которых в учении нравственность занимает такое место, что все прочее отступает перед ней. Остальным придется потруднее, но выплывут и они — Эпикур, Иероним и те, кто еще держится забытого Карнеадова ученья. Все эти философы согласны, что душа есть судья и оценщик всех благ, и учат ее презирать всякое мнимое добро и зло. (88) В самом деле, то, что относится к Эпикуру, может быть перенесено и на Иеронима, и на Карнеада, и чуть ли не на всех остальных. Разве кто-нибудь из них недостаточно вооружен против смерти и боли? Начнем же разговор с Эпикура, которого мы привыкли обзывать изнеженным поклонником наслаждений.

За что? Неужели ты думаешь, что смерть и боль страшна тому человеку, который называет блаженным день своей смерти, который величайшие страсти и боли умеет заглушать воспоминанием о своих ученых открытиях и который делает это без всякой излишней болтовни? О смерти он рассуждает так: когда живое существо разрушается, то оно теряет способность чувствовать, а что неспособно чувствовать, то нам безразлично. Точно так же рассуждает он и о боли: чем больше боль, тем она короче, чем дольше — тем она меньше. (89) Что могут лучше предложить велеречивые стоики против этих двух тягчайших из тревог?

317

А против остальных мнимых зол разве Эпикур и остальные философы не достаточно вооружены? Кому страшна бедность? Всем страшна, кроме философов. Как мало ему было нужно для жизни! Никто не говорил больше, чем он, об умеренности в пище. Алчными делают нас любовь, честолюбие, повседневные траты, а Эпикур был от этого так далек, что зачем ему было искать денег и даже думать о них? (90) Разве только скиф Анахарсис умел ни во что не ставить деньги, а наши философы не умеют? Есть такое письмо Анахарсиса: «Анахарсис Ганнону шлет привет. Одежда моя — скифская шкура, обувь — мозоли моих ног, ложе — земля, для утоления голода служат мне молоко, сыр и мясо. Таким ты меня и застанешь в совершенном спокойствии, если

приедешь. А дары, о которых ты столько заботишься, оставь своим согражданам или посвети бессмертным». Под этим могли бы подписаться почти все философы всех школ, кроме разве тех, которых сбила с пути порочная природа. (91) Сократ, увидя однажды пышное шествие со множеством золота и серебра, воскликнул: «Как много есть на свете вещей, мне не нужных!» Ксенократу послы принесли пятьдесят талантов от Александра, — огромные деньги, особенно в тогдашних Афинах. Ксенократ пригласил их на ужин в Академию, где было все необходимое, но без малейшей роскоши. На следующий день послы хотели вручить ему деньги, но он удивился: «Как, разве по вчерашнему нашему ужину вам не ясно, что деньги мне не нужны?» — и только при виде их огорчения принял тридцать мин, чтобы не обижать царской щедрости. (92) Наконец Диоген по своей кинической вольности на вопрос Александра, что для него сделать, ответил: «Посторонись-ка малость от солнца!» Диоген, видно, грелся, а тот застил ему свет. И он же доказывал, что живется ему лучше, чем персидскому царю: ему всегда всего хватает, а царю всегда всего мало; ему ничего не нужно из усад, которыми персидский царь не может насытиться, а его, Диогеновы, улады царь навряд ли способен разделить.

XXXIII. (93) Ты знаешь, вероятно, что Эпикур делит желания на три рода — может быть, не очень удачно, но удобно: во-первых, естественные и необходимые; во-вторых, естественные, но не необходимые; в-третьих, ни те, ни другие. Необходимые желания удовлетворяются сущим пустяком: ведь богатства природы у нас под руками. Желания второго рода нетрудны для достижения, но нетрудно обойтись и без них. Наконец, желания третьего рода, пустые, чуждые и природе и необходимости, следует вовсе искоренять. Здесь у эпикурейцев большие разногласия — они подробно разбирают порознь все те наслаждения, которые для них не презренны, и таких оказывается много. Таковы, например, постыдные наслаждения, о которых они много писали: они легки, общеобычны, важны, и если сама природа их требует, то соразмерять их нужно не с временем и местом, а только с возрастом, лицом и видом того, кого любишь; однако воздержаться от них не составляет труда, если этого требует здоровье, обязательство или молва. Стало быть, такие наслаждения в благоприятных условиях желательны, но ни в каких условиях не полезны.

(95) Вообще о наслаждении учил он так: наслаждение как таковое желательно само по себе и заслуживает того, чтобы его добивались; боль как таковая, напротив, заслуживает, чтобы ее избегали; поэтому мудрец основательно взвесит и то и другое, чтобы избежать наслаждения, если за ним последует слишком сильная боль, и чтобы принять на себя боль, если за ней последует достаточно сильное наслаждение. И не надо забывать, что все приятное хоть и ощущается телесными чувствами, однако имеет отношение и к душе. (96) А именно, удовольствие тела длится столько времени, сколько и насущное наслаждение, тогда как душа и насущное наслаждение чувствует вместе с телом, и будущие наслаждения способна предощущать, и прошлому не дает бесследно минуть. Поэтому мудрец всегда испытывает непрерывное наслаждение, сплетенное из ожидания будущих и памяти о прошлых.

318

319

320

XXXIV. То же самое может быть сказано и о пище, — и тотчас померкнут пышность и роскошь пиров, потому что природе довольно обихода самого скромного. И разве не ясно, что лучшая всему приправа — желание? Царь Дарий, спасаясь бегством, испил мутной воды из заваленной трупами речки и сказал, что никогда не случалось ему пить что-либо вкусней, — видно, не приходилось ему испытывать в жизни жажду.

Точно так же и Птолемею не приходилось испытывать голод: проезжая однажды без свиты по своему Египту, он съел в какой-то хижине каравай хлеба и сказал, что ничего лучше в жизни не случилось ему есть. А Сократ, говорят, разгуливал однажды весь день до вечера, и когда его спросили, зачем это, он ответил: «Чтобы ужин был вкуснее, заготавливаю впрок к нему голод». (98) Ну, а разве не видали мы, чем кормятся лакедемоняне на общих своих обедах? Когда у них обедал тиран Дионисий, он не в силах был есть ту черную похлебку, с которой начинался обед. Тогда тот, кто варил ее, сказал: «Ничего удивительного: у тебя ведь нет наших приправ». — «Каких?» — «Охотничьего труда и пота, купанья в Евроте, жажды, голода, — вот чем приправляют обед в Лакедемоне». Да и не только на людях, а и на животных можно видеть то же: когда им дать корму, они едят столько, сколько им свойственно от природы, и, насытившись, не просят лишнего. (99) Целые государства жили умной бережливостью. О Лакедемоне мы уже говорили. О персах Ксенофонт утверждает, что они ели хлеб с одной только зеленью. А если даже природа наша требует чего-нибудь послаще, то и земля и деревья мало ли родят нам плодов, и обильных и сладких? Добавим сдержанность в питье — следствие сдержанности в еде; добавим доброе здоровье; (100) сравним это с толпой, потеющей, рыгающей, отъевшейся, как бык перед убоим; и ты поймешь, что истинное наслаждение не в обилии, а в малости — в том, чтобы есть со вкусом, а не с пресыщением. XXXV. Знаменитый Тимофей, первый человек в Афинах, отужинав однажды у Платона и насладившись застольной беседой, повстречал его на другой день и сказал: «У вас пир тем хорош, что удовольствие от него остается и на следующий день». Не значит ли это, что чем больше на пиру еды и питья, тем меньше места здравому разуму? Есть известное письмо Платона к Дионовым друзьям, где он пишет приблизительно так: «Как только я сюда приехал, мне очень не понравилась здешняя привольная жизнь с италийскими и сиракузскими пирами, где наедаются дважды в день, а бражничают всю ночь, и во всем остальном ведут себя соответственно: от такой жизни мудрецом не станешь и умеренности не научишься; (101) какой нрав выдержит подобное житье?» И впрямь, может ли быть приятна жизнь, чуждая благоразумия, чуждая умеренности? Потому и Сарданапал, царь богатейшей Сирии, был неразумен, приказав написать над своей могилой:

То, что я выпил, что съел и чем удовольствовал похоть,
Только лишь это при мне, — все прочие блага остались.

«Такую надпись, — говорит Аристотель, — стоило бы написать над могилой быка, а не царя: он ведь уверяет, будто у него у мертвого навсегда осталось только то, что и у живого-то длится не долее короткого мига удовлетворения».

(102) А к чему желать богатства? Разве бедность не позволяет быть блаженным? Допустим, ты любишь картины и статуи. Но если они и стоят восхищения, то разве простой люд не больше любит на них, чем богатые владельцы? В нашем городе их огромное множество выставлено напоказ в открытых местах; а у частных владельцев их мало, и видят они их редко, — только когда бывают на вилле (да и то им подчас совестно вспоминать, как эти вещи добыты). Чтобы защищать бедность, мне не хватило бы целого дня: настолько это очевидно, что сама природа повседневно показывает, как малы, как скудны, как просты человеческие надобности.

XXXVI. А незнатность, безвестность, народная неприязнь разве мешает мудрецу жить блаженно? Лучше берегись, чтобы успех перед толпой и порождаемая им слава не доставили тебе больше хлопот, чем радостей! А ведь даже Демосфен испытывал самодовольство, по его собственным словам, когда одна женщина с кувшином на голове (по греческому обычаю) шепнула другой: «Вот тот самый Демосфен». Какое тщеславие и у какого оратора! Как видно, говорить перед другими он умен, а разговаривать сам с

собою — не очень. (104) Из этого следует, что ненадобно гнаться за славою как таковой и не надобно страшиться безвестности. «Я был в Афинах, — пишет Демокрит, — и никто меня в городе не узнал». Вот твердый и стойкий муж, который тщеславится тем, что он не тщеславен! Если флейтисты и лирники в своей музыке и пении полагаются на свой слух, а не на слух толпы, то мудрец, человек, преданный много более высокому искусству, неужели станет говорить не то, что ему кажется правдоподобнейшим, а то, чего захочется толпе? Разве не глупо презирать всякого мастерового или варвара порознь и склоняться перед ними, когда они собраны вместе? Нет, философ отнесется с презрением к нашему честолюбию и тщеславию, и даже добровольно подносимые народом почести отвергнет; а мы, пока не придется каяться, не умеем их презирать. (105) У физика Гераклита упоминается об эфесском правителе Гермодоре: Гераклит пишет, что все эфесяне заслуживают смерти за то, что они изгнали Гермодора и постановили: «Да не явится между нами один выше других; если же явится, то быть ему в другом месте и у других людей». Разве народ не всегда таков, разве не всякую выдающуюся добродетель он ненавидит? Разве Аристид (приведу лучше греческий пример, чем наш) не за то был изгнан из отечества, что был справедливее других? Насколько легче жить, не имея общих дел с народом! Есть ли что слаще просвещенного досуга — просвещенного, то есть отданного занятиям, дающим познание бесконечной природы, а в нашем мире — неба, земли и моря?

321

322

323

XXXVII. (106) Презрение к почестям, презрение к деньгам, — что еще после этого может страшить человека? Изгнание, говорят, считается одной из злейших бед. Но если оно признается бедою только из-за отчужденности и вражды народа, то я только что показал, насколько это достойно презрения. Если же несчастье — покинуть родину, то ведь все провинции полны такими несчастными, которые вряд ли когда вернутся на родину. (107) «Но у изгоняемых отбирается имущество». Так что же? Разве мало было мною сказано о презрении к бедности? Если смотреть по существу, а не по позорному названию, то чем отличается изгнание от долгого путешествия по чужим городам? А в чужих городах проводили свой век многие философы: Ксенократ, Крантор, Аркесилай, Лакид, Аристотель, Феофраст, Зенон, Клеанф, Хрисипп, Антипатр, Карнеад, Клитомах, Филон, Антиох, Панэтий, Посидоний и бесчисленные прочие: раз покинув родной город, они уже туда не возвращались. «На них не было бесчестия». — «Но может ли бесчестие запятнать мудреца? Ведь мы говорим о мудреце, который не мог виною заслужить изгнание, а кто изгнан по своей вине, тех и утешать не стоит». (108) Наконец, самый убедительный и простой довод для тех, кто мерит жизнь наслаждением: где оно достижимее, там и возможна блаженная жизнь. Поэтому на все жалобы Тевкра достаточно одного ответа: «Где хорошо, там и отечество». Сократа однажды спросили, какого он города житель. «Житель мира», — ответил Сократ. Поистине, он чувствовал себя жителем и гражданином мира. Ну, а наш Тит Альбуций разве не с полным спокойствием занимался философией в Афинах? Впрочем, если бы он на родине жил по Эпикуровым законам, не пришлось бы ему и в изгнание уходить. (109) Эпикур, живший на родине, был ли счастливее, чем Метродор, приехавший к нему в Афины? Был ли Платон блаженнее Ксенократа, а Полемон — Аркесилая? Да и что это за отечество, которое изгоняет людей достойных и мудрых? Дамарат, отец нашего царя Тарквиния, не мог вынести тирании Кипсела, бежал из Коринфа в Тарквиний и завел там дом и детей; не разумно ли он предпочел свободу на чужбине рабству на родине?

324

XXXVIII. (110) А душевное волнение, заботы и горе стираются временем, когда душа отвлечена наслаждением. Недаром, стало быть, Эпикур сказал, что мудрец всегда окружен благами, потому что он всегда живет в наслаждении. Из этого делает он вывод и о нашем предмете: стало быть, говорит он, мудрец всегда блажен. (111) «Как, даже если лишится глаз, лишится слуха?» Даже тогда, ибо он это презирает. Во-первых, разве в самой этой страшной слепоте вовсе нет наслаждения? Ведь иные считают, что все остальные наслаждения обретаются в самих чувствах, и только зримое не возбуждает в глазах никакого приятного ощущения, тогда как все вкушаемое, обоняемое, осязаемое, слышимое живет в тех самых частях нашего тела, которыми мы их чувствуем, — одно лишь зрение устроено иначе, и видимое воспринимает непосредственно сама душа. А душа и без помощи зрения имеет возможность наслаждаться самыми разнообразными способами: я имею в виду, конечно, человека ученого и образованного, для которого жить — значит мыслить; а когда мудрый человек мыслит, глаза ему не столь уж необходимы для исследования. (112) Если ночь не отнимает у человека блаженную жизнь, то почему отнимет ее день, подобный ночи? Я вспоминаю по этому случаю слова Антипатра Киренского, немного непристойные, но не лишенные остроумия: он был слепой, девки его жалели, а он им отвечал: «Зачем тревожиться? Разве, по-вашему, наслаждаемся мы не по ночам?» Наш древний Аппий, давно ослепший, продолжал занимать должности, вести дела и ни разу не отступился, как известно, ни от общественных, ни от частных забот. Дом Гая Друза, как мы знаем, был полон искавшими его совета: люди не могли разобраться в собственных делах и, зрячие, доверяли слепцу. А в пору нашего детства бывший претор Гней Авфидий и в сенате голосовал, и друзей не покидал, и греческую историю написал, и в словесности был весьма прозорлив. XXXIX. (113) Стоик Диодот, давно ослепнув, жил у меня дома; и трудно поверить, но философией он занимался еще усерднее, чем прежде, упражняясь со струнами на пифагорейский лад; и мало того, что ему читали вслух день и ночь (так что и глаза для занятий у него были), — он, как ни трудно поверить, учил людей геометрии, словами объясняя ученикам, куда какая должна пойти черта. Асклепиад, известный эретрийский философ, на вопрос, каково ему приходится в слепоте, ответил: «К моей свите прибавился один мальчик, только и всего». Как бедность стала бы легче выносимой, будь нам дано то, что всегда дано грекам, так и слепота переносима, если в помощь ей есть здоровые люди. (114) Демокрит, лишив себя зрения, не мог отличать черное от белого, но мог отличать добро от зла, правду от неправды, честное от позорного, полезное от бесполезного, большое от малого: не различая красок, он мог блаженно жить, а не зная сущности вещей — не мог бы. Он даже считал, что острота зрения вредит остроте ума, потому что иные не видят и того, что у них под ногами, а ему, философу, открывается дорога в бесконечность и ни единого препятствия на ней. Говорят, что даже Гомер был слеп; но описанное им мы видим, словно изображено оно красками, а не словами: ибо есть ли такой край, берег, место в Греции, такой вид и образ битвы, такой строй, такое движение весел, такое человеческое дело или звериная повадка, которую он не изобразил бы так, что хоть он ее и не видит, но нас заставляет видеть? После всего этого разве можно думать, будто Гомеру или какому-нибудь философу отказано было в душевной радости и наслаждении? (115) Разве иначе Анаксагор и Демокрит покинули бы свои земли и имения, чтобы всей душой предаться божественной радости науки и исследования? Так и мудрец-гадатель Тиресий, вымышленный поэтами, нигде не изображен оплакивающим свою судьбу. А если Гомер, изображая своего чудовищного и дикого Полифема, заставил его говорить с бараном и завидовать барану, что он может идти куда глаза глядят и брать, на что глаза глядят, то и здесь поэт не ошибся: ведь сам киклоп ничуть не умнее, чем баран.

XL. (116) А глухота — такое ли уж она бедствие? Глуховат был Марк Красс, но глуховат несчастливо: то, что против него говорилось дурного, он слышал, даже если это бывало (как мне кажется) несправедливо. Римляне плохо знают греческий язык, а греки — латинский; поэтому они друг к другу глухи так же, как мы глухи к несчетным другим языкам. «Да, однако глухим недоступно пенье кифареда». Это так; зато недоступен ни скрип пилы на оселке, ни визг поросят, когда их режут, ни шум ропщущего моря, который мешает им заснуть; если же они так уж любят песни, то пусть они припомнят, что и до этих песен были на земле мудрецы, жившие блаженно, или что в чтении всегда больше удовольствия, чем в слушании тех же песен. (117) Таким образом, как недавно мы учили слепцов переносить свое наслаждение в слух, так теперь учим глухих переносить удовольствие в зрение. Кроме того, кто умеет разговаривать с самим собой, для того не нужны собеседники.

325

326

Но соберем все воедино: пусть человек будет и слеп, и глух, и придавлен самыми тяжкими телесными недугами. Все это вместе может сразу прикончить человека; если же эти муки затянулись дольше, чем заслуживает их причина, то — великие боги! — с какой стати нам выносить их? Гавань спасения для нас есть, ибо смерть для всех и повсюду вечный приют, где никто ничего не чувствует. Когда Лисимах грозил Феодору смертью, тот отвечал: «Велика важность! любая ядовитая муха сделает то же». (118) А когда Персей умолял Эмилия Павла не вести его за собою в триумфе, тот сказал: «Это — в твоей собственной власти». Еще в первый день наших бесед, когда речь шла о смерти, а отчасти и во второй, когда речь шла о боли, — кто помнит, о чем тогда мы говорили, тот уже без опасения примет смерть как нечто желанное или, по крайней мере, нестрашное. **XLI. Мне в нашей жизни очень уместною кажется греческая застольная поговорка: «Или пей, или уходи скорей». В самом деле: нужно или вместе с остальными разделять наслаждение выпивки, или уйти прочь, чтобы не пострадать трезвому в буйстве пьяных. Вот каким образом даже если ты не в силах сносить удары судьбы, то можешь уйти от них. Так говорит Эпикур и почти теми же словами — Иероним.**

(119) Если те философы, которые считают, что добродетель сама по себе ничто, а все, что нам кажется нравственным и похвальным, есть лишь красивые слова, пустое колебание воздуха, — если даже и они безотказно признают мудреца блаженным, то что же иное делать остальным философам, ведущим свое происхождение от Сократа и Платона? Среди них одни находят душевные блага главными, а телесные и внешние — второстепенными, другие вообще не считают их за блага, а говорят только о душе. (120) В споры об этом любил вмешиваться, словно почетный судья, Карнеад. «В самом деле, — рассуждал он, — то, что перипатетики считают благом, то стоики — удобством; и таким вещам, как богатство, доброе здоровье и проч., перипатетики придают такое же значение, как стоики, и поэтому если судить не по словам, а по сути, то и разноречия здесь быть не может. Что же касается других философов, то пусть они сами, сколько хотят, разбираются в этом вопросе; мне здесь важнее всего, что о счастливой жизни мудрецов голос философов говорит самым достойным образом».

(121) Но так как завтра нам пора уезжать, давайте сохраним в памяти беседы этих пяти дней. Я хочу даже записать их — могу ли я лучше использовать свой досуг, каков бы он ни был? — и послать моему Бруту эти новые пять книг, потому что это он не только подтолкнул, но и принудил меня заниматься философией. Насколько полезны эти занятия для других, не мне судить, для меня же это было среди обступивших меня невзгод и тягчайших горестей единственное облегчение в моей

участи.

КАТОН СТАРШИЙ, ИЛИ О СТАРОСТИ

Титу Помпонию Аттику

327

I. (1)

328

Тит мой, если тебе помогу и уменьшу заботу —

Ту, что мучит тебя и сжигает, запав тебе в сердце,

Как ты меня наградишь?

Ведь мне дозволено обратиться к тебе, Аттик, с теми же стихами, с какими к Фламинину обращается

Тот человек, что был небогат, но верности полон.

Впрочем, я хорошо знаю, что ты не станешь, подобно Фламинину,

Так терзать себя, Тит, и денно и ночью заботой.

Ведь я знаю твою умеренность и спокойствие духа и понимаю, что из Афин ты привез не только прозвище, но и мудрость и образованность. И все-таки я подозреваю, что и тебя немало волнуют те же обстоятельства, что и меня самого, — но тут найти утешение трудно, так что отложим это до лучших времен.

А теперь мне захотелось написать тебе кое-что о старости. (2) Я хочу облегчить это наше общее бремя и тебе и себе самому, — ведь старость наша либо уже наступила, либо, во всяком случае, приближается. Впрочем, я хорошо знаю, что и это бремя ты несешь и будешь нести спокойно и мудро, но все же, когда я хотел написать о старости, именно ты представился мне достойным этого дара, которым оба мы могли бы пользоваться сообща. Что до меня, то писать эту книгу было мне столь приятно, что не только все тяготы старости исчезли для меня, но и она сама предстала мне нетрудной и приятной. Следовательно, никакая хвала не воздаст должное философии, чьи заветы позволяют всякому, кто им следует, без тягот прожить весь свой век.

329

(3) Обо всем прочем я говорил уже немало и буду говорить еще не раз; но в этой книге, которую я посылаю тебе, речь идет о старости, и всю беседу я веду не от лица Тифона, как Аристон Кеосский (кого может убедить вымысел?), а от лица старика Марка Катона, чтобы придать своей речи большую убедительность. Рядом с ним я показываю Лелия и Сципиона: они дивятся тому, что Катон переносит старость так легко, а он отвечает им. Если покажется, что Катон рассуждает более учено, чем он обыкновенно рассуждал в своих книгах, то припиши это влиянию греческой литературы, которую он, как известно, усердно изучал в старости. Но не довольно ли этого? Ведь речь самого Катона разъяснит тебе все, что я думаю о старости.

Сципион.

II. (4) Вместе с Гаем Лелием я часто изумляюсь, Марк Катон, твоей высокой и совершенной мудрости и более всего тому, что ни разу ты не дал почувствовать, как тебе тяжка старость, а меж тем большинству стариков она столь ненавистна, что они, по их словам, несут на себе бремя тяжелее Этны.

Катон.

330

331

А по-моему, Сципион и Лелий, то, что вас изумляет, дело вовсе не трудное. У кого в душе нет ничего для благой и счастливой жизни, тем тяжек любой возраст; тому же, кто ищет всех благ в себе самом, не может показаться злом то, что основано на неизбежном законе природы, и это, в первую очередь, касается старости. Ведь

достигнуть ее желают все, а достигнув, ее же винят. Таковы непоследовательность и несообразность неразумия! Старость, говорят глупцы, подкрадывается быстрее, чем они думали. Но, во-первых, кто заставлял их думать неверно? И право, разве же старость подкрадывается к молодости быстрее, чем молодость — к отрочеству? Во-вторых, разве старость на восьмисотом году жизни будет менее тяжелой, чем на восьмидесятом? Ибо когда годы уже истекли, то — какими бы долгими они ни были — никакому утешению не облегчить неразумной старости. (5) И вот, если вы склонны изумляться моей мудрости, — о, если бы она была достойна вашего о ней мнения и моего прозвища! — то мудр я лишь в том, что следую и повинуюсь природе, наилучшей нашей руководительнице, как бы божеству; ведь трудно поверить, чтобы она, правильно распределив прочие части нашей жизни, могла, подобно неискусному поэту, пренебречь последним действием. Ведь чем-то должно все кончаться и, подобно земным и древесным плодам, в свой срок достигнуть зрелости, увянуть и упасть. Мудрый должен переносить это спокойно. И право, что другое можно приравнять к сражению гигантов с богами, как не это сопротивление природе?

Лелий.

(6) Но все-таки, я говорю также и от имени Сципиона, поскольку мы надеемся и, несомненно, хотим дожить до старости, нам будет очень по сердцу, если ты, Катон, заблаговременно нас научишь, как нам легче всего нести все увеличивающееся бремя лет.

Катон.

Я сделаю это, Лелий, — тем более что, как ты говоришь, это будет по сердцу вам обоим.

Лелий.

Конечно, мы хотим этого, если только тебе, Катон, прошедшему долгий путь, который предстоит и нам, не в тягость взглянуть на то, к чему ты пришел.

Катон.

III. (7) Сделаю, что в моих силах, Лелий! Ведь я часто слышал жалобы своих ровесников (равные с равными, но старинной пословице, легко сходятся); так, консуляры Гай Салинатор и Спурий Альбин, можно сказать мои однолетки, не раз оплакивали и плотские наслаждения, которых они лишены и без которых для них жизнь не в жизнь, и пренебрежение тех, от кого они привыкли видеть почет. По мне, они винули не то, что следовало бы; будь в этом виновата старость, то же постигло бы и меня, и всех людей преклонного возраста; между тем я знаю многих, кто и на старость не жалуется, и освобождением от оков сластолюбия не тяготится, и пренебрежения родных не знает. Нет, причина подобных сетований — в собственном нраве, а не в возрасте; у стариков воздержных, уживчивых и добрых старость не тягостна, а заносчивый и неуживчивый нрав нетерпимы во всяком возрасте.

Лелий.

(8) Верно, Катон! Но, быть может, кто-нибудь возразит, что тебе, ввиду твоего могущества, богатства и высокого положения, старость кажется более сносной, а это не может быть уделом многих.

Катон.

332

Это, конечно, имеет кое-какое значение, Лелий, но это далеко не все. Так, Фемистокл, говорят, в споре с неким серифянином, утверждавшим, что тот блистает не своей славой, а славой отечества, ответил ему: «Клянусь Геркулесом, будь я серифянином, а ты афинянином, ни один из нас не прославился бы». Это же можно сказать и о старости: с одной стороны, при величайшей бедности старость даже для

мудрого будет нелегка; с другой стороны, для неразумного она даже и при величайшем богатстве не может не быть тяжелой. (9) Поистине самое подходящее для старости оружие, Сципион и Лелий, — это науки и неустанное упражнение в доблестях, которые — если их чтити во всяком возрасте — в конце долгой и полной жизни приносят дивные плоды, и не только потому, что не покидают нас на исходе наших дней (хотя это главное), но и потому, что сознание честно прожитой жизни и воспоминание о многих добрых поступках отрадны.

333

334

IV. (10) В годы моей юности я любил как ровесника престарелого Квинта Максима — того, кем был возвращен нам Тарент; в этом муже степенность сочеталась с мягкостью, и старость не изменила его нрава. Впрочем, когда я с ним сблизился, он еще не был очень стар, но все-таки уже достиг пожилого возраста; ведь он впервые был консулом через год после моего рождения, и вместе с ним, в четвертое его консульство, я, совсем еще молодым солдатом, отправился под Капую, а через пять лет — под Тарент. Квестором я стал четыре года спустя — в год консульства Тудитана и Цетега, — тогда, когда он, уже в глубокой старости, поддерживал Цинциев закон о подарках и вознаграждениях. В весьма преклонном возрасте он вел войны как человек молодой и своей выдержкой противодействовал юношеской горячности Ганнибала, о чем превосходно написал наш друг Энний:

Нам один человек промедлением спас государство.

Он людскую молву отметал ради блага отчизны.

День ото дня все ярче теперь да блеснит его слава!

335

(11) А какой неутомимостью, каким благоразумием он возвратил нам Тарент? Когда Салинатор, сдавший город и спасавшийся в крепости, в моем присутствии похвалялся: «Ведь это благодаря мне ты, Квинт Фабий, взял Тарент», — тот ответил, смеясь: «Конечно; не потеряй ты город, мне бы его не взять!» Но и в тоге он был не менее велик, чем в доспехах. Во второе свое консульство, — при полной безучастности коллеги его Спурия Карвилия, — он, сколько мог, противился народному трибуну Гаю Фламинию, желавшему, вопреки воле сената, подушно разделить земли в Пиценской и Галльской области. Хотя он и был авгуром, он осмелился сказать: что на благо государства — то совершается при добрых знаменьях, а что ему во вред — то предлагается вопреки знаменьям. (12) Много великого знал я за ним, но всего изумительнее то, как он перенес смерть сына, прославленного мужа и консуляра. Его хвалебная речь сыну у всех в руках, и, прочитав ее, разве мы не презрим любого философа? Но он был поистине велик не только при свете и на виду у граждан; еще большими достоинствами отличался он в частной жизни, у себя дома. Какое красноречие, какие наставления, какое знание древности, какая искушенность в авгуральном праве! Сколь обширной для римлянина начитанностью обладал он: помнил все войны, происходившие не только внутри страны, но и за ее пределами. Я с такой охотой беседовал с ним, словно уже тогда предугадывал, что после его кончины мне — как это и произошло — учиться будет не у кого.

V. (13) Почему я говорю так много о Максиме? Да потому что — как сами видите — нечестиво называть такую старость жалкой. Не все, однако, могут быть Сципионами или Максимами и вспоминать о завоевании городов, о сражениях на суше и на море, о войнах, какие они вели, о своих триумфах. Также и жизнь, прожитая мирно, чисто и прекрасно, ведет к тихой и легкой старости; такой, по преданию, была старость Платона, который в возрасте восьмидесяти одного года умер в тот миг, когда что-то

писал; такой была и старость Исократ, который, как он сам говорит, на девяносто четвертом году жизни написал книгу под названием «Панафинейская» и после этого прожил еще пять лет. Его учитель, леонтинец Горгий, прожил сто семь лет и ни разу не прервал ни ученых занятий, ни трудов; когда его спрашивали, почему он хочет жить так долго, он отвечал: «У меня нет никаких оснований хулить старость». Ответ превосходный и достойный ученого человека! (14) Неразумные вают свои недостатки и проступки на старость. Так не поступал Энний, о ком я только что упоминал:

Так же, как борзый конь, после многих побед олимпийских

336

Бременем лет отягчен, предается отныне покою...

337

Со старостью могучего коня-победителя он сравнивает свою старость. Впрочем, вы еще хорошо его помните: ведь нынешние консулы Тит Фламинин и Маний Ацилий были избраны через восемнадцать лет после его смерти, а умер он в год второго консульства Цепиона и Филиппа, когда я, в мои шестьдесят пять лет, громогласно и не жалея сил убеждал принять Вокониев закон. И вот, в семидесятилетнем возрасте (ибо Энний прожил именно столько) он нес на себе два бремени, считающиеся тяжелейшими — бедность и старость, — так, что находил в них чуть ли не удовольствие.

(15) И действительно, если я стараюсь охватить умом все причины, почему старость может показаться жалкой, я нахожу, что их четыре: первая — та, что старость будто бы удаляет от дел; вторая — что она ослабляет тело; третья — что она лишает нас чуть ли не всех наслаждений; четвертая — что она приближает нас к смерти. Рассмотрим, если вам угодно, каждую из этих причин: сколь она важна и сколь справедлива?

338

339

VI. Старость отрывает людей от дел. От каких? От тех, которые требуют молодости и сил? но разве нет дел по плечу старикам, таких, для которых нужен разум, а не крепость тела? Так что же, ничего не делали ни Квинт Максим, ни Луций Павел, твой отец, тесть достойнейшего мужа, моего сына? А другие старики — Фабриции, Курии, Корункании? Когда они мудростью своей и влиянием защищали государство, разве же они ничего не делали? (16) Старость Аппия Клавдия была отягощена еще и слепотой; тем не менее, когда сенат склонялся к заключению мирного договора с Пирром, Анний Клавдий, не колеблясь, высказал то, что Энний передал стихами:

Где же ваши умы, что шли путями прямыми

В годы былые? Куда, обезумев, они уклонились? —

и все прочее, сказанное так убедительно! Эти стихи вам известны, да и речь самого Аппия дошла до нас. А произошло это через шестнадцать лет после второго его консульства, между консульствами же его прошло десять лет, и еще до первого консульства он был цензором. Уже из этого можно понять, как стар он был во время войны с Пирром, да и от наших отцов мы узнали о том же. (17) Таким образом те, кто отрицает способность стариков участвовать в делах, ничего не приводят в доказательство и подобны людям, утверждающим, будто кормчий во время плавания ничего не делает, между тем как простые матросы то взбираются на мачты, то спуют между скамьями, то вычерпывают воду; он же, держа кормило, спокойно сидит на корме. Он не делает того же, что молодые, но то, что он делает, гораздо больше и важнее. Не силой мышц, не проворством и ловкостью тела вершатся великие дела, а мудростью, благим влиянием, разумными советами и предложениями, и все это в старости не только не отнимается, но даже укрепляется.

340

341

(18) Или, быть может, я, который и солдатом, и трибуном, и легатом, и консулом участвовал в разных войнах, кажусь вам праздным теперь, когда войн не веду? Но ведь я указываю сенату, какие войны надлежит вести и каким образом; Карфагену, уже давно замышляющему недоброе, я заранее объявляю войну; опасаться его я не перестану, пока не узнаю, что он разрушен. (19) О, если бы бессмертные боги сберегли это торжество для тебя, Сципион, дабы ты завершил то, что оставил незавершенным твой дед! Со дня его смерти пошел уже тридцать третий год, но память об этом знаменитом муже сохраняют все грядущие времена; он умер за год до моей цензуры, через девять лет после моего консульства, во время которого был избран консулом вторично. И неужели он стал бы досадовать на свою старость, доживи он хоть до ста лет? Пусть бы он не участвовал ни в вылазках, ни в быстрых переходах, не метал бы копий в дальнем бою и не бился бы мечом врукопашную, но разве не помогли бы его разумные советы и предложения? Не будь все это свойственно старикам, неужто наши предки назвали бы свой высший совет «сенатом», то есть «советом старейших»? (20) В Лакедемоне высшие должностные лица называются «старейшинами», и на самом деле они таковы. А если вы захотите почитать и послушать о событиях в других странах, то вы узнаете, что величайшие государства рушились по вине людей молодых и поддерживались и восстанавливались стариками.

Как нашу погубили вдруг вы славную республику?

342

Ведь такой вопрос задают в «Волчице» поэта Невия и отвечают, помимо прочего, так:

Да вот ораторы пошли, юнцов толпа безмозглая.

Опрометчивость, очевидно, свойственна цветущему возрасту, а дальновидность — пожилому.

343

VII. (21) Но ведь память слабеет. — Пожалуй, если ты ее не упражняешь или обделен ею от природы. Фемистокл помнил имена всех сограждан; так неужели вы полагаете, что в старости, встречая Аристида, он называл его Лисимахом? Что до меня, то я помню поименно не только тех, кто теперь жив, но и их отцов и дедов и, читая надгробные надписи, не боюсь, что память, как говорится, мне изменит; напротив, они-то и воскрешают во мне воспоминания об умерших. И еще: ни разу я не слышал, чтобы кто-либо от старости позабыл, где закопал клад; все, что им важно, старики помнят: сроки явки в суд, должников, займодавцев. (22) А правоведы? А понтифики? А авгуры? А философы? Сколь многое помнят они в старости! Старики сохраняют ум; только бы усердие и трудолюбие у них сохранялись до конца! И это справедливо не только по отношению к прославленным и чтимым мужам, но и к людям, живущим частной и мирной жизнью. Софокл до глубокой старости сочинял трагедии и из-за этого своего пристрастия, казалось, вовсе не заботился о своем имуществе, за что сыновья и привлекли его к суду, надеясь отстранить от управления домом как слабоумного; ведь и по нашему обычаю отцам, дурно управляющим семейным имуществом, запрещают распоряжаться им. Тогда старик, говорят, прочитал судьям недавно сочиненную им трагедию, которую, только что сочинив, держал в руках — «Эдип в Колоне», — и спросил их, неужто это стихи слабоумного; едва прочитав ее, он был решением судей оправдан. (23) Так неужели его, неужели Гомера, Гесиода, Симонида, Стесихора, неужели всех тех, о ком я уже говорил, — Исократ и Горгия, неужели родоначальников философии — Пифагора и Демокрита, неужели Платона и

Ксенократа и, наконец, Зенона, Клеанфа или того, кого вы и сами недавно видели в Риме, — стойка Диогена старость заставила прекратить свои занятия? Не вся ли их жизнь до самого конца была подвижна этими занятиями?

(24) Впрочем, оставим эти божественные занятия; я могу назвать простых римлян, деревенских жителей в Сабинской области, моих соседей и друзей; без них не начинают главных полевых работ: ни сева, ни жатвы, ни засыпки зерна. Впрочем, это едва ли удивительно, — никто ведь не стар настолько, чтобы не рассчитывать прожить еще год; но старики не чуждаются и тех трудов, что, как они знают, им самим пользы уже не принесут.

Для другого поколения дерево сажает он, —

как говорит наш Стаций в «Сверстниках». (25) И в самом деле, земледелец, как бы стар он ни был, на вопрос, для кого он сажает, ответит без промедления: «Для бессмертных богов, повелевших мне не только принять это от предков, но и передать потомкам».

VIII. Здесь тот же Цецилий Стаций судит о старике, пекущемся о будущих поколениях, вернее, чем в других своих стихах, — этих, например:

Пускай других изъязнов нет у старости,

Да плохо, что за долгий век старик того

Насмотрится, на что глядеть не хочется.

Но ведь и много такого, на что хочется глядеть! А то, чего не желаешь, часто видишь и в молодости. И вот что еще говорит тот же зловерный Цецилий:

А самым скверным кажется мне в старости

То, что другим противны мы становимся.

(26) Скорее приятны, чем противны, ибо если мудрые старики наслаждаются общением с благородными юношами и если старость облегчается уважением и любовью молодости, то и молодые ценят наставления стариков, побуждающие их к добродетели; я убежден, что сам не менее любезен вам, чем вы мне.

Итак, вы видите, старики не только не ленивы и не праздны, но всегда в хлопотах, всегда что-нибудь делают, — разумеется, то, к чему имели склонность в прежние годы. Так, Солон в стихах похвалялся, что на старости лет изо дня в день постигает новое, и я сам так же поступил, уже стариком постигнув греческую ученость; я взялся за нее с таким рвением, словно стремился утолить давнюю жажду, — чтобы узнать все то, что сегодня привожу вам как примеры. Услышав о том, как Сократ стал учиться игре на лире, я захотел было и в этом успеть — ведь древние обучались игре на лире; но в словесности, по крайней мере, я кое-что успел.

344

345

346

347

348

IX. (27) Даже и теперь я не более завидую силе молодых (это было второе обвинение старости), чем прежде завидовал силе быка или слона. Что у тебя есть, тем и подобает пользоваться, и что бы ты ни делал, делай в меру своих сил. Что может быть презреннее слов Милона Кротонского? Он, уже стариком, смотрел на упражнения состояющихся атлетов, затем, взглянув на свои руки, воскликнул в слезах: «А ведь они уже мертвы!» Право, не они, а сам ты, пустослов! Ведь славы достиг не ты, а твои плечи и мышцы. Ничего подобного не сказали бы ни Секст Элий, ни — на много лет раньше — Тиберий Корунканий, ни — совсем недавно — Публий Красс, давшие гражданам законы и сохранившие свой светлый ум до последнего вздоха. (28) Оратор,

пожалуй, может ослабеть к старости; ведь ему требуется не только ум, но и сила легких. Правда, звучностью голоса можно блистать даже и в старости, — я и сам ее не утратил, а мои лета вам известны. Но все же старику подобают речи спокойные и сдержанные; изящное и негромкое слово красноречивого старика само собой находит слушателей. Если же сам ты не в силах говорить при народе, то все же можешь этому учить Сципиона и Лелия. И право, что приятнее для нас, чем старость, окруженная вниманием молодости? (29) Неужто согласимся мы, будто нет у старости сил наставлять молодых людей, вразумлять их и направлять их, чтобы они готовы были взять на себя любую обязанность? Что достойнее такого занятия? На мой взгляд, Гней и Публий Сципионы и оба твоих деда, Луций Эмилий и Публий Африканский, были баловнями судьбы, так как их всюду сопровождали знатные юноши, и всех наставников в высоких науках нельзя не считать счастливыми, как бы они ни состарились, насколько бы ни иссякли их силы. Впрочем, силы подтачиваются пороками молодости чаще, чем недугами старости: обессилевшее тело старость получает в наследство от развратно и невоздержно проведенной молодости. (30) Так Кир, у Ксенофонта, беседуя перед смертью в глубокой старости, утверждает, что с годами чувствовал себя ничуть не слабее, чем в молодости. Сам я в детстве, помнится, видел Луция Метелла; избранный в верховные понтифики через четыре года после своего второго консульства, он ведал этой жреческой должностью двадцать два года и даже под конец жизни был настолько полон сил, что ему не приходилось с сожалением вспоминать молодость. Не стану говорить о себе, хотя старикам это свойственно и нашему возрасту прощается. X. (31) Разве вы не замечали, как часто Нестор у Гомера ведет разговор о своих доблестях? Ведь уже третье поколение людей проходило перед его глазами, и ему нечего было опасаться, говоря о себе правду, прослыть чересчур заносчивым или болтливym. И действительно, как говорит Гомер,

349

Речи из уст его вещих сладчайшие меда лилися, —

350

а для этого телесная сила не надобна. Да и знаменитый вождь Греции нигде не говорит, что желал бы иметь десятерых воинов, подобных Аяксу, но, по собственным словам, хотел бы иметь десятерых, подобных Нестору: если бы это удалось ему, то Троя — он не сомневается — вскоре пала бы.

351

(32) Но возвращаюсь к себе: мне уже восемьдесят четвертый год. Хотел бы я похвалиться тем же, чем и Кир, но могу только сказать: хотя силы мои уже не те, какие были тогда, когда я служил солдатом или квестором в Пуническую войну, или консулом в Испании, или, четыре года спустя, когда я в чине военного трибуна сражался под Фермопилами в консульство Манья Ацилия Глабриона, все-таки, как вы видите сами, старость не совсем ослабила и не совсем изнурила меня: есть у меня силы и для курии, и для роств, и для друзей, и для опекаемых, и для гостеприимцев. Ведь я никогда не соглашался с пресловутой старинной пословицей, советующей нам: «Хочешь старости долгой — состарься пораньше». Я же, но правде сказать, предпочел бы стариком пробыть недолго, но стать им попозже. И так доныне еще не было человека, кому я, сославшись на дела, отказал бы в беседе.

352

(33) Но, скажут мне, сил у меня меньше, чем у любого из вас. Право же, и вы не так сильны, как центурион Тит Нонций. Но разве он поэтому выше вас? Умеренность нужна и в трате сил; не напрягай их больше, чем можешь; тогда не будешь испытывать их недостатка. Милон, говорят, вступил на ристалище в Олимпии, неся на плечах быка.

Что же предпочел бы ты получить в дар: такую же силу мышц или силу ума Пифагора? Словом, пользуйся благом, пока обладаешь им; когда же его не станет, не сожалей о нем. А не то и молодые люди должны были бы сожалеть об отрочестве, а более зрелый возраст — о юности? Течение жизни определено, путь природы един и прост, и каждому возрасту впору свое: слабость присуща детству, пылкость — юности, строгость правил — зрелому возрасту, а умудренность — старости, — все эти свойства естественны, если своевременны. (34) Ты, Сципион, верно, знаешь, как поступает гостеприимец твоего деда Масинисса, а ведь ему уже исполнилось девяносто: отправившись в путь пешком, он уже не садится на коня; выехав верхом, он уже не сходит с коня; ни дождь, ни холод не могут заставить его покрыть голову; мышцы его крепки, и ему легко справляться со всеми обязанностями и делами царя. Так упражнение и воздержанность помогают человеку даже в старости сохранить долю былых сил.

XI. Нету у старости сил? Но сил от нее и не требуется. Потому-то все законы и установления освобождают наш возраст от обязанностей, непосильных для него. Следовательно, нас не только не заставляют делать того, чего мы не можем, но и всего, что мы можем, не требуют.

(35) Но, скажут мне, многие старики столь немощны, что им не только обязанности, но и сама жизнь не по силам. Но ведь это порок не старости, а здоровья. Как слаб силами был сын Публия Африканского — тот, который тебя усыновил! Какое хрупкое здоровье было у него, вернее, никакого не было. Будь иначе, и он был бы светочем нашего государства: к величию духа, унаследованному им от отца, прибавилось более широкое образование. Что же удивительного в том, что старики слабосильны, если это и с молодыми бывает? Старости надо сопротивляться, Лелий и Сципион, а потери возмещать усердием. Как борются с болезнью, так надо бороться и со старостью: заботиться о здоровье, (36) упражняться, хоть и в меру, есть и пить столько, сколько нужно для восстановления сил, а не для их угнетения. При этом печься надо не только о теле, но больше о сердце и о разуме; ведь и они, если в них не подливать масла, как в светильник, гаснут от старости. Тело от излишних упражнений устает — ум же от упражнения укрепляется. Ведь Цецилий, упоминая глупых стариков в комедиях, имеет в виду доверчивых, забывчивых и расслабленных, а все это — недостатки не старости вообще, а старости праздной, ленивой и сонливой. Как наглость и разврат свойственны больше молодым, чем старикам (не всем, однако, а лишь непорядочным), так и старческая глупость, обыкновенно называемая сумасбродством, свойственна не всем, а только пустым старикам.

(37) Над четырьмя могучими сыновьями, над пятью дочерьми, над таким большим домом и обширным кругом опекаемых главенствовал Аппий, слепой и старый; ибо дух его был напряжен, как лук, и он, слабея телом, не поддавался старости; он сохранял среди близких не только уважение, но и власть: его боялись рабы, почитали дети, любили все; в этом доме были в почете нравы и порядки, завещанные предками. (38) Ведь старость почтенна, если сама себя защищает, если отстаивает свои права, если никому не отдалась под власть, если до последнего вздоха правит близкими. Хвалю юношу, если в нем есть что-то от старика, и старика, если в нем есть что-то от юноши; кто следует этому правилу, тот состарится телом, но не духом.

Я пишу сейчас седьмую книгу «Начал»; собираю воспоминания о древности, а речи, которые я произносил, выступая защитником по самым знаменитым делам, обрабатываю теперь особенно тщательно; и еще много занимаюсь авгуральным, понтификальным и гражданским правом, греческой литературой, и, по способу пифагорейцев, чтобы упражнять память, припоминаю вечером все, что я в этот день сказал, услышал, совершил. Вот упражнения для ума, вот ристалище для мысли!

Усердно трудясь, я не так уж страдаю от недостатка сил. Я помогаю друзьям, часто бываю в сенате, по собственному почину приношу туда давно обдуманное мнение и защищаю их всеми силами моего духа, а не тела. Даже и не будь я в состоянии выполнять все это, мне и на ложе было бы приятно размышлять о том, что мне уже не по плечу. А если я что могу, то лишь благодаря всей прожитой мною жизни: кто провел ее в таких занятиях и трудах, не чувствует, как к нему подкрадывается старость; он старится постепенно и неощутимо для себя, и его век не переламывается вдруг, а гаснет от долгих лет.

353

354

ХII. (39) Следует третий упрек старости: она, говорят, лишена плотских наслаждений. О, прекрасный дар позднего возраста, уносящего как раз то, что в молодости всего порочнее! Послушайте же, лучшие из юношей, давнишнее рассуждение Архита Тарентского, одного из самых великих и прославленных мужей; мне передали его, когда я в молодости был в Таренте вместе с Квинтом Максимом. Природа не наслала на человека напасти более губительной, чем страсть к наслаждению; ибо жадная похоть заставляет нас дерзко и неудержимо стремиться к ее утолению; (40) отсюда измены отечеству, отсюда государственные перевороты, отсюда тайные сношения с врагами; нет преступления, нет дурного деяния, на которое страсть к наслаждениям не толкнула бы человека; разврат, прелюбодеяния и всяческие гнусности порождаются одними только соблазнами наслаждения. Если самое прекрасное, что даровала человеку природа или божество, — это разум, то ничто так не враждебно этому божественному дару, как наслаждение; (41) где властвует похоть, нет места воздержности, да и вообще в царстве наслаждения доблесть утвердиться не может. Дабы лучше понять это, Архит советовал вообразить себе человека, возбужденного сильнейшим наслаждением, какое только возможно испытать; разве кто-нибудь усомнится в том, что этот человек, пока будет наслаждаться, ни над чем не сможет задуматься и ничего не постигнет ни разумом, ни мыслью; вот почему всего отвратительнее, всего пагубнее наслаждение, раз оно чем сильнее и продолжительнее, тем вернее гасит свет разума. Об этой беседе Архита с Гаем Понпием из Самния (это его сын в Кавдинском сражении одержал победу над консулами Спурием Постумием и Титом Ветурием) наш гость Неарх Тарентский, остававшийся верным другом римского народа, узнал, по его словам, от старших. При этой беседе будто бы присутствовал афинянин Платон, который, как я установил, приезжал в Тарент в год консульства Луция Камилла и Аппия Клавдия.

(42) К чему все это? Чтобы вы поняли одно: если мало своего разума и мудрости, чтобы презреть наслаждение, то мы должны быть благодарны старости, избавляющей нас от недостойных желаний. Ведь наслаждение мешает нам судить здраво, оно враждебно разуму, притупляет, так сказать, зоркость разума, чуждо доблести. Неохотно исключил я из сената Луция Фламинина, брата храбрейшего мужа Тита Фламинина, через семь лет после его консульства, но я счел своим долгом заклеить разврат. Ведь его, когда он, будучи консулом, находился в Галлии, во время пира некая распутница упростила отрубить голову одному из узников, осужденных за преступление. В цензорство его брата Тита, моего ближайшего предшественника, он ускользнул от кары, но ни я, ни Флакк не могли оставить безнаказанной такую гнусную и низкую страсть, и его опозорившую, и нашу державу обесчестившую.

355

356

ХIII. (43) Я часто слышал от старших, которые, в свою очередь, в детстве

слышали это от стариков, что Гай Фабриций, когда он прибыл послом к царю Пирру, не раз удивлялся тому рассказу, что услышал от фессалийца Кинея: будто в Афинах есть человек, выдающий себя за мудреца и утверждающий, что все наши дела должно мерить наслаждением; слыша это от Кинея, Маний Курий и Тиберий Корунканий, по их словам, не раз желали, чтобы он убедил в этом самнитов и самого Пирра, так как их будет легче победить, когда они предадутся наслаждениям. Маний Курий был современником Публия Деция, который за пять лет до его консульства, будучи консулом в четвертый раз, обрек себя в жертву ради государства; его знал Фабриций, знал Корунканий, которых и собственная их жизнь, и подвиг названного мною Деция убеждали в том, что есть нечто от природы прекрасное и славное, к чему надо стремиться по своей воле и ради чего всякий достойный муж отвергнет любое наслаждение. (44) Зачем же мы так много говорим о наслаждении? Да затем, что не бранить, а хвалить надобно старость, коль скоро она совсем не ищет наслаждений. Она обходится без пиршеств, без столов, уставленных яствами, и без часто осушаемых кубков, — значит, не знает она и опьянения, несварения и бессонницы.

357

358

Но если и наслаждению приходится отдавать некоторую дань, так как нелегко устоять перед соблазном (недаром Платон, но внушению богов, называет наслаждение «приманкой в руках бедствий», на которую люди ловятся, как рыба), то старость, отказавшись от пышных пиршеств, все-таки может находить удовольствие в скромном застолье. В детстве я часто видел, как возвращался с пира старец Гай Дуеллий, сын Марка, впервые победивший пунийцев в морском бою, его радовал и вощаной факел, и флейтист — тот беспримерный почет, которым он пользовался, даже став частным лицом, — ведь ему это позволяла слава! (45) Но зачем говорить о других? Вернусь к себе самому. Во-первых, у меня всегда были сотоварищи. Ведь товарищества учреждены в год моего квесторства, когда нами восприняты были идейские священнодействия в честь Великой Матери. Вот я и пировал с сотоварищами, и всегда очень скромно, хоть и с молодым пылом; но с возрастом все становится день ото дня спокойней, и я начал мерить удовольствие, получаемое от пиршеств, не столько телесными наслаждениями, сколько приятностью беседы в кругу друзей. Удачно наши предки назвали дружеское пиршественное застолье «жизнью вместе», так как оно, по их мнению, соединяет людей на всю жизнь; это лучше названий «общее винопитие» или «общий обед», данных греками, которые как будто бы всего более ценят то, что тут всего менее ценно. XIV. (46) Я же, ради приятной беседы, люблю и ранние пиры, и не только с ровесниками, которых уже осталось мало, но и с вашими сверстниками, и с вами, и я весьма благодарен старости за то, что она пуще разожгла во мне вкус к беседе, а вкус к вину и к еде отбила. А если и они кому-нибудь приятны (пусть не кажется, будто я готов объявить войну всякому наслаждению; ведь и в нем есть, пожалуй, естественная мера), то, по моему разумению, старость не лишена способности ценить и эти удовольствия. Мне нравится быть, по обычаю предков, распорядителем пира, держать речь с кубком в руке с верхнего места; мне отрадны и кубки, как в «Пире» Ксенофонта, «небольшие и источающие влагу», и прохлада летом, и солнце или огонь зимой; того же обыкновенья держусь я и в Сабинской моей усадьбе; изо дня в день приглашаю я к столу соседей, и мы, сколь можем долго — до поздней ночи, коротаем время в беседе.

359

(47) Но, скажут мне, старики лишены того, так сказать, приятного щекотания, в котором и состоит наслаждение. Согласен, но ведь они и не желают этого, а чего не желаешь, без того и легко прожить. Софокл, уже под бременем лет, когда его спросили,

предается ли он любовным утехам, удачно ответил: «Да хранят меня боги от этого! Я с радостью бежал от них, как от грубого и бешеного хозяина». Людям, падким до таких дел, без них неприятно и тягостно, но насытившимся и удовлетворенным без них лучше, чем с ними. Впрочем, кто не желает, тот не чувствует лишения; значит, не желать, на мой взгляд, — самое приятное. (48) Пусть все эти наслаждения щедрей отпущены цветущему возрасту, — во-первых, отпущенное ему, как мы сказали, ничтожно, а во-вторых, они и в старости хоть не столь обильны, но не отняты у нас совсем. Как Турнион Амбивий больше удовольствия приносит зрителям, сидящим в первых рядах, но получают удовольствие и сидящие в последнем, так молодость, глядя на наслаждения вблизи, пожалуй, больше радуется им; но ими услаждается в достаточной мере и старость, глядящая на них издали.

360

361

362

(49) А разве это малого стоит, — если душа, словно отбыв свой срок на службе у похоти, честолюбия, соперничества, вражды, всяческих страстей, может побыть наедине с собой и, как говорится, жить ради себя! Если она действительно находит пищу в занятиях науками, то нет ничего приятнее старости, располагающей досугом. Мы видели, как в своем рвении измерить чуть ли не все небо и землю тратил последние силы Гай Гал, друг твоего отца, Сципион! Сколько раз рассвет заставлял его за вычислениями, к которым он приступал ночью, сколько раз ночь заставляла его за этим занятием, начатым поутру! Какая была для него радость за много дней вперед предсказывать нам затмения солнца и луны! (50) Говорить ли мне о занятиях менее важных, но все-таки требующих остроты ума? Как радовался своей «Пунической войне» Невий! Как радовался Плавт «Грубияну», как радовался он «Рабу-обманщику»! Помню я и Ливия уже стариком. Ведь он, поставив свою трагедию в консульство Центона и Тудитана за шесть лет до моего рождения, был еще жив в пору моей молодости. Говорить ли мне о занятиях Публия Лициния Красса понтификальным и гражданским правом или о трудах современника нашего Публия Сципиона, который несколько лет назад был избран в верховные понтифики? Всех упомянутых мною людей мы видели стариками, — а как горячо увлекались они этими занятиями. А Марк Цетег, в котором, как правильно сказал Энний, «поселилась сама душа убедительности»? Какое было видно в нем рвение к красноречию — даже в старости! Разве сравнятся с этими наслаждения от пиршеств, от игр, от блуда? Таково рвение к наукам, которое у людей разумных и хорошо образованных с возрастом усиливается, так что Солону делает честь уже упомянутый мною стих, — тот, где говорится, что он, старясь, каждый день узнает что-нибудь новое. А большего наслаждения, чем наслаждение для ума, и быть не может.

363

XV. (51) Перехожу теперь к радостям земледелия, — тем, что милы мне до необычайности. Им не препятствует никакая старость, и они, по-моему, более всего соответствуют образу жизни мудрого человека. Ведь сельские хозяева ведут счеты с землей, а она никогда не противится их власти и то, что получила, всегда возвращает с лихвой, иногда малой, но чаще большою. Впрочем, меня-то радует не только урожай, но и природная сила самой земли: приняв брошенное семя в свои распаханые и разрыхленные недра, она сначала обороняет его от света (потому и работу, благодаря которой это возможно, называют словом «боронить»), затем, согретое ее испарениями и ее объятием, семя лопается и выталкивает наружу зеленый побег, который, твердо стоя на корневых нитях, постепенно крепнет и, поднявшись коленчатым стеблем, одевается

оболочками, как бы взрослея, а потом, освободившись от них, приносит свой плод — зерна, по порядку собранные в колос и защищенные от клювов мелких птиц частоколом остей. (52) Говорить ли мне о рождении, посадке и разрастании виноградных лоз? Не могу нарадоваться этому (знайте, что служит отдыхом и отрадой моей старости). Не буду говорить о том, какова сила всего того, что родит земля, способная из фигового ли зернышка, из виноградной ли косточки, из крохотных ли семян других плодов выращивать мощные стволы и ветви. Разве черенки, саженцы, тонкие плети, отводки и отростки лоз не радуют и не изумляют каждого из нас? А лоза, которая слаба от природы и, не имея подпорки, стелется по земле? Чтобы выпрямиться, она хватается своими усиками, словно руками, за все, что ей попадется; и когда ее многочисленные побеги расползаются куда попало во все стороны, тогда искусный земледелец обрезает ее ножом, не давая ей разрастаться и чересчур ветвиться. (53) А потом с началом весны у сочленений оставшихся тонких веток возникает так называемая почка; развиваясь из нее, образуется гроздь, которая, наливаясь соками земли под греющим солнцем, вначале очень терпка на вкус, затем, созревая, становится слаще и под покровом листьев не чувствует ни недостатка в тепле, ни избытка солнечного жара. У какого растения плоды отрадней, а вид красивей? Ведь я уже говорил, радует меня не одна только польза от лоз, но и само возделывание их, и вся их природа: ряды подпорок, соединенье верхушек, подвязывание и отсаживание лоз, обрезывание или сохранение отростков (о нем я уже говорил). Рассказывать ли мне об орошении, о перекапывании и рыхлении земли, благодаря которым она становится намного плодороднее? Говорить ли мне о пользе удобрения навозом? (54) Об этом я писал в своей книге о земледелии. Ученый Гесиод не сказал об этом ни слова, когда писал об обработке земли; но вот Гомер, живший, как мне кажется, на много столетий раньше, показывает, как Лаэрт, стараясь унять тоску по сыну, обрабатывает и унавоживает поле. Но сельская жизнь радует нас не одними только нивами, лугами, виноградниками и кустарниками, но также и садами, и огородами, стадами на пастбищах, роями пчел, разнообразием цветов. Отраднее не только сажать деревья, но и прививать их, ибо прививка — самое прекрасное изобретение садоводства. XVI. (55) Я мог бы вам указать много приятных сторон сельской жизни, но даже и сказанное мною было, чувствую я, чересчур пространно; вы простите мне это: меня увлекла моя любовь к сельскому хозяйству, да и старость, по своей природе, не в меру болтлива (пусть не кажется, что я не признаю за ней никаких пороков).

Ведь именно так прожил последние годы Маний Курий, справив триумфы после побед над самнитами, сабинянами и Пирром; глядя на его усадьбу (она недалеко от моей), я не могу в досталь надивиться то ли скромности самого Курия, то ли нравам того времени: Курий сидел у своего очага, когда самниты принесли ему много золота; он прогнал их и сказал, что слава для него не в том, чтобы накопить золота, а в том, чтобы повелевать накопившими. (56) Могло ли такое величие духа не сделать его старость приятной? Но вернусь к земледельцам, чтобы не уклониться от того, что мне ближе. В те времена в поле, бывало, находились сенаторы, то есть старики; ведь пришедшие известить Луция Квинкция Циннинната о том, что он назначен диктатором, увидели его идущим за плугом; а потом, став диктатором, он-то и отдал приказ начальнику конницы Гаю Сервилию Агале схватить и казнить Спурия Мелия, стремившегося к царской власти. Курия и других стариков вызывали в сенат из их усадеб; поэтому тех, кто вызывал их, стали называть «посланцами». Так неужели жалкой была старость тех, кто в обработке земли находил радость? По моему мнению, едва ли бывает старость счастливее, и не только благодаря сознанию исполняемого долга (ведь земледелие приносит пользу всем людям), но и благодаря удовольствию, о

котором я уже говорил, благодаря изобилию всего того, что потребно людям для жизни и даже для почитания богов, так что и с наслаждением — раз уж некоторые об этом тоскуют — можно заключить мир. Ведь у хорошего и рачительного хозяина всегда полны и винный погреб, и кладовая для масла, и кладовая для съестных припасов, а в его усадьбе полный достаток: она богата поросятами, козлятами, ягнятами, курами, молоком, сыром, медом, а сад сами земледельцы называют вторым окороком. И даже такие досужие занятия, как птицеводство и охота, делают сельскую жизнь еще обеспеченнее. (57) Надо ли мне и долее говорить о зеленых лугах или высаженных рядами деревьях, о красоте виноградников и оливковых рощ? Закончу коротко: хорошо обработанную землю ничто не может превзойти ни доходностью, ни красотой. И старость не только не лишает нас всего этого, но даже призывает и манит в деревню: где, как не там, можно в этом возрасте греться на солнце либо у огня, где найти столь благотворную прохладу, как не в тени деревьев или у воды? (58) Пусть же другие оставят себе оружие, коней, копья, дубинку и мяч, оставят себе охоту и состязание в беге; нам, старикам, пусть они из многих развлечений оставят игральные кости — и выпуклые и прямые — да и то лишь любителям, ведь старость может быть счастлива и без этого.

364

XVII. (59) Книги Ксенофонта часто могут быть нам полезны, так что читайте их внимательно, — впрочем, вы так это и делаете. Какие щедрые похвалы расточает он сельскому хозяйству в своей книге об управлении имуществом, озаглавленной «Домострой». Дабы вы убедились, что земледелие он считает самым царственным занятием, напомним вам то, что рассказывает в этой книге Сократ Критобулу: когда лакедемонянин Лисандр, муж редкой доблести, приехал в Сарды и привез подарки от союзников к персидскому царю Киру Младшему, человеку великих дарований, правившему со славой, тот был милостив и добр к Лисандру и даже показал ему огражденный и тщательно засаженный участок земли. Лисандр стал восхищаться и вышиной деревьев, высаженных пятерками, как на игровой кости, и чисто обработанной почвой, и сладким запахом цветов, и сказал, что его изумляет не только усердие, но и искусство того, кто все это измерил и устроил. Кир ответил ему: «Да я сам все измерил, это мои ряды, мой план; многие из этих деревьев даже и посажены моими руками». Тогда Лисандр, глядя на его пурпурную одежду, на исходивший от него блеск и на его персидский убор со множеством золотых украшений и драгоценных камней, сказал: «Про тебя, Кир, недаром говорят, что ты живешь в блаженстве; ведь твоя доблесть неразлучна со счастьем».

365

(60) Вот каким счастьем дозволено наслаждаться старикам, и возраст не препятствует нам до глубокой старости усердно заниматься, наряду с прочими делами, также и сельским хозяйством. А Марк Валерий Корвин? Мы знаем, что он продолжал заниматься им и на сотом году жизни, после того как, уже прожив большую часть отпущенного срока, поселился в деревне и стал обрабатывать землю; между его первым и шестым консульством прошло сорок шесть лет, так что он занимал общественные должности столько же времени, сколько, по мнению наших предков, проходит от рожденья до начала старости. При этом под конец жизни он был счастливее, чем в ее середине, потому что уважением он пользовался большим, а трудов у него было меньше. Ведь венец старости — всеобщее уважение и влияние.

(61) Каким большим влиянием пользовался Луций Цецилий Метелл, каким Авл Атилий Калатин! Ведь это о нем говорится в хвалебной надписи:

Его лишь одного все племена признали

Первейшим из мужей в своем народе.

366

Вам известны эти стихи, вырезанные на его гробнице. Следовательно, он пользуется признанием по праву, если насчет его заслуг молва единогласна. А каких мужей видели мы еще недавно! Верховный понтифик Публий Красс или Марк Лепид, облеченный тем же жреческим саном. Надо ли мне говорить о Павле или о Публии Африканском, или о Максиме, о котором я уже упоминал? Стоило им даже не внести предложение, а просто кивнуть головой, — и все повиновались их влиянию. Старость, особенно у тех, кто занимал почетные должности, пользуется столь великим влиянием, что оно ценнее всех наслаждений молодости. XVIII. (62) Но помните, — я во всех своих рассуждениях прославляю только такую старость, которая зиждется на том, что было заложено в молодости. А что отсюда следует, я недавно сказал при полном одобрении всех присутствовавших: жалкой была бы старость, которая нуждалась бы в речах, чтобы себя защитить. Ни седина, ни морщины не могут вдруг принести нам уважение, — нет, оно есть последний плод честно прожитой жизни. (63) Почетны и такие на первый взгляд ничтожные и обыденные вещи: тебя приветствуют, к тебе подходят, тебе уступают дорогу, перед тобой встают, тебя сопровождают, провожают домой, с тобой советуются. Все это соблюдают и у нас, и в других государствах, — и тем строже, чем лучше в каждом из них нравы. Лакедемонянин Лисандр (я только что упоминал о нем) говаривал, что Лакедемон — самая почетная обитель для старости: нигде не относятся к преклонному возрасту с таким вниманием, нигде старость не окружена большим почетом. Более того, по преданию, когда один человек преклонного возраста пришел в Афинах в театр, переполненный зрителями, то сограждане не уступили ему места; но когда он подошел к лакедемонским послам, сидевшим на отведенных для них местах, все они, говорят, встали и усадили старика вместе с собой; (64) после бурных рукоплесканий всех собравшихся один из послов сказал, что афиняне знают, как надобно поступать, но поступать, как надо, не хотят. Многие замечательно в вашей коллегии, но лучше всего то, о чем мы говорим: кто старше по возрасту, тот высказывается в первую очередь; так что старший годами авгур пользуется преимуществом не только перед теми, кто должностью выше него, но даже и перед теми, кто облечен высшей властью. Какие же плотские наслаждения можно сравнить с такою наградой, как почтение и влияние? Кто блистательно удостоился этих наград, те, мне кажется, до конца доиграли драму жизни и в последнем действии не оскрамились, как бывает с неискушенными актерами.

367

(65) Но старики, скажут мне, ворчливы, беспокойны, раздражительны и трудны в общении, а если приглядеться к ним — то и скупы. Однако это недостатки характера, а не старости. Впрочем, ворчливость и прочие названные недостатки можно оправдать, хотя и не по всей справедливости, но и не без некоторого основания: старики думают, что ими пренебрегают, что на них смотрят сверху вниз, что над ними смеются; кроме того, по своему слабосилию, они болезненно воспринимают всякую обиду. Но все эти недостатки смягчаются добрыми нравами и привычками, что мы можем видеть и в жизни, и на сцене — на примере двух братьев из «Адельфов»: как суров один из них и как кроток другой! Дело обстоит так: не всякое вино и не всякий нрав портится с возрастом. Строгость в старости я одобряю, но, как и все остальное, умеренную, не доходящую до жестокости, (66) Что до старческой скупости, то смысла в ней я не вижу: разве не величайшая нелепость — требовать тем больше денег на дорогу, чем короче остающийся путь?

XIX. Остается четвертая причина, по-видимому, очень сильно беспокоящая и

тревожащая людей нашего возраста, — приближение смерти, до которой старику, конечно, недалеко. Жалок тот старик, который за всю свою долгую жизнь не понял, что смерть надо презирать! Либо пренебрегать надо смертью, если она гасит душу, либо смерти надо желать, если душу она уводит к вечной жизни. Ведь третьего быть, конечно, не может. (67) Чего же бояться мне, если после смерти я либо не буду несчастен, либо даже буду счастлив? Впрочем, кто столь неразумен, пусть даже в юности, чтобы не сомневаться, что доживет до вечера? Напротив, в этом возрасте опасность смерти гораздо больше, чем в нашем: молодые люди легче заболевают, тяжелее болеют, лечить их труднее; и только немногие доживают до старости. Будь это не так, все жили бы достойнее и разумнее; ведь ум, рассудительность и здравый смысл свойственны именно старикам; не будь стариков, не было бы и государств. Но возвращаюсь к тому, с чего начал. Смерть неотвратима — так можно ли винить старость в том, что присуще, как видите, не ей одной, но и юности? (68) Меня — кончина моего прекрасного сына, а тебя, Сципион, кончина братьев, предназначенных занять высокое положение в государстве, убедила в том, что смерть — общий удел всякого возраста.

368

369

Но, скажут мне, молодой человек надеется прожить долго, на что старик надеяться не может. Неразумны его надежды: есть ли что глупее, чем принимать неизвестное за известное, ложное за истинное? Но, скажут мне, старику даже надеяться не на что. Однако его удел тем лучше удела молодого человека: он уже получил то, на что молодой только надеется; молодой хочет долго жить, а старик прожил долго. (69) Впрочем, — о благие боги! — что в человеческой природе долговечно? Дай нам самый долгий век, позволь надеяться, что мы достигнем возраста тартесского царя (ведь некогда, как я прочитал в летописях, жил в Гадесе некто Арганфоний, царствовавший восемьдесят, а проживший сто двадцать лет); но, по мне, все, что имеет конец, уже недолговечно. Конец наступает, — и оказывается, что прошлое уже утекло; остается только нажитое доблестью и честными деяньями; уходят часы, дни, месяцы, годы, и минувшее время не возвращается никогда, а что будет, того знать мы не можем. Какой век отпущен каждому, тем он и должен быть доволен. (70) Ведь актер может иметь успех и не играя от начала до конца драмы, достаточно ему понравиться в тех выходах, какие у него есть; так же и мудрым нет надобности доходить до последнего «Рукоплещите!». Ведь краткий срок нашей жизни достаточно долог, чтобы прожить его честно и достойно; но если она продлится, то горевать тут надо не больше, чем горюют земледельцы о том, что после приятного весеннего времени приходят лето и осень; ибо весна, как и молодость, предвещает и показывает, каков будет урожай, а остальные времена года предназначены для жатвы и сбора плодов. (71) Но плоды старости, как я говорил уже не раз, — в полноте воспоминаний о благах, приобретенных ранее. Ведь все, что согласно с природой, надо считать благом. А есть ли что более согласное с природой, чем смерть стариков? Смерть поражает и молодых, но вопреки противоборству природы. Поэтому, кажется мне, молодые умирают как мощное пламя, на которое обрушились с силой воды, а старики, — как догоревший костер, который тухнет и сам. И как плоды, если зелены, едва оторвешь от ветки, а созревшие в срок опадают сами, так жизнь молодых уносит сила, жизнь стариков — приспевший срок. И это мне даже приятно, ибо чем ближе я к смерти, тем яснее видится мне, будто я вижу землю и, наконец, из дальнего морского плавания приду в гавань.

XX. (72) Впрочем, предел старости не положен, не существует, и жизнь стариков оправдана, покуда они могут нести бремя долга и презирать смерть. Поэтому старость

даже мужественнее и сильнее молодости. Потому-то, когда тиран Писистрат спросил Солона, что дает ему силы столь храбро сопротивляться, — Солон, говорят, ответил: «Старость». Но самый завидный конец — это когда ум здоров и чувства ясны, и только природа сама постепенно ослабляет скрепы, ею же созданные. Как разрушить корабль, как разрушить здание легче всего их строителю, так и человека легче всего разрушает природа, которая его вылепила; ведь всякая свежая связь рвется с трудом, старая же — легко. Вот и выходит, что за этот краткий остаток жизни старики не должны жадно цепляться, но не должны и отказываться от него без причины. (73) И Пифагор запрещает без приказа полководца, то есть божества, оставлять свой сторожевой пост, покидая жизнь. Мудрый Солон сочинил надгробную надпись, в которой говорит, что он не хотел бы, чтобы на похоронах его не было плачущих и скорбящих друзей. Он, думается мне, хотел, чтобы близкие любили его. А вот Энний сказал, пожалуй, лучше:

Не почитайте меня ни слезами, ни похоронным

370

Воплем...

Он утверждает, что нет нужды оплакивать смерть, если за нею следует бессмертие.

371

372

(74) Ведь умирая, человек как-то чувствует это, но очень недолго, в особенности старик; а наши чувствования по смерти либо вожделенны для нас, либо их нет. Но об этом надо думать еще с молодых лет, дабы мы могли презирать смерть; только такое размышление даст спокойствие душе. Ведь всех нас ждет смерть, и, быть может, уже сегодня. Как же перед лицом ежечасно угрожающей смерти сохранит душевную твердость тот, кто ее боится? (75) В длинном рассуждении об этом, кажется, нет надобности, если я напомним вам не о Луции Бруте, убитом при освобождении отечества, не о двоих Дециях, погнавших вперед коней, чтобы добровольно умереть, не о Марке Атилии, отправившемся на казнь, дабы остаться верным честному слову, которое он дал врагу, не о двоих Сципионах, пожелавших преградить своими телами путь пунийцам, не о твоём деде Луции Павле, смертью заплатившем за опрометчивость своего коллеги при позорном поражении под Каннами, не о Марке Марцелле, которому даже жесточайший враг не осмелился отказать в почете погребения, а о наших легионах, которые, как я написал в «Началах», с бодростью и твердостью духа не раз отправлялись туда, откуда не было надежды вернуться. Ученым ли старикам бояться того, что презирают юнцы не только что не ученые, а просто деревенские? (76) Вообще, мне кажется, кто насытился всем, тот насытился и жизнью. Есть пристрастия детские. Тоскуют ли по ним юноши? Есть пристрастия юношеские. Разке склонен к ним зрелый возраст, называемый средним? Есть пристрастия и для этого возраста; но к ним уже не склонна старость; есть какие-то, можно сказать, последние пристрастия, свойственные старости. И вот, подобно тому как исчезают пристрастия детства, юности и зрелой поры, так исчезают и старческие пристрастия. Когда это наступает, человек уже сыт жизнью, и срок смерти пришел.

XXI. (77) Не вижу, почему бы мне не сказать вам прямо, что я думаю о смерти: ведь я, по-моему, могу рассмотреть ее тем ясней, чем она ближе. Я полагаю, что ваши отцы, прославленные мужи и мои лучшие друзья, — твой отец, Сципион, и твой, Лелий, живы и притом живут той жизнью, которая одна только и заслуживает названия жизни. Ибо, пока мы заключены в телесную оболочку, мы несем некую неизбежную повинность, выполняем нелегкий труд; ведь душа — небожительница, низвергнутая из горней обители и низведенная на землю, — место, не подобающее ее божественной и

вечной природе. Но бессмертные боги, верю я, посеяли души в людские тела, чтобы было кому блюсти землю и, созерцая порядок небесных тел, подражать ему своей жизнью и постоянством. Не только разум и размышление побудили меня верить в это, но и слава знаменитых философов и вескость их мнения. (78) Я слышал, что Пифагор и пифагорейцы, наши, можно сказать, земляки (некогда их называли италийскими философами), никогда не сомневались в том, что души наши почерпнуты от всеобъемлющего божественного духа. Рассказывали мне и то, что в последний день своей жизни говорил о бессмертии души Сократ — тот, кого оракул Аполлона признал мудрейшим из всех людей. К чему много слов? Так я убежден, так я думаю: и подвижность души, и ее памятьливость, и прозорливость, и все ее знания, умения и открытия — все обилие объемлемого душой доказывает, что природа ее не может быть смертной. Ведь душа всегда пребывает в движении, и движение ее не имеет начала, ибо она сама себя движет; и движение это не будет иметь и конца, ибо она никогда себя не покинет, а так как природа души проста и не содержит ничего постороннего, отличного от нее и несходного с нею, то делиться она не может; а раз это невозможно, то не может она и погибнуть; немалым доказательством тому же будет еще одно: люди знают многое до рожденья, почему уже в отрочестве, учась трудным наукам, так быстро схватывают бесчисленное множество вещей, что, похоже, извлекают их из памяти, а не постигают впервые. Примерно так и говорил Платон.

XXII. (79) У Ксенофонта Кир Старший, умирая, говорит: «Не думайте, о мои горячо любимые сыновья, что я, уйдя от вас, нигде и никак не буду существовать. Ведь, пока я был с вами, души моей вы не видели, но по моим действиям понимали, что она пребывает в моем теле; так верьте же, что она остается той же, хотя видеть ее вы не будете. (80) Ведь прославленные мужи не почитались бы после смерти, если бы души их не способствовали тому, чтобы о них дольше не забывали. Сам я никогда не мог согласиться ни с тем, что души наши, пока пребывают в смертных телах, живут, а выйдя из них, умирают, ни с тем, что душа теряет свою мудрость, покинув лишнее мудрости тело, но полагал, что душа, только освободившись от какой бы то ни было связи с телом и став чистой и целостной, становится мудрой. Более того, когда естество человека разрушается смертью, то видно, куда деваются все, кроме души; все возвращается к тому, из чего возникло; незрима только душа — и когда пребывает в теле, и когда его покидает. (81) Далее, вы видите, что смерти более всего подобен сон; ведь души спящих высказывают свою божественную природу; ибо, когда души людей не связаны и свободны, они прозревают будущее; из этого можно понять, каковы они станут, совсем освободившись от оков тела. А если все это так, чтите меня, — сказал он, — как божество; если же душа моя вместе с телом погибнет, то вы все же, страшась богов, оберегающих всю эту красоту вселенной и правящих ею, будете хранить память обо мне благочестиво и нерушимо». Так говорил, умирая, Кир; мы же, если угодно, обратимся от чужеземного к своему.

373

XXIII. (82) Никто никогда не убедит меня, Сципион, в том, что твой отец Павел, что твои оба деда, Павел и Публий Африканский, что отец или дядя Публия Африканского, как и многие выдающиеся мужи, перечислять которых нет надобности, отваживались на подвиги, память о которых принадлежит грядущему, если не прозревали душою, что и грядущее принадлежит им. Уж не думаешь ли ты, — по обыкновению стариков, я хочу немного похвалиться, — что я стал бы так тяжело трудиться денно и ночью, на войне и в мирное время, если бы славе моей был положен тот же предел, что и жизни? Не лучше ли было бы прожить жизнь, наслаждаясь досугом и покоем, не зная труда и борьбы? но моя душа почему-то всегда была напряжена и

прозревала в грядущем новую жизнь, которая и начнется с концом этой. А между тем если бы души не были бессмертны, то едва ли души всех лучших людей стремились бы так сильно к бессмертной славе. (83) Что же, коль скоро мудрый умирает в полном душевном спокойствии, а глупый — в сильнейшем беспокойстве, то не кажется ли вам, что та душа, которая видит больше и дальше, постигает воочию, что она идет к лучшей жизни, а та, чье зрение слабее, этого не постигает? И мне не терпится увидеть ваших отцов, которых я почитал и любил, встретиться не только с теми, кого я знал, но и с теми, о ком слышал, читал и писал. С дороги к ним нелегко меня будет вернуть назад и сварить в котле, как Пелия. И если бы кто-нибудь из богов подарил мне возможность возвратиться из моего возраста в детский и плакать в колыбели, то, конечно, я отказался бы и, конечно, не пожелал бы, чтобы меня, как бы пробежавшего все ристалище, отвели бы вспять от конечной черты к начальной. (84) И много ли мы получаем от жизни? Не больше ли тратим сил? Но пусть мы от жизни что-то и получаем, есть пресыщение ею, есть положенный ей предел. Я ведь и не хочу сетовать на жизнь, как часто делали многие и даже ученые люди, и я не жалею о том, что жил, ибо жил я так, что считаю себя родившимся не напрасно и уйду из жизни, как с постоянного двора, а не из собственного дома; ибо природа дала нам жизнь как пристанище временное, а не постоянное. О, сколь прекрасен будет день, когда я отправлюсь туда, в божественное собрание душ, присоединюсь к их сонму и удалюсь от этой толпы, от этого сброда. Ведь отправлюсь я не только к тем мужам, о которых я говорил ранее, но и к моему Катону, которого никто не превзошел ни благородством, ни сыновней преданностью. Это я возложил на погребальный костер его тело (не он мое, как требовал бы порядок вещей), а его душа, не желая со мной расставаться и оглядываясь вспять, удалилась, конечно, туда, куда — она знала — приду и я. Несчастье свое переносил я, казалось, твердо, но не от душевного безразличия: нет, я утешался мыслью, что наше расставанье и разлука будут недолгими.

(85) Вот почему, Сципион, для меня старость легка и не только не тягостна, но даже приятна, что, по твоим словам, всегда изумляло и тебя и Лелия. Если я здесь заблуждаюсь, веря в бессмертие души человеческой, то заблуждаюсь охотно и не хочу, чтобы у меня отнимали мое заблуждение, услаждающее меня, пока я живу; если же я по смерти ничего не буду чувствовать, как думают некие ничтожные философы, то мне нечего бояться насмешек умерших философов. Если нам не суждено стать бессмертными, то для человека все-таки лучше угаснуть в свой срок; ведь природа устанавливает меру для жизни, как и для всего остального, старость же — последняя сцена в драме жизни; а в конце мы должны избегать изнурения сил, и тем более пресыщения.

Вот что хотел я сказать о старости. Я желаю вам дожить до нее, чтобы вы собственным опытом могли подтвердить услышанное от меня.

ЛЕЛИЙ, ИЛИ О ДРУЖБЕ

Титу Помпонию Аттику

374

375

376

377

I. (1) Квинт Муций Сцевола авгур часто и с удовольствием рассказывал о тесте своем Гае Лелии, припоминал многое из его жизни и всякий раз, не колеблясь, называл его мудрым. Мой отец привел меня к Сцеволе, едва я надел мужскую тогу, и велел, насколько я смогу, а старец позволит, находиться при нем неотлучно. Многие глубокие суждения Сцеволы, многие его краткие и меткие замечания хранил я в памяти и

старался его мудростью и сам стать ученеe. Когда он умер, я перешел к Сцеволе понтифику — человеку, о котором я смело могу сказать, что умом и справедливостью был он выше всех в нашем государстве. Но о нем как-нибудь в другой раз; сейчас вернемся к авгуру. (2) Среди многого другого особенно запомнилось мне, как однажды у себя дома сидел он, по обыкновению, в выходящей в сад полукруглой нише со мной и еще несколькими близкими людьми и завел речь о деле, о котором в те дни все только и говорили. Ты, Аттик, близко знал Публия Сульпиция и, конечно, хорошо помнишь, как одни восхищались им, а другие осуждали за то, что, бывши народным трибуном, он внезапно проникся ненавистью к консулу того же года Квинту Помпею и навсегда разошелся с человеком, с которым ранее жил в самой большой близости и дружбе. (3) Коль скоро уж зашла речь об этом случае, Сцевола и рассказал нам, что говорил о дружбе Лелий в беседе с ним и с другим своим зятем Гаем Фаннием, сыном Марка, через несколько дней после смерти Корнелия Сципиона Африканского. Главные мысли его речи я сохранил в памяти и изложил в этой книге по своему разумению, но как бы передавая подлинные слова каждого из собеседников, чтобы не вставлять без конца «я сказал» да «он сказал» и чтобы все выглядело так, будто разговор происходит прямо при нас. (4) Ты часто побуждал меня написать что-нибудь о дружбе, и я подумал, что, наверное, такое сочинение, в самом деле, достойно было бы и общего внимания, и нашей с тобой давней близости. Вот оно наконец, — я писал его с охотой и в надежде, исполнив твою просьбу, принести пользу многим. Но как в «Катоне Старшем» — посвященном тебе сочинении о старости — я представил главным участником беседы старого Катона, ибо, на мой взгляд, кому же было и рассуждать об этом возрасте, как не ему, который и стариком оставался дольше других, и в самой старости был бодр не в пример прочим, — так теперь наиболее подходящим действующим лицом, чтобы изложить запомнившуюся Сцеволе речь, показался мне Лелий, чья дружба со Сципионом была памятна нашим дедам, а через них стала известна и нам. Ведь такого рода рассуждения, вложенные в уста людей прежних времен, и к тому же самых знаменитых, неведомым образом приобретают особый вес и возвышенную важность, когда перечитываю написанное, мне порой кажется, будто я слышу не себя, а Катона. (5) То была книга, созданная одним стариком для другого, и предметом ее была старость; здесь любящий друг обращается к другу, дабы рассказать ему о дружбе. Там речь вел Катон, старше и мудрее которого не было в его времена, кажется, никого; здесь станет говорить Лелий, также известный своей мудростью, но не меньше прославленный дружбою. Мне бы хотелось, чтобы ты тоже временами забывал про меня и думал, будто это говорит сам Лелий.

Итак, Гай Фанний и Квинт Муций приходят к тестю после смерти Корнелия Сципиона Африканского; они начинают беседу, Лелий отвечает, и вся речь его посвящена дружбе, — читая ее, ты узнаешь самого себя.

Фанний.

378

II. (6) Вот так-то, Лелий. Не было человека ни лучше Сципиона Африканского, ни более знаменитого. Теперь все взоры устремлены на тебя одного — ты, верно, и сам это чувствуешь. Тебя зовут мудрым, тебя и вправду им считают. Прежде мудрым называли Марка Катона, именовали так отцы наши и Луция Ацилия, хотя каждого по особой причине: Ацилия — за глубокое знание гражданского права, Катона — за то, что почти во всем знал он толк; в те времена много говорили о том, какой он отличается предусмотрительностью в сенате и на Форуме, каким упорством в делах, остроумием ответов, — поэтому к старости «мудрый» и стало как бы вторым его именем. Твоя же мудрость совсем иного свойства и проявляется она не только в склонностях и

поступках, но также в учености и в широте познаний. Такие, как ты, заслужили звание мудреца не у черни, а среди людей образованных, и подобных им не сыскать даже в Греции, ибо тех семерых, которых принято так называть, более тонкие знатоки к числу мудрецов не относят; (7) разве что вспомнить о единственном, который жил в Афинах и которого признал мудрейшим сам оракул Аполлона. За то считают тебя мудрым, что все блага, по-твоему, заключены в самом человеке, и доблесть ты ставишь выше превратностей судьбы. Поэтому люди спрашивают меня — и, думаю, вот Сцевола тоже, — как переносишь ты смерть Сципиона Африканского, спрашивают тем более настойчиво, что в прошлые ноны, когда мы собрались, как всегда, в садах авгура Децима Брута для толкования пророчеств, ты, прежде всегда соблюдавший этот день и тщательно выполнявший обязанности, с ним связанные, не пришел.

Сцевола.

(8) Да, Лелий, Фанний прав, такие вопросы задают многие. Я отвечаю, что, сколько я мог заметить, в скорби своей по столь великом и близком тебе муже ты сдержан, но нельзя ожидать, чтобы смерть его вовсе тебя не тронула, ибо ты остаешься человеком всегда и во всем. Что же до отсутствия твоего на нашем собрании в ноны, его я объясняю не скорбью, а болезнью.

Лелий.

Ты правильно отвечаешь, Сцевола; так оно в самом деле и есть. Будь я здоров, никогда собственное горе не заставило бы меня уклониться от дела, которое я исполнял неизменно. Ни в каком случае, по-моему, человек, верный своему долгу, не имеет права, даже на время, отказаться от выполнения общественных обязанностей. (9) По дружбе, Фанний, ты приписываешь мне свойства, которых во мне нет, и на которые я вовсе не притязая. О Катоне же, на мой взгляд, ты судишь просто несправедливо. Я сказал бы, что нет человека, который заслуживает название мудреца, но если кому оно пристало, так только Катону. Даже если не говорить о прочем, как перенес он хотя бы смерть сына! Я помню горе Павла, горе Гала, но они оплакивали подростков, а Катон — прекрасного и уважаемого мужа. (10) Остерегись поэтому ставить выше Катона даже и того, кого, по твоим словам, счел мудрейшим сам Аполлон; его славят за речи, а Катона за дела. Что касается меня — и это уж я говорю вам обоим, — то имейте в виду вот что.

379

380

381

382

III. Стань я отрицать, что скорбю о смерти Сципиона, это, конечно, была бы ложь, а следовало ли мне так поступать, пусть уж смотрят мудрецы. Я скорбю об утрате друга, какого, полагаю, никогда не будет и какого, твердо знаю, никогда не было. И тем не менее мне не надо утешений. Я нахожу опору в себе самом, ибо далек от заблуждения, от которого страдает почти каждый, потерявший друга: я думаю, что со Сципионом не случилось ничего плохого; если что случилось, то не с ним, а со мной; о собственных же бедах сокрушается лишь тот, кто любит не друга, а самого себя. (11) Можно ли отрицать, что Сципион прожил подлинно прекрасную жизнь? Если не говорить о бессмертии — о нем он и не помышлял, — есть ли что-нибудь, доступное желаниям смертных, чего бы он не достиг? Когда он был еще подростком, граждане ожидали от него многого, — юношей он неслыханной доблестью превзошел их ожидания; он никогда не добивался консульства — и стал консулом дважды, первый раз до срока, второй — в срок по его возрасту, но едва не слишком поздно для республики; разрушив два города, особенно враждебных Риму, избавил он от войн не только современников, но и потомков. Надо ли вспоминать о простоте его обращения, о

благочестивом уважении к матери, о доброте к сестрам, благожелательности к домашним, справедливости ко всем? Все это вы знаете. Ну, а как дорог он был государству, ясно показала скорбь во время его похорон. Что могли бы добавить ко всему этому еще несколько лет жизни? «Старость сама не тяжела, да цветение жизни уже позади», — помню, говорил Катон, беседуя за год до смерти со мной и Сципионом, а ведь Сципион теперь-то как раз и находился в самом расцвете. (12) Вот почему к его жизни нечего добавить — столь удачно и с такой славой она прожита, смерть же пришла к нему мгновенно, и страданий он не знал. Что это была за смерть, трудно решить; подозрения, которые на этот счет есть, вам известны. Одно бесспорно: из многих славных и радостных дней, виденных им в жизни, самым блестящим был канун его смерти, когда после заседания сената, уже вечером, провожали его домой отцы-сенаторы, римский народ, союзники и латины. С такой вершины почестей ему, право, ближе был путь к богам небесным, чем к подземным.

383

IV. (13) В последнее время появились люди, утверждающие, будто душа гибнет вместе с телом и смерть уничтожает все. Я, признаться, им не сочувствую, а больше верю древним и предкам нашим, которые чтили умерших священными обрядами, чего они, конечно, не стали бы делать, если бы полагали, что усопшим это безразлично; верю тем, кто жил в наших краях и своими установлениями и наукой просветил Великую Грецию, ныне исчезнувшую, но в ту пору процветающую; верю тому, кого признал мудрейшим оракул Аполлона... Он не рассуждал, подобно многим, то так, то этак, а всегда учил одному и тому же: что души людей божественны, что когда они излетают из тела, то возвращаются на небо, и тем быстрее и легче, чем лучше и справедливее был человек. (14) Так же смотрел на это и Сципион. Совсем незадолго до смерти он, как бы предчувствуя ее, три дня подряд в присутствии Фила, Манилия и многих других (и ты, Сцевола, был там со мною) беседовал о государстве, а под конец заговорил о бессмертии души и рассказал, что, по его словам, поведал ему в сновидении Сципион Африканский Старший. И если в самом деле, когда умирает человек достойный, душа его тем свободнее улетает ввысь из темницы и оков тела, то чей же путь к богам был легче, чем путь Сципиона? Тогда получается, что те, кто скорбит о такой его судьбе, скорее завистники, чем друзья. Если же в самом деле душа погибает вместе с телом и не остается в ней никаких ощущений, тогда в смерти нет, наверное, ничего хорошего, но, уж во всяком случае, и ничего плохого. Не знать никаких ощущений — это ведь все равно что не родиться, ну а уж Сципион бесспорно был рожден на свет на радость нам и нашему государству до конца его дней. (15) Поэтому я и говорю, что ему повезло, а мне не так уж, ибо было бы справедливее, если бы я, вступив в жизнь раньше него, и ушел бы раньше. Воспоминания о нашей дружбе, однако, приносят мне такую радость, что мне кажется, будто и я прожил свой век счастливо, раз провел его вместе со Сципионом, с которым мы делили бремя и общественных и частных дел, с которым рядом были на войне и дома и с которым — а в этом и заключена суть дружбы — нас связывало полное единство намерений, стремлений и взглядов. И не столько радует меня слава мудреца, о которой говорил Фанний и которая никак мне не пристала, сколько надежда на то, что память о нашей дружбе сохранится навеки, а это тем более мне отрадно, что за все минувшие столетия едва наберется три-четыре пары подлинных друзей, и вот наряду с ними, потомки, я надеюсь, станут вспоминать дружбу Сципиона и Лелия.

Фанний.

(16) Да, Лелий, так оно непременно и будет. Но раз уж ты заговорил об этом и раз мы сейчас ничем не заняты, не рассказать ли тебе, наподобие того как ты рассуждаешь

по просьбе друзей о других предметах, что думаешь ты о дружбе, о том, какой она должна быть и в чем состоит. Мне это было бы очень приятно, и Сцеволе, надеюсь, тоже.

Сцевола.

Мне, уж, конечно, будет приятно. Я ведь сам пытался навести тебя на этот разговор, да Фанний меня опередил. Так что удовольствие ты доставишь нам обоим.

Лелий.

Ну, меня-то и подавно это не обременит, — особенно если бы я мог полагаться на собственное разумение. Предмет для разговора прекрасный, и мы, как сказал Фанний, ничем не заняты. Но ведь кто я такой? Под силу ли мне такая беседа? Только ученые люди да еще греки привыкли рассуждать без подготовки на заданную тему. Великое это дело, да и опыт какой нужен! Вот у них-то, привычных на людях вести речь о любом предмете, вы и спрашиваете про все, что только можно наговорить о дружбе. А я могу сказать вам одно: цените дружбу выше всего, что дается человеку, ибо нет ничего более согласного с его природой, ничего нужнее ему и в счастье и в беде.

(18) Главное здесь, на мой взгляд, вот что: дружба может соединять лишь достойных людей. Я не хочу придираюсь к словам, как те, кто рассуждает о дружбе весьма тонко и, может быть, даже верно, только без всякой пользы людям. Они уверяют, что звание достойного человека пристало только мудрецу. Пусть даже так, но под мудростью-то они понимают нечто такое, чего ни одному смертному еще не удавалось достичь, тогда как нам надлежит вести разговор о вещах, которые знакомы каждому, существуют в быту и в жизни, а не только в мечтах или благих пожеланиях. Ведь ни Гай Фабриций, ни Маний Курий, ни Тиберий Корунканий, которых признавали мудрыми наши предки, по их мерке мудрыми бы не считались. Ладно, пусть берут себе это вожденное и непонятное наименование мудреца — согласились бы только, что всё это были достойные мужи. Нет, и того не хотят: нельзя, говорят, признать достойным того, кто не достиг мудрости. (19) Что ж, давайте, как говорится, рассуждать, не мудрствуя. Все, кто своими деяниями и жизнью заслужил уважение как люди верные, честные, справедливые, великодушные, в ком нет ни алчности, ни вожделений, ни наглости, кто верностью долгу равен только что мною перечисленным, — это и есть достойные мужи. Так мы привыкли их называть, так будем называть и впредь, ибо они следовали, насколько то в человеческих силах, природе — лучшей наставнице в достойной жизни. Нельзя, мне кажется, не видеть, что самим рождением мы предназначены вступить в некоторую всеобщую связь, особенно тесную с теми, кто ближе, — сограждане нам ближе чужестранцев, родные ближе посторонних, и дружить с ними указано самой природой. Это, однако, дружба еще не по-настоящему крепкая. Дружба тем выше родства, что для последнего необязательна приязнь, а для первой необходима; отнимите чувство приязни — и дружбы не останется, родство же сохранится, каким было. (20) Сколь великая сила заложена в дружбе, яснее станет вот из чего: под действием ее связь, установленная природой и охватывающая род людской в его безграничности, втесняется в столь узкие пределы, что соединяет лишь двух или нескольких человек.

VI. Дружба есть не что иное, как единодушие во всех делах, божественных и человеческих, укрепляемое приязнью и любовью, и ничего лучшего, кроме, может быть, мудрости, боги людям не дали. Одни, правда, ставят выше нее богатство, другие — здоровье, третьи — власть, иные — почести, многие, наконец, — наслаждения. Последнее, по-моему, больше впору скотам, остальное же преходяще и зыбко и зависит от прихоти судьбы больше, чем от нашей разумной воли. А что касается тех, кто полагает высшее благо в доблести, то они рассуждают превосходно, но ведь доблесть

сама и порождает дружбу, и укрепляет ее, и без доблести дружба никоим образом существовать не может. (21) Доблесть же давайте понимать так, как это принято у нас в жизни и в языке, не станем подобно некоторым умникам мерять ее искусством красно говорить, а назовем достойными мужами тех, кого и принято считать достойными — Павлов, Катонов, Галов, Сципионов, Филлов. В обычной жизни с нас хватает и таких, а о тех, кого нигде не сыщешь, незачем и говорить. (22) Вот такая-то дружба, связующая настоящих мужей, приносит им столько радостей, что я затрудняюсь все и перечислить. Прежде всего, что такое сама, как выражается Эний, «живая жизнь», если нет в ней спокойствия, создаваемого взаимной дружеской приязнью? Что может быть слаще общения с человеком, с которым не боишься говорить как с самим собой? Какой толк в удаче, если нет рядом никого, кто порадуетсся ей с тобой вместе, и как перенести беду без того, кому она еще горше, чем тебе самому? Наконец, все прочее, к чему люди стремятся, почти всегда хорошо лишь для чего-нибудь одного: богатства — чтобы ими пользоваться, могущество — чтобы тебя чтили, почести — чтобы восхваляли, наслаждения — чтобы чувствовать утеху, здоровье — чтобы не страдать от болезней и владеть всеми способностями тела, и только в дружбе заключено множество благ; куда ни обратиться, всегда она рядом, нигде не лишняя, никогда не постылая, никому не в тягость, и если что-нибудь бывает нам нужно чаще всего остального, так не вода и не огонь, как принято считать, а именно дружба. Я сейчас имею в виду, конечно, не пошлую и даже не обычную дружбу, — которая, впрочем, тоже приносит немало удовольствия и выгоды, — а дружбу подлинную и совершенную, удел тех, кого называют избранными. Именно благодаря ей удача становится более блестящей, а несчастье, которое разделишь с другом и как бы передашь ему часть, — более легким.

384

385

VII. (23) Дружба не только приносит множество великих радостей, но и тем в первую голову возвышается над остальным, что исполняет нас бодрой надежды, не дает ослабеть или пасть духом. Глядя на истинного друга, мы как бы созерцаем совершенный образ собственной жизни. Здесь мы снова соединяемся с покинувшими нас, в нужде обретаем богатство, в болезни — здоровье; здесь, как это ни странно звучит, оживают для нас умершие — настолько глубоко входят в нашу жизнь славные деяния друзей, так сильна память о них, любовь к ним. Вот почему их смерть и представляется нам блаженной, а наша жизнь — завидной, и вот почему без приязни, связующей все и вся в природе, ни дом ни один не стоит, ни город и не колосится поле. Если же сказанного мало, чтобы постичь, какая сила заложена в дружбе и согласии, уяснить это можно, задумавшись над значением ссор и распрей. Существует ли столь прочная семья, столь устойчивое государство, чтобы их не могли обратить в ничто взаимная ненависть и раздоры? Уже по этому одному можно судить, какое благо дружба. (24) Рассказывают ведь об одном ученом муже из Агригента, слагавшем стихи на греческом языке и учившем в них, будто все, созданное природой, все, что в мире есть и движется, спланивается Дружбой и распыляется Враждой. Учение это внятно всем смертным, и они жизнью и делами подтверждают его справедливость. Если кто по долгу дружбы разделит опасность или придет на помощь, разве не воздадут ему самую высокую хвалу? Недавно давали новую драму Пакувия — моего приятеля и частого гостя в этом доме, — и какими же кликами одобрения огласился театр в тот миг, когда, воспользовавшись неведением царя, Пилад выдает себя за Ореста, дабы принять вместо него смерть, а друг его, верный правде, настаивает, что Орест — это он! Люди, стоя, рукоплескали вымыслу, — так представьте себе, что было бы, встретиться они с подобным поступком в жизни. Очевидным образом явила здесь природа свое

всевластие, раз люди сочли в других достойным восхищения то, на что неспособны сами.

Ну вот, кажется, я и сказал о дружбе все, что мог. Если же есть в ней еще что-нибудь (а есть, наверное, немало), обратитесь, пожалуй, к людям, которые больше привыкли рассуждать о подобных предметах.

Фанний.

(25) Мы лучше обратимся к тебе. Тех я расспрашивал часто и, признаюсь, выслушивал не без удовольствия, но у тебя сама мысль идет совсем по-другому.

Сцевола.

Ты, Фанний, и подавно сказал бы так, если бы был на днях в садах Сципиона, когда там шел разговор о государстве. Как замечательно защищал хозяин дома справедливость от искусных нападков Фила!

Фанний.

Ну, справедливейшему мужу защищать справедливость было, наверное, не так уж трудно.

Сцевола.

А коли так, то разве человеку, который стяжал громкую славу величайшей преданностью, верностью и честностью в дружбе, трудно выступить в ее защиту?

Лелий.

(26) Но ведь это насилие! Разве в том дело, какими способами вы меня принуждаете говорить? Важно, что принуждение тут есть, и явное. Впрочем, если так усердствуют зятья, да еще с благой целью, сопротивляться и трудно и не нужно.

386

Так вот. Сколько я ни размышлял о дружбе, мне всегда кажется главным такой вопрос: потому ли хотят дружить люди, что страдают от немоги, от нищеты и, обмениваясь услугами, рассчитывают взять у другого, чего каждый лишен сам, и потом воздать ему тем же, — или все это лишь одна из сторон дружбы, причина же ее иная, более глубокая и возвышенная и порожденная самой природой? Ведь связывает людей прежде всего дружелюбие, то есть любовь к друзьям, а выгода часто достается и тем, кого, сообразуясь с обстоятельствами, обхаживают ложные друзья. Дружба же не терпит ничего искусственного, ничего притворного, и все, что в ней есть, всегда подлинно и идет от души. (27) Поэтому я и думаю, что возникает дружба из самой человеческой природы, скорее чем из внешней необходимости, из душевной склонности и особого чувства любви, гораздо больше чем из помышлений о возможной выгоде. В справедливости этого легко убедиться, даже наблюдая за животными, которые до поры так любят своих детенышей и так любимы ими, что чувство их видно совершенно ясно. Еще яснее проявляется оно в человеке: во-первых, в той любви, что связывает детей и родителей и разорвать которую нельзя, не совершив гнуснейшего злодеяния, а затем и в подобном ей чувстве, что пробуждается в нас, когда мы встречаем человека, близкого по природным свойствам души и нравам, в ком именно поэтому склонны мы видеть как бы светоч добродетели и гражданской доблести. (28) Ибо нет на свете ничего достойнее любви, чем доблесть, и ничто не привлекает нас сильнее; потому-то за доблесть и добродетель иногда любим мы даже тех, кого никогда не видали. Найдется ли человек, не испытывавший особого чувства любви и приязни при упоминании о Гае Фабриции или Мании Курии, которых он и в глаза не видал? А в ком не вызывали ненависти Тарквиний Гордый, Спурий Кассий или Спурий Мелий? С двумя полководцами сражались мы в Италии за власть над нею — с Пирром и с Ганнибалом; но к одному за его благородство мы чувствовали даже некое расположение, другого в этом государстве будут вечно ненавидеть за его жестокость.

IX. (29) Раз сила благородства такова, что мы ценим его и в людях, никогда нами не виданных, и даже во врагах, надо ли удивляться, если душа наша ощущает некий порыв при виде гражданской доблести и достоинств в тех, с кем мы встречаемся каждый день? Как бы ни усиливали наше чувство и оказанные нам благодеяния, и явное рвение друга, а сверх того и привычка, великая дружеская приязнь вспыхивает, подобно пламени, лишь там, где все это сливается с тем первым порывом любви. Если же некоторые полагают, будто она проистекает из слабости и из желания иметь пособника, готового обеспечить тебя всем, чего захочешь, они приписывают дружбе происхождение весьма низкое и, я бы сказал, подлое, видя в ней порождение немощи и нищеты. Будь оно так, человек был бы способен к дружбе тем более, чем ниже он себя ценит, а ведь на самом деле все это совсем не так. **(30)** Именно тот, кто по-настоящему себе доверяет, кто настолько исполнен доблести и разума, что, кажется, может довольствоваться самим собой, кто ни в чем и ни в ком не нуждается, вот он-то более всех и стремится к дружбе, и хранит ее лучше остальных. Разве нужен я был Сципиону Африканскому? Меньше всего на свете, клянусь Геркулесом! Да и он не был мне нужен. Просто во мне пробудило любовь восхищение его доблестью, а в нем — то мнение, может быть, не совсем необоснованное, которое он составил себе о моей жизни. Привычка укрепила возникшую приязнь, и хотя из нее проистекали для нас многочисленные и немалые преимущества, вовсе не надежды на выгоду породили наше чувство. **(31)** Подобно тому, как мы бываем добры и щедры не из расчета на благодарность (ведь добрые дела не отдаются в рост — к щедрости толкает нас сама природа), так же и к дружбе мы стремимся не из корысти, но полагая, что ценность и сладость ее заключены в самой сердечной привязанности. **(32)** Надо ли удивляться, что люди, которые по обычаю скотов во всем ценят одно наслаждение, думают по-другому. Отдав все помыслы вещам низменным и презренным, они и представить себе не могут ничего возвышенного, ничего великого и божественного. Поэтому лучше, рассуждая о дружбе, вовсе не обращать на них внимания, а между собой давайте согласимся, что сама природа порождает в нас чувство любви и сердечной приязни ко всякому, в ком обнаружим мы честность и благородство. Те, кто стремится к добродетели, сходятся друг с другом и сближаются все больше, надеясь насладиться обществом понравившегося человека, сравняться с ним любовью, уподобиться ему нравами; оба помышляют скорее о том, как бы заслужить благодарность друга, чем об ответной его услуге, — только в этом и должны они между собой состязаться, по справедливости и чести. Так оба получают величайшую пользу, и дружба их, порожденная природой, а не немощью, будет глубже и вернее: ведь выгода сегодня скрепляет дружбу, завтра — переменится и разрушит ее, природа же неизменна, а потому вечной будет и подлинная дружба. Теперь вам ясно, откуда берется дружба. Разве что вы сами хотите что-нибудь добавить.

Фанний.

Ты, Лелий, продолжай! Сцевола помоложе меня, и я имею право говорить за него.

Сцевола.

(33) Правильно. А потому послушаем дальше.

Лелий.

Так послушайте, достойные мужи, какими мыслями нередко делились мы со Сципионом, рассуждая о дружбе. Он, правда, добавлял, что самое трудное — сохранить ее до конца дней, ибо она никнет либо оттого, что каждый гонится за собственной выгодой, либо оттого, что друзья по-разному смотрят на дела государства, да и сам человек, по его словам, меняется и под влиянием несчастий, и под бременем возраста. В

доказательство приводил он поведение подростков, почти всегда одинаковое: вместе с претекстой сбрасывают они обычно и свои пылкие детские привязанности, (34) а если и сохраняют их в юности еще на некоторое время, то рано или поздно все равно расходятся из-за выгодной женитьбы, которой домогаются оба, или из-за какого-нибудь другого блага, недоступного обоим сразу. Кто-нибудь, может, и сумеет сохранить дружеские отношения дольше обычного, но, погрузившись в борьбу за почетные должности, отступится и он. Нет для дружбы большей пагубы, чем алчность, если речь идет о большинстве, или чем честолюбие, если говорить о самых достойных, — именно отсюда не раз возникала вражда, разводившая даже самых близких друзей. (35) Особенно глубоки и обычно вполне оправданы расхождения там, где человек требует от друзей, чего по справедливости требовать нельзя — чтобы они потакали его вождениям или помогали наносить вред другим, и если друзья как честные люди отказываются ему угождать, он обвиняет их в нарушении законов дружбы. Осмеливаясь добиваться от друзей решительно всего, он как бы во всеуслышание обязывается тоже пойти на все ради них. Такие ссоры не только уничтожают былую дружбу, но и порождают бесконечную ненависть. «Подобно року тяготеют такие опасности над друзьями, — говорил Сципион, — и уберечь от них может, видно, не столько разумная предусмотрительность, сколько счастливая судьба».

387

388

389

390

391

XI. (36) Вот потому-то и давайте рассмотрим, если вы согласны, как далеко должна заходить преданность в дружбе. Если у Кориолана были друзья, неужто им следовало тоже поднять оружие против родины? Разве должны были друзья помогать Мелию или Вецелину, когда те рвались к царской власти? Мы видели, как Квинт Туберон и другие сверстники-друзья отвернулись от Тиберия Гракха, когда он принялся терзать наше государство. (37) А Гай Блоссий Куманский, друг вашей семьи, Сцевола? Вместе с консулами Ленатом и Рупилием участвовал я в разборе этого дела, когда он явился ко мне, стал умолять о снисхождении и оправдываться — восхищение его перед Тиберием Гракхом было-де столь безгранично, что он считал долгом выполнять любую его волю. «Ну, а если бы Тиберий захотел, — спросил я его, — чтобы ты поджег Капитолий?» — «Никогда не пришло бы ему это в голову, — отвечал Блоссий, — но если бы он так решил, я бы его послушался». Чувствуете, какие чудовищные слова? И ведь он действительно поступил, как сказал, и даже сделал больше, чем сказал, — не только служил замыслам Тиберия Гракха, но и превзошел его, стал не только его помощником, но и наставником в разнузданном бешенстве. Одержимый тем же безумием, перепуганный угрозой еще одного следствия, бежал он в Азию, перешел на сторону врага и по заслугам понес от государства суровую кару. Проступок, как видим, не может быть оправдан тем, что он совершен ради друга, ибо верность гражданской доблести скрепляет дружбу, тому же, кто изменил доблести, трудно сохранить и друзей. (38) Значит, только достигнув истинной и совершенной мудрости, могли бы мы признать, что и угождать любому желанию друга и требовать от него такого же угождения справедливо, и только в этом случае не принесло бы такое правило никакого вреда; но ведь у нас речь идет о таких друзьях, каких мы видим собственными глазами, о каких знаем из воспоминаний, — таких, какие бывают в жизни. Их-то мы и должны брать для примера, а среди них в первую голову тех, кто ближе к подлинной мудрости. (39) Мы знаем по рассказам отцов, какими друзьями

были Пап Эмилий и Лусций, вместе дважды занимавшие должность консула, вместе отправлявшие цензорство; до сих пор всем памятно, как близки были и с ними обоими, и между собой Маний Курий и Тит Корунканий. Ни об одном из них даже и помыслить нельзя, чтобы он пытался принудить друга хоть в чем-то нарушить верность, изменить клятве, нанести ущерб государству. Надо ли добавлять, когда речь идет о таких людях, что, даже если бы кто и стал этого домогаться, все равно у него ничего бы не вышло? То были мужи, достойные благоговейного уважения, и одинаковым нечестьем почли бы они и выполнить такую просьбу, и обратиться с ней. А вот за Тиберием Гракхом последовали и Карбон, и Катон; Гай, ныне такой же бешеный, как брат, в ту пору за ним не пошел.

392

393

394

ХII. (40) Пусть же будет нерушим этот закон дружбы: ничего постыдного не просить у друзей и не делать по их просьбе. Позорно оправдывать любой поступок, а особенно преступление против государства тем, что он совершен ради друга, и считаться с такими объяснениями надо меньше всего. Вот теперь-то, Фанний и Сцевола, пора нам остановиться и взглянуть в отдаленное будущее, дабы увидеть грядущие беды нашего государства. В беге своем оно ныне уклонилось в сторону и вышло из колеи, проложенной предками. (41) Уже Тиберий Гракх пытался стать царем или даже был им несколько месяцев. Видел ли, слышал ли римский народ прежде что-нибудь подобное? После смерти Тиберия друзья и близкие продолжали начатое им, и о том, что сделали они со Сципионом, я не могу вспомнить без слез. Да, Карбона нам так или иначе пришлось вытерпеть — слишком еще свежа была в памяти людей кара, понесенная Тиберием Гракхом, а что сулит трибунат Гая Гракха, лучше не загадывать. Государство сошло с прямого пути и, раз двинувшись под уклон, приходит во все большее расстройство. Какую смуту еще раньше внесло в государство тайное голосование, введенное сперва законом Габиния, а двумя годами спустя законом Кассия, вы знаете. Мне кажется, я уже вижу народ, оторванный от сената, вижу, как важнейшие дела решаются по произволу толпы. И ведь больше людей учатся творить беззаконие, чем противостоять ему. (42) Откуда все это берется? Никто, не имея он помощников, не решился бы на подобные злодеяния. Каждому достойному человеку поэтому следует внушить, что если он случаем или по неведению вступит в дружбу вроде описанной, то пусть не думает, будто обязан хранить ей верность и не может порвать с друзьями, совершающими тяжкие преступления против республики. Для бесчестных надо установить кару, причем для тех, кто следовал за другими, не меньшую, чем для вожаков. Был ли в Греции человек, более знаменитый и могущественный, чем Фемистокл? Командуя греками в Персидской войне, он избавил страну от рабства, потом был изгнан по проискам завистников, но не простил неблагодарной родине оскорбления, хотя обязан был его простить, и поступил так же, как за двадцать лет до того поступил у нас Кориолан. Ни тот, ни другой не нашли в борьбе против родины ни одного помощника и оба наложили на себя руки. (43) Вот почему сговор бесчестных людей не только нельзя прикрывать именем дружбы, но, наоборот, его следует наказывать особенно сурово, дабы никто не думал, будто можно встать на сторону друга, если тот поднял оружие против родины. Впрочем, судя по тому, как пошли у нас дела в последнее время, сомневаюсь, чтобы этого когда-нибудь удалось добиться. А между тем каким будет государство после моей смерти, заботит меня не меньше, чем состояние его сегодня.

ХIII. (44) Пусть же будет нерушим этот закон дружбы: ничего бесчестного не

просить у друзей и ради них не делать; не ждать, когда вас призовут, а самим помогать им от души и без промедленья; давая совет, не бояться быть независимым и прямым. Пусть не будет в дружбе ничего весомее доброго совета друзей, пусть образумят они нас своим влиянием, высказавшись открыто, а если надо, и резко, мы же станем им повиноваться. (45) Но ведь есть люди — и я даже слышал, будто в Греции их считают наставниками мудрости, — которые утверждают весьма странные, на мой взгляд, вещи; впрочем, там кудрявыми словесами умеют доказать вообще все что угодно. Главное, полагают они, избегать чересчур многочисленных дружеских связей, дабы одному не приходилось беспокоиться за многих; каждому, дескать, с избытком хватает своих дел, и ввязываться в чужие — значит только брать на себя лишнюю обузу; дружба лучше всего, если она как поводья: когда надо — натянул, когда надо — отпустил; для счастливой жизни, мол, нужнее всего спокойствие, а им-то и невозможно наслаждаться, если будешь терзаться за всех. (46) Впрочем, есть, говорят, и другие, которые судят совсем уж как дикари (о них я мимоходом недавно упоминал), будто дружбы надо искать ради защиты и помощи, а не ради приязни и любви. Выходит, в ком меньше твердости души, мужества, силы, тот и должен больше всех добиваться дружбы; женщинам, получается, следует искать в ней опоры скорее, чем мужчинам, нищим — скорее, чем состоятельным, горемычным — скорее, чем счастливым. (47) Вот уж мудрость так мудрость! Лишить жизнь дружбы — все равно, что лишить вселенную солнца, ибо ничего не дали нам боги ни лучше, ни светлее и радостнее. И что это за спокойствие такое? На взгляд оно, может, и привлекательно, да на деле отвратительно, и по многим причинам. Нелепо ради того, чтобы избавить себя от забот, не браться за достойное дело или, раз взявшись, от него отступить. Если избегать тревог, придется отказываться и от доблести, которая презирает и ненавидит все ей противоположное, — а это непременно влечет за собой и волнения и тревоги; честность отвергает коварство, воздержность — вожделения, мужество — трусость, и каждый замечал, как сильно удручает несправедливость справедливых, нерешительность — решительных, наглость — скромных. В этом — повторяю — и состоит свойство совершенной души: радоваться добрым делам и страдать от злых. (48) Вот почему, если ведома душе мудреца скорбь, — а ведома она ему бесспорно, иначе пришлось бы полагать, будто из груди его вырвано с корнем все человеческое, — зачем же изгонять из нашей жизни дружбу во избежание горестей, с нею сопряженных? Отнимите у души способность волноваться, и какая же останется разница между человеком и не то что скотом, а бревном, камнем, любой вещью? Не след нам прислушиваться к тем, кому гражданская доблесть представляется бесчеловечной и жесткой, как железо. Как в разных других обстоятельствах, так и в дружбе бывает она и легкой и податливой, то как бы растворяется в удачах друга, то как бы твердеет от его бед. Страх, который часто приходится испытывать за друга, не стоит того, чтобы из-за него изгонять из жизни дружбу, точно так же, как не стоит отвергать доблесть из-за трудов и забот, от нее неотъемлемых.

XIV. Дружба возникает, как я уже говорил, когда, обнаружив в другой душе честность и благородство, душа, одержимая такими же чувствами, устремляется и принимает к ней, так что обе сливаются воедино — тут-то и рождается сердечная привязанность. (49) Не глупо ли ценить почести, славу, дома, наряды, внешность — и не ценить того, в ком душа исполнена доблести, в ком наша любовь может встретить ответную любовь? Нет ничего радостнее, как платить за приязнь — приязнью, за пылкое чувство — чувством столь же пылким, за услугу — услугой. (50) Ну, а если, — как справедливость того и требует, — признать, что в мире вообще нет тяготения более могучего, чем то, которое влечет к дружбе сходные натуры, нельзя будет не согласиться с очевидной истиной: достойные люди всегда отличают достойных, видят в них как бы

родных и в своем стремлении сблизиться с ними подчиняются самой природе. Ибо что, как не природа, заставляет все жадно стремиться к себе подобному? А значит, Фанний и Сцевола, несомненно, по-моему, вот что: приязнь достойных друг к другу — это своего рода неизбежность, именно в ней — природой созданный росток дружбы. Эта благожелательность, однако, простирается и на весь простой люд, ибо гражданская доблесть не бывает ни бесчеловечной, ни равнодушной или надменной; она опекает целые народы и ведет их к благу, чего никак не могло бы быть, если бы она брезгливо держалась вдали от толпы. (51) Те же, кто прикидываются друзьями ради выгоды, по-моему, убивают всю прелесть дружбы. Ведь сладость ее — не в выгодах, которые она может доставить, а в самой дружеской привязанности, и помощь друга радует тем, что доказывает, сколь горячо его чувство. Полагать же, будто к дружбе стремятся от бедности, тем более неверно, что на поверку друзьями, самыми щедрыми на благодеяния, оказываются как раз те, что меньше всего нуждаются в чужом заступничестве, в чужих богатствах или доблести — этой главной опоре в жизни. Впрочем, я не знаю, так ли хорошо, чтобы друзьям не было в нас нужды. Ведь если бы Сципиону ни разу, ни на войне, ни дома, не понадобился мой совет и моя помощь, как же тогда проявилась бы вся сила нашей привязанности?.. Как бы там ни было, ясно одно: не стремление к пользе порождает дружбу, а дружба приносит пользу с собой.

XV. (52) Не надо поэтому слушать людей, потонувших в наслаждениях, когда они берутся рассуждать о дружбе, а сами ни в жизни ее не извели, ни разумом не постигли. Да скажите мне, ради всего святого, неужели найдется человек, который согласится жить в богатстве и проводить дни во всяческом довольстве, но притом и самому никого не любить, и ответной любви не знать? Так ведь живут одни тираны — не ведая ни доверия, ни любви, без близких, на которых можно бы положиться, — живут жизнью, полной тревог и подозрений, где нет места дружбе. (53) Можно ли полюбить того, кого сам боишься или подозреваешь, что он боится тебя? Тиранов до поры до времени обхаживают, разыгрывая преданность, но лишь утратив власть — что почти всегда и случается, — понимают они, сколь нищи друзьями. Рассказывают, будто в изгнании Тарквиний сказал, что он научился отличать истинных друзей от ложных только теперь, когда уже не в силах воздать по заслугам ни одним, ни другим. (54) Удивляюсь, как при его высокомерии и жестокости он вообще мог иметь хоть каких-то друзей. И как ему не дал их приобрести злобный нрав, так другим властителям мешает обзавестись верными друзьями их могущество. Фортуна не только сама слепа, но и ослепляет каждого, кого заключит в объятия. Пресыщенность и своеволие почти лишают таких властителей разума, и нет людей нестерпимее безумцев, осыпанных случайными милостями судьбы. Иногда можно наблюдать и другое — человека, прежде доброго и простого в обхождении, неограниченная власть, высокое положение, удача делают непохожим на самого себя. [С презрением отказывается он от старых друзей и опрометчиво ищет новых.] (55) Не глупо ли, обладая богатством, талантами, могуществом, стремиться нахватать побольше коней, слуг, роскошных одежд, драгоценных сосудов — всего, что добывается за деньги, и не стараться обеспечить себя самым, если можно так выразиться, драгоценным и прекрасным достоянием — друзьями? Накапливая все это, такие люди даже не знают, для кого они копят, ради кого трудятся, ибо среди им подобных все переходит к тому, кто одолеет остальных. Лишь дружба принадлежит нам одним, надежно и прочно. И даже если удастся человеку сохранить блага, как бы поднесенные ему в дар Фортуной, все равно жизнь, духовно не облагороженная и не ведающая дружбы, радости принести не может. Впрочем, довольно об этом.

XVI. (56) Давайте установим, какова мера дружеского чувства и его пределы.

Насколько я замечал, об этом есть три разных суждения, из которых я не могу одобрить ни одно. Первое состоит в том, что любить друга надо ровно настолько, насколько любишь самого себя; второе — в том, чтобы приязнь наша к друзьям точно и строго соответствовала их приязни к нам; согласно третьему — друзья должны ценить нас во столько же, во сколько мы ценим себя сами. (57) Ни с одним из этих трех суждений я до конца согласиться не могу. Неверно первое из них, утверждающее, будто друга надо любить, как самого себя. Как часто идем мы ради друга на то, на что ради самих себя никогда не пошли бы! Просить людей дурных, молить и унижаться, с особой яростью нападать на обидчика и с особым ожесточением его преследовать — все это недостойно, если делается в собственных интересах, и все то же становится достойным в высшей степени, если делается для друга. Есть много обстоятельств, в которых порядочный человек поступает своими благами и готов терпеть ущерб, радея о друге больше, чем о себе. (58) Второе суждение требует в дружбе равенства услуг и чувств. Судить таким образом — значит подчинить дружбу самому черствому и жалкому расчету: расход должен равняться приходу. Подлинная дружба, на мой взгляд, богаче и щедрее, она не подсчитывает постоянно, не отдано ли больше, чем получено. Да и нельзя вечно опасаться, как бы не передать, как бы не перелилась лишняя капелька, как бы уравнивать доли, внесенные одним и другим. (59) Наконец, третье и самое постыдное требование: во сколько каждый сам себя ценит, во столько же пусть ценят его и друзья. Разве редко бывает, что человек и духом слаб, и надежд на успех в жизни у него немного, но не следует ведь отсюда, что друг должен относиться к нему так же, как он относится к себе сам; скорее напротив — дело друга напрячь все силы и добиться, чтобы он воспрял душой, пробудить в нем надежду, заставить его думать о себе лучше. Нет, подлинную дружбу мы станем мерить совсем иной меркой, особенно если я вам расскажу сначала, что здесь решительнее всего осуждал Сципион. Нет для дружбы, — говорил он, — изречения более пагубного, чем такое: «Люби друга, но помни, что он может стать тебе врагом». Он отказывался верить, будто подобное суждение мог высказать Биант, которого принято считать одним из семи мудрецов, и полагал, что принадлежало оно человеку с нечистыми помыслами, снедаемому честолюбием, норовящему все подчинить своей власти. Как же стать человеку другом, если знаешь, что можешь сделаться ему врагом? Надо, выходит, того только и желать, чтобы друг почаще совершал дурные поступки, подавая повод осудить себя. Справедливые же поступки и удачи друга должны нас, значит, мучить и терзать завистью? (60) Вот почему такое правило, кому бы оно ни принадлежало, годится разве на то, чтобы разбить дружбу; несравненно вернее иной совет: выбирать друзей особенно тщательно и не привязываться к тому, кого когда-нибудь сможешь возненавидеть. А если уж ошибся в выборе, полагал Сципион, то лучше терпеть, чем думать, будто любовь рано или поздно превратится в ненависть.

XVII. (61) По всему по этому меру дружбы, как мне кажется, надо понимать так: когда нравы друзей безупречны, тогда должно установиться между ними единство поступков, помыслов и желаний, не знающее никаких изъятий и столь полное, что, случись нам помогать другу и не в самом справедливом деле, но таком, где речь идет о его жизни или добром имени, надо свернуть ради него с прямого пути, если только не чревато это подлостью и бесчестьем, ибо предел, за который правам дружбы простираться не дано, здесь. Нельзя пренебрегать своим добрым именем или оставаться равнодушным к любви сограждан, которая столь властно побуждает нас к деятельности; позорно добиваться ее лестью или угодничеством, но стыдиться доблести только за то, что она приносит любовь народа, и подавно не след. (62) Часто сетовал он — я опять имею в виду Сципиона, который постоянно рассуждал о дружбе, — говоря,

что ни о чем на свете не заботятся люди так мало, как о ней: каждый может сказать, сколько у него коз и овец, а сколько друзей, не знает; покупая скот, он бывает особенно осторожен, друзей же выбирает легкомысленно и не видит ни знаков, ни примет, по которым распознаются заслуживающие дружбы. Выбирать следует надежных, неизменных и твердых, а их-то как раз труднее всего сыскать. Да и нелегко решить, есть ли у человека эти свойства, пока не проверишь его; проверкой же такой может стать лишь сама дружба; а она возникает до всякого размышления, и, значит, подвергнуть ее испытанию заранее не удастся. (63) Дело каждого, кто разумен и осторожен, поэтому сдерживать чувство приязни и в первом его порыве, и, так сказать, в дальнейшем беге... Как предпочитаем мы испытанных коней, так и в дружбе нужно хоть на чем-то проверить нрав друга. Одни сразу же, в самых ничтожных денежных делах, обнаруживают, как мало на них можно положиться; на других небольшие деньги впечатления не производят — чтобы их раскусить, нужны деньги покрупнее. Впрочем, те, что сочтут зазорным поставить выше дружбы деньги, еще попадают; ну, а почести, магистратуры, неограниченная власть, высокое положение, могущество — много ли сыщется людей, которые не предпочтут их, если дать каждому выбор, где с одной стороны законы дружбы, а с другой все эти блага? Нет, слаб человек, трудно ему устоять перед соблазном власти, и если в погоне за ней он даже пожертвует дружбой, все сочтут, что действительно не стоило принимать ее в соображение, ибо ради столь веской причины дружбой можно и пренебречь. (64) Потому-то подлинная дружба встречается реже всего среди вечно занятых государственными делами и борьбой за почести, и где тот человек, который откажется от высокой должности в пользу друга?.. Да что тут... как тяжело и трудно многим просто поддерживать дружбу с тем, кто впал в несчастье, как редко встретишь способного на это! Прав Энний:

В беде лишь распознаешь друга верного, —
и на поверку большинство людей в самом деле оказываются либо
легкомысленными, так как равнодушны к другу в удаче, либо ненадежными, так как покидают его в беде.

XVIII. Поэтому если встретим мы человека, который и в одном и в другом случае останется достойным, преданным долгу и постоянным, мы должны смотреть на него как на редчайшее исключение, почти как на бога.

(65) Но что укрепляет его в такой преданности и постоянстве? То, чего мы, собственно, и ищем в дружбе, — верность, ибо где ее нет, там нет и постоянства. Поэтому и разумно вступать в дружбу с тем, кто прям, прост и нам близок, кого, другими словами, волнует то же, что нас, так как в этом залог верности. И напротив того, ни верным, ни надежным не может быть человек с душой переменчивой и не прямой, которого к тому же не трогает то, что трогает нас, который и думает и чувствует по-иному. Следует еще добавить, что настоящий друг не станет ни порицать или обвинять нас для собственного удовольствия, ни верить чужим наветам — из чего и складывается та преданность долгу, о которой я давно уже веду речь. Вот и выходит, что правильно сказал я в самом начале: дружба может существовать только между достойными людьми. Достойный же человек — а раз достойный, значит и мудрый — будет придерживаться в дружбе двух правил: во-первых, никогда не притворяться и не прикидываться, — открытая ненависть благороднее, чем личина, скрывающая настоящий образ мыслей; во-вторых, не только презирать обвинения, кем-либо возводимые на друга, но и самому не быть подозрительным, не думать вечно, будто друг в чем-то поступил не так. (66) К этому пусть прибавится приятность речи и обхождения, которая так оживляет и укрепляет дружбу. В серьезности и постоянной суровости есть некая возвышенная важность, но ведь дружба должна быть и

снисходительнее, и шире, и мягче и охотнее допускать веселую простоту обращения.

XIX. (67) Есть тут, правда, вопрос, который может показаться затруднительным: не следует ли старым друзьям предпочитать иногда новых, оказавшихся достойными нашей дружбы, подобно тому, как мы предпочитаем молоденьких лошадок старым коням? Что за недостойное человека сомнение! Дружбе неведомо пресыщение, столь свойственное другим чувствам, она как выдержанное вино — чем старее, тем слаще. Справедливо сказано: что значит дружба, поймешь только, когда съешь вместе не одну меру соли. **(68)** Сажая в землю здоровый росток, мы верим, что получим плод; столь же добрую надежду порождает в нас новая дружба, но ведь и от старой отказываться не след; сохраним ее лучше в уже отведенном ей уголке души, ибо нет на свете ничего сильнее старины и привычки. Вот и старого коня, о котором я только что вспоминал, кто же сменит без особых причин на молодого и необъезженного? Не только с живыми существами властно соединяет нас привычка, но даже с тем, что лишено души, и разве не испытываем мы любви к местам, пусть лесным и гористым, где прожили долгое время?

395

396

(69) Самое, однако, трудное в дружбе — быть вровень с тем, кто ниже тебя. Часто бывает, что человек возвышается над окружающими, как возвышался Сципион над нашим, если можно так выразиться, стадом. Никогда не ставил он себя выше того же Фила, выше Рупилия или Муммия, выше друзей из низших сословий. К брату своему Квинту Максиму, человеку достойному, но никак ему не равному, он относился как к наставнику потому лишь, что был младше него, и всех родных стремился возвысить своим влиянием и заслугами. **(70)** Вести себя так же и подражать ему должны все: с высоты доблести, ума, удач — делиться с родными и близкими; если кто происходит от незнатных родителей, если имеет родственников, стоящих ниже по способностям и положению, пусть старается их возвысить и стать для них источником почета и достоинства. Так ведь и поступали герои многих сказаний — никто не ведает их племени и рода, и до поры до времени они живут в услужении, потом кто-нибудь их узнает, выясняется, что они — дети богов или царей, но как прежде сохраняют они привязанность к пастухам, в которых столько лет видели родителей. Тем более надлежит вести себя так с родителями подлинными. Плодами своих дарований, доблести и других достоинств мы полнее всего наслаждаемся, разделяя их с близкими. **XX. (71)** Потому-то в союзе друзей или родных, кто стоит над другими, тот должен держать себя с более скромными как равный, но и им не следует обижаться, если кто из близких оказывается выше их по уму, богатству или положению. А они-то как раз чаще всего и жалуются, и попрекают друзей, особенно если считают себя вправе сказать, будто те достигли чего-либо благодаря их дружеской помощи и трудам. До чего же отвратительно, когда нас попрекают оказанной услугой! Тот, кому она оказана, должен о ней помнить, а не оказавший — напоминать о ней. **(72)** Вот почему в дружбе стоящие выше должны как бы спускаться, а стоящие ниже — восходить. Есть, правда, еще и такие, дружить с которыми особенно тягостно из-за постоянного их опасения, будто их презирают; но случается это редко и лишь с теми, кто в глубине души уверен, что их и следует презирать. Такому человеку приходится помогать не столько словом, сколько делом. **(73)** Давать же каждому можно лишь в меру сил — и собственных, и того, кому стремишься помочь. Будь ты даже самым выдающимся человеком — ты все равно не сможешь добыть для всех близких высшие государственные должности. Сципион, например, сумел сделать консулом Публия Рупилия, а брата его Луция — нет. Но если ты и в силах оказать другому любую услугу, взвесь прежде, по плечу ли она ему.

(74) Вообще же о дружбе надо судить лишь после того, как характер друзей установился и окреп с возрастом. Если вы в ранней молодости со страстью занимались охотой или игрой в мяч и полюбили тех, кто разделял ваши увлечения, разве следует отсюда, что они-то и должны остаться вашими друзьями? Если считать главным право давности, получится, что больше всех могут притязать на нашу приязнь кормилицы или дядьки, — которых любить, конечно, надо, но ведь иначе, чем друзей. Только между зрелыми людьми дружба может быть прочной, а не то с возрастом меняется образ жизни, появляются новые пристрастия, и несходство их разводит друзей. В сущности, достойные люди не могут дружить с дурными, а дурные — с достойными именно потому, что по складу жизни и стремлениям они как нельзя более далеки друг от друга. (75) И справедлив поэтому будет совет: никогда не изменять высшему благу друга ради столь обычной слепой привязанности к нему. Обратимся снова к сочинениям поэтов. Неоптолем никогда не взял бы Трою, если бы остановился выслушать Ликомеда, когда тот, рыдая, преградил ему путь — а ведь Ликомед вырастил Неоптолема в своем доме. Великие дела требуют нередко расстаться с близким человеком, и тот, кто мешает другу взяться за них, опасаясь, что слишком тяжела будет разлука, тот ненадежен, слаб духом и потому погрешает и против законов дружбы. (76) Начиная любое дело, взвесь, чего тебе придется потребовать от друга и сможешь ли ты сам выполнить его требования.

397

398

XXI. Разрыв с другом — всегда беда, но порой неизбежная: я ведь давно уже веду речь о дружбе не мудрецов, а людей обыкновенных. Пороки человека сплошь да рядом наносят ущерб его друзьям, и даже если страдать приходится посторонним, позор все равно ложится на близких. Но и от такого друга, как я однажды слышал от Катона, отдаляться следует постепенно, отвыкать от него исподволь, а не расставаться сразу, кроме, разумеется, тех случаев, когда дела его столь нестерпимы и преступны, что не порвать с ним немедленно было бы и неправильно, и нечестно, и невозможно. (77) Ну, а если у людей изменятся характер и стремления или если государственные интересы разведут их по враждующим станам — я, повторяю, говорю сейчас не о мудрецах, а о друзьях, каких встречаешь в обыденной жизни, — здесь уж мало стараться, чтобы дружба не прервалась, а надо смотреть, как бы она не превратилась во вражду. Нет ничего позорнее, чем вести войну против человека, с которым раньше был близок. Сципион, как вы знаете, ради меня отказался от дружбы с Квинтом Помпеем, несогласие в государственных делах заставило его разойтись с нашим коллегой Метеллом, но вел он себя с достоинством, без обиды и ожесточения. (78) Вот почему надо прежде всего избегать разрыва с друзьями; если он паче чаяния наступит, сделать так, чтобы казалось, будто дружба угасла сама собой, а не была прервана, и более всего следует опасаться, как бы не превратилась она в упорную вражду, родящую распри, наветы и оскорбления. Если обиду можно стерпеть, то и нечего обращать на нее внимание, храня честь былой дружбы и памятуя, что позор всегда падет на обидчика, а не на того, кто снес обиду.

Вообще же от всех таких неудач и напастей есть лишь одно средство и одна защита — дарить своей дружбой только людей достойных и не слишком поспешно. (79) Достоин же дружбы тот, кого мы выбираем за свойства души и любим ради него самого. Редко встретишь такого человека. Что ж, все прекрасное редко, и найти подлинного друга не труднее, чем отыскать любую вещь без изъяна и в своем роде совершенную. Но люди почти всегда ищут одного — прибыли, а друзей выбирают как скот — лишь бы побольше получить прибыль. (80) Потому-то столь редко встречается дружба наиболее

прекрасная и естественная — та, что возникает сама по себе, что ищут ради нее самой, и суть и силу которой человек не в состоянии понять, пока не обернется на себя. Ведь каждый любит себя не ради награды за любовь, а просто потому, что всякий сам себе мил. Если не соблюдать того же правила в дружбе, никогда не найти настоящего друга, ибо им может стать лишь тот, кто для тебя все равно что ты сам.

(81) И если так ведут себя звери лесные, птицы небесные и рыбы морские, неразумные животные, и домашние и дикие, которые все сначала любят самих себя, ибо с этим чувством появляется на свет все живое, а потом тотчас же начинают искать другое существо своей породы, дабы с ним сблизиться, прилепиться к нему, если они все испытывают при этом какое-то пылкое влечение друг к другу, как бы некое подобие человеческой любви, то насколько же более сильными сделала природа эти чувства в человеке, который и себя любит, и другого стремится отыскать, чтобы две души слились в одну.

XXII. (82) Существует, однако, множество людей, одержимых странным — чтобы не сказать бесстыдным — желанием иметь другом такого человека, каким сами стать не в силах, и получать от него все, чего ему дать не могут. По справедливости же надо прежде всего самому быть человеком достойным и лишь потом искать другого по своему образу и подобию. Крепкая дружба, о которой мы давно уже говорим, и может утвердиться лишь тогда, когда люди, связанные взаимной привязанностью, научатся владеть своими страстями, а не служить им рабски, как другие, установят между собой полное равенство и справедливость, готовы будут для друга на все, зная, что потребовать он может лишь того, что честно и законно, — словом, когда они станут не только ценить и любить друг друга, но и друг перед другом стыдиться. Ибо там, где не испытываешь к другу высокого почтения, заставляющего стыдиться каждого дурного поступка, дружба лишается прекраснейшего своего украшения. (83) Самое пагубное заблуждение — думать, будто в дружбе можно давать волю всем своим вожделениям и дурным наклонностям. Природа создала ее спутницей доблести, а не пособницей пороков, породила ее на свет, чтобы доблестная душа, соединившись с себе подобной, могла подняться на вершины, которых она в одиночестве достичь не в силах. И если у кого есть друзья, кто ведал дружбу в прошлом или изведает ее в будущем, тот получил от природы самых лучших и прекрасных провожатых на пути к высшему благу. (84) В таком содружестве заключено все, к чему, по общему мнению, надлежит стремиться — добродетель, слава, спокойствие души, безмятежное веселье; и жизнь человека, у которого все это есть, полна счастья, а тот, кто этого не изведал, вообще не жил. Если же высшее и подлинное благо заключено здесь и если именно его мы хотим добиться, то для этого и нужно в первую голову стремиться к доблести, так как без нее нет ни дружбы, ни всего остального, чего должно желать. Те же, кто полагает, будто и без нее есть у них друзья, на горьком опыте поймут, насколько они ошибались. (85) Вот почему — и это следует повторять почаще — надо судить человека, прежде чем полюбил его, ибо, полюбив, уже не судят. Мы же во многих делах позволяем себе быть небрежными, а тем пуще в выборе друзей и в отношениях с ними; здесь-то мы и бываем, как говорит старая пословица, задним умом крепки и стараемся переделать сделанное: когда повседневная близость и взаимные услуги завели нас слишком далеко, мы вдруг на что-нибудь обижаемся и внезапно рвем сложившиеся было дружеские связи.

XXIII. (86) В выборе друзей небрежность еще предосудительнее, чем в любом другом деле. Из всего, что дано человеку, только дружбу все в один голос признают благом. Многие осуждают самую доблесть, видя в ней и бахвальство и что-то показное; многие презирают богатство и, довольные малым, находят радость в жизни легкой и простой; есть люди, которых томит жажда почестей, а ведь, на иной взгляд, нет ничего

более вздорного и пустого! Так и во всех остальных делах — то, что у некоторых вызывает восхищение, большинство и в грош не ставит. Об одной лишь дружбе все судят одинаково — и те, кто занят делами государства, и те, кто черпает радость в науках и учении, и те, которые единственным своим делом почитают безделье, и те, наконец, кто с головой ушел в наслаждения, — все считают, что без дружбы нет жизни, по крайней мере такой, которая хоть в чем-то была бы достойна свободного человека. (87) Неведомыми путями прокладывает себе дружба путь в жизнь каждого, и ни одному возрасту не дано обойтись без нее. Даже тот, кого собственный суровый и дикий нрав заставляет, как некоего афинянина Тимона, ненавидеть людей и бежать их общества, и тот не в силах обойтись без человека, перед которым он мог бы излить всю желчь и горечь. Это стало бы еще очевиднее, если бы могло случиться так, что какой-то бог восхитил нас из общества людей, перенес в пустыню и, щедро снабдив всем, чего требует наша природа, навсегда лишил возможности видеть себе подобных. Найдется ли железный человек, способный выдержать такое существование и не лишиться в одиночестве всякой радости жизни. (88) Потому-то и справедливы слова, которые любил повторять, кажется, тарентинец Архит — я слышал их от наших стариков, а те от других, живших еще раньше: «Если бы кто, взойдя один на небо, охватил взором изобилие вселенной и красоту тел небесных, то созерцание это не принесло бы ему никакой радости; и оно же исполнило бы его восторга, если бы было кому рассказать обо всем увиденном». Природа не выносит одиночества, каждый стремится найти опору в другом, и чем милее нам этот другой, тем опираться на него слаще.

399

XXIV. И все-таки, сколь ни ясно являет нам природа свою волю, свое стремление и желание, мы остаемся к ней непостижимо глухи и не слышим, чего она от нас требует. Многое и всякое случается в дружбе, немало бывает причин для подозрений и обид, но мудрец знает, когда не обратить на них внимания, когда постараться смягчить их, а когда и стерпеть. Есть обиды, которые снести необходимо, если хочешь, чтобы дружба оставалась и полезной другу, и нерушимой. Ведь иной раз приходится и потребовать чего-то от близкого человека, и выбрать его, но если это делается с любовью, то и принимать такие вещи следует по-дружески. (89) И все же почему-то как прежде справедливы слова, сказанные моим добрым знакомцем в «Анрианке»:

...Ведь в наши дни друзей

Уступчивость родит, а правда — ненависть.

Правда действительно опасна, если из нее рождается ненависть — эта отравляющая дружба, — но уступчивость оказывается на поверку гораздо опаснее. Из-за нее мы прощаем другу его провинности и даем ему скатиться в пропасть, когда он едва оступился. Ну, а хуже всех тот, кто и сам правды чурается, и своей уступчивостью позволяет друзьям совлечь себя с прямого пути. Тут надо всеми силами стараться образумить друга — но без злобы, даже выругать его — но без оскорблений. В уступчивости, если уж употреблять это полюбившееся мне словцо Теренция, должна быть мягкость, но не угодливость — пособница всех пороков, свойство, недостойное не только друзей, но и вообще свободных людей; ведь общение с другом — это не то, что жизнь рядом с тираном. (90) Чьи уши закрыты для правды и кто не в силах выслушать ее из уст друга, того не спасет уже ничто. Среди суждений Катона известно и такое: «Лучше язвительный враг, чем сладкоречивый друг; тот хоть часто говорит правду, а этот никогда». Самое нелепое, что люди, выслушивая наставления друга, досадуют не на то, на что следовало бы, а на то, что лучше бы принять без всякой досады: свой проступок их не мучит, а порицание сердит, в то время как надо бы, наоборот, о преступлении скорбеть, а исправлению радоваться.

XXV. (91) И раз уж подлинная дружба требует и образумить друга, когда надо, и выслушать от него, что заслужил, требует высказать упрек прямо и без злобы, а принять спокойно и без раздражения, то надо согласиться, что главная угроза здесь — лесть, сладкоречие, потворство, тот порок, который носит много имен, но всегда обличает людей легкомысленных, лживых, стремящихся каждым словом угодить, а не сказать правду. (92) Притворство извращает само представление о правде и разрушает его; оно отвратительно поэтому везде и во всем, но более всего в дружбе, которая без правды вообще теряет смысл. Суть дружбы в том, что разные души как бы сливаются воедино, но как же это получится, если каждая будет не едина и неизменна, а непостоянна, изменчива и многолика? (93) Есть ли на свете что-либо менее постоянное и более зыбкое, чем душа человека, который весь готов вывернуться наизнанку не только по слову и желанию другого, но даже по его знаку или кивку.

Скажет «нет» кто — я согласен, скажет «да» — согласен вновь.

Взял за правило себе я не перечить никому, —

400

401

говорит тот же Теренций — правда, устами Гнатон, а заводить друзей вроде него, способны только самые легкомысленные глупцы. (94) Есть, однако, немало людей, стоящих выше Гнатона по положению, богатству и известности, но во всем остальном на него похожих, и вот их-то поддакивание тем вреднее, что лгут люди почтенные и влиятельные. (95) Распознать льстеца и отличить его от подлинного друга можно так же, как вообще отличают личину и притворство от искренности и правды: взглядевшись пристальнее. Кто радеть черни, то есть льстец и худой гражданин, а кто верный долгу, суровый и степенный муж, может рассудить даже сходка людей неискушенных. (96) Вот недавно какой только лестью не ублажал Гай Папирий граждан на сходке, когда проводил свой закон о повторном избрании в народные трибуны! Я сумел разубедить их, но правильнее, наверное, и в этом случае говорить не обо мне, а о Сципионе. Боги бессмертные, какого сурового достоинства, какого величия исполнена была его речь! Можно было подумать, что говорит не просто один из граждан, а вождь и наставник народа римского. Впрочем, вы ведь сами там были, да и запись его речи у всех в руках. После нее закон, предложенный как бы на пользу народу, был отвергнут голосованием народа. Если же говорить обо мне, вы, наверное, помните, каким угодным народу считался закон о жреческих коллегиях, предложенный Гаем Лицинием Крассом в консульство Квинта Максима, брата Сципиона, и Луция Манцина? Пополнение коллегий передавалось по этому закону на благоусмотрение народа; да к тому же еще Красс первым придумал, выступая на форуме, обращаться к народу лицом. Но верность бессмертным богам восторжествовала с моей помощью над речью этого потатчика толпы. И ведь это произошло за пять лет до моего консульства, я был тогда еще претором, и, значит, сама правота нашего дела, а не высшая государственная власть одержала здесь победу. XXVI. (97) Если даже в театре, то бишь на сборище, где самое место всяким басням и выдумкам, истина, высказанная прямо и честно, все-таки берет верх, то как же должны обстоять дела в дружбе, которая вся стоит на правде? Ведь здесь, если и ты сам, и твой друг не будете, что называется, нараспашку, ни доверия между вами не останется, ни знать вы друг друга не будете; да и как ты можешь любить другого, а он тебя, если оба вы не ведаете, насколько это искренне? Как ни отвратительна лесть, опасна она лишь тому, кто ее ловит и ею наслаждается. Он оттого и слушает льстецов особенно охотно, что сам себе готов льстить, сам от себя в восторге. (98) Конечно, доблесть тоже знает себе цену и понимает, почему достойна любви, но я ведь говорю сейчас не о подлинной, а о мнимой доблести,

ибо доблестных куда меньше, чем желающих казаться доблестными. Они-то радуются лести и, когда им подносят лживые похвалы, приноровленные к их желаниям, склонны принимать пустую болтовню за доказательство собственных достоинств. И, значит, никакая это не дружба, если один не хочет слышать правду, а другой готов лгать. Даже в комедиях лести прихлебателей не была бы так смешна, если бы расточали ее не перед хвастливыми воинами.

402

Ну что, Фаида очень благодарна мне?

Довольно было бы ответить «очень», но в комедии сказано: «безмерно». Лстец всегда объявит огромным то, что человек, которому он угождает, хотел бы видеть большим. (99) Вот почему, хотя угодничество — мишура, оно нравится тем, кто сами его ждут и жаждут; однако и более степенных и стойких нужно порой призывать к осторожности, чтобы они не попались на лести похитрей. Ведь лстеца, действующего открыто, не распознает разве что безумный; но следует опасаться, как бы не забрался к вам в душу лстец хитрый и тайный. Его сразу и не раскусишь, он умеет польстить даже тем, что вступит в спор, угодить тем, что начнет препираться, а под конец сдастся, признает себя побежденным, дабы тот, кого он стремится обмануть, показался дальновиднее и прозорливее. Может ли быть что-нибудь позорнее, чем поддаться на такой обман? Этого надо опасаться больше всего на свете.

Вовеки глупых стариков в комедиях

403

Не надували, как сегодня ты меня.

Даже в комедии самое глупое лицо — доверчивый старик, который дальше своего носа не видит.

Однако я и сам не заметил, как наша беседа от дружбы людей совершенных, то есть мудрых (я имею в виду мудрость обычную, человеческую) перешла на пустое приятельство. Давайте-ка лучше вернемся к тому, с чего начали, чтобы на этом и кончить.

404

405

406

XXVII. Гражданская доблесть, Гай Фанний, и ты, Квинт Муций, — вот что, говорю я вам, делает людей друзьями и охраняет их дружбу. Из нее, и только из нее, истекает согласие в поступках, постоянство и неколебимая преданность. Где предстанет она, где явит свой свет, где почувствует и узнает себя в другом человеке, туда она и обращается, стремясь вобрать в себя найденное в другом. Тогда-то и возникает дружелюбие, которое мы обозначаем словом, соединяющим в себе дружбу и любовь. Любить — значит восхищаться другом ради него самого, не помышляя ни о своих нуждах, ни о пользе, которая произрастет из дружбы сама по себе, подобно цветку, когда ты меньше всего о ней думаешь. (101) Такой любовью любили мы в пору нашей молодости знаменитых стариков тех времен — Луция Павла, Марка Катона, Гая Гала, Публия Назику, Тиберия Гракха — тестя нашего Сципиона; еще крепче связывает она ровесников — меня хотя бы со Сципионом, Луцием Фурием, Публием Рупилием, Спурием Муммием. Став стариком, я, в свою очередь, ищу успокоения в любви молодежи — в вашей или Квинта Туберона, и до сих пор наслаждаюсь дружбой таких молодых людей, как Публий Рутилий или Авл Вергиний. И раз уж такова наша природа, раз так устроена жизнь наша и одно поколение сменяет другое, то самое желанное, что может выпасть на долю человека — пройти рядом с тем, с кем ты выступил в путь, как говорится, до последней черты. (102) Участь наша изменчива,

зависит от случая, и потому всегда так важно иметь опору — друга, которого ты любишь и который любит тебя; без любви же и приязни жизнь лишается всякой радости. Вот ушел неожиданно из жизни Сципион, — но для меня он жив и будет жить вечно, ибо я любил в нем доблесть, а она не знает смерти. Не только у меня, видевшего ее воочию, стоит она перед глазами, но в том же своем неповторимом блеске будет стоять и перед глазами потомков. Нет человека, который, решаясь на великий подвиг, не вспомнил бы о Сципионе и не вызвал бы в мыслях его образ. (103) Какими бы благами ни одарили меня судьба и природа, ничто не может сравниться с дружбой Сципиона. Благодаря ей одинаково смотрели мы на дела государства, она помогала нам разрешать трудности повседневной жизни, в ней обретали мы полное отрады отдохновение. Никогда, мне кажется, не нанес я ему самой малой обиды и никогда не слышал от него ничего, что бы задело меня. Мы жили одним домом, ели одну пищу за одним столом, вместе отправлялись на войну, в поездки, в деревню. (104) А что сказать об общем нашем стремлении всегда узнать что-то новое, всегда чему-то научиться? В этих занятиях, скрывшись от людских глаз, проводили мы все свободное время, и если бы эти воспоминания ума и сердца исчезли вместе со Сципионом, никогда не достало бы у меня сил вынести тоску о столь близком и столь дорогом человеке. Но они не умерли и чем дальше, тем больше заполняют размышления мои и память; лишись я их, мне останется только одно великое утешение — мысль о том, что я стар и, значит, недолго придется мне жить в такой тоске. А краткие скорби, как бы велики они ни были, сносятся легче.

Вот, что я мог сказать о дружбе. Я хотел бы, чтобы в душах ваших выше нее стояла одна лишь доблесть — доблесть, без которой нет и самой дружбы.

КОММЕНТАРИИ

Отобрать из весьма обширного и разнообразного по жанрам наследия Цицерона несколько произведений, которые составили бы том избранного, не просто. Забота о цельности образа переводимого автора, стремление избежать хрестоматийной дробности заставили составителей ограничиться двумя литературными жанрами, на которых и основывалась прежде всего писательская слава Цицерона, — речами и морально-философскими трактатами (диалогами), — и поступиться литературно-теоретическими сочинениями, письмами и т. п. Пять речей (из 58 сохранившихся), вошедшие в предлагаемую книгу, принадлежат различным периодам жизни Цицерона, исключая последний, представленный здесь трактатами. Переводы в большинстве выполнены заново, а публиковавшийся уже (издательством «Наука», М., 1974) перевод В. Горенштейна («О старости») для настоящего издания пересмотрен и переработан редакторами.

Переводчики хотели бы представить читателю не «школьного» Цицерона (о котором и сказано: «...Читал охотно Апулея, а Цицерона не читал»), но автора, читавшегося на протяжении многих веков, писателя, к которому восторгался им Петрарка обращался с письмами, как к живому собеседнику. Задача дать русский перевод Цицерона не для штудирования, а для чтения была впервые поставлена на рубеже нашего века Ф. Зелинским (в его незавершенном труде: Цицерон. Полное собрание речей в русском переводе, т. I. СПб., 1901). Стиль Цицерона — естественный и свободный при строгом подчинении логике и ритму речи, афористически сжатый при щедром обилии слов, прозрачный и ясный при сложности риторических фигур, трудно воспроизвести, и можно пытаться делать это по-разному. Насколько удался предлагаемый опыт — судить читателю.

Собр. соч., т. 20, с. 185-186.

РЕЧИ

В ЗАЩИТУ СЕКСТА РОСЦИЯ АМЕРИЙЦА

2

Произнесена в 80 г. до н. э. Первое выступление Цицерона в уголовном процессе, прославившее 27-летнего оратора, который превратил дело об убийстве неизвестного в Риме землевладельца из Америи (городок в 82 км севернее Рима в плодородной Умбрии) в дело о беззакониях режима диктатора Суллы (82-79 гг. до н. э.) — этот военачальник в очередной вспышке гражданских войн принял на себя роль защитника «дела знати» (§§ 16, 135) и взялся осуществлять ее консервативно-реставраторские чаяния силами чуждых ей элементов: профессиональной армии и всякого рода авантюристов. Начав с упразднения регулярных органов власти, с истребления неугодных, которых убивали без суда по выставленным «спискам» («проскрипции», — это слово лишь с той поры приобрело страшный смысл) (§ 16), он попытался затем создать «законный» порядок, в силу которого сами собой отстранялись бы от политической жизни все, кто не принадлежал к замкнутому кругу сенаторской знати. В 81 г. проскрипциям устанавливается срок, рядом с диктатором ставятся республиканские должностные лица (§ 139), преобразуются и вновь начинают действовать суды (§ 11). В 81 г. и был убит в Риме отец обвиняемого — тоже Секст Росций, — имя которого вскоре оказалось задним числом в закрытых уже «списках», а имущество — в руках одного из помощников Суллы, его вольноотпущенника Хрисогона, вошедшего в сделку с двумя дальними родственниками убитого, замешанными в убийстве. У лишившегося наследства Росция-сына нашлись влиятельные покровители (§§ 25, 27, 77, 149), и, чтобы избавиться от хлопот, новые владельцы имущества предъявили ему через некоего Эруция обвинение в отцеубийстве. Цицерон, опираясь на существовавшее в среде знати недовольство выскочками, вроде Хрисогона, построил всю свою речь именно на выявлении скрытых и «скользких» сторон дела. Переходя в наступление, он не только выдвигает «от себя» (§ 143) обвинения против Хрисогона, но и обращается с предупреждениями к знати, от чьего имени будто бы говорит (§§ 139, 149). На последнем году жизни Цицерон не без гордости вспоминал, как он совсем молодым «выступил против владычества Луция Суллы, взяв на себя защиту Секста [Росция из Америи]» («Об обязанностях», II, 51, пер. В. Горенштейна). Дело слушалось в судебной комиссии по делам об убийстве, под председательством претора М. Фанния (§ 11). Речь имела большой успех, и С. Росций был оправдан.

Построение речи: вступление (§§ 1-14), повествование (§§ 15-34), разделение доказательств (§§ 35-36), разработка, часть I — опровержение доводов обвинителя (§§ 37-82), разработка, часть II — обвинение истинных преступников и их покровителя (§§ 83-142), заключение (§§ 143-154). Особенность этой защитительной речи в том, что большая часть ее уделена обвинению, причем обвинению лиц, чье дело судом не разбиралось. От восстановленных судов ждали раскрытия преступлений, ждали сенсации (§ 11), и Цицерон ее дал, обвинив обвинителей.

3

Суд происходил на форуме: председатель сидел на деревянном возвышении («трибунал») на складном стуле («курульное кресло»), перед трибуналом на скамьях — судьи, по одну сторону трибунала (на скамьях же) — подсудимый и защита, по другую — обвинители. От защиты речь произносил «патрон», другие («адвокаты» — букв.: «призванные») отстаивали интересы подсудимого при следствии (§ 77), а в суде оказывали ему молчаливую поддержку; здесь же сидели «хвалители», дававшие отзывы

о подсудимом.

4

В бранном смысле — убийцы по ремеслу.

5

Гражданин мог иметь в другом городе «гостеприимца», который там не только предоставлял ему кров, но и представлял его интересы, и оказывал правовую защиту. Союз гостеприимства был наследственным.

6

У римлян день делился (по солнцу) на 12 часов и на 12 часов — ночь. Длительность часа (как дня) была переменной. Летом ночные часы были короче дневных.

7

Город в Этрурии (в Средней Италии) — природное укрепление, где остатки марианцев оборонялись два года.

8

Прозвище, принятое Суллой.

9

Право прохода к могилам родных оговаривалось у римлян при продаже земли.

10

Члены сената самоуправляющейся городской общины; десять их старейшин были наиболее авторитетным представительством от города.

11

Дочь Квинта Цецилия Метелла Балеарского, консула 123 г. до н. э., сестра консула 98 г. Была матерью П. Клодия Пульхра и Клодии, о которых говорится в речах за Целия и за Милона.

12

Тит Росций Магн.

13

Отцеубийц после наказания розгами зашивали в кожаный мешок с живыми собакой, петухом, змеей и обезьяной и топили.

14

Марианец, политик, не чуждый авантюризма, и полководец не без способностей. Покончил с собой в 84 г. до н. э. Позднее Цицерон писал о нем как об ораторе: «Он все выкрикивал изо всех сил и, хотя его выбор слов был совсем не плох, изливал он их таким безудержным потоком и так неистовствовал, что диву даешься, о чем думал народ, принимая этого безумца за оратора» («Брут», 233, пер. И. Стрельниковой).

15

Кв. Муций Сцевола Понтифик — крупный юрист и оратор, учитель Цицерона. Во время гражданских войн принадлежал к умеренной группе сенатской знати. В 82 г. до н. э. перед вступлением Суллы в Рим был (в числе других сенаторов) убит крайними марианцами.

16

«Принимай клинок!» — кричали зрители поверженному гладиатору, отказывая ему в пощаде.

17

Цецилий Стаций (ум. в 168 г. до н. э.) — знаменитый римский комедиограф, перерабатывавший (как и Плавт и Теренций) греческие оригиналы. Произведения его утрачены.

18

Консул 257 г. до н. э. Его прозвище Сарран (от одноименного города), переосмысленное как «Серран» («Сеятель»), и породило легенду.

19

Этот закон карал человека, выступившего с заведомо ложным обвинением, лишая его гражданской чести, а следовательно, и права выступить обвинителем.

20

Обвинителем мог выступить любой полноправный гражданин (обвинителей по должности римский суд не знал); тем не менее существовал круг ораторов, специализировавшихся на обвинении.

21

Гусей кормили в память о том, что они, по преданию, некогда, подняв крик, спасли Капитолий от ночного нападения галлов (390 г. до н. э.), тогда как собаки не залаяли.

22

Клеймение лба буквой «К» («калумниатор» — «клеветник») — древнее наказание. С той же буквы начиналось ненавистное для несостоятельных должников слово «календы» (первое число месяца — срок уплаты процентов).

23

Орест и Алкмеон; мифы о них были обработаны в трагедиях Эсхила и Еврипида и известны римскому зрителю по переделкам Кв. Энния, М. Пакувия, Л. Аттия.

24

В 46 г. до н. э. Цицерон вспоминал: «Под какие рукоплескания говорили мы в юности о каре отцеубийцам, пока, спустя немного, не почувствовали в этой пылкости излишества» («Оратор», 107, пер. М. Гаспарова).

25

Рабы допрашивались всегда под пыткой и с согласия господина.

26

Истребление опытных обвинителей по делам об убийстве Цицерон сравнивает с избиениями римских войск Ганнибалом под Каннами (216 г. до н. э.) и при Тразименском озере (годом ранее). Сервилиев пруд в Риме — одно из мест, где выставлялись головы жертв террора.

27

Стих из «Ахилла» Кв. Энния.

28

Намек на древнюю поговорку «шестидесятилетних с моста». О смысле ее спорили уже при Цицероне: то ли речь шла об обычае сбрасывать стариков в Тибр в качестве очистительной жертвы, то ли имелись в виду мостки, ведущие к месту голосования, к которому будто бы старались не допускать стариков, уже не служивших в войске.

29

Вызывать свидетелей (если они не предлагали себя добровольно) мог только обвинитель.

30

Поведению Капитона Цицерон ищет аналогии в практике гражданских тяжб, где осуждение по делу о недобросовестном выполнении поручения или об обмане товарища влекло за собой потерю гражданской чести.

31

Хрисогон по-гречески «Златородный».

32

«Валериев закон» (82 г. до н. э.) провозглашал Суллу диктатором и давал силу закона всем его распоряжениям. «Упорядочены» проскрипции были «Корнелиевым законом» (т. е. указом Корнелия Суллы). Цитируя соответствующее распоряжение, Цицерон подчеркнуто уклоняется от прямой ссылки на него как на действительный закон.

33

Видимо, об этом говорилось в утраченной части речи (§ 132). Древний комментатор сохранил из нее несколько бессвязных слов и реплику Хрисогона: «Не из страха, как бы не отняли у меня имущество Росция, расточил я его имения, но так как я строился в Вейской округе, то и перенес туда все из них».

34

На юге Италии.

35

Греч. «автепса» (букв.: «самовар») — широкий открытый сосуд, в середину которого клались горячие уголья, чтобы варить над ними еду (на треножнике), а между двойных стенок с краном нагревалась (как в самоваре) вода.

36

Тога

— не просто одежда, но знак достоинства римского гражданина.

37

Всадниками называлось второе (после senatorского) привилегированное сословие в Риме. Было разнородно (включая в себя и местную знать италийских городов), но определяющую роль в нем играли откупщики государственных доходов. С конца II в. до н. э. всадники заседали в судах, что дало им немалый вес в государстве. Сулла возвратил суды senatorской знати, которая, впрочем, не могла удержать их надолго.

38

Это мог быть М. Валерий Мессала Нигр (будущий консул 61 г. до н. э.), известный впоследствии как умный и осторожный судебный оратор, или его двоюродный брат (консул 53 г.), племянник оратора Гортензия.

В. С.

ПРОТИВ ВЕРРЕСА

Второе слушание дела, книга пятая

О казнях

39

Гай Веррес, претор 74 г. до н. э., был наместником Сицилии в 73-71 гг. По жалобам сицилийцев Цицерон в 70 г. обвинил его в вымогательстве, защитником Верреса был известный оратор, а позже — друг Цицерона Квинт Гортензий. Дело должно было слушаться в двух сессиях под председательством претора Мания Глабриона (§§ 76, 163); но уже на первой сессии сицилийцы представили столько неопровержимых обвинительных материалов (см. § 73 и др.), что Веррес признал себя побежденным и добровольно ушел в изгнание. (Он был убит в 43 г. во время тех же проскрипций, что и Цицерон.) Речь, заготовленная Цицероном для второй сессии, осталась произнесенной; он расширил ее и издал в письменном виде, в пяти книгах, продолжающих друг друга (I — о деятельности Верреса до наместничества, II — о его злоупотреблениях при судопроизводстве, III — при сборе хлебных поставок для Рима, IV — о хищениях произведений искусства, V — о его злоупотреблениях при военной охране провинции). Так называемая речь «О казнях» представляет собой V книгу этой огромной «речи»; ее разделы: введение (1-4), бездействие Верреса в борьбе с рабами (5-

41), в борьбе с пиратами (42-138) и предел его злоупотреблений — противозаконная расправа с римскими гражданами (139-172); патетическое заключение (173-189) относится ко всем пяти книгам.

40

Усмиритель Второго Сицилийского восстания рабов (104-101 гг. до н. э.) в единоборстве убивший их вождя Афиниона, был обвинен в вымогательстве и оправдан, когда защищавший его оратор Марк Антоний в заключение патетической речи разорвал на нем тунику и обнажил рубцы от ран на груди.

41

Восстание Спартака 73-71 гг.: в 71 г. восставшие рабы собирались из Южной Италии на пиратских судах переправиться в Сицилию (к Пелорскому мысу), но пираты их обманули.

42

Имеются в виду Первое (138-132 гг. до н. э.) и Второе Сицилийские восстания рабов.

43

Восстание итальянских «союзников» (общин, не имевших до этой войны права римского гражданства) против Рима (90-88 гг. до н. э.).

44

Бичевание у столба и потом распятие.

45

Секиры в связках прутьев — знак власти римских должностных лиц.

46

Фабий Максим Кунктатор и Сципион Африканский Старший — герои войны с Ганнибалом (218-201 гг. до н. э.). Сципион Эмилиан Африканский Младший — разрушитель Карфагена (146 г.), Эмилий Павел — победитель Македонии (168 г.), Марий — германских племен кимбров и тевтонов (104-101 гг.).

47

Веррес при его образе жизни мог замечать не смену ветров и созвездий, а только смену цветов, украшавших пиры.

48

Намек на слова Ганнибала в «Анналах» Кв. Энния:

Всяк, кто ударит врага, Карфагену сочтен будет сыном,

Кто бы, откуда он ни был.

Перевод Ф. Ф. Зелинского

49

Греческий плащ (да еще пурпурный) вместо римской тоги и туника без пояса (вместо рабочей, подпоясанной) — одежда, недостойная римского наместника.

50

74 г., когда Веррес был городским претором, о его поведении в то время (в том числе и о Хелидоне) Цицерон рассказывает в первой книге второй речи против Верреса.

51

Лицо, облеченное военной властью для действий за пределами Рима, не могло вступать в город. (Веррес, впрочем, сам никуда не вступал — его вносили).

52

В Темпсе (Южная Италия) засели остатки отрядов Спартака, угрожавшие соседнему Вибону-Валенции.

53

Мессана, управляемая военным сословием мамертинцев, пользовалась особым

расположением Верреса; на суд оттуда прибыла делегация с хвалебным отзывом о наместнике (см. §§ 47 и 57).

54

Кибея

бирема, трирема, квадрирема

— большое грузовое судно; упоминаемые далее — корабли с двумя, тремя, четырьмя рядами весел.

55

Порт в Южной Италии.

56

Закон III в. до н. э. ограничивал сенаторов в праве заниматься морской торговлей.

57

Жрецы, следившие в Риме за соблюдением норм международного права.

58

Помощь Риму в I Пунической войне.

59

Закон Теренция и Кассия (73 г.) обязывал наместников хлеботорговых провинций (в том числе Сицилии) увеличить вывоз в Рим зерна для дешевой продажи народу. Одни сицилийские общины сдавали наместнику определенное количество зерна («по цензорскому закону»), другие — десятую часть урожая («по Гиеронову закону»), третьи (Мессана, Тавромений, Нет и еще пять городов, ср. § 56) были свободны от бесплатных поставок и продавали зерно за деньги.

60

Предшественники Верреса по наместничеству в Сицилии, в 76-75 и 74 г.

61

Квестор Верреса и его первый помощник (легат).

62

Консул 79 г., победитель киликийских пиратов (78-74 гг.), был в числе судей на процессе Верреса.

63

Откупщик, через которого Веррес производил хлебные поборы.

64

Кв. Серторий

— римский наместник в Испании; поднял там восстание против сулланского правительства (80-72 гг.); после его гибели некоторые бывшие при нем римляне бежали к пиратам и воевавшему с Римом Митридату Понтийскому.

65

При праздновании триумфа военачальник, пройдя с шествием по Риму, слагал свою власть на Капитолии у статуи Юпитера, а пленных вражеских вождей казнили в темнице у подножия Капитолия.

66

Послабление пиратам (как, впрочем, и остальные преступления, разбираемые в этой речи) подлежало суду об оскорблении величества римского народа, а Веррес судился по обвинению в вымогательствах.

67

Право на командование имели, после самого претора, его квестор и легат (назначенные из Рима), потом префекты и трибуны (назначаемые им самим из римских граждан) и потом лишь сицилийцы, причем предпочтительно из «союзных» общин

(добровольно отдавших под власть Рима), а не завоеванных (как Сиракузы, взятые Марцеллом в 212 г. — см. след. параграф).

68

Пахин

Гелор

— южная оконечность Сицилии: обычно от Сиракуз до Пахина плыли два дня, а не пять. — стоянка на половине этого пути.

69

Когда Веррес в 80 г. был легатом в Малой Азии, его чуть не растерзали в Лампсаке за насилие в доме одного из горожан.

70

Претор Африки Адриан был убит за жестокость в 83 г.

71

Глубокая гавань Сиракуз, заслоненная «Островом» (§ 84) со стороны моря, была неприступна со времен афинского похода 415 г.; даже Марцелл взял Сиракузы лишь с суши (о чем в § 97).

72

Друг Верреса и его преемник по управлению Сицилией.

73

Поговорка о переменчивости военного счастья, восходящая к строке Гомера («Илиада», XVIII, 39):

Общий у смертных Арей; и разящего он поражает!

74

Марк Метелл, брат Луция и тоже друг Верреса, должен был стать претором в следующем, 69 г.; Веррес затягивал свой процесс, надеясь, что эта дружба поможет ему оправдаться.

75

По законам Порция (Катона) и Семпрония (Гракха) (§ 163) римские граждане могли быть осуждаемы на телесное наказание или смерть только по приговору народного собрания; нарушение этого закона каралось как оскорбление величества римского народа.

76

«Рабы Венеры»

— служители привилегированного культа Венеры Эрицинской; Веррес пользовался ими как своими агентами. Здесь такой агент перед лицом нарочно подобранных судей — рекуператоров — требует с Сервилия мнимый долг храму Венеры, а другое подставное лицо, ликтор Верреса, требует с него вдобавок обещания («спонсии») уплатить дополнительный штраф, если он не докажет, что «не обогащался кражею»; такой штраф означал бесчестие, и Сервилий предпочел умереть, чем дать спонсию.

77

Имеется в виду рассказ Гомера о лестригонах («Одиссея», X).

78

Фаларид

Дионисий

— тиран Акраганта (VI в.), — тиран Сиракуз (IV в.).

79

Сцилла изображалась как сидящее над Мессинским проливом чудовище с женским торсом, опоясанным песьими головами. Это место переведено по чтению,

предложенному Ф. Зелинским.

80

Дианий

— пиратская гавань в Испании при Сертории.

81

Цицерон грозит, что если Веррес будет оправдан судьями-сенаторами по делу о вымогательствах, то он, Цицерон, в наступающем году своего эдильства привлечет его к суду народного собрания по делу об оскорблении величества римского народа.

82

В гражданскую войну Веррес, будучи квестором при консуле-марианце Карбоне, сбежал от него к сулланцам с казной.

83

Марк Перперна

— убийца Сертория, возглавивший затем испанское восстание; при нем оно было подавлено Помпеем.

84

Со следующего, 69 г. судебные комиссии должны были состояться не только из сенаторов, но, как когда-то до Суллы, включать в себя и сенаторов и всадников.

85

Цицерон перечисляет выдвинувшихся (как и он сам) благодаря собственным заслугам «новых людей» прежнего времени: М. Катона Старшего, Кв. Помпея (консул 141 г. до н. э.), Г. Фимбрию (старшего — 104), Г. Мария, Г. Целия Кальда (94).

М. Г.

ПРОТИВ КАТИЛИНЫ

Первая речь, произнесенная в сенате

86

Произнесена в 63 г. до н. э. Луций Сергий Катилина (ок. 108–62 гг. до н. э.), потомок древнего, но захудалого патрицианского рода, примкнув в свое время к сулланцам, обогатился во время террора. Дальнейшая карьера подавала ему надежду вернуть родовому имени славу — он шел к консульской должности. Обвинение в лихоимстве (после наместничества в провинции Африке) отстранило Катилину от ее соискания в 66 и 65 гг. В 64 г., вышедший из процесса с расстроенным состоянием, он выставил наконец свою кандидатуру, но без успеха. Одним из консулов на 63 г. стал Цицерон. В этом году Катилина повторил попытку, но на всякий случай стал готовить и заговор для насильственного захвата власти. В г. Фезулах (в Этрурии, ныне — Фьезоле) сулланский ветеран Манлий собирал для него войско. Последовательной программы у Катилины не было, но лозунг отмены долгов обеспечивал ему приверженцев на самых разных уровнях общества. Цицерон, воспользовавшись сведениями, полученными от агентов в стане заговорщиков, добился от сената решения (21 октября) о чрезвычайном положении и неограниченных полномочиях консулов (§ 3). Однако решительных действий не последовало ни со стороны Цицерона, ни со стороны Катилины. На выборах, проходивших в напряженной обстановке, Катилина вновь потерпел неудачу. Тем временем в Фезулах поднял мятеж Манлий (§§ 5, 7). Против него были приняты военные меры, но Катилина, не уличенный ни в чем, оставался неуязвим. В ответ на попытку (некоего Луция Павла) начать судебное дело он сам предложил явиться в дом к кому-нибудь из значительных в государстве лиц (в частности к Цицерону), чтобы остаться там под «добровольным арестом» (§ 19). Тут-то — после очередного совещания заговорщиков и их попытки перейти к действиям (§§ 8–9) — Цицерон созывает сенат (8 ноября) и обрушивается на Катилину с речью, чтобы

заставить его выдать себя и уйти немедленно к Манлию, а остальных заговорщиков толкнуть к необдуманным действиям. Замысел удался. Катилина в ту же ночь удалился из Рима, а вскоре Цицерон получил случай арестовать и казнить (без суда, по решению сената) пятерых других главарей (декабрь). Катилина, возглавивший армию Манлия, погиб в битве (январь 62 г.). Цицерон считал подавление заговора подвигом своей жизни. Ему он обязан был и неслыханными почестями (титул «отца отечества») и шестнадцатимесячным изгнанием (в 58-57 гг. — за казнь римских граждан без суда). Но действительное значение этого эпизода было более скромным.

Построение речи: вступление (почему Катилина до сих пор не покаран, §§ 1-6); изложение (дела заговорщиков известны консулу, §§ 6-10); разработка (пусть Катилина оставит Рим, §§ 10-32), заключение (§ 33).

87

Заседание было созвано не как обычно, в Гостилиевой курии (здание сената), а в храме Юпитера Становителя на северном склоне Палатинского холма.

88

Сципион

П. Назика возглавил расправу сенаторов со знаменитым трибуном-реформатором Тиберием Гракхом и его приверженцами (133 г. до н. э.), после того как консул Кв. Муций Сцевола (отец Сцеволы, упомянутого в речи за Росция Америкя, § 33) от этого отказался.

89

Спурий Мелий

(ум. в 439 г. до н. э.) — богатый плебей, за свой счет доставивший народу хлеб во время голода, был обвинен патрициями в стремлении к царской власти и убит «начальником конницы» (помощник диктатора) Сервилием Агалою.

90

Обычная формула постановления сената о чрезвычайном положении. Впервые оно было принято и применено в 121 г. до н. э., когда и было подавлено Опиимом народное движение под руководством Гая Гракха (брата Тиберия) и М. Фульвия Флакка.

91

В 100 г. до н. э. Г. Марию и его коллеге Л. Валерию Флакку были даны чрезвычайные полномочия для подавления волнений, связанных с деятельностью продолжателей дела Гракхов Л. Аппулея Сатурнина и Г. Сервилия Главции (которым Марий сам был обязан своей, полученной в шестой раз, консульской должностью на этот год).

92

Пренесте

(ныне Палестрина) — город в 37 км к юго-востоку от Рима.

93

В день выборов 63 г. (которые состоялись уже после объявления чрезвычайного положения) Цицерон расставил по городу караулы, а сам явился на выборы в панцире, достаточно заметном из-под одежды.

94

Катилину обвиняли в том, что он умертвил своего сына ради брака с женщиной, не желавшей иметь взрослого пасынка.

95

Иды

— срединный день месяца; как и календы, были платежным сроком для

должников. Цицерон намекает на то, что кредиторы не будут снисходительны к Катилине после провала его планов.

96

То есть в последний день 66 г. до н. э. В этом году избранных было (на 65 г.) в консулы П. Автрония Пета и П. Корнелия Суллу (из родственников бывшего диктатора) осудили за подкуп избирателей и лишили должностей. После этого ими и Катилиной подготовлялся будто бы переворот, назначенный на январские календы (день вступления в должность избранных вместо них консулов) и сорвавшийся из-за несогласованности действий (это так называемый «первый заговор Катилины»).

97

То есть под домашний арест в доме другого лица. Маний Эмилий Лепид был консулом в 66 г. до н. э.; Кв. Метелл Целер — претором в 63 г. (активно участвовал в борьбе с Катилиной), впоследствии противником Клодия, Помпея и Цезаря. Кто был Марк Метелл, мы не знаем, но «арест» в его доме не мешал Катилине уходить на тайные совещания.

98

В 63 г. до н. э. Сестий был квестором; Марцелл — недавний квестор. Впоследствии оба — союзники Цицерона в борьбе с Клодием; еще позднее Сестий — цезарианец, а Марцелл — помпеянец. Сохранились речи Цицерона и за Сестия (57 г.) и за Марцелла (46 г.).

99

Предоставление сенатом консулу чрезвычайных полномочий вошло после 121 г. до н. э. в римскую политическую практику, но не имело обоснования в законах. Поэтому воспользовавшийся ими консул не был гарантирован от преследования по истечении срока его должности, как это и случилось с Цицероном.

100

Городок по дороге в Фезулы (примерно в 100 км. от Рима).

101

Серебряный орел на древке — знамя римского легиона; у Катилины, по рассказу Саллюстия, был орел, служивший некогда знаменем Гаю Марию в войне с кимврами.

В ЗАЩИТУ МАРКА ЦЕЛИЯ РУФА

102

Произнесена в 56 г. до н. э. М. Целий Руф (82-48 гг. до н. э.) — фигура яркая и типичная среди младших современников Цицерона. Богато одаренный человек, признанный оратор, умный политик, он не нашел для себя ни целей, ни места в жизни. Утверждавший (в письме к Цицерону), что в вооруженной борьбе надо держаться не тех, кто лучше, но тех, кто сильнее и с кем безопаснее, он впоследствии примкнул к Цезарю, однако, обойденный его вниманием, попытался поднять восстание в Риме, а потом в Южной Италии (как Катилина, он обещал отмену долгов) и погиб в этой аванюре. В 56 г. обвинял некоего Л. Кальпурния Бестию (§§ 16, 26) в подкупе избирателей, защитником его был Цицерон (§ 7). Бестию оправдали, но Целий вновь начал дело (§ 76). Тогда против него самого было выдвинуто «встречное» обвинение сыном Бестии Л. Семпронием Атратином (§ 1) (несовпадение родовых имен может объясняться усыновлением) совместно с П. Клодием (§ 27) — его идентичность с заклятым врагом Цицерона Клодием Пульхром оспаривается — и Л. Гереннием Бальбом (§ 25). Целий обвинялся: 1) в каких-то «беспорядках в Неаполе»; 2) в избиении александрийских послов; 3) в каких-то действиях, касавшихся имущества некой Паллы; 4) в причастности к убийству главы александрийского посольства — философа Диона (§§ 23-24); 5) и, наконец, в попытке отравить Клодию. От защиты выступали:

сам обвиняемый, затем — известный богач, оратор и полководец Марк Лициний Красс (§ 23) и Цицерон, чья речь касалась последних двух обвинений. Посольство александрийцев прибыло в Рим, так как здесь же искал поддержки низложенный ими царь Птолемей Авлет (чьими происками и убит был Дион, § 23). Клодия — вдова друга Цицерона Кв. Метелла Целера и сестра П. Клодия Пульхра — была одно время возлюбленной Целии (а до него — поэта Катутла, обессмертившего ее под именем Лесбии). Несмотря на «смелый» образ жизни, она была в действительности и образованной и обаятельной женщиной, чей дом привлекал многих известных в Риме людей. Дело слушалось в судебной комиссии по делам о насильственных действиях (хотя большинство предъявленных Целию обвинений не было ей подсудно) под председательством Гнея Домиция Кальвина. Многие подробности дела нам неизвестны. Целий был оправдан.

Построение речи: вступление (§§ 1-2); подготовительная часть (опровержение общих обвинений и нареканий — §§ 3-50); разработка (§§ 51-69), заключение (§§ 70-80). Изложение дела в этой речи опущено, так как Цицерон говорил от защиты не первым.

103

Закон о насильственных действиях; еще раз о нем говорится в § 70, откуда видно, что он был принят в 78-77 гг. до н. э., во время мятежа Лепида, своего рода предшественника Катилины.

104

То есть в сословие декурионов (иными словами — городской сенат) г. Интерамнии — центра Претутийской области в Средней Италии, откуда, следовательно, был родом Целий.

105

66 г. до н. э.

106

«Прятать руку» начинающих ораторов заставляли, чтобы они не привыкали злоупотреблять жестами.

107

В 65 г. Цицерон собирался защищать Катилину от обвинения в лихоимстве.

108

Г. Антоний (коллега Цицерона по консульству 63 г. до н. э.), подозревавшийся в близости с Катилиной, был привлечен Целием к суду (59 г.), собственно, по делу о злоупотреблениях в должности наместника Македонии.

109

Не особый пункт обвинения против Целия, но попутный попрек; повод ближе неизвестен.

110

В Риме сын (даже взрослый) был во власти отца и формально не имел собственности, но располагал выделенной ему отцом долей. Для выхода из-под отеческой власти требовалась процедура «эманципации» или чрезвычайные обстоятельства.

111

П. Клодий Пульхр был отпрыском патрицианского рода Клавдиев; чтобы стать народным трибуном, перешел в плебеи, переименовав свое имя на народный лад. Как политик известен не столько демагогическими проектами, сколько созданием вооруженных отрядов, ставших немаловажной силой в политической борьбе 50-х годов. После скандальной светской истории с попыткой проникнуть к жене Цезаря в женском платье (во время женского празднества Доброй Богини) — личный враг Цицерона,

давшего против него показания (62 г. до н. э.). Изгнание Цицерона в 58 г. было делом Клодия.

112

Цицерон защищал Г. Антония (речь не сохранилась).

113

Начало трагедии Энния «Медея-изгнанница» (переделка Еврипидовой «Медеи») — слова кормилицы, которая оплакивает судьбу госпожи, покинутой Ясоном, и начинает издали: от того дуба, который пошел на постройку его корабля. Атратин назвал Целия «красавчиком Ясоном», защитники обернули сравнение против «палатинской Медеи» Клодии (женщины, уязвленной в своей страсти, да еще, как поговаривали, и отравительницы).

114

В 63 г. до н. э. был восстановлен отмененный Суллой порядок избрания в жреческие коллегии на народных собраниях.

115

Аппий Клавдий Слепой — государственный деятель рубежа IV и III вв. до н. э., строитель Аппиевой дороги (между Римом и Капуей) и Аппиева водопровода. Уже ослепшим от старости произнес в сенате знаменитую речь против мира с эфирским царем Пирром (280 г. до н. э.), которую читали и во времена Цицерона.

116

Римская матрона, участвовавшая во встрече статуи Великой Матери богов, привезенной в Рим в 204 г. до н. э. После этого священнодействия смолкли порочившие ее сплетни, и она, напротив, стала почитаться образцом женских добродетелей.

117

Дочь консула 143 г., самовольно праздновавшего триумф после победы над одним из альпийских племен. Загородив отца своей неприкосновенной особой, она не позволила трибуну осуществить его право вмешательства.

118

Теренций. Братья, ст. 120-121. Перевод А. Артюшкова.

119

То есть во время изгнания Цицерона.

120

Описание смерти Метелла Целера (59 г. до н. э.) должно напомнить слушателям толки о его отравлении Клодией.

121

Видный политик консервативно-сенатского толка. Умер за год до смерти Метелла Целера.

122

Мать Клодия приходилась сестрой отцу Целера.

123

Собственно говоря, «пиксиду» (медицинская баночка — непременно, в представлении древних, посуда для яда).

124

Вошедшие в поговорку слова из комедии Теренция «Девушка с Андроса» (ст. 126).

125

«Грош» («квадрант» — самая мелкая монета) был платой за вход в мужские бани (с женщин брали дороже) и монетой, которой дразнили Клодию («Грошовая», «Грошовая Клитемнестра» — с добавочным намеком на убийство мужа).

126

Мимы

— шуточные сценки, дававшиеся на римской сцене в дополнение к трагедиям. Это был «низовой» театр. Действие в мимах было не всегда последовательным, а подчас и немотивированным, допускалась импровизация актеров. Тема отравления тоже хорошо подходила к этому жанру.

127

Первое упоминание театрального занавеса в литературе; он находился внизу: чтобы закрыть сцену, его поднимали. Сигнал к поднятию занавеса подавался стуком скабилл — специального инструмента, крепившегося на башмаке.

128

Нам это неизвестно.

129

По рассказу Плутарха, кто-то из любовников прислал Клодии вместо серебра мешок медяков. Возможно, эта шутка и какая-то месть за нее имеются здесь в виду.

130

То есть о разгроме войска Катилины в 62 г. до н. э. (хотя Антоний, направленный против него, уклонился от личного участия в битве); далее — намек на предполагаемое участие Антония в заговоре Катилины.

131

Поворотный столб должны были огибать, не задевая его, колесничие в цирке.

132

Близкий помощник Клодия в перечисленных «подвигах» (возможно, из вольноотпущенников семьи). В 56 г. до н. э. был обвинен Милоном в насильственных действиях.

В. С.

В ЗАЩИТУ ТИТА АННИЯ МИЛОНА

133

Т. Анний Милон — политический авантюрист, выдвинувшийся в 50-е годы до н. э. Держал сторону сената против Клодия, прибегая к тем же насильственным методам. Борьба между ними начинается еще в 58-57 гг., когда Клодий (трибун 58 г.) выступил инициатором изгнания Цицерона из Рима, а Милон (трибун 57 г.) — одним из агитаторов за его возвращение. Предельного обострения она достигает в 53 г., когда Милон начинает хлопотать о консульстве, а Клодий — о преторстве на будущий год (§§ 24-25). Между их приверженцами начинаются вооруженные схватки; в одной из них чуть не погиб Цицерон (§ 37), в другой сам Клодий еле спасся в книжной лавке от М. Антония, будущего триумвира (§ 40); выборы магистратов были сорваны беспорядками (§ 41). Наконец 18 января 52 г. Клодий и Милон случайно столкнулись на Аппиевой дороге близ Ариции, в 25 км от Рима (§§ 27-29). У Милона было около 300 человек, у Клодия — около 30; Клодий погиб. Вечером тело его было привезено в Рим, на следующий день его выставили в Гостилиевой курии; негодующие клодианцы сложили здесь же погребальный костер, от него сгорела вся курия (§§ 33, 90). Клодианцы, нашедшие широкую поддержку среди городского плебса, развернули бурную кампанию против Милона, нападения были сделаны и на М. Лепида, временного правителя Рима (§ 13), и на бывшего в том году трибуном М. Целия (§ 91). Для пресечения беспорядков сенат назначил Помпея «консулом без товарища» и вверил ему чрезвычайную власть с правом рекрутского набора в Италии (§§ 67-68). Было принято постановление, осуждавшее резню на Аппиевой дороге, поджог курии и нападение на Лепида (§ 12) и (с некоторым сопротивлением, § 14) назначавшее для разбора дела экстраординарную

судебную комиссию. Так как Помпей явно благоволил клодианцам, на Милона посыпались доносы (§§ 64-65). Судебная комиссия во главе с видным помпеем Л. Домицием (§ 22) провела следствие (рабы Клодия были допрошены, §§ 59-60, рабы Милона получили от него вольную тотчас после убийства, §§ 57-58) и 8 апреля 52 г. собралась на итоговое заседание. Народ был настроен против Милона, накануне состоялась шумная сходка, требовавшая его осуждения (§ 3), Помпею пришлось оцепить форум войсками (§§ 1-2); речи обвинителей Милона были выслушаны благосклонно, а защитительная речь Цицерона перебивалась протестующими криками. Цицерон смешался и говорил хуже обычного. Милон был осужден тройным большинством голосов и удалился в изгнание в Массилию. В 48 г. самовольно вернулся в Италию, принял участие в аванюре Целия и погиб. Для отдельного издания Цицерон сильно переработал свою речь; по преданию, Милон, прочитав ее в изгнании, сказал: «Кабы она и вправду была так сказана, не пришлось бы мне лакомиться массилийской рыбою!» Тип речи — не «о факте», а «о нраве» (§§ 23, 31, 57): не отрицается убийство Клодия, но утверждается, что оно было справедливо. План речи: вступление (§§ 1-22), изложение (§§ 23-31), обоснование частное (не Милон, а Клодий был зачинщиком резни, §§ 32-71), обоснование общее (Клодий заслуживал смерти, §§ 72-91), заключение (§§ 92-105). Главная цель речи: убедить судей, что и они и народ на самом деле ненавидят Клодия (§§ 3, 72, 77) и что сам Помпей не против осуждения Клодия (§§ 15, 70-71, 105).

134

Преувеличение: Милону как римскому гражданину грозила не смерть, а самое большее, изгнание.

135

Герой битвы Горациев с Куриациями (при римском царе Тулле Гостилии), убивший родную сестру, помолвленную с одним из Куриациев, за то, что та оплакивала жениха; от казни его спасла апелляция к народу.

136

Гракханец Карбон хотел, чтобы знаменитый Сципион Эмилиан, свойственник Тиберия Гракха, убитого в 133 г., высказал осуждение этому убийству; но Сципион уклончиво ответил: «Если он хотел захватить власть, то убит по закону!»

137

Сервилий Агала в 439 г. расправился со Спурием Мелием, заподозренным в заискивании перед народом и стремлении к тирании; П. Сципион Назика в 133 г. — с Тиберием Гракхом; Л. Олимпий в 121 г. — с Гаем Гракхом; Г. Марий в 100 г. — с Л. Аппулеем Сатурнином; Цицерон в 63 г. (с одобрения сената) — с Катилиной.

138

Намек на миф об Оресте в суде ареопага.

139

Закон Корнелия (Суллы) «об убийцах и отравителях», 87 г.

140

Т. Мунаций Планк, инициатор сожжения тела Клодия в курии (далее Цицерон называет его «бешеный трибун»).

141

Скандалное дело об осквернении Клодием мистерий Доброй Богини (см. прим. 9 к речи за Целия).

142

М. Ливий Друз, предлагавший дать гражданские права италикам, был убит политическими противниками в 91 г.; внезапную смерть Сципиона Младшего (129 г. до н. э.) считали убийством (ср. «О дружбе», § 12).

143

М. Папирий,

друг Помпея, был убит клодианцами в одной из стычек 58 г.

144

Храм Кастора

— на форуме, одно из мест заседаний сената; это предполагаемое покушение на Помпея тоже относится к трибунату Клодия в 58 г.

145

Один из оптиматов, был претором 53 г., потом консулом 50 г.

146

«Законным годом» для соискания преторства считался 40-летний возраст, что для Клодия приходилось как раз на 53 г.

147

Одна из четырех городских триб (подразделений общины граждан), в которые были записаны преимущественно бедняки и вольноотпущенники, — пользовалась дурной славой.

148

Начатые и сорванные несколько раз выборы магистратов на 52 г.

149

В Этрурии находились поместья Клодия (ср. далее §§ 55, 74 и др.); Цицерон охотно упоминает об этом, так как Этрурия в 63-62 гг. была базой восстания Катилины.

150

День

Ланувий

— 18 января 52 г. — город в Лации; «диктатором» назывался управлявший им римский чиновник.

151

Изречение цензора 125 г., знаменитого юриста Гая Кассия.

152

Плавтия Гипсея и Цецилия Метелла Пия, соперников Милона на выборах, энергично поддерживаемых Клодием.

153

Утверждали, что Клодий готовил законопроекты о даровой раздаче хлеба беднякам и о равномерном распределении вольноотпущенников, получающих гражданство, по всем голосующим трибам (что позволяло им шире влиять на результаты голосования).

154

Палладий

— изображение Афины Паллады, хранившееся, по преданию, в Трое, а потом в Риме, в храме Весты; с ним считалась связанной судьба этих городов.

155

Закон Плотия

— против насильственных действий; Милон привлекал Клодия к суду в 56 г.

156

Гортензий

Вибиен

и пострадали во время смут 58 г., вспыхнувших вокруг изгнания Цицерона.

157

Дом верховного жреца у подножия Палатинского холма.

158

Перечисляются события 57 г., года возвращения Цицерона из изгнания, когда клодианцы терроризировали трибунов Милона, Сестия и Фабриция, выступавших за возвращение Цицерона, а претор Цецилий, устроивший зрелища для народа, был обращен в бегство толпой, кричавшей: «Хлеба, а не зрелищ!»

159

Во время процесса о мистериях Доброй Богини (см. прим. 8) Кавсиний Схола лжесвидетельствовал, будто Клодий во время преступления находился у него в усадьбе, но был изобличен Цицероном.

160

Альбанская усадьба

— близ города Ариции на Аппиевой дороге (недалеко от Ланувия, куда направлялся Милон).

161

Веттий Кир

— грек-вольноотпущенник, известный в Риме архитектор, упоминаемый в переписке Цицерона.

162

Храм Свободы

— близ форума; место судебных допросов и пыток.

163

Аппий Клавдий, племянник Клодия, наследник его имущества и рабов, один из обвинителей Милона на суде.

164

То есть в поместье Милона в Умбрии.

165

Полководец Л. Лукулл был женат на младшей сестре Клодия.

166

Самого Цицерона.

167

В трибунат Клодия был дан царский титул галатскому тетрарху Брогитару и отнято царство у царя Птолемея Кипрского, а также произведено распределение провинций между консулами 57 г., угодными Клодию.

168

Гней Помпей.

169

Храм нимф с цензорским архивом сгорел во время смут 58 г., Клодию было выгодно уничтожить документы, на основании которых граждане допускались к голосованию.

170

Фурфаний

— друг Цицерона, впоследствии наместник Сицилии; остальные неизвестны.

171

Альба была одним из древнейших городов Лация, выходцами из которого был построен Рим; Клодий построил виллу на месте альбанского леса. Храм Юпитера Латинского на Альбанской горе был построен при римских царях.

172

Шествие с масками предков и гладиаторские игры входили в чин погребального обряда у знатных родов.

173

Помпея.

174

Наследства от отца и деда, приданое от жены (дочери диктатора Суллы).

175

Глашатай объявлял результаты голосования на выборах.

176

Квинт Цицерон, брат оратора, воевал в это время при Цезаре в Галлии.

ДИАЛОГИ

ТУСКУЛАНСКИЕ БЕСЕДЫ

177

Написаны в 44 г. до н. э. Собеседники обозначены буквами «М» (отвечающий) и «А» (спрашивающий). Эти буквы расшифровываются по-разному; наиболее традиционная расшифровка — «Марк» (т. е. сам Цицерон) и «Аттик» (друг Цицерона, которому посвящены диалоги «О старости» и «О дружбе»). Но предлагаются и другие. В настоящем переводе буквенные обозначения собеседников опущены. Диалог посвящен Марку Юнию Бруту — будущему убийце Цезаря. В годы диктатуры Цезаря Брут — один из наиболее близких Цицерону людей, разделявший его увлечение философией, но твердо державшийся учения стоиков.

Многочисленные стихотворные цитаты из несохранившихся латинских трагедий Энния, Пакувия, Акция и неизвестных авторов в примечаниях не оговариваются.

Книга I О презрении к смерти

178

Основание Рима относится к 753 г. до н. э.; жизнь Гомера и Гесиода относили то к более раннему, то к более позднему времени; время жизни Архилоха, одного из первых лириков, — к VII в. до н. э.

179

Постановка первой драмы первого римского поэта, грека-вольноотпущенника Ливия Андроника — 240 г. до н. э.

180

«Начала»

— римская история, написанная Катонем Старшим (не сохранилась).

181

Поликлет

Паррасий

(V в.) и (конец V в. до н. э.) — знаменитые ваятель и живописец.

182

Гальба

Сервий Сульпиций — политический деятель и оратор, который, по словам Цицерона (Брут, 82), «первый из римлян стал применять особые, свойственные ораторам приемы».

183

Лепид

Гракх

Карбон

Эмилий — консул 137 г. и выдающийся оратор; его учениками в ораторском искусстве были, по словам Цицерона, Тиберий и его друг Гай Папирий.

184

Речь идет о популярных эпикурейских книжках, модных в Риме в это время,

против которых борется Цицерон.

185

Знаменитая (по-видимому, легендарная) реплика Аристотеля, парафразирующая строку Еврипида: «Позорно молчать, когда говорят Исократы!»

186

Декламации

— учебные упражнения в судебных речах на вымышленные темы.

187

Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, перевод стихов М. Гаспарова.

188

Философ и комедиограф V в. до н. э., был знаком римлянам по посвященному ему сочинению Энния.

189

душа отделяется от тела

они гибнут вместе

развеивается

Что, учили последователи Платона; что — Аристоксен, Дикеарх, атомисты; что она — эпикурейцы; что она продолжает жить долго — стоики; что она живет вечно — Сократ и Платон.

190

Назика

Сципион Коркул («Разумный») был консулом 102 и 155 г.; его сын был вождем расправы с Тиберием Гракхом.

191

«Тимей», 44 d и далее.

192

энделехия

Ошибка Цицерона: термин Аристотеля был не, а «энтелехия», — «внутренняя цель».

193

Диалог «Федон».

194

Диоскуры Кастор и Поллукс, по преданию, сообщили в Рим о победе при Регильском озере в 496 г.

195

Излагается учение Евгемера (III в. до н. э.), популяризированное в Риме Эннием, что все божества — это великие люди, обожествленные за их услуги человечеству.

196

«Сверстники»

— комедия Цецилия Стация, переложение одноименной комедии Менандра.

197

«Спуск к мертвым»

«некиомантия»

— «Одиссея», XI; — гадание с вызовом теней умерших; Авернское озеро близ Неаполя считалось входом в Аид.

198

Царь Сервий Туллий (VI в. до н. э.); его убийца и преемник Тарквиний Гордый был современником приезда Пифагора в Италию (ок. 530-520 гг. до н. э.)

199

Некоторые стоики (в том числе учивший в Риме во II в. Панэтий, друг Сципиона и Лелия) допускали, что души продолжают жить недолгое время после смерти, другие — что все души продолжают жить до общего «испламенения» всего мира, третьи — что до испламенения доживают только души мудрецов.

200

Пути, ведущие от органов чувств к мозгу, — полые (после смерти) артерии, а не нервы, система которых была еще незнакома греческим медикам.

201

Эпикурейцы с их культом Эпикура-спасителя.

202

Симонид

Феодект

Киней

Хармад

Метродор

Гортензия

Поэт Кеосский (первая половина V в. до н. э.) считался изобретателем мнемоники; , ученик Исократ (IV в.), славился тем, что мог с одного раза повторить сколько угодно стихов; , посол Пирра к сенату, на второй же день приезда знал в лицо и по имени каждого сенатора; и (Скепсийский, в отличие от своего тезки, ученика Эпикура) — академики, ученики Карнеада (конец II в. до н. э.); памятью Цицерон восхищается и в «Бруте», 88, 301.

203

Небесный глобус, модель мироздания, построенная Архимедом; описана в книге Цицерона «О государстве», I, 14.

204

«Тимей», 47 d.

205

«Увещание к философии»

— первое из цикла философских сочинений Цицерона, написанных в 46-44 гг. (не сохранилось).

206

«противоземлей»

Собственно, у пифагорейцев называлась не сторона «антиподов» в южном полушарии, а отдельное светило, вращающееся вокруг Солнца по той же орбите, что Земля.

207

Цицерон описывает поведение Сократа по «Федону» Платона, местами почти буквально.

208

«Федон», 67 d.

209

Платон.

210

«Проблемы», 30, I.

211

Ученик Аристиппа, прозванный «Убеждающим умереть», жил в Египте в начале III в. до н. э.

212

Метелл
, консул 143 г., победитель Македонии, имел четырех сыновей, из них трое при жизни отца были консулами.

213

Свекор Помпея

— Цезарь, его противник в гражданской войне 49-47 гг.

214

Текст рукописей испорчен, перевод дан по смыслу.

215

Луций Брут

Деция

...в одной битве за отечество...

Сципион

Эмилий Павел

Гемин

Марцелл

Альбин

Тиберий

Гракх

, изгнавший из Рима царей (509 г. до н. э.), погиб в битве на следующий год; три погибли: отец в 340 г. (согласно предсказанию, принесся себя в жертву ради римской победы), сын в 295 г., внук в 279 г. — в войне с Ганнибалом. (Публий) — консул 218 г. (год начала войны), семь лет воевавший с карфагенянами в Испании; — консул 214 г. (год битвы при Каннах); Сервилий — консул 217 г.; М. — четырежды консул, победитель Сиракуз, погиб в 206 г.; Постумий — консул 234 г., погиб в 216 г.; Семпроний (прадед знаменитых народных трибунов), консул 213 г., погиб в следующем году.

216

Камилл

Падение Рима во время галльского нашествия — 390 г.; Марк был в этой войне вождем римлян и спасителем отечества.

217

Сын Приама, погибший от руки Ахилла еще ребенком.

218

Ныне Южный Буг.

219

Халдеями

в Риме без разбора назывались восточные мудрецы-гадатели и шарлатаны.

220

Ферамен

Критием

— вождь умеренной партии в Афинах во время Пелопоннесской войны, казненный в 404 г. пришедшей к власти реакционной партией («Тридцатью тиранами») во главе с .

221

Греческая застольная игра «коттаб», в которой по плеску вина загадывали о чем-нибудь здоровье и счастье.

222

Платон, «Апология Сократа», 40 с и далее.

223

Ахейские герои под Троей, погибшие от неправого суда.

224

Платон, «Федон», 115 с.

225

Жрецы у древних персов.

Книга II О преодолении боли

226

Вступительный трактат (не сохранившийся) в цикле философских сочинений Цицерона, содержащий увещание к занятиям философией (см. выше I, 65-66).

227

Цицерон опять выступает против популярных эпикурейских книг.

228

Метродор Лампсакский

— любимый ученик Эпикура.

229

Филон

Ларисейский — философ академической школы, у которого Цицерон учился в молодости.

230

Орудие пытки, в котором жарили людей заживо; было придумано для тирана Фаларида (Сицилия, VI в. до н. э.).

231

Софокл, «Трахинянки», 1063 сл. В своем переводе Цицерон намеренно усиливает пафос подлинника.

232

Отрывок из трагедии Эсхила (не сохранившейся) «Прометей освобожденный», представлявшей собой продолжение известного «Прометея прикованного».

233

Перевод Л. Пиотровского.

234

Цицерон обыгрывает (не совсем честно) омонимию греческого слова *ponos* — «труд», «боль».

235

Махаон и Подалирий, врачеватели в греческом войске под Троей.

236

Эсоп

— знаменитый римский актер-трагик.

237

Цест

— ремень, которым кулачные бойцы обматывали кисть руки.

238

Гладиатор, опрокинувший соперника, обращался к публике, и та знаками показывала, пощадить ли побежденного или нанести ему последний удар.

239

У стоиков, с чьих позиций написан конец II книги.

240

Трагедия о гибели Одиссея, написанная Софоклом и переработанная по-латыни Пакувием.

241

Зенон

Анаксарх

Философ Элейский, по преданию, откусил себе язык, чтобы не выдать сообщников, а по приказу тирана был истолчен пестами в ступе.

242

Закон Вария

Знаменитейший оратор поколения, предшествовавшего Цицерону, главный собеседник его диалога «Об ораторе». привлекал к суду всех политических деятелей, по вине которых в 90 г. в Италии вспыхнуло восстание против Рима («Союзническая война»).

243

Трагедия Софокла, переработанная по-латыни Акцием.

244

Ксенофонт, «Киропедия», I, 6, 25.

Книга III Об утешении в горе

245

Видный оратор и историк времен Гракхов.

246

«Илиада», IX, 646.

247

Каллисфен,

соученик Феофраста по школе Аристотеля, сопровождал Александра в его походе и был казнен по обвинению в участии в заговоре против царя.

248

Стоики.

249

По одному из вариантов мифа, власть колхидского Эета держалась только до тех пор, пока он обладал золотым руном; после этого его свергнул его брат Персей.

250

Теренций, «Формион», II, I, 11-16. Перевод А. Артюшкова.

251

Перевод А. Артюшкова.

252

Марк Красс

, дед современника Цицерона, прозванный «Агеластом» («не смеющимся»).

253

Зенон-эпикурец

(не путать со знаменитыми Зеноном Элейским, V в., и Зеноном-стоиком, III в. до н. э.) — учитель философии в Афинах в годы молодости Цицерона и Аттика.

254

Теламон и брат его Целей когда-то убили своего сводного брата Фока и за это были изгнаны с родной Эгины, но это случилось задолго до Троянской войны.

255

Ряд цитат из трагедии Энния «Андромаха».

256

Разрушение Карфагена и Коринфа относится к 146 г. до н. э., поездка Цицерона в Грецию — к 80-м годам.

257

Клитомах

— философ-академик, учитель Карнеада, по происхождению карфагенянин.

258

Фабриций,

Гай победитель Пирра Эпирского, — классический пример древней римской простоты и гражданской стойкости.

259

Антиох

Аскалонский, ученик Филона Ларисейского — академический философ, у которого учился Цицерон в годы своей поездки в Грецию.

260

См.: «Илиада», X, 14.

261

Эсхин, вождь сторонников Македонии в Афинах, выступил в 330 г. против некоего Ктесифонта, предложившего наградить венком Демосфена, который возглавлял антимакедонскую партию. Речь Эсхина «Против Ктесифонта» содержала осуждение Демосфена по всем сторонам его деятельности; в оправдание ее Демосфен произнес знаменитейшую свою речь «О венке».

262

«Илиада», VI, 201-202.

263

«Илиада», XIX, 226-229.

264

Помпей, разбитый Цезарем при Фарсале, бежал в Египет и там был убит приближенными царя Птолемея.

265

«Утешение» было написано Цицероном после смерти любимой дочери и обращено к самому себе.

266

Теламон

Оилей

— отец Аянта Саламинского; — отец его тезки Аянта Локрийского.

267

Учение перипатетиков.

268

Построенная в IV в. до н. э. гробница карийского царя Мавсола (отсюда слово «мавзолей») считалась одним из семи чудес света.

269

Эсхил, «Прометей прикованный», 377-378.

270

Перевод А. Пиотровского.

271

В других древних источниках такого рассказа о Сократе и Алкивиаде нет; по-видимому, он или почерпнут из несохранившейся сократической литературы, или сочинен Цицероном (на основе Платона, «Алкивиад I», 61 d или «Пир», 215?).

272

Статус

в риторике — учение о постановке обсуждаемого вопроса.

Книга IV О страстях

273

Пребывание Пифагора в Великой Греции (греческих городах Южной Италии) действительно совпадает с традиционным временем изгнания царей из Рима (конец VI в.); царь Пума Помпилий, первый преемник Ромула, царствовал в VIII-VII вв., но устная традиция упорно считала и его учеником Пифагора.

274

Посольство трех афинских философов в Рим (кроме главы новой академии Карнеада Киренского и стоика Диогена Вавилонского, в нем участвовал перипатетик Критолай Фаселидский) в 155 г. не раз упоминается Цицероном как веха в истории римской культуры.

275

Один из авторов той массовой эпикурейской литературы на латинском языке, против которой выступает Цицерон.

276

Текст испорчен, дополнение — по смыслу.

277

Медь с приплавом золота и серебра (по преданию, они сплавились в такой сплав впервые при пожаре Коринфа в 146 г.).

278

Текст испорчен.

279

Римский комедиограф II в. до н. э.

280

Римский порт II в. до н. э., прославившийся своими «Сатирами» (дошли во фрагментах).

281

«Илиада», VII, 211 и далее.

282

Торкват

Марцелл

Луций Манлий, римский полководец в войне с галлами, в 361 г. в единоборстве победил галльского вождя и снял с него в знак победы ожерелье (torques) — отсюда прозвище «», закрепившееся за ним и его потомками. , будущий герой II Пунической войны, в 222 г. в таком же единоборстве победил галльского вождя в битве при Кластидии.

283

Об этом подвиге Сципиона Африканского другие источники не упоминают.

284

В единоборстве Луция Брута с этрусским вождем Аррунтом, шедшим на Рим с изгнанным Тарквинием Гордым, погибли оба (ср. прим. 37 к кн. I).

285

Великий понтифик (жрец) Сципион Назика, консул 138 г., был в 133 г. во главе оптиматов, поднявшихся на борьбу с Тиберием Гракхом.

286

Три благополучия

— душевное, телесное и внешнее.

287

Трабея

— римский комедиограф II в. до н. э.

288

Гимнасии

— помещения для спортивных упражнений, где юноши занимались нагие (само слово «гимнасий» происходит от корня «нагой»). В Риме нагота считалась безнравственной.

289

По версии эдиповского мифа, использованной Еврипидом в несохранившейся трагедии, Лайй был первым, кто, похитив юношу Хрисиппа, ввел в Греции мужеложество, и за это был наказан смертью от руки собственного сына Эдипа.

290

«Левкадия»

— несохранившаяся комедия Туринлия (II в.).

291

Теренций, «Евнух», 59-63.

292

Перевод А. Артюшкова.

293

Имеется в виду спор между Агамемноном и Менелаем в трагедии «Ифигения в Авлиде» (переложенной по-латыни Эннием); оба они — сыновья Атрея, накормившего когда-то своего брата Фиеста мясом его детей.

294

Архит

— государственный деятель, философ и математик (IV в. до н. э.).

295

Зопир

считался основателем науки физиогномики. Безобразие Сократа, лицом похожего на Силена, было широко известно.

Книга V О самодовлеющей добродетели

296

Брут посвятил Цицерону свое сочинение «О добродетели».

297

Дядя Брута (по матери) — Катон Младший, философ-стоик и противник Цезаря, незадолго до этого покончивший самоубийством после поражения Помпея.

298

Семь мудрецов

— согласно Платону, Фалес, Питтак, Биант, Солон, Клеобул, Мисон и Хилон (VI в. до н. э.), государственные мужи семи греческих городов, прославленные мудростью, выраженной ими в кратких изречениях.

299

Пифагорова теория метампсихоза (переселения душ).

300

Атилий

Квинт Цепион

Маний Аквиллий

— знаменитый М. Атилий Регул, воевавший в I Пуническую войну, попавший в плен и замученный карфагенянами после того, как был отпущен в Рим под честное слово и, соблюдая его, вернулся в Карфаген; — консул 106 г. до н. э., кончил жизнь на чужбине, изгнанный по обвинению в грабежах; — консул 101 г., подавитель сицилийского восстания рабов, впоследствии попавший в плен к Митридату

Понтийскому и жестоко им казненный.

301

Антиохе

Арист

Об Аскалонском, учителе Цицерона и Брута в Афинах, см. прим. 14 к кн. III; — его брат, тоже философ-академик.

302

Аристон Хиосский

(III в. до н. э.) — стоик, ученик Зенона, ведущий отдельную от преемников Зенона стоическую школу.

303

Текст испорчен.

304

Платон, «Горгий», 470 d.

305

Архелай,

сын Пердикки — македонский царь, покровитель греческой культуры у себя в стране.

306

Платон, «Менексен», 247 с.

307

Меотийские болота

— Азовское море.

308

Политический союзник Мария. Во время гражданских войн четыре года подряд (87-84 гг. до н. э.) был консулом. В эти годы в Риме при вспышках террора погибли многие близкие Цицерону люди.

309

Знаменитый пример дружбы между Дамоном и Финтием, послуживший Шиллеру темой баллады «Порука».

310

Аквиний

— бездарный поэт, высмеянный также и Катуллом, 13, 18.

311

Нахождение соотношения между объемом цилиндра и вписанного в него шара Архимед считал главным своим математическим открытием.

312

Перечисляются, как обычно, физика, этика, диалектика.

313

Текст испорчен, перевод по смыслу.

314

Кавказом греки называли всю тянущуюся в Азию цепь северных гор — и Эльбрус, и Памир, и Гималаи. Индийские «голые мудрецы» (гимнософисты) — брахманы, которым полагалось вести такой образ жизни в годы старости.

315

Карнеад

— образец скептического философа, одинаково красноречиво излагающего доводы за и против любого вопроса; за это был высоко ценим Цицероном.

316

Диномах
Каллифонт
Диодор
Эрилл
Аристон
Пиррон

и , равно, как и ученик Критолая , ближе не известны; и — стоики, ученики Зенона; — глава скептической школы.

317

Анахарсис

— легендарный скифский царь, приезжавший в Грецию при семи мудрецах; традиционный образец «естественного человека» в понимании греческих философов.

318

«Киропедия», I, 2, 8.

319

Тимофей

— полководец IV в. до н. э., один из восстановителей военной силы Афин.

320

Письмо Платона

— VII, 326 b.

321

Перечисляются философы из разных городов, в разное время преподававшие в Афинах.

322

Поклонник всего греческого, осмеянный в сатирах Луцилия.

323

Кипсел

— тиран Коринфа в VII в. до н. э., отец мудреца Периандра.

324

Тиресий изображен у Гомера в «Одиссее», XI, 90 сл.

325

Феодор

— философ-киренаик, живший при дворе фракийского царя Лисимаха.

326

Последний македонский царь, разбитый в 168 г. до н. э. Эмилием Павлом.
М. Г.

КАТОН СТАРШИЙ, ИЛИ О СТАРОСТИ

327

Написан в 44 г. до н. э. Собеседники: Марк Порций Катон Старший (234-149 гг., государственный муж, оратор и историк, ревнитель староримских традиций), Публий Корнелий Сципион Африканский Младший (185-129 гг. до н. э., военачальник, разрушивший Карфаген; идеолог более молодого поколения римских политиков), его друг Гай Лелий (консул 140 г., правовед). Время действия диалога — 150 г. до н. э.

Приводя примеры из римской истории, Цицерон датирует их, как это было принято в Риме, по консулам соответствующего года. В диалоге упоминаются консульства: Квинта Фабия — I — 233 г. до н. э., II — 228 г., IV — 214 г. (§§ 10-11); Тудитана и Цетега — 204 г. (§ 10); Тита Фламинина и Мания Ацилия (Бальба) — 150 г. (§ 14); Цепиона и Филиппа (II) — 109 г. (§ 14); Аппия (Клавдия Слепого) I — 307 г., II — 296 г. (§ 16); самого Катона — 195 г. (§ 19); Мания Ацилия Глабриона — 191 г. (§ 32);

Луция Камилла и Аппия Клавдия — 349 г. (§ 41); Луция Фламинина — 192 г. (§ 42); Мания Курия — 290 г. (§ 43); Марка Валерия Корвина — I — 348 г., VI — 299 г. (§ 60).
328

Цитата из «Анналов» Энния: слова пастуха, предлагающего себя в проводники римскому полководцу Титу Квинкцию Фламинину во время Второй Македонской войны (200-197 гг. до н. э.). Титом звался и друг Цицерона, которому посвящен диалог, — Помпоний Атик («Аттический»), богатый и влиятельный римский всадник.

329

Аристон Кеосский

Тифон

— философ-перипатетик. — по мифу, супруг богини Эос, испросившей для него у Зевса бессмертие, но забывшей испросить вечную юность; мучимый старостью, он превратился в кузнечика.

330

Человек до 17 лет считался у римлян отроком, затем до 46 лет молодым, потом до 60 — пожилым, а после стариком.

331

См. «Лелий, или О дружбе», § 6.

332

Житель Серифа (островок из группы Киклад).

333

Квинт Фабий Максим — см. прим. 7 к речи против Верреса.

334

Закон этот запрещал принимать подарки и вознаграждения за ведение дел в суде.

335

Благоприятные или неблагоприятные знамения определялись по полету птиц. Право птицегаданий предоставлялось высшим должностным лицам, которые часто им злоупотребляли в политических целях, поскольку «вопреки знамениям» нельзя было начать ни одного государственного дела.

336

Энний, «Анналы». Перевод Ф. Петровского.

337

Этот закон (169 г. до н. р.) ограничивал женщин в праве наследования.

338

Луций Эмилий Павел, победитель (в 168 г. до н. э.) македонского царя Персея, был родным отцом Сципиона Младшего, получившего свое имя по усыновлению (на происхождение из рода Эмилиев указывало добавочное имя Эмилиан).

339

Римские деятели первой половины III в. до н. э. Гай Фабриций Лусцин, Маний Курий Дентат и Тиберий Корунканий.

340

Публий Сципион Африканский Старший, победитель Ганнибала; его сын был приемным отцом Сципиона Младшего.

341

Сенат и значит «собрание старцев».

342

Римский поэт III в. до н. э. автор поэмы «О Пунической войне», комедий и трагедий (известных нам лишь по цитатам). Стихи в переводе Ф. Петровского.

343

Фемистокл

Аристид

Лисимах

и — афинские государственные деятели начала V в. до н. э.; — отец Аристида.

344

Знаменитый атлет VI в. до н. э.

345

Секст Элий

Тиберий Корунканий

Красс

Пет Кат (консул 198 г.), (консул 280 г.), П. Лициний (консул 205 г.) — государственные деятели и знаменитые юристы.

346

Римские полководцы, погибшие в Испании во время II Пунической войны; Гней приходился дядей, а Публий — отцом Сципиону Африканскому Старшему.

347

Родной дед, Л. Эмилий Павел (консул, павший под Каннами), и отец усыновителя Сципион Старший.

348

В «Киропедии» («Воспитание Кира»), своего рода историко-дидактическом романе. Кир — основатель Персидской державы.

349

«Илиада», I, 249, перевод Н. Гнедича.

350

Агамемнон.

351

Трибуна на форуме, украшенная таранами («рострами») вражеских кораблей.

352

Нумидийский царь; во время Второй Пунической войны принимал у себя Сципиона Старшего; во время Третьей — Младшего.

353

См. прим. 21 к книге IV «Тускуланских бесед».

354

В 321 г. до н. э. в войне между Римом и самнитами (тогда еще независимым италийским племенем).

355

Эпикур.

356

Публий Деций

Мус пожертвовал собой в битве при Сентине (295 г. до н. э.) в войне с самнитами, по примеру своего отца, поступившего так же в 340 г. в войне с латинами.

357

Под Милами (в Сицилии) в 260 г. до н. э.

358

Религиозные братства, устраивавшие совместные пиршества. Квесторство Катона — 205 г. до н. э.

359

Актер, игравший в комедиях Теренция.

360

Гал

Гай Сульпиций , перед битвой при Пидне в Македонской войне (168 г. до н. э.) предсказал лунное затмение, предотвратив панику в войске.

361

См. прим. 2 к книге I «Тускуланских бесед».

362

Публий Сципион Назика Коркул (см. прим. 12 к книге I «Тускуланских бесед»).

363

Столь же надуманная этимология и в оригинале.

364

Цицерон в молодости перевел эту книгу.

365

Полководец и государственный деятель IV в. до н. э.

366

В коллегии авгуров, членами которой были Сципион и Лелий.

367

Комедия Теренция «Братья».

368

Полулегендарный город Тартес (центр древнейшего в Испании государства) античные авторы помещали там же, где располагалась финикийская колония Гадес (а нередко и отождествляли их).

369

Традиционная реплика, заключавшая комедию.

370

Перевод В. Модестова.

371

О Луции Бруте см. прим. 37 к книге I «Тускуланских бесед»; о М. Атилии Регуле — прим. 5 к книге V «Тускуланских бесед».

372

Битва под Каннами была начата товарищем Павла по консульству М. Теренцием Варроном.

373

По мифу, Медея, чтобы покарать Пелия, отнявшего престол у Эсона (отца Ясона), уговорила его дочерей разрезать отца на части и сварить в котле, будто бы для омоложения.

В. Г.

ЛЕЛИЙ, ИЛИ О ДРУЖБЕ

374

Написан в 44 г. до н. э. Посвящен, как и «Катон Старший», Титу Аттику. Собеседники: Гай Лелий и его зятья Квинт Муций Сцевола Авгур (правовед и оратор, консул 117 г. до н. э.) и Гай Фанний (консул 122 г. до н. э.). Время действия диалога — 129 г. до н. э.

375

Двоюродный племянник Сцеволы Авгура, ученый правовед. См. о нем в речи за Росция (§ 33).

376

Народный трибун 88 г. до н. э. Главный деятель марианского переворота 88 г., а до того сторонник сенаторской знати. Убит по приказу Суллы, ответившего на переворот своим первым походом на Рим.

377

Помпей

Кв. Руф, коллега Суллы по консульству 88 г.

378

Семь мудрецов

единственный

Греции были прозваны так не за ученость их, а за государственную и житейскую мудрость; — Сократ.

379

Карфаген (146 г. до н. э.) и Нуманцию в Испании (133 г.).

380

Цицерон здесь имеет в виду диалог «О старости».

381

Внезапная смерть Сципиона в разгар его борьбы против продолжателей дела Тиберия Гракха (расправа знати с Тиберием не отменила его закона об аграрной реформе, и работа комиссии по переделу земель продолжалась) породила толки о том, что это было политическое убийство.

382

Союзники

латины

На этом заседании, по предложению Сципиона, было принято постановление, отбравшее у аграрной комиссии право разбирать возникавшие при наделении земель споры. и — разные правовые категории италийцев, чьи интересы были задеты земельными переделами.

383

Фил

Манилий

Имеется в виду диалог Цицерона «О государстве», где среди собеседников выведены современники и друзья Сципиона и Лелия: оратор Л. Фурий и юрист Маний .

384

Агригент

Эмпедокл (середина V в. до н. э.); — город в Сицилии.

385

Пакувий

Римский поэт (220-130 г. до н. э.) был родом из Брундизия.

386

Спурий Кассий

Спурий Мелий

Вецеллин (убит в 485 г., трижды консул, автор первого законопроекта о переделе земель) и (см. прим. 3 к речи против Катилины) погибли, по преданию, как заподозренные в стремлении к царской власти.

387

Племянник Сципиона Младшего, приверженец стоической философии, известен как противник Гракхов.

388

Философ-стоик, оказавший влияние на Тиберия Гракха; после его гибели бежал в Пергам к Аристонку — отпрыску царского рода, возглавившему народное восстание против римлян; после подавления восстания Блоссий покончил с собой.

389

132 г. до н. э.

390

Карбон

Гай Папирий — выдающийся оратор, сторонник Тиберия Гракха. После его гибели несколько лет активно продолжал его дело, но потом переметнулся к противникам Гракхов и даже защищал перед народом (в 120 г., будучи консулом) инициатора расправы с Гаем — Опимия. В 119 г. сам был привлечен к суду и покончил с собой.

391

Внук Катона Старшего.

392

Карбон (чье имя прямо связывали с предполагаемым убийством Сципиона Эмилиана), тогда еще гракханец, был трибуном в 131 г. до н. э. (два года спустя после гибели Тиберия Гракха) и провел закон о тайном голосовании в законодательных народных собраниях, а также предложил закон, разрешавший повторное избрание в народные трибуны (см. § 90).

393

Габиниев закон (139 г. до н. э.) вводил тайное голосование при выборах магистратов; Кассиев (137 г. до н. э.) — в судебных народных собраниях. Закон Карбона («Папириев») был третьим в этом ряду.

394

Версии о самоубийстве Фемистокла и Кориолана были у древних писателей, но сам Цицерон не верил им (ср. «Брут», 42-43).

395

Рупилий

Спурий Муммий

— консул 132 г. до н. э. (возвысился из низкого звания благодаря Сципиону), противник Гракхов, в дальнейшем усмиритель восставших рабов в Сицилии и составитель законов для этой провинции. — брат покорителя Греции, автор шуточных стихов о своих приключениях в этой стране, где он служил и сам; в 132 г. до н. э. сопровождал Сципиона в поездке в Азию.

396

Родной брат Сципиона Эмилиана, усыновленный одним из Фабиев Максимов.

397

Кв. Помпей Непот обещал Сципиону помочь провести Лелия в консулы, но вместо этого добился консульской должности (на 141 г. до н. э.) для себя самого.

398

наш коллега

Кв. Цецилий Метелл Македонский (консул 143 г. до н. э.), ревностный поборник привилегий знати, был противником более умеренного Сципиона; — авгур, как и Лелий, и Сцевола, и Фанний.

399

«Девушка с Андроса», 68. Перевод А. Артюшкова.

400

«Евнух», 252 сл.

401

Такой закон был принят позднее — в 104 г. до н. э. Во времена, к которым относится действие диалога, жреческие коллегии пополнялись кооптацией. Гай

Лициний Красс — народный трибун 145 г. до н. э.

402

Теренций. «Евнух», 39. Перевод А. Артюшкова.

403

Стихи из комедии Цецилия Стация «Наследница» (ср. «О старости», § 36).

404

См. прим. 12 к книге I «Тускуланских бесед».

405

Консул 177 г. и 163 г. до н. э., отец братьев-трибунов и Семпронии, жены Сципиона Младшего; сам был женат на Корнелии, дочери Сципиона Старшего.

406

Публий Рутилий

Авл Вергиний

Руф — приверженец стоицизма, друг Сцеволы Понтифика. Впоследствии (92 г. до н. э.) судьи из всадников несправедливо осудили его будто бы за вымогательство, а на самом деле за неподкупность при управлении провинцией и строгость к откупщикам-всадникам. — правовед, умер в молодости.

В. С.

Качайте книги на сайте <http://fb2knigi.net>